



В

Ежеквартальный журнал русской филологии и культуры

RUSSIAN STUDIES

ETUDES RUSSES

RUSSISCHE FORSCHUNGEN

Vol. III N 4



The State Hermitage Museum



RUSSIAN STUDIES
ÉTUDES RUSSES
RUSSISCHE FORSCHUNGEN

Vol. III

2001

№ 4

St. Petersburg



Государственный Эрмитаж



ЕЖЕКВАРТАЛЬНИК
РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ
И КУЛЬТУРЫ

Том III

2001

№ 4

Санкт-Петербург

ББК 83

Р 11

*Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Государственного Эрмитажа*

РЕДАКТОРЫ

Юрий Александрович Клейнер
Валерий Николаевич Сажин
David MacFadyen (Nova Scotia. Canada)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Svetlana Boym (Cambridge, Mass. U.S.A.)
Георгий Вадимович Вилинбахов (С.-Петербург. Россия)
Сергей Александрович Гончаров (С.-Петербург. Россия)
Роман Геннадьевич Григорьев (С.-Петербург. Россия)
Борис Федорович Егоров (С.-Петербург. Россия)
George Hyde (Norwich. U.K.)
Jean-Philippe Jaccard (Geneve. Switzerland)
Edward Kasinec (New York. U.S.A.)
Anatoly Liberman (Minneapolis. U.S.A.)
Юрий Владимирович Манн (Москва. Россия)
Аскольд Борисович Муратов (С.-Петербург. Россия)
Eric Naiman (Berkeley, Calif. U.S.A.)
Nina Perlina (Bloomington, Indiana. U.S.A.)
Юрий Юрьевич Пиотровский (С.-Петербург. Россия)
Мариэтта Андреевна Турьян (С.-Петербург. Россия)
Мариэтта Омаровна Чудакова (Москва. Россия)

ISBN 5-7187-0124-5
ISBN 5-7331-0317-1

© Государственный Эрмитаж, 2001
© Russian Studies, 2001

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

- А. И. Жеребин* (С.-Петербург). «Русское путешествие»
Германа Бара в контексте «петербургского мифа» 7
- В. С. Вахрушев* (Балашов). «Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина как
художественный текст 36
- Чжи Ён Ли* (Сеул). «Мета-балаган» как новая театральная форма
(Пьеса Л. Н. Лунца «Обезьяны идут») 52
- Ю. М. Валиева* (С.-Петербург). Гностические мотивы
в творчестве А. Введенского 69

БИОГРАФИИ

- Марк Смирнов* (Москва). Последний Соловьев.
Жизнь и творчество поэта и священника Сергея Соловьева.
Главы из книги 99
- В. А. Царицын* (С.-Петербург). Рядом с Малевичем
(Штрихи к творческой биографии Эдуарда Криммера) 144

ПУБЛИКАЦИИ

- А. В. Крусанов* (С.-Петербург). Из истории русского футуризма
- I. Виктор Шкловский. Художественная жизнь
 большевистской России 173
- II. Материалы к биографии Николая Бурлюка 178
- После Парижа: письма в Англию (из архива Б. И. Элькина).
Вступительная статья, публикация и примечания
- О. Р. Демидовой* (С.-Петербург) 184
- Письма Я. Б. Полонского Б. И. Элькину 191
- Письма М. А. Алданова Б. И. Элькину 204

СУДЬБЫ ФИЛОЛОГОВ
Ефим Григорьевич Эткинд
(1918—1999)

«...Вернувшему нам надежду».	
Предисловие, подготовка текста и общая редакция <i>П. Л. Вахтиной и М. Д. Яснова</i> (С.-Петербург)	242
I. Воспоминания	
<i>Рикардо Сан Висенте</i> (Барселона).	
Разговор с Ефимом Григорьевичем Эткиндом (Барселона, апрель 1992 г.)	244
<i>И. З. Серман</i> (Иерусалим). Человек тридцатых годов, или Четверо в черных шляпах	278
<i>М. Р. Хейфец</i> (Иерусалим). Мой комментарий к «Запискам незаговорщика»	293
<i>Б. Ф. Егоров</i> (С.-Петербург). Люди, нелюди и полулюди	308
II. Е. Г. Эткинд. Из «Парижских писем»	
Памяти Франсуа Трюффо	313
Герой чести. Памяти Жана Ануя	
III. Из переписки Е. Г. Эткинда с Н. А. Роскиной. Комментарии	
<i>И. В. Роскиной</i> (Иерусалим) и <i>А. А. Раскиной</i> (Лос-Анджелес) ..	321

РЕЦЕНЗИИ

<i>М. Г. Талалай</i> (Флоренция—С.-Петербург).	
Итальянцы в России	399
<i>Е. А. Вильк</i> (С.-Петербург).	
Органическая целостность «художества»	404
<i>В. В. Кравец</i> (Киев). Грани литературоведческой мысли	410
<i>В. М. Пивоев</i> (Петрозаводск). Ценность здорового духа	411

СТАТЬИ

*А. И. Жеребин
С.-Петербург*

«Русское путешествие» Германа Бара в контексте «петербургского мифа»

В начале 1890-х гг. Герман Бар (1863—1934) выступил в роли организатора нового литературного направления, вошедшего в историю австрийской и мировой литературы под именем «Молодая Вена» (также «Молодая Австрия», или «Венский модернизм»)¹. Наряду с Артуром Шницлером и Гуго фон Гофмансталем, утвердившими славу австрийской литературы «конца века» далеко за пределами Австрии, в «венскую группу» принято включать целый ряд менее известных поэтов и журналистов, которые, начав с усвоения принципов французского и в особенности немецкого натурализма, испытали острый кризис мировоззрения, приведший их к поискам новой человеческой и художественной правды². Теоретическому определению этой правды служили многочисленные «измы» постнатуралистической эстетики. Герман Бар, представляющий интерес не столько как драматург и романист, сколько как эссеист и литературный критик, был первым, кто ввел в немецкую литературу такие понятия, как «декаданс», «символизм», «импрессионизм», «эстетизм», «неоромантизм», «новый идеализм», «модернизм». Он был первым, кто пытался определить содержание этих понятий на широком международном материале, чтобы с их помощью выработать программу развития национальной австрийской литературы, установить масштаб стоящих перед нею задач.

Едва ли не центральным мотивом деятельности Германа Бара явилось культурное соперничество с Германией, по сравнению с которой Австрия чувствовала себя провинцией. В немецкой литературе 1880-х гг. господствовал натурализм, и первые усилия Бара были направлены на завоевание Берлина, на изучение и про-

паганду немецких образцов — Г. Гауптмана, Арно Гольца, «немецкого Золя» Макса Кретцера и др.

Но 1889 год, проведенный Баром в Париже, резко изменил его отношение к натурализму. После Парижа, где Бар открывает для себя «декадентов» и «символистов», прежде всего Бодлера и Гюисманса, Поля Бурже и Мориса Бареса, путь культурного обновления Австрии представляется ему совершенно в ином свете. Вместо подражания берлинскому натурализму Бар требует теперь его «преодоления», не без оснований навлекая на себя обвинения в непостоянстве убеждений и насмешки, связанные с его призывом преодолеть то, что литература Австрии еще не успела освоить.

Опору для преодоления берлинского натурализма Бар ищет и находит в опыте других европейских литератур, не только французской, но также скандинавской, итальянской, английской, русской. Литературная теория и практика «Молодой Вены» принципиально космополитичны; по замыслу Бара Вена должна была стать средоточием новейших тенденций в европейском искусстве, и творчество младовенцев представляет собою ярчайший пример национальной литературы, нацеленной «на прием» иностранных влияний.

Когда в начале 1890 г. Бар возвращается из Франции в Берлин, столица Германского Рейха, ранее казавшаяся Бару литературной Меккой, представляется ему чуждым городом, где его перестали понимать. Переполненный парижскими впечатлениями, еще не до конца осмысленными и переработанными, Бар стоит на распутье. И, не находя себе достойного применения и поприща, чувствует себя как «актер, который, выйдя уже на сцену, вдруг понимает, что собрался играть в чужом спектакле, где роль для него не предусмотрена» (*Bahr* 1923: 270). В этих обстоятельствах он с радостью принимает приглашение своего друга, знаменитого берлинского актера Эмануэля Рейхера, сопровождать немецкую труппу, отправлявшуюся на гастроли в Петербург. Поездка в Россию продолжалась с конца марта до конца апреля 1891 г. Ее результатом явилась книга «Русское путешествие» — капризная, импрессионистическая, слабо организованная, но не лишенная концептуального центра (*Bahr* 1891: 3). Из Петербурга Бар возвращается не в Берлин, а в Вену, чтобы взять на себя роль основателя «Молодой Австрии».

В эссе под названием «Молодая Австрия» (1893) Бар, оценивая себя как писателя, видит свою главную заслугу в том, что «между Волгой и Луарой никто не испытывает ощущений, которые

были бы мне непонятными, и что душа всех европейских наций не имеет от меня тайн» (*Bahr* 1976: 375). Бар упоминает Волгу, хотя его русские впечатления были ограничены исключительно Петербургом и на месте Волги более оправданным было бы упоминание Невы. Это важно не с точки зрения географии: по признанию Бара, в русском путешествии его интересовала не география, а только внутреннее пространство души — его собственной, искушенной всем ядом европейского индивидуализма души художника-декадента в соотнесенности ее с душой России (РП, 154). Между тем, именно в этом внутреннем пространстве души дистанция между Невой и Волгой, Петербургом и Россией чрезвычайно значительна.

В русском культурном сознании Петербург — рационалистический город-утопия, выступающий как антитеза и отрицание исторической России. Согласно Ю. М. Лотману, «петербургский миф» оформляет эту антитезу в двух противоположных вариантах (*Лотман* 1981). С точки зрения официальной просветительской идеологии XVIII в. Петербург является воплощением универсального разума, торжествующего над темным хаосом национальной истории: с основанием Петербурга отсталая, архаическая Россия приобщается к ценностям современной европейской культуры. Этой трактовке с самого начала противостоит подпольная, народная мифология Обреченного Града, незаконно властвующего над поруганной «Святой Русью» как хранительницей «истинной веры». В XIX в. «западники» и «славянофилы» расцветивают тот и другой варианты все новыми красками.

«Царство Божье на земле», предвосхищенное в рационалистической концепции «регулярного государства», или «Царство Антихриста», «перевернутый мир» рабства и отчуждения, — эти два способа прочтения «петербургского мифа» получают отражение в двойственном образе Петра, выступающего то под маской преобразователя, то под маской разрушителя русской культуры. В русской поэтической традиции символом этой двойственности является, как известно, фальконетовский Медный всадник на Сенатской площади: гордый император на вздыбленном коне, застывший на краю утеса перед роковым прыжком в будущее или в бездну (см. об этом: *Lachman* 1983: 84—86).

У Пушкина «петербургский миф» при всей его антиномичности еще сохраняет свою целостность. Пушкин знает о бесчеловечности Петербурга, но воспевает его основание как божественный акт творения. Петр олицетворяет для него творческую энергию Нового времени, «модернизма» в широком смысле сло-

ва. Но во второй половине XIX в. акцент все более отчетливо смещается на апокалипсическую, по выражению В. Н. Топорова «анафематствующую» версию, достигающую кульминации в петербургских романах Достоевского, а затем в творчестве символистов (Топоров 1993: 205)⁴. На передний план выступают такие признаки Петербурга, как искусственность, театральность, иллюзорность, призрачность, обреченность гибели. Памятник Петру отождествляется с Всадником из «Откровения». Множатся эсхатологические пророчества о грядущем торжестве временно усмиренной природной стихии, коррелирующей с пробуждением народной души, с образами народного бунта, который сметет ценности индивидуалистической культуры. Антиномия статики и динамики, «модернизма» и старины получает тем самым прямо противоположное значение, предстает в перевернутом виде. Невский гранит, с которым ранее связывалось представление о победе над разрушительной стихией, переосмысливается как образ репрессивной культуры, окаменевшей и сковавшей живую жизнь.

Рост апокалипсических мотивов предельно обостряет антитезу «Петербург — Россия», представляющую собой ведущий элемент двухвекового «петербургского мифа». У символистов образ Петербурга строится как мифологизированная антимодель той страны, центром и выражением которой он должен был стать по замыслу его создателя. Россия и Петербург соотнесены как органическое и искусственное, как свое и чужое, реальное и вымышленное. Созданный Петром для того, чтобы «отменить» старую Россию, он должен развеяться в прах как мираж перед лицом древней священной Москвы (см.: Исупов 1993: 144 и далее). В поэзии символизма Петербург — это «Восток Ксеркса», противопоставленный «Востоку Христа».

«Если бы моя душа была не пейзажем, а городом, то она была бы Москвой», — писал Райнер Мария Рильке, глубоко впитавший идеи славянофилов (Rilke 1930: 334). Влюбленный в соборную Святую Русь, он не принимает Петербурга, вызванного к жизни насильственной индивидуальной волей. В его стихотворении «Ночная езда. Санкт-Петербург» (1907) город Петра изображается как больная фантазия, гаснущая в воспаленном мозгу безумца (Rilke 1981: 601). Герман Бар, посетивший Петербург на восемь лет раньше, чем Рильке, также знает о том, что Петербург — не Россия. На заключительных страницах «Русского путешествия» герой-рассказчик, разочарованный Петербургом, мечтает о Москве, ибо «только там настоящая Россия» (РП, 153).

Этого намерения Бар не осуществил. В отличие от Рильке, он не был ни в Москве, ни в Киеве, ни в русской деревне. Ограничившись Петербургом, он совершил своего рода «антирусское» путешествие. Вместе с тем не подлежит сомнению, что именно «нерусский» Петербург является чрезвычайно характерным явлением русской «дуалистической» культуры, подобно тому как идеология русского «западничества» коренилась глубоко в национальной почве (Лотман 1981: 18). Одну из наиболее выразительных формул Петербурга как нерусской России дал Ф. А. Степун в романе «Николай Переслегин» (1929): «И как нелепа мысль, — писал он, — что Петербург, в сущности, не Россия, а Европа. Мне кажется, что, по крайней мере, так же правильно и обратное утверждение, что Петербург более русский город, чем Москва. Во Франции нет анти-Франции, в Италии — анти-Италии, в Англии — анти-Англии. Только в России есть своя анти-Россия: Петербург. В этом смысле он самый характерный, самый русский город» (Степун 1929: 327—328).

Когда Степун утверждает, что нерусская столица возможна «только в России», это, скорее всего, риторическая фигура. Случай, когда «*urbs et orbis terrarum*» воспринимаются как две враждебные сущности, отнюдь не специально русский. В 1919 г. Герман Бар, изощренный мастер антитетических конструкций, писал о «своей Австрии», что она «имеет так же мало общего с тем, что выдавал за Австрию кайзер Иосиф, как Россия Достоевского с Россией Петра Великого» (Bahr 1919: 306). Если принять во внимание, что в Империи Иосифа II Вена была призвана играть роль культурного центра просвещенной монархии, подобную роли Петербурга в петровской и послепетровской России, то из приведенного выше сопоставления Германа Бара следует, что отношение «Вена — Австрия» тождественно для него отношению «Петербург — Россия». Подтверждением этого тождества служит также несколько более позднее высказывание Бара в эссе «Русский Христос», где Достоевский назван христианином в смысле европейского барокко («*Barockchrist*»), а его ненависть к католицизму — всего лишь «большим недоразумением» (Bahr 1908: 180).

Многое из того, что Бар будет писать впоследствии о Вене и ее людях, уже предвосхищено в «Русском путешествии», но применительно к Петербургу. Главным связующим звеном выступает при этом мотив театральности (маскарада, актерства), релевантный для того и другого города, связанный в обоих случаях с проблемой социального отчуждения, с темой разрушения личности.

Театральность является одним из наиболее распространенных топосов «петербургского мифа». Уже природа петербургской архитектуры — уникальная выдержанность огромных ансамблей, не распадающихся, как в городах с длительной историей, на участки разновременной застройки, — создает ощущение декорации (Лотман 1981: 16). «Петр Великий и его преемники воспринимали свою столицу как театр», — писал маркиз Кюстин, посетивший Петербург в 1839 г. (Custin 1843: 262). Герман Бар, превосходный знаток французской литературы XIX в., делает сходное наблюдение: «Непосредственности нет ни в чем. Все подчинено плану и расчету, уничтожающим природу и свежесть восприятия ее. Во всем принуждение, рассудочность, поза. Огромный город каждую минуту участвует, кажется, в торжественном церемониале. Все время такое чувство, что стоишь на сцене и вокруг установлены декорации» (РП, 67).

Как автор путевых очерков, Бар часто видит и описывает то, о чем он читал у своих предшественников. Его описания и раздумья почти всегда имеют также и литературное происхождение, напоминая об имманентности литературного ряда. Явно следуя за Кюстином, он делает свои описания петербургской архитектуры отправной точкой для рассуждений о бесчеловечности имперской столицы. Архитектура Петербурга, пишет Бар, ничего не говорит нам ни об истории народа, ни о человеческих чувствах, она прячет их под застывшей, торжественной маской, выражающей лишь навязчивую идею города. Человек в нем ничего не значит. Униженный и выключенный из целого, он бесшумной тенью бродит по пустым площадям, вокруг громадных дворцов, он кажется себе ненужным орнаментом (РП, 47—49).

Рисуя образ русского человека, Бар продолжает разворачивать мотив мрачно-торжественной маски. «Я не знаю, каковы русские, — жалуется рассказчик, — в них нет ничего индивидуально. Находясь в обществе, они следуют общепринятому, предписанному этикету, надевают его на себя как стеснительный, но необходимый туалет» (РП, 142).

Мотив театрального представления определяет смысловую структуру «Русского путешествия» в целом. Он выходит далеко за рамки непосредственного обсуждения немецких гастролей в Петербурге, получающих в петербургском контексте значение своего рода романтического «театра в театре». Новое театральное искусство Запада, с которым Бар знакомится именно во время этих гастролей⁵, утверждает себя — так это представлено в «Русском путешествии» — на чужой сценической площадке рус-

ского «*theatrum mundi*», точнее, «*theatrum petrapolitanum*», образующего резкий контраст с европейским реализмом. Высшим достижением эстетики реализма, как она воплотилась в актерской игре Рейхера, Йозефа Кайнца, но в особенности, Элеоноры Дузе является, по мысли Бара, их искусство проникнуть в тайну неповторимой человеческой индивидуальности, выразить эту тайну в словах и жестах. Между тем эстетика русского «*theatrum mundi*» этому прямо противоположна: Петербург видится Бару как своего рода азиатский театр масок, представляющий лишь обобщенные человеческие типы. Все русские, мужчины и женщины, о которых Бар рассказывает на страницах своих путевых очерков, — это «деиндивидуализированные марионетки или тени людей» (РП, 67).

В точном соответствии с «петербургским мифом» Бар воспринимает реальные картины русской жизни как жуткий и призрачный кукольный спектакль, разыгрываемый злым кукловодом. Рассказчику «Русского путешествия» постоянно кажется, что он грезит, что Петербург — это «кошмарное сновидение о чужом, зачарованном мире, который во всем отличается от нашего» (РП, 147). Этот чужой мир отмечен «произвольностью» и «случайностью», угнетает зрителя, вызывая неясное и тяжелое чувство «абсолютной покинутости без надежды на спасение», «невыносимой предоставленности в чужую волю» (РП, 143).

Согласно Ю. М. Лотману, «театральность петербургского пространства сказывается в отчетливом разделении его на „сценическую“ и „закулисную“ части, при постоянном сознании присутствия зрителя, и, что особенно важно — замены существования как бы существованием». «Зритель, — пишет далее Лотман, — постоянно присутствует, но для участников сценического действия „как бы не существует“ — замечать его присутствие означает нарушать правила игры. Также все закулисное пространство не существует с точки зрения сценического. С точки зрения сценического пространства реально лишь сценическое бытие, с точки зрения закулисного — оно игра и условность» (Лотман 1981: 17).

Структура «Русского путешествия» весьма точно воспроизводит именно такое соотношение трех «реальностей» — зрителя, сцены и закулисного пространства, каждая из которых, с точки зрения другой, представляется иллюзорной и порождает петербургский эффект театральности. Рассказчик, играющий роль стороннего зрителя, на протяжении всего рассказа чувствует угрозу своему существованию со стороны другой, окружающей его в России реальности — петербургской сцены. Со своей стороны, он

сам воспринимает эту «сцену», то есть. все происходящее с ним в Петербурге, как иллюзию и не перестает надеяться на то, что ему удастся эту иллюзию разоблачить, проникнуть в «закулисное пространство», туда, где прячется от него «настоящая Россия». Его преследует сознание, будто бы все вокруг только «кулисы, поэты, театр», только «условная маска, надетая на истинное лицо, которое никто не видит», только «принуждение и обман, за которыми скрыта ужасающая правда» (РП, 27).

Как уже было отмечено выше, образ Петербурга соотнесен в книге Бара с образом Вены. На заключительных страницах «Русского путешествия» мотив Вены вводится с целью создания контраста с образом Петербурга. Покидая мрачный Петербург, Бар со слезами умиления вспоминает о «своей дорогой, сладкой Вене, где никогда не замирает танец и не прекращаются поцелуи». Примечательно, что этот контраст сразу же дан в контексте мечты о «новом человеке», в связи с проходящим через всю книгу апокалипсическим мотивом личного преображения, который чрезвычайно характерен как для «петербургского мифа», так и для философии модернизма в целом. «Кто знает, что станет тогда с пробудившимся во мне новым человеком? Не развеется ли он от первых же звуков наших грациозных вальсов?» — спрашивает себя рассказчик после того, как всего лишь несколькими страницами ранее он патетически приветствовал таинство «второго рождения», пережитого им в Петербурге (РП, 187). На синтагматической оси текста это заключительное воспоминание о Вене соотнесено с расположенным в самом начале книги размышлением рассказчика о «нашей западной жизнерадостности», которую он будет стремиться сохранить и все же утрачивает под хмурым петербургским небом (РП, 15). Весь текст строится, в определенном смысле, на приеме задержания мотива западной жизнерадостности, и, когда в конце этот мотив рассказчиком вновь подхватывается, это создает оценочное обрамление, критическую рамку, в которую вписывается образ выморочного и мрачного Петербурга, где «испытываешь такое чувство, будто бы все время ходишь под растянутым саваном» (РП, 23).

Вместе с тем Бар хорошо знает, что венская жизнерадостность есть, по существу, такая же маска, как и хмурая торжественность Петербурга. В его сознании венская и петербургская маски образуют резкий контраст, но самый принцип существования под маской является для обеих столиц общим и связывает их общей судьбой. Веселый венец разыгрывает свою жизнь как театральное представление, точно так же как делает это печальный петер-

буржец. О том, как Бар понимал это сродство, свидетельствует его эссе «Вена» (1906), написанное, правда, через много лет после «Русского путешествия», но соотносимое с ним в едином смысловом пространстве творчества Германа Бара. Венец характеризуется здесь Баром как особый человеческий тип, как бы искусственно выведенный по приказу императора и управляемый сверху подобно марионетке. Это комедиант, имеющий сомнительный талант казаться всем, но ничем не быть: вся его жизнь есть сценическая роль, и сущность его состоит в том, чтобы не иметь сущности. «Невозможно понять, каков на самом деле венец», — повторяет Бар свое старинное определение петербургского жителя, только теперь в применении к венцам, о которых говорится, что они пугливо «заперли самих себя на ключ дома, в потайном ящике» (*Bahr* 1906).

«Либеральное „я“», выведенное в «пробирке йозефинизма» (то есть в идеологическом пространстве австрийского Просвещения, связанного с именем Иосифа II), представляется Бару таким же лишенным субстанции («Ichlos»), такой же жертвой самоотчуждения человеческой личности, как и те не знающие благодати люди-тени, о которых он писал в книге о Петербурге. Венская и петербургская маски образуют в сознании Германа Бара в единый символический образ. Та и другая столицы символизируют для него «перевернутый мир», в котором действительность вытеснена иллюзией.

Эссе «Вена» содержит примечательный пассаж, заключающий в себе *in puse tu* концепцию модернизма, которую Бар разрабатывал начиная с 1890-х гг.

Если в своих ранних определениях модернизма Бар отказывался от традиционной, восходящей к «Спору Древних и Новых», характеристики «современного» через противопоставление его «античному» в строгом смысле классической древности (см. об этом: *Wunberg* 1987: 18), то в эссе «Вена» он эту старинную парадигму, как представляется, вполне восстанавливает. «Человек античности, — пишет он, — всецело социален. Он живет в полисе, благодаря полису, как часть его. Полис предопределяет его мысли, его чувства, все идет оттуда. И то, что называлось тогда природой человека, — что эта природа выросла, быть может, из принуждения, обычая, воспитания, из страха, по чужому повелению, что естественный человек есть, быть может, в действительности, человек вполне искусственно выведенный, — все это никогда не приходило в голову высокоученым господам из Древней Греции и Древнего Рима. Когда до этого додумались наконец ра-

бы, гибель античного мира была предрешена. Раннее христианство было религией естественного, изначального человека, возврат к нему. Рушится тысячелетняя история, перечеркнута мудрость долгих веков. Перед нами вновь человек, еще ничего не знающий о полисе. Человек выступает из полиса, возвращается к самому себе. Вот что означало первое христианство. Скажем так: было совершено открытие души» (*Bahr* 1906: 46—47).

Интерпретируя переход от античной культуры к христианской, Бар описывает, по существу, процесс формирования модернистского сознания, остраниая его маской давней истории. Испытав в молодости сильное влияние Гегеля и Маркса (*Wunberg* 1987: 15—20)⁶, он подчиняет этот процесс ритму диалектической триады.

Исходной точкой его рассуждений является античный полис — тезис диалектического процесса. Для Маркса человек полиса — это «*zoon politicon*», наслаждающийся своей свободой как «у-себя-бытием» в «бытии другого» (*Bei-sich-sein im Anders-Sein*). Бар отклоняется от подобной идеализации полиса, изображая его в виде Левиафана, пожирающего отдельного человека. Идеология полиса отождествляется у Бара с либерализмом эпохи Иосифа II, о котором в дальнейшем говорится, что он, этот просветительский либерализм, был завезен в Австрию с чужбины, измышлен по книгам и насильно навязан народу (*Bahr* 1906: 67). Именно в таких выражениях оценивались нередко и преобразования Петра I в России. Античный полис служит у Бара моделью мира театральной иллюзии, как он воплощал его в образе Вены и в образе Петербурга. Человек полиса, психологию которого Бар объясняет, с одной стороны, на примере венца, с другой — на примере русского, выступает олицетворением идеи социального отчуждения. Это актер, хотя и не осознавший еще своего актерства, он разыгрывает свою жизнь по сценарию, навязанному ему сверху, автором которого является «дух властителя». Очевидно, что «дух властителя» в эссе о Вене есть тот самый «дух рационалистической культуры», о котором Бар писал уже в ранней статье под названием «Модернизм» (1890), что он веками удерживал в плену реальную жизнь и теперь, когда она наконец вырвалась из плена, превратился в «дух лжи», злобно царствующий во всех областях современной культуры (*Bahr* 1981: 189—190).

Таков тезис. В качестве антитезы Бар дает образ римского раба, которому открылась правда о принуждении, который, если вновь обратиться к мифологеме раннего Германа Бара, разрушил отчаянное царство лжи, учрежденное духом рационализма. «Ра-

бы» в эссе о Вене соответствуют местоимению «мы» в эссе о модернизме: говоря там «мы», Бар подразумевает новое литературное поколение, составившее ядро «Молодой Вены», тех, кто, осознав себя людьми переходной эпохи, стремятся освободиться от своего «рабства» на пути интериоризации внешнего мира. превращения «фактов действительности» (*états de choses*) в «факты души» (*états d'âmes*)⁷. «Молодая Вена» была в рамках этой мифологии не чем иным, как восстанием рабов, предводителем которых и стал сам Герман Бар, после того как, простившись с марксизмом и натурализмом, он превратился, по собственному его выражению, в «пламенного спиритуалиста» (*Bahr* 1923: 230). Бар изобретал многочисленные, нередко вычурные определения, с помощью которых он пытался характеризовать себя и своих соратников: «пилигримы чувства», «романтики нервов», «виртуозы ощущений». «интернациональные жонглеры настроениями», «артисты протейческих превращений», «декаденты», «дилетанты», «импрессионисты», искатели субъективной правды, «какой воспринимает ее каждый отдельный человек»⁸. К таким людям относится и герой-рассказчик «Русского путешествия», который многократно применяет к себе эти определения, развертывает их в обширных психологических самоанализах.

Актерство присуще, согласно Бару, не только социальным людям полиса, но и выпавшим из социума восставшим рабам, людям антитезы, причем у них актерство перестает быть наивным средством бессознательного приспособления ко «лжи жизни»⁹; оно становится сознательным, исполненным самоиронии. Изошренное искусство превращений, которое они сознательно в себе культивируют и развивают, есть их ответ на исчезновение реальности и дезинтеграцию личности. Это их протест против либеральной иллюзии о тождестве «я», против поверхностной и трусливой уверенности в том, что оно все еще возможно. Неоромантики, они обнаруживают романтическую приверженность образам Протея или хамелеона, как бы повторяют признание первых романтиков в том, что абсолютная целостность недостижима и посильным приближением к ней служит лишь безоглядное участие в хороводе пестрых масок, ироническое созерцание своей внутренней жизни как игры непримиримых противоречий.

«Мир есть „комплекс ощущений“ и потому человеческое „Я“ не может быть спасено», — утверждал Эрнст Мах в «Анализе ощущений» (1886), книгу, которую Бар провозгласил впоследствии «философией импрессионизма» (*Bahr* 1968: 198). Как и Мах, Бар считает «Я» чистой иллюзией. «Я» меняется постоянно. «Есть лю-

ди, обладающие тремя или четырьмя „Я“. Первое исчезает, второе следует за ним, всплывает третье, четвертое, затем вновь возвращается первое, и ни одно не помнит о других, ни одно не знает о другом, кажется, что на самом деле существует три или четыре человека, пользующихся одним и тем же телом лишь для того, чтобы воплощаться в нем по очереди и затем снова вдруг растворяться в пустом воздухе» (*Там же*: 192). Относящаяся к 1904 г., эта махистская парафраза Бара, с одной стороны, предвосхищает образ «восставших рабов» — декадентов в эссе 1906 г. «Вена», с другой, — отсылает к рассказчику значительно более раннего «Русского путешествия».

На протяжении десятилетий повторяет Бар мысль о том, что в условиях деперсонализации личности единственным условием сохранения ее богатства и достоинства остается «искусство метаморфозы». Отсюда проистекает его непреходящий интерес к театру и к личности актера, отсюда же, если верить тексту «Русского путешествия» — его решение ехать в Россию. «В нас нет больше простоты, — пишет Бар во вступлении к своей книге, — мы многих носим в своей душе, и в каждый из дней недели можем украшать себя новым Я как новым галстуком. Когда я чувствую, что немец во мне слишком уж разошелся, я вместо того, чтобы злиться попусту, вешаю его в шкаф и вынимаю оттуда марокканца; и порой бывает так, что человек родом из Линца, житель Андалусии и берлинец разыгрывают весьма любопытные терцеты» (РП, 4). Следуя этому принципу, он отправляется в Россию, когда чувствует, что его старый гардероб, состоящий из множества интернациональных двойников, поизносился и ему нужны «новые ощущения», «новые импульсы к наслаждению». Он пишет об охватившем его желании открыть в своем внутреннем царстве «новую провинцию», пополнить свою коллекцию еще одним, на этот раз русским «Я» (РП, 3). Тем самым он поступает как актер, обладающий талантом «усвоить себе чужую душу и жить в облике другого человека» (*Bahr* 1911: 96).

Уже первые главы «Русского путешествия» дают основание для того, чтобы относить эту раннюю вещь к литературе декаданса с ее культом тонких ощущений, с ее болезненным самонаслаждением и восторженным самоанализом. Вместе с тем следует подчеркнуть, что так называемая «декадентская фаза» в идейной и творческой эволюции Германа Бара лишена ясной, отчетливой границы¹⁰. Как показал в недавнее время Роже Бойер, понятие «декаданс» уже с первых случаев употребления его Баром вводится им в перспективу преодоления декаданса как промежуточно-

го, переходного этапа в становлении новой литературы (*Bauer* 1997: 25—31).

Наличие такой перспективы характеризует и «Русское путешествие», где ироническая игра рассказчика с его двойниками обещает выход за пределы декадентского субъективизма. Гипертрофия «Я», ведущая к его диссоциации, именно в этой диссоциации себя и проявляющая, представляет лишь антитезу в диалектическом процессе становления личности, лишь момент отрицания той иллюзорной целостности, которая присуща античному «человеку полиса». Но за этим первым отрицанием неизбежно должно будет последовать второе, «отрицание отрицания», означающее синтез противоположностей. В перспективе вырисовывается окончательное преодоление всякой театральности и всякого актерства, то есть восстановление распавшейся личности в идеальном образе «нового человека». Обретая опору в действительности, он обретает тем самым истинную целостность своего «Я». Именно таков человек первых веков христианства, о котором идет речь в эссе «Вена». В противоположность «взбунтовавшемуся рабу», т. е. импрессионисту с его метафизической и социальной неприютностью, «первый христианин» вновь «всецело социален», его личность находит себе оправдание в общезначимых законах и ценностях мировой жизни. Пройдя через отрицание бунтом, фальшивое тождество «полисного человека» превращается в подлинное тождество христианина, обусловленное не волей земного властителя и законами светского государства, а волей божественной и законами Града небесного. Такова стадия синтеза в том диалектическом процессе, который и образует, согласно Бару, содержание термина «модернизм».

Холистическая утопия целостности выступает как финал интеллектуальной драмы, когда декадент, измученный противоречиями жизни, исцеляет свое разорванное сознание верой в возможность всеобщей гармонии. Религиозное отречение и политический консерватизм позднего Германа Бара, принявшего в 1918 г. католичество, — явление характерное и типическое, общая судьба европейского декаданта и неотъемлемый элемент культуры модернизма в целом, типологически связывающий ее эволюцию с эволюцией романтизма. Противопоставление голизма «модернистскому проекту» как принципиально плюралистическому едва ли оправдано историческими фактами¹¹. В творчестве Бара тяга к идейному синтезу является все более крепнущим лейтмотивом его идейного развития, начиная уже с таких ранних произведений как «Русское путешествие».

Как показывает Г. Вунберг, концепция «преодоления натурализма» была подсказана молодому Бару марксизмом (*Wunberg* 1987: 20). Но философия истории марксизма есть, как известно, финальная эсхатологическая конструкция, согласно которой пролетариат «отрицает» свое собственное господство, чтобы раствориться в бесклассовом обществе как состоянии конечной гармонии¹². Декадент «конца века», каким он предстает у Германа Бара, разделяет эту судьбу. В эссе о Вене Бар выводит его под именем «раба», который осознает лживость господствующего миропорядка и преодолевает самого себя, свою укорененность во внешнем мире вещей во имя христианства как внутреннего мира души. Подобно пролетарию у Маркса ему предназначено совершить последний, апокалипсический акт преодоления, после чего всемирная история завершается и наступает вечность.

Именно такая схема развития определяет эволюцию героя в «Русском путешествии». Уже его декадентский артистизм, та подчеркнутая легкость, с которой он меняет маски и роли, ни одной из них не удовлетворяясь, намекает на некий спасительный, освобождающий смысл этого непрекращающегося спектакля. Иронический актер, он с самого начала настроен на преодоление дифференцированности и плюралистичности своего внутреннего мира. Он предчувствует, что его «Я», которому отказано в спасении (современной философией), все же должно быть спасено, ибо чем рафинированнее чувственный опыт гедониста, тем прозрачнее окружающая его эмпирическая действительность, тем ближе рождение его истинного метафизического «Я».

«Русское путешествие» намечает ряд мыслей и образов, приобретающих более ясные очертания лишь в позднейших произведениях Бара. Такова в особенности фигура актера, которую Бар изучал и интерпретировал в течение четверти века. Итогом его размышлений является большое эссе «Актерское искусство» (1923), где он приходит к выводу, что актер учит нас пониманию последней тайны человеческой природы, а именно той, «что мы, когда мы до конца преодолеваем свое Я и полностью перестаем быть самими собой, что только после этого мы и находим свою сущность (*Selbst*), только и начинаем быть самими собой». «Истерия элементарного актера выводит прямо в область метафизического», — пишет Бар в той же статье (*Bahr* 1923a: 45). Иными словами, распад личности выступает здесь как своего рода условие и предпосылка спасения, как своего рода *felix culpa*.

Австрийская исследовательница Констанция Флидль говорит в связи с этим о присущей позднему Бару «диалектической тео-

логии» (*Fliedl* 1997: 347), являющейся следствием его религиозного обращения. Между тем именно такая «диалектическая теология» определяет уже идейное содержание «Русского путешествия», этой, на первый взгляд, едва ли не самой декадентской из ранних книг Бара, написанной задолго до обращения его к католицизму.

Особенность диалектики «Русского путешествия» состоит, однако, в том, что переход в область метафизического совершается здесь от актерской способности к расщеплению своего «Я» не прямо и автоматически, как подразумевается это в позднем эссе Бара, а предполагает специальную промежуточную ступень, когда актер вдруг чувствует, что привычная способность к лицедейству им утрачена. Этот момент торможения посреди привычной игры, момент духовной опустошенности Бар описывает очень точно и подробно. «Со мной что-то случилось, — жалуется рассказчик. — Я хотел усвоить себе русскую душу.. Но на этот раз ничего не вышло. Я все делал не так. Я не сумел обогатить мои нервы новым опытом... Ничего русского не вошло мне в душу, и я не могу избавиться от опасений, что вместо этого я потерял и европейское. Нервный акробат куда-то исчез. Я испытываю его искусство, но вот ведь! — Он унес его с собой. Я пробую превратиться во француза, в испанца, в буддиста, испытывая одного за другим, по порядку. Но ни один не слышит, ни один не подчиняется мне. Вокруг мертвая пустыня. И только что-то совсем простодушное, смиренное и ничтожное оставили они после себя, какое-то маленькое, тихое, светлое чувство. Оно как будто бы сидит рядом на полу, как раздетый ребенок, который играет во что-то, и его большие, серые глаза смотрят в далекую даль... Чувствуется, что где-то вдалеке есть прекрасное будущее. Кажется, я должен был все потерять, чтобы отыскать самого себя» (РП, 84—86).

Приведенный отрывок располагается в середине текста, означая как бы смысловую цезуру, «нулевой пункт» в психологическом развитии героя, когда все, казалось бы, достигнутое обращается в ничто и все надо начинать сначала¹³. Его эстетический индивидуализм терпит крах, его вера в то, что лицедейство способствовало обогащению его личности рушится, и опыт тонких чувственных переживаний впервые уступает в нем место опыту христианского нисхождения, причем введением в этот новый опыт служит, как признает рассказчик, его неудачная попытка вжиться в роль русского человека. Россия, не выдавшая ему своей тайны, именно от этого становится для него школой нищен-

ства и смирения, которую он должен пройти для того, чтобы открыть для себя свое истинное «Я». «Прекрасное будущее», на которое указывает символический образ нагого ребенка, предполагает, следовательно, аскетическое отречение от ложного богатства индивидуальных чувств и мыслей, характеризующих человека декадентской западной культуры. От него требуется смиренное нисхождение в мир простых и убогих, требуется воля к растворению своего «Я» в мировом всеединстве.

Задолго до Вячеслава Иванова, много писавшего о русской идее нисхождения, идея эта была хорошо известна на Западе из романов Достоевского, которого уже в 1880-е гг. пропагандировал в Берлине Георг Брандес, в Париже — Мишель де Вогюэ, автор знаменитой книги о русском романе. Герман Бар, чувствовавший себя как дома и в Берлине и в Париже, мог знать Достоевского еще до «Русского путешествия» и за много лет до того, как он провозгласит русского писателя «единственным, кто может помочь Западу выпрямиться и вновь обрести себя» (*Bahr* 1914)¹⁴.

В относящемся к 1914 г. эссе о Достоевском Бар полемизирует с Отто Юлиусом Бирбаумом, который отвергал принципиальное значение Достоевского для европейской культуры, противопоставляя ему, «русскому пророку смирения», Ницше как апологета сильной личности, следующей нравственному императиву роста и восхождения (*Там же*: 76—105). Для Бара же герои Достоевского дороги тем, что они не замкнуты в границах индивидуального существования и характера и напоминают нам о тех «блаженных временах, когда каждый человек еще был всем человечеством».

Под «отрицанием границ личности» Бар подразумевает такое состояние души, когда традиционная граница между отдельным «Я» и миром исчезает, и человек переживает нераздельное единство со всем существующим во Христе — от последнего солдата-истукана на русской границе, выразительно описанного Баром в его «Русском путешествии», до самого утонченного из парижских декадентов. Эссе 1914 г. лишь развивает и абсолютизирует то, что было высказано уже в книге о Петербурге, где «прекрасное будущее», предчувствуемое героем, обусловлено редукцией переусложненного внутреннего мира декадента к простоте и единству общечеловеческого начала. «Безграничность» и составляет ту «русскую правду», которую Петербург с его театральностью пытается утаить от героя и которую он тем не менее осознает как «магическое чудо» своего «второго рождения» (РП, 159).

По мысли И. П. Смирнова, имеются основания для того, чтобы выделить в мировой литературе особый «когнитивный жанр», представленный группой текстов, рассказывающих о тайне, и центрированных вокруг ее разгадки (Смирнов 1995: 23). К таким текстам может быть отнесено и «Русское путешествие», где посвящение героя в тайну России (Петербурга) совершается как своего рода обряд инициации, символизирующий смерть — отречение от прежней жизни и ее ценностей во имя рождения «нового человека». «В религиозной практике, — пишет И. П. Смирнов, — таинствами считаются действия по пересечению границы — моменты, когда человек совмещает в себе еще-непринадлежность и уже-принадлежность: к церкви (крещение), к семье (вступление в брак), к богу (евхаристия), к прощенным (покаяние) и пр. Карнавальная маскировка индивидов приурочена к таким исключительным периодам, когда данное время еще не перешло в новое, хотя новое уже и вступает в свои права, в частности, к концу зимнего сезона» (Там же: 17—18).

Именно о таком пересечении границы, означающем таинство инициации, идет речь в весеннем путешествии Бара в Россию: из эмпирического мира видимости, символом которого является Петербург, герой Бара переходит в метафизическое царство истинного бытия, которое ему предстоит открыть в самом себе. Сакральное значение средневекового карнавала, приуроченного к границе зимы, дает основание предположить, что вступление героя Бара в торжественный хоровод русских масок соответствует посвящению его в мистирию самопознания и преображения личности. В таком случае «Русское путешествие» получило бы статус символического текста, в котором все внешние перипетии путешествия представляют собою метафору искания божественной правды и личного спасения, обретаемого на пути к ней. При такой интерпретации «Русское путешествие» должно быть включено в широкий контекст символистской прозы, отличительным признаком которой является соотносительность реалистического изображения с областью сверхчувственного. Очевидно, что это противоречит устоявшемуся представлению о «Русском путешествии» Бара как о «грациозном рисунке пастелью», демонстрирующем «декадентские увлечения молодого Бара в их максимальной чистоте» (Houben 1924: 42).

Но в любом случае, рассматриваем ли мы книгу Бара как «грациозную пастель» или как символическую мистирию о смерти и воскресении, в жанровом отношении она представляет собой убедительный пример автонарративного «интимно-личного текста»,

преобладающего в творчестве писателей «Молодой Вены» (*Le Rider* 1990: 55). Форма фиктивного дневника, избранная Баром, выступает как один из вариантов пограничного, «сверхжанрового» жанра эссе, интегрирующего путевые очерки и психологические размышления, литературную критику и новеллистику. Каждый из этих жанров, или дискурсов, выведен в эссеистическом тексте Бара из своего условного исторического контекста в мир индивидуального авторского опыта, в открытую зону контакта с незавершенным, насыщенным предчувствиями будущего настоящим¹⁵. «Исходным пунктом для эссеиста, — пишет Манес Шпербер, — является та точка зрения, которую он собирается оставить за собой» (*Sperber* 1981: 10). Это в точности соответствует построению «Русского путешествия» и той теории иронического дилетантизма, с помощью которой молодой Бар и литераторы его поколения отстаивали свою духовную свободу¹⁶.

Центральным мотивом «Русского путешествия» является внутренняя метаморфоза героя-рассказчика. Все другие мотивы, статические и динамические, вплетены в историю этой метаморфозы. Примером может служить выразительная сценка в русском борделе, из-за которой книга была запрещена австрийской цензурой как «безнравственное сочинение» (см.: *Houben* 1924: 44). Между тем педалирование эротического мотива, развернутого также в нескольких других эпизодах¹⁷, могло понадобиться Бару не только для пикантности. Его функция, добиваясь этого Бар сознательно или нет, заключается в том, чтобы ввести иллюзорный Петербург, иллюзорность которого рассказчику надлежит преодолеть, в старинную мифологическую перспективу города-блудницы Вавилона (*Топоров* 1981: 53—58). Преодоление иллюзорности Петербурга, являющееся главной задачей героя, получает тем самым дополнительную мотивировку. Разумеется, что цензурному комитету 1891 г. такого рода соображения не были доступны. Цензор, наложивший арест на первый тираж «Русского путешествия», полагал, что «неприличные места» можно вычеркнуть без ущерба для целого, поскольку, как он аргументировал, «вся книга представляет собой лишь калейдоскоп всевозможных, беспорядочно набросанных впечатлений, лишенных какой бы то ни было логической или эстетической связи» (цит. по: *Houben* 1924: 44—46).

Общему идейному заданию подчинена у Бара и вводная театральнo-критическая статья об актерском искусстве Элеоноры Дузе. Тот факт, что впоследствии это фрагмент был опубликован отдельно во «Франкфуртской газете», не отменяет ее функ-

ции в идейном контексте «Русского путешествия». Все высказывания Бара о творчестве Дузе разворачивают доминирующую в книге оппозицию истинного и иллюзорного, души и роли, имеющую прямое отношение к русской теме. По мысли Бара, Дузе умеет создавать неповторимо-индивидуальные характеры, но одновременно выразить своею игрой то сверхиндивидуальное, общечеловеческое начало, которое живет в каждом. «Тут маски надевает душа, которой тесно на устроенном ею маскараде», — писал позднее об итальянской актрисе Гофмансталь, облекая в афористическую форму смысл более ранней восторженной рецензии Бара (*Hofmannsthal* 1979: 61). Весьма показательно в этой связи, что понятие «диалектический реализм», сформулированное Баром впервые применительно к Дузе, переносится им позднее на творчество Достоевского (*Bahr* 1914: 12).

Искусство, будь то театр, эрмитажная живопись или литература, относится, наряду с Петербургом, к конструктивным мотивам «Русского путешествия». В качестве третьего ведущего мотива выступает любовь героя-рассказчика к «маленькой фрейлейн», прототипом которой явилась Лотта Витт, актриса театра Рейхера, завоевавшая, как свидетельствует рецензент «Петербургских ведомостей» горячие симпатии русской публики¹⁸. Все три области русских впечатлений — Петербург, искусство и любовь — воспринимаются рассказчиком как неразрывно переплетенные тайны, от разгадки которых зависит его собственное спасение как личности. Пытаясь разгадать эти загадки, рассказчик во всех трех случаях терпит неудачу, но, в конечном счете, все же выигрывает, после того, как, казалось бы, все проиграл.

На глубокую связь между мотивом «маленькой фрейлейн» (любовный мотив) и мотивом Петербурга — России указывает, например, фрагмент, в котором рассказчик, размышляя о «маленькой фрейлейн», приходит к убеждению, что она владеет той «благой тайной», к обладанию которой так горячо стремятся все современные «виртуозы ощущений, все последователи Барреса». «В чем она, эта тайна, я сказать не могу, — признает рассказчик. — Мне не удастся понять это, дать этому имя. Но во мне нарастает спасительное чувство, что именно она подарит мне разгадку, если я только буду желать этого с достаточным смирением» (РП, 100). Условие «смиренного служения» соединяет «благоую тайну» маленькой актрисы с таинственной русской правдой о воскресении через отречение и смерть. с той правдой, которую Бару предстояло еще открыть в творчестве Достоевского, спасителя декадентской Европы. Это проясняет, почему Бар снабдил «Русское

путешествие» посвящением «Маленькой фрейлейн», и придает посвящению смысл, выходящий за рамки личных отношений. «Маленькая актриса», в начале книги не более чем участница дорожного флирта, получает от Бара роль Беатриче, божественной проводницы в «*vita nuova*», которая должна быть заслужена нисхождением в русский «*Inferno*».

В соответствии с требованием эссеистической формы рассуждения соседствуют в «Русском путешествии» с художественными образами, подтверждаются повествовательными эпизодами. Так, вслед за размышлениями рассказчика, стремящегося объяснить себе сущность «маленькой фрейлейн», идет рассказ об их совместных прогулках по ночному Петербургу. «Мы часто ездим к Петру. Это великолепная статуя, на берегу широкой Невы, образ могучего царя, высеченный из серого камня. Его создал Фальконе по указу Екатерины Второй. Безудержная страсть и дикая, ненасытная воля в его отчаянном взлете. По ночам, когда серо-синий туман стоит над Невой, тогда будто бы вспыхивает в бледном граните какая-то призрачная жизнь, и страшные легенды оведают его мертвящее великолепие. Подолгу вслушиваемся мы в эти пугающе чудные намеки. Я держусь за руку маленькой фрейлейн, чтобы со мной ничего не случилось» (РП, 162 — 163).

Бар нигде не называет имени Пушкина, и у нас нет никаких оснований утверждать, что поэма «Медный всадник», это ключевое произведение петербургского текста русской литературы, выступает в «Русском путешествии» в качестве сознательно избранного Баром «претекста». Но в общем пространстве петербургского мифа, очертания которого были знакомы Бару через посредство французов (Кюстин, Вогюэ), «Русское путешествие» оказывается в известном идейном родстве с поэмой Пушкина.

Пушкинский Евгений мог бы быть одним из подданных австрийского императора Иосифа II, одним из тех «искусственно выведенных» венцев, о которых Бар писал, что их публичная жизнь — это театр марионеток, а свою человеческую сущность (*Selbst*) они прячут в тайнике и вынимают для домашнего употребления. Для Евгения домашним употреблением его человеческой сущности является его любовь к бедной Параше, его мечта о семейной идиллии на окраине Петербурга, вне социального космоса, созданного «строителем чудотворным».

Согласно Д. С. Мережковскому, в героях поэмы, Петре и Евгении, воплощены две изначальные силы, борющиеся в европейской цивилизации: язычество и христианство, отречение от своего «Я» в боге и обожествление своего «Я» в героизме. Вызов, бро-

шенный Евгением «горделивому истукану», Мережковский предлагает понимать как восстание христианства против язычества, как отчаянный мятеж «малых», «ничтожных» и «смирненных», тех, кому обещано «Царствие небесное» (*Мережковский* 1911: 341—346; ср.: *Брюсов* 1975: 31—32). Бар был знаком с идеями Мережковского и высоко ценил его, хотя, конечно, не в период работы над «Русским путешествием». Во всяком случае, страх, который рассказчик Бара испытывает на Сенатской площади, перед лицом словно оживающего Всадника, может быть истолкован как кризис личности, осознающей гибельность своего эстетического индивидуализма, своего декадентского язычества. Современный декадент начинает видеть в императоре своего страшного двойника. Признаком, по которому устанавливается это двойничество, является солипсистский культ своего «Я», отрицание общезначимой объективной действительности и подмена ее индивидуальной иллюзией. Подобно тому, как Петр воплотил свою волю в образе Петербурга, так и для декадента весь мир выступает как проекция его собственной личности. Призрачная столица России выступает как символ декадентского сознания, для которого мир обращается в систему моих представлений. «Мир существует, потому что мы его помыслили», — утверждал Вильям Ловель в романтическом романе Тика. «Когда я умру, весь мир умрет со мной», — вторит ему столетие спустя секретарь Унгнад в одной из пьес Артура Шницлера, современника и единомышленника Бара (*Schnitzler* 1979: 65).

Обесценивание внешней жизни становится для декадента предпосылкой превознесения себя, ведет к оправданию безграничного наслаждения по ту сторону добра и зла: если жизнь есть сон, будем стараться видеть прекрасные сны. Отсюда — претензия декадента на абсолютную свободу, на произвол Божества, не знающего другого закона, кроме своей личной воли и личного счастья. Но, как писал, исследуя романтическое чувство жизни, В. М. Жирмунский, присущая эстетическому индивидуализму жажда жизненной полноты не может найти себе удовлетворения. «Мир не является бесконечной полнотой, потому что в нем нет Бога: он побледнел и потерял значение, цену, в то время как воля и жажда жизни выросли до беспредельного». Призрачный мир «кажется тюрьмой», «не дает забвения», «тени не удерживают в своем круге»; «Я только сам себя встречаю в пустой равнине бытия» (*Жирмунский* 1914: 132).

Здесь, говорит далее Жирмунский, наступает предел идеализму, доведенному до своей крайней формы, отсюда берет начало

«мистический реализм» первых романтиков. Именно такую эволюцию — от идеалистического солипсизма к реализму мистического чувства — повторяет, по мысли ученого, и литература конца XIX в., нередко именовавшая себя неоромантизмом. Из декадентского эстетизма рождается символизм, когда «открываются снова просветы в таинственную жизнь мироздания», «за гранью конечного открывается бесконечная даль» (*Там же*: 195).

«Русское путешествие» Бара представляет выразительный документ подобной эволюции, которая совершается здесь под влиянием русского опыта. Эпизод на Сенатской площади ясно показывает момент перелома в сознании героя, когда он, «донжуан» жизни, привыкший наслаждаться ее иллюзиями, познает страх метафизической пустоты. Созданное его волей царство золотых снов оборачивается для него жуткой сказкой Петербурга, автором и символом которой является ожившая статуя Петра. Пугаясь его преследования, чувствуя себя под угрозой безумия, напоминающего о пушкинском Евгении, герой «Русского путешествия» хватается за руку «маленькой фрейлейн», своей Параши, которую проклятый город еще не успел отнять у него, как отнял у Евгения. Жест получает символическое значение, выступая как интертекстуальный эквивалент истории Евгения в «петербургской повести» Пушкина, он выражает готовность рассказчика к принятию христианских ценностей.

Содержание метаморфозы, пережитой героем Бара, сводится к смене моделей самоидентификации: от отождествления себя с Медным всадником он переходит к отождествлению себя с Евгением. Анализируя свое новое состояние, он пишет: «Высокомерный самообман, заставлявший меня думать, что я — человек особенный, избранный для гордого, дикого величия, утратил свою власть надо мной. Я хочу быть ничтожным и смиренным, хочу повиноваться своему тихому, доброму чувству. Все во мне взывает теперь к простоте и мягкости. Хочу стать обыкновенным и надежным» (РП, 161).

Но этим тихим аккордом развитие героя еще не завершено. Его отречение от «гордости и славы» является лишь предварительным условием нового великолепия универсальной личности, способной вобрать в себя весь мир. Смирненное подчинение индивидуального общечеловеческому мыслится у Бара не как отрицание, а как спасение всего богатства индивидуальных свойств, накопленных личностью. Положительная вера, проснувшаяся в душе героя, нужна для того, чтобы освятить и тем сберечь все разнообразие, всю полноту его индивидуальной жизни, одухотворить

ее и оправдать в божестве. Каждая личная черточка, каждая лукавая маска преодоленного гедониста должны найти себе место и оправдание в новом, всеобъемлющем «Я» героя (РП, 180). С рождением этого высшего, метафизического «Я» эмпирическая личность не зачеркивается, а подвергается диалектическому «снятию». Развивая свою вполне романтическую концепцию «нового человека», Бар мечтает об утопическом ордене совершенных личностей, который он именует «клубом хороших европейцев» (РП, 180). В финале «Русского путешествия» явственно звучит, таким образом, старый гностический мотив «Третьего царства», полученный Баром в наследство от романтиков и Гейне, от Ницше, Ибсена и Достоевского¹⁹.

В первое десятилетие XX в. Герман Бар был довольно хорошо известен в России. Его пьесы ставились на русской сцене, его роман «Театр» издавался большими тиражами, сборники его литературно-критических эссе рецензировали Зинаида Венгерова в «Вестнике Европы» и Юлий Айхенвальд в «Русской мысли» (*Венгерова* 1895; *Айхенвальд* 1906)²⁰. Первые из этих откликов относятся уже к середине 1890-х гг. Тем удивительнее, что именно «Русское путешествие» не удостоилось в России никакого внимания.

Но и в иностранной, в том числе в немецкой, литературе вопроса дело обстоит немногим лучше. В 1892 г. талантливая журналистка из круга «Молодой Вены» Мария Герцфельд приветствовала книгу Бара изящной импрессионистической рецензией, которая заканчивалась словами: «Что-то дрожит и бьется под покровом этого блестящего остроумия, за этим кружением фривольных масок. Может быть, это мотыльковые крылышки нового Германа Бара? Настоящего Бара, который только что потерял самого себя?» (*Herzfeld* 1892: 20; цит. по: *Wunberg* 1976: 92.7).

Единственный, кто в последующие годы предпринял попытку ответить на этот вопрос, французский исследователь Эмиль Шастель подробно пересказывает размышления самого Бара, чтобы прийти к ничего не говорящему выводу о том, что «Русское путешествие» явилось для его автора «этапом на пути к зрелости» (*Chastel* 1977: 405). В немецких статьях и книгах, исследующих творчество Бара, «Русскому путешествию» посвящается в лучшем случае два-три абзаца, причем все внимание сосредоточивается на знакомстве Бара с новым театральным искусством Запада (см., например: *Kindermann* 1956: 40—48; *Farkas* 1989: 27—28; *Davidau* 1984: 26). Из поля зрения исследователей совершенно выпадает тот факт, что европейские гастроли воспринимались Баром на многозначительном фоне петербургского «*theatrum mundi*», что

впечатления от того и другого перекрещиваются в сознании рассказчика, играющего перед читателем «комедию своей души», что, наконец, эта комедия души с ее, как писал Гофмансталь «красивыми формулами горьких вещей» (*Hofmannstal* 1984: 25), трансформируется по ходу повествования в символическую мистерию на тему «умри и стань».

«Петербург стал моим Дамаском, — писал Бар отцу по возвращении из России. — Русская книга обозначит важный этап моей жизни. Конец метаниям и экспериментам, настает период спокойствия, тишины и просветленности» (цит. по: *Farkas* 1989: 48).. Это признание молодого Бара — важный аргумент в пользу трактовки «Русского путешествия» как книги о духовном прозрении, обусловленном встречей с русской культурой. Между тем, ни Рейнгард Фаркас, цитирующий эти слова в одном из примечаний к своей книге 1989 года, ни позднейшие исследователи творчества Бара не раскрывают их подлинного значения (*Bahr* 1923: 271).

Герман Бар и сам приложил, кажется, все усилия к тому, чтобы ввести в заблуждение своих критиков. В автобиографической книге «Автопортрет» (1923) он оценил свое «Русское путешествие» как «до отказа насыщенную причудливыми ощущениями, скорее всего, дурацкую книжку, о которой никто не может сказать, почему она, собственно, называется «Русским путешествием». Мои русские впечатления были грандиозны, они состояли из Кайнца и Дузе», — иронизировал он в «Автопортрете» (*Там же*).

Но примечательно, что рядом с этими ироническими самооценками в автобиографии находится пассаж, который представляет все дело совершенно в ином свете. Бар вспоминает о «наших ночных поездках по царственному городу, чаще всего на Сенатскую, к статуе Всадника, рвущегося к небесам», чтобы уже в следующем абзаце дополнить это воспоминание еще одним, которое резко контрастирует с первым. Здесь он набрасывает выразительную сценку народного молебна у маленькой церквушки неподалеку от Казанского собора, когда он видел, как каждый из проезжавших мимо господ выходил из кареты и, преклонив колени рядом с простолюдинами, истово крестился на церковные купола. «Я стоял там с чувством зависти в сердце и ничего не желал так горячо, как уметь вот так же молиться», — пишет Бар и добавляет: «И еще я подумал тогда о национальной мощи России, о том, что такая вот общая молитва и соединяет господ и слуг, мотов и нищих в единую нацию» (*Там же*: 275).

Два воспоминания — о гордом царе и о смиренно молящемся народе — явно смонтированы друг с другом в тексте автобиографии по принципу контраста, и этот контраст высвечивает и подтверждает всю тридцатилетней давности концепцию «Русского путешествия», как бы ни оценивал Бар эту раннюю свою книгу.

В «Автопортрете» Бар настаивает, следовательно, на той же антитезе языческого Человекобога и христианского Богочеловека, на преодолении первого во славу второго, которое образует центральный мотив не только его «Русского путешествия», но и всего корпуса диалогически соотносенных между собой произведений, составляющих так называемый «петербургский текст русской литературы». «Петербург — бездна, иное царство, смерть, — писал, характеризуя этот текст, В. Н. Топоров, — но Петербург и то место, где национальное самосознание и самопознание достигло того предела, за которым открываются новые горизонты жизни... Внутренний смысл Петербурга именно в этой несводимой к единству антитетичности и антиномичности, которая самое смерть кладет в основу новой жизни, понимаемой как ответ смерти и как ее искупление, как достижение более высокого уровня духовности. Бесчеловечность Петербурга оказывается органически связанной с тем высшим для России и почти религиозным типом человечности, который только и может осознать бесчеловечность, навсегда запомнить ее и на этом знании и памяти строить новый духовный идеал» (Топоров 1993: 207).

О таком именно возрождении через смерть идет речь и в «Русском путешествии» Германа Бара, где Петербург выступает как экзистенциальное пространство, в котором трагедия потерявшей себя личности достигает кульминации и разрешается рождением нового человека. Подхватывая некоторые существенные константы русской литературы, актуализируя их применительно к своей теории модернизма, Бар явился первым австрийским писателем, который внес вклад в создание «петербургского текста». Его «Русское путешествие» открывает собой процесс формирования «петербургского текста» в литературе западноевропейского модернизма, среди участников которого — Рильке и Готфрид Бенн, Йозеф Рот и Стефан Цвейг.

Примечания

¹ Понятие «модернизм» употребляется в данной статье как эквивалент немецкого «Moderne», т. е. так, как определил его В. М. Жирмунский (см.: Жирмунский 1979: 145). Термин «модернизм», получивший за последние

годы широкое распространение в советской литературной критике, я употребляю как наиболее вместительный и объективный для совокупности явлений новейшей литературы от 80-х гг. прошлого века до наших дней, возникших как реакция против реализма: слово «символизм» обозначает более узкий круг явлений внутри модернизма, «декадентство», как говорили в конце XIX — начале XX в., содержит элемент снижающей оценки (эпоха «упадка»).

² О «персональном составе» группы «Молодая Вена» см.: *Strelka* 1981.

³ В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте статьи: РП, с указанием страницы.

⁴ О смещении акцента в трактовке Петербурга и Петра I писал Д. С. Мережковский. «Вся русская литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гиганта, который „над бездной России вздернул на дыбы“. Все великие русские писатели, не только явные мистики — Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров, — по наружности западники, по существу такие же враги культуры, — будут звать Россию прочь от единственного русского героя, от забытого и неразгаданного любимца Пушкина, вечно одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита, будут звать назад — к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, и смирению в боге, к простоте сердца великого народа-пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимую Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке Идиота, к блаженному неделанью Ясной Поляны, — и все они, все до единого, быть может, сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмущившейся черни: „Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!“» (*Мережковский* 1911: 345).

⁵ Одновременно с немецким театром в Петербурге гастролировали театры Италии и Франции. Подробный отчет об этих гастролях см.: «Sankt-Petersburgische Zeitung». 1891. April.

⁶ Именно к этому «марксистскому» периоду относится полемика Бара с Паулем Эрнстом по поводу литературы и исторического материализма — полемика, по поводу которой написано известное письмо Энгельса к Эрнсту (1890).

⁷ Отчетливое противопоставление натуралистического описания «états de choses» неоромантическому, декадентскому вниманию к «états d'âmes» было предпринято Баром в сборнике статей «Преодоление натурализма» («Die Überwindung des Naturalismus», 1981). Бар пользуется также немецкими терминами, образованными им как кальки с французского: «Sachenstndde» и «Seelenstndde».

⁸ Последняя в этом ряду формула представляет собой цитату из эссе Бара «Die Moderne» (1891): «Wir haben kein anderes Gesetz, als die Wahrheit, wie jeder sie empfndet». G. Wunberg анализирует эти слова как символ веры нового литературного направления и одновременно как свидетельство его изначальной близости к натурализму (*Wunberg* 1981: 28—34).

⁹ Выражение «ложь жизни» (*Lebensluge*) было введено в широкое употребление Ибсеном, который оказал очень глубокое влияние на Бара в период организации им «Молодой Вены». Бар называл Ибсена «Иоанном Крестителем» нового литературного течения и охотно представлял дело таким образом, будто бы он «принял „Молодую Вену“ из рук Ибсена». О значении Ибсена в процессе смены натурализма символизмом в европейской, в том числе и в русской, литературе см.: *Deppermann* 1998.

¹⁰ К «фазе декаданса» в эволюции Бара «Русское путешествие» относит, например, D. G. Daviau (см.: *Daviau* 1984: 26).

¹¹ На таком противопоставлении настаивает в своих работах австрийский историк Мориц Чаки (см.: *Csaky* 1996: 59—102).

¹² Ср. у К. Левита: «Весь исторический процесс, как он изображается в „Коммунистическом манифесте“, обретает общую схему христианско-иудейской интерпретации истории как провиденциальной истории спасения, устремленной к исполненному смысла финалу» (*Löwith* 1990: 48).

¹³ Понятие «нулевого пункта» как элемента композиции романа было предложено В. Дибелиусом (*Дибелиус* 1929: 120).

¹⁴ Биографическое эссе Мережковского остается вне полемики о западной «воле к власти» и русской «воле к самоуничтожению», которую ведут два другие участника сборника. Среди позднейших немецких публикаций Мережковского с этим спором более всего связана его статья «*Euroa fuit?*» (1921), опубликованная в качестве предисловия к истории русской литературы А. Элиасберга (*Eliasberg* 1922).

¹⁵ Об этом свойстве эссеистических текстов см.: *Энтвейн* 1988: 141—149.

¹⁶ О специальном значении понятий «дилетантизм» и «дилетант» см.: *Sørensen* 1969. В частности, Серенсен приводит характеристику дилетанта в новелле Г. Бара «Дора» (1893).

¹⁷ Ср. вставную новеллу о безвольном любовнике Исидоре (с. 149 и далее).

¹⁸ *Sankt-Petersburgische Zeitung*. 1891. April. № 219.

¹⁹ В связи с Мережковскими Бар касается темы «Третьего царства» в своей статье о романе «Леонардо да Винчи» (*Bahr* 1912).

²⁰ О постановке пьесы Бара «Другая» («*Die Andere*») в театре Комиссаржевской см.: *Pavlova* 1996. З. Венгерова начинает первую из своих рецензий о Баре словами: «В лице Германа Бара „молодая Германия“ имеет яркого выразителя своих стремлений и идеалов. Бар, венский журналист и писатель, выступил около десяти лет тому назад довольно незначительными драмами и рассказами натуралистического характера; с тех пор он прошел через сильное влияние новейшей французской литературы, изменил свою первую манеру и из подражательного беллетриста сделался критиком с определенной и оригинальной физиономией» (*Венгерова* 1885: 852).

Библиография

- Айхенвальд* 1906 — Айхенвальд Ю. И. «Мастер» Бара // Русская мысль. 1906. Кн. 4. С. 223—225.
- Брюсов* 1975 — Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 7.
- Венгерова* 1885 — Венгерова З. А. Н. *Bahr. Studien zur Kritik der Moderne* // Вестник Европы. 1885. Т. 5. С. 852—858.
- Дибелиус* 1928 — Дибелиус В. Морфология романа // Проблемы литературной формы: Сб. статей О. Вальцеля, В. Дибелиуса, К. Фосслера, Л. Шпитцера / Перевод под ред. и с предисл. В. Жирмунского. Л., 1928.
- Жирмунский* 1914 — Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. Спб., 1914.
- Жирмунский*. 1979 — Жирмунский В. М. Литературные течения как явление международное // Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. Л., 1979.

Исупов 1993 — Исупов К. Г. Эстетика истории. СПб., 1993.

Лотман 1981 — Лотман Ю. М. Избранные работы: В 2 т. Таллин, 1981.

T. 1.

Мережковский 1911 — Мережковский Д. С. Пушкин // Мережковский Д. С. Полн. собр. соч.: В 14 т. СПб.; М., 1911. Т. 13.

Смирнов 1995 — Смирнов И. П. Роман тайн «Доктор Живаго». М., 1995.

Степун 1929 — Степун Ф. А. Николай Переселгин. Париж, 1929.

Топоров 1993 — Топоров В. Н. Петербург и «петербургский текст» русской литературы // Метафизика Петербурга: 1. СПб., 1993.

Топоров 1981 — Топоров В. Н. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Структура текста-81. М., 1981.

Эпштейн 1988 — Эпштейн М. С. Парадоксы новизны. М., 1988.

Bahr 1891 — Bahr H. Russische Reise. Dresden; Leipzig, 1891.

Bahr 1906 — Bahr H. Wien. Stuttgart o. J., 1906.

Bahr 1908 — Bahr H. Der russische Christ // Bahr H. Die Sendung des Kuenstlers. Leipzig, 1908.

Bahr 1911 — Bahr H. Theater. Ein Wiener Roman. Berlin, 1911.

Bahr 1912 — Bahr H. Leonardo // Bahr H. Essays. Leipzig, 1912. S. 8—25.

Bahr 1914 — Bahr H. Dostojewski // Drei Essays von Hermann Bahr. München, 1914.

Bahr 1919 — Bahr H. Tagebuch: 1919 // Bauer R. Hofmannsthal's Konzeption der Salzburger Festspiele (Hofmannsthal-Forschungen 2. Freiburg i. Br., 1974).

Bahr 1923 — Bahr H. Selbstbildniss. Berlin, 1923.

Bahr 1923a — Bahr H. Schauspielkunst. Leipzig, 1923.

Bahr 1981 — Bahr H. Die Moderne (1890); Das Junge Oesterreich (1893); Der Impressionismus; Das unrettbare Ich (1904) // Die Wiener Moderne / Hrsg. v. G. Wunberg. Stuttgart, 1981.

Bauer 1997 — Bauer R. Hermann Bahr und die decadence // Hermann Bahr — Symposion: Der Herr aus Linz. Linz, 1997.

Chastel 1977 — Chastel E. Hermann Bahr, son oeuvre et son temps. Paris, 1977.

V. 1.

Csaky 1996 — Csaky M. Die Wiener Moderne // Nach Kakanien / Hrsg. v. R. Haller. Wien; Köln; Weimar 1996.

Daviau 1984 — Daviau D. Der Mann von Übermorgen: Hermann Bahr 1863—1934. Wien 1984.

Deppermann 1998 — Ibsen im europaeischen Spannungsfeld zwischen Naturalismus und Symbolismus / Hrsg. M. Deppermann. Gossensass; Frankfurt / M., 1998.

Farkas 1989 — Farkas R. Hermann Bahr: Dynamik und Dilemma der Moderne. Wien; Köln, 1989.

Fliedl 1997 — Fliedl K. Arthur Schnitzler: Poetik der Erinnerung. Wien; Köln; Weimar, 1997.

Herzfeld 1976 — Herzfeld M. Hermann Bahr: Russische Reise. // Wiener Literaturzeitung, Jg. 3, März 1892 // Das Junge Wien: Oesterreichische Literatur- und Kulturkritik 1887—1902 / Hrsg. v. G. Wunberg. Tübingen, 1976. Bd. 1.

Hofmannsthal 1979 — Hofmannsthal H. Die Duse im Jahre 1903 // Hofmannsthal H. Gesammelte Werke / Hrsg. v. B. Schöeller: Reden u. Aufsätze 1. Frankfurt/M., 1979.

Hofmannsthal 1984 — Hofmannsthal H. Prolog: (zu A. Schnitzlers Buch Anatol) // Hofmannsthal H. Sämtl. Werke. Kritische Ausg. Bd. 1. Frankfurt/M., 1984.

Houben 1924 — Houben H. Verbotene Literatur. Berlin., 1924.

Kindermann 1956 — Kindermann H. Hermann Bahr. Graz; Köln, 1956.

Lachmann 1983 — Lachmann R. Intertextualität als Sinnkonstitution: Andrej Belyis «Petersburg» und die «fremden» Texte // *Poetica*. 1983. Bd. 15.

Löwith 1990 — Löwith K. Weltgeschichte und Heilsgeschichte. 8. Auf. Stuttgart; Berlin; Köln, 1990. Bd. 2.

Mereschkowski 1922 — Mereschkowski D. S. Europa fuit? // Eliasberg A. Russische Literaturgeschichte in Einzelporträts. München, 1922.

Le Rider 1990 — Le Rider J. Das Ende der Illusion: Die Wiener Mörner und die Krisen der Identität. Wien, 1990.

Pavlova 1996 — Pavlova N. S. Aestetisierung des Lebens: Das Bild Wiens im Russland um die Jahrhundertwende // Wien als Magnet? // Hrsg. v. G. Marinelli-König u. Nina Pavlova. Wien, 1996.

Rilke 1930 — Rilke R.-M. Briefe aus den Jahren 1907 bis 1914. Leipzig, 1930.

Rilke 1981 — Rilke R.-M. Nächtliche Fahrt: Sankt-Petersburg // Rilke R.-M. Sämtl. Werke: In 12 Bdn. Frankfurt/M., 1981. Bd. 2.

Schnitzler 1979 — Schnitzler A. Der Gang zum Weiher // Schnitzler A. Ges. Werke in Einzelausg: Das dramatische Werk. Frankfurt/M., 1979. Bd. 8.

Sørensen 1969 — Sørensen B. A. Der Diletantismus des fin de siècle und der junge Heinrich Mann // *Orbis litterarum*. 1969. Vol. XXIV. N 4. S. 251—260.

Sperber 1981 — Sperber M. Essays zur taglichen Weltgeschichte. Wien; München; Zürich 1981.

Strelka 1981 — Strelka J. P. Zwischen Wirklichkeit und Traum. Wien, 1981.

Wunberg 1987 — Wunberg G. Hermann Bahrs Moderne-Entwurf der neunziger Jahre im zeitgenössischen Kontext // Hermann Bahr-Symposion: «Der Herr aus Linz» / Hrsg. v. M. Dietrich. Linz, 1987.

Wunberg 1981 — Wunberg G. Einleitung // Die Wiener Moderne / Hrsg. von G. Wunberg. Stuttgart, 1981.

В. С. Вахрушев
Балашов

«Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина как художественный текст

Творчество великого русского сатирика хорошо изучено¹. Есть труды, специально посвященные сказкам писателя (см.: *Базанов* 1966; *Бушмин* 1960; *Трифонов* 1964). Если в советское время этот автор представал как неустанный борец против самодержавия, то начиная с 1990-х гг. в его творчестве ищут прежде всего «общечеловеческие ценности». И это, безусловно, более верное направление, кстати, возникшее еще при жизни писателя, только развивается оно не всегда удачно². В настоящей работе мы хотим обратиться к поэтике сказочного цикла Щедрина, к жанровой природе входящих в него тридцати двух сказок.

Метод писателя включает в себя два направления: «классический» реализм XIX века, базирующийся на принципах правдоподобия («Господа Головлевы», «Пошехонская старина»), и реализм, условно говоря, «мифологический», то есть опирающийся на открытую условность и фантастику. Оба направления так или иначе взаимодействовали в творчестве писателя. При этом «условное» направление уходит своими истоками в мифологию, Библию, фольклор, смеховую народную культуру. Последняя же предполагает игру как один из своих ведущих принципов. Салтыков-Щедрин — это писатель **играющий**, SCRIPTOR LUDENS. Вот с этих позиций мы и хотим рассмотреть его сказки³.

Известный исследователь пишет: «Взятые в целом, „Сказки“ Щедрина представляют собою как бы единую сатирическую композицию, в которой каждое отдельное произведение связано рядом мотивов с другими» (*Бушмин* 1960: 79). Он же говорит о «Сказках» как о «малой сатирической энциклопедии для народа» (*Бушмин* 1991: 99). Принимая утверждение о единстве цикла, о взаимосвязи его частей, мы вряд ли согласимся с тем, что это

только сатира. Связь со смеховой культурой предполагает, что сатира писателя неотделима от юмора⁴. А сатира и юмор, в свою очередь, зачастую связаны с мотивами драматическими и трагическими⁵. В плане «универсального» охвата различных аспектов действительности «Сказки» писателя примыкают к жанру мениппеи, концепцию которой разработал М. Бахтин (*Бахтин* 1972: 192—201).

Мениппею не обязательно представлять себе в форме романа, она может быть и циклом отдельных небольших произведений, включающих в себя самые различные жанры. Именно так обстоит дело у Щедрина: его «Сказки» — это не только сказки, но и рождественские легенды, ироническое аллегорическое повествование («Добродетели и Пороки»), комические диалоги («Обманщик-газетчик и легковёрный читатель»), семейная драма в «басенной» форме («Чижиково горе»), сатирические портретные очерки («Либерал»), очерки бытовые («Деревенский пожар») и т. д. Щедрин сам включается в процесс уточнения жанровой природы своих вещей, обозначая их в подзаголовках: «Ни то сказка, ни то быль», «Разговор», «Поучение», «Сказка-элегия», «Предание». При этом авторские («субъективные») и литературоведческие определения жанра могут дополнять друг друга. Писатель отмечает, где считает нужным, слияние разных жанров в одном произведении. Подобное их смешение и взаимодействие находим почти в любой из сказок, как и во многих других его явно не сказочных по форме произведениях.

Что же касается мениппеи как объединяющего жанрового начала в цикле, то основные признаки ее, выделенные Бахтиным, таковы: «Сказки» — это повествование о тяжелейших испытаниях, которые проходят в самых разнообразных обстоятельствах Ум, Стыд, Совесть, Правда-Истина. Это единый художественный текст, в котором идут рука об руку фантастика в самых различных ее видах и реальность, доходящая до натурализма (физиологические детали в «Гиене», «Деревенский пожар» как физиологический очерк), где есть место эксперименту и абсурду, сатире, игре и юмору⁶.

В этой жанровой мениппейной пестроте Салтыков-Щедрин охотно следовал за фольклорной традицией. Ведь само определение жанра народной сказки до сих пор остается чрезвычайно трудным делом (*Гусев* 1967: 107, 123—127). Солидные указатели сказочных сюжетов, как правило, включают в себя произведения, которые являются не только сказками в их традиционной фольклористической классификации (бытовыми, волшебными,

о животных), но и баснями, анекдотами, притчами, легендами, байками, новеллами (*Барз* 1979: 7). При этом, поскольку писатель создает сказки литературные, он существенно видоизменяет традицию и включает в жанровый состав своих вещей неизвестные народному творчеству жанры-элементы газетной публицистики (фельетон, очерк), научно-популярные зарисовки («Гиена») и пр.

Опираясь на поэтику карнавальской низовой культуры, сатирик весело пародирует некоторые устойчивые приемы и формулы народной сказки, играет ими, что дает блестящий комический эффект. Ведь и фольклорная сказка, если на нее взглянуть с позиций структурализма, есть совокупность моделей, «порою приобретающих характер своеобразных „правил игры“» (*Мелетинский* 1969: 88). Игровое обращение с этими «правилами», практикуемое Щедриным, дает своего рода «игру в квадрате». Особенно это заметно при сопоставлении народных волшебных сказок с «Повестью о том, как один мужик двух генералов прокормил» и с «Диким помещиком». Прием волшебного «похищения» героя, внезапного перенесения его в иное царство⁸ здесь спародирован дважды, и каждый раз — в оригинальном игровом варианте. В «Повести» переносится на необитаемый остров сразу два генерала, и это удвоение создает юмористический эффект (усиленный к тому же абсурдными комическими обстоятельствами: откуда-то на острове появляется еще и «мужичина», есть там и русские газеты!). В «Диком помещике» ситуация перевернута: уносится в неведомые края не главный сказочный персонаж, а целая «масса» крестьян, от которых герой зависит. Комично подается автором и сказочное возвращение к исходному положению. «Необитаемый» остров оказывается одновременно утопией — местом полного изобилия — и своего рода «антиутопией» — местом, где генералы чуть не умирают от голода. В роли их волшебного помощника и спасителя выступает «громadнейший мужичина», в гротескном образе которого абсурдно соединяются несовместимые, казалось бы, начала: всемогущество (мужик покоряет любую стихию) и жалкое бессилие перед призрачной (хотя бы на острове) властью генералов. Не менее гротескно и смешно возвращение мужиков к Дикому помещику: они превращаются в летучий рой, который «посадили в плетушку и послали в уезд». Уже по этим двум примерам видно, как остроумно и легко Щедрин играет алогизмами на стыках фантастики и реальности⁹. Сказки его пронизаны абсурдом, но это абсурд самой российской действительности, только заостренный и подчеркнутый, гиперболизированный.

рованный пародийно-сказочными приемами, фантастическим юмором и сатирой писателя¹⁰.

Вопреки фольклорной традиции, далеко не все сказки Щедрина заканчиваются «счастливо». Наоборот, в большинстве произведений цикла сказочные персонажи, выступающие в человеческом облике, а чаще под масками животных, погибают. Вообще мрачные драматические и трагические мотивы неотделимы от жанра мениппеи, ибо смерть, как и смех, есть крайние стадии испытания идеи. Особенно это заметно у Щедрина по религиозно-мессианистскому обрамлению цикла, в который входят сказка «Пропала совесть» (вторая по счету от начала) и финальная «Рождественская сказка». «Пропала совесть» резко отличается от соседних с ней сказок о генералах и Диком помещике. Там была сатира, соединенная с карнавальным юмором, а в «Совести» дана развернутая моральная аллегория, оживленная комическими бытовыми и социально-психологическими зарисовками. Она кончается на торжественной и возвышенной ноте: Совесть надеется, что сможет возродиться в полную силу в сердце «неповинного младенца». И Щедрин провозглашает по-библейски: «Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком... И исчезнут тогда все неправды...» Смысл этого пассажа ясен: новый мессия должен родиться и спасти страну. Но «Рождественская сказка» отодвигает эту надежду на далекое будущее. Ибо мальчик Сережа Русланцев, сердце которого преисполнилось правды, жажды высшей и полной справедливости, не выдержал возлагавшихся на него надежд. Он рос «болезненно впечатлительным», его религиозная экзальтированность не вынесла напора житейской обыденности. Мальчик умирает, устремляясь в последнем порыве к Богу, и эта драматическая сцена напоминает смерть маленького Поля из романа Диккенса «Домби и сын». Сережа лепечет: «Мама!... смотри! весь в белом... это Христос... это Правда... Правда мелькнула перед ним и напоила его существо блаженством; но неокрепшее сердце отрока не выдержало наплыва и разорвалось»¹¹. Ни о какой сатире, ни о каком юморе в этой сказке нет и речи., но в том и особенность мениппейного искусства, что оно соединяет юмор и сатиру с совершенно иными мотивами. Как выразился сам Щедрин в письме к А. Н. Пыпину по поводу «Истории одного города», «это даже и не смех, а трагическое положение» (*Щедрин* 1982: 307). Это не случайный, а один из главных мотивов цикла, связанный с поиском правды, справедливости, истины, добра и красоты. Об этом в общем плане упоминает В. В. Прозоров, ко-

гда он пишет об «общечеловеческих ценностях», входящих в идеал Салтыкова-сказочника (*Прозоров* 1989: 3).

В «Сказках» тема поиска истины, добра занимает важнейшее место. Многих персонажей цикла мучает совесть. Таков «бедный волк», отягощенный своей «проклятостью» и идущий навстречу «смерти-избавительнице». Таков в известной степени даже царствующий «орел-меченат», которому «опостылело жить в отчуждении». Вплоть до гибели своей надеется на торжество справедливости Карась-идеалист. Нечего и говорить о страдающем Иване-Дураке, о «баране-непомнящем», которого одолевали смутные и таинственные видения иной, явно не «бараньей» жизни. Все эти мечты, идеи, устремления носят действительно общечеловеческий характер — ведь они в равной почти мере присущи как представителям верхов, «хищникам», так и «маленьким» людям (=животным). «Правдоискателей» своих писатель чаще всего — но не всегда! — наделяет и смешными чертами. Особенно хорош в этом плане «баран-непомнящий», причем это гротескное соединение юмора с высоким пафосом глубоко органично и традиционно. В мифологиях народов мира типичной является фигура трикстера-шута и одновременно культурного героя (*Элиаде* 1997: 85, 95, 104).

Столь же характерным для жанра мениппеи является трагический мотив смерти. Эта грозная, неумолимая сила преследует персонажей сказок — так же, как мучают их различного рода неудачи — житейские, матримониальные, социальные, исторические. Надрывается на пахотном поле Коняга — это гротескное басенно-сказочное воплощение русского крестьянина. Щедрин в первой части посвященного ему произведения создает целое лирическое стихотворение в прозе, не уступающее по силе образов Гоголю и Тургеневу: «Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей... Нет конца полю, не уйдешь от него никуда!» Здесь лирика, грустная поэзия загадочного и грозного русского поля, здесь и философское осмысление его: «Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти и в жизни первый и неизменный свидетель — Коняга».

Смерть не щадит никого — ни «премудрого пискаря», ни «бедного волка», ни даже умного лесного воеводу Топтыгина 3-го: «...тут явились в трущобу мужики-лукаши... И постигла его участь всех пушных зверей». Съедена каким-то «рьяным клеветником» благонамеренная Вяленая вобла, разодрана Орлом-меченатом ученая Сова, «машинально» проглочен шукою Карась-идеалист, кукольный Мздоимец живьем «жрет» гуся. Можно сказать, что все сказочные персонажи принимают самое активное

«участие в общей жизненной драме», которая одновременно является и трагедией, и комедией. Этот мрачный мотив накладывает свой зловещий отпечаток на весь сказочный цикл писателя, окрашивает его сатиру в грустные тона, делает его искрометный юмор зачастую «черным».

Вот эти особенности щедринского сатирико-юмористического искусства еще недостаточно учитываются при анализе его «Сказок». Современник писателя критик А. М. Скабичевский говорил, что Щедрин в них «созерцал жизнь в ее общих и существенных элементах» и поэтому он «выступил сатириком человеческой жизни в ее вековом укладе, обнаружил глубокое знание человеческого сердца» (цит. по: *Денисюк* 1905: 155). В. Кирпотин был возмущен такой оценкой: какое там «знание сердца», какое «созерцание»? Нет, сатирику положено бичевать социальные пороки русской монархии и только (*Кирпотин* 1955: 484—492). Как будто одно противоречит другому. На самом же деле сатирико-юмористический метод писателя только тогда и имеет высокую художественную ценность, когда он обогащен общечеловеческими мотивами, когда в нем взаимосвязаны идеи философские, остро социальные, гуманитарные в широком смысле слова.

Для доказательства этого тезиса рассмотрим чуть подробнее ставшую хрестоматийной сказку «Премудрый пискарь». До недавнего времени было принято толкование ее, сформулированное А. С. Бушминым: в образе «пискаря» и ему подобных персонажей Щедрин «выставил на публичный позор малодушие той части интеллигенции, которая в годы политической реакции поддавалась настроениям постыдной паники», автор показал «поведение и психологию „среднего человека“, запуганного правительственными преследованиями» (*Щедрин* 1974: 420). С этим можно согласиться, но не мешает посмотреть на образ «пискаря» и шире. Это не только злая сатира на трусливых людей, но и сочувствие к ним, ибо они обречены на «прозябание» самой жизнью и собственной природой. Бичуя их, писатель этим боролся и против невольного чувства опасности, свойственного и ему самому. Недаром в цикле «Недоконченные беседы» (1875) сатирик говорил: «Я — русский литератор и потому имею две рабские привычки: во-первых, писать иносказательно и, во-вторых, трепетать» (*Русские писатели* 1954: 526). Разумеется, в этих словах есть ирония, но ирония печальная. Щедрин не исключал и себя из объектов сатиры, как это принято в народной смеховой культуре. «Премудрый пискарь» — это злая и горькая насмешка над нашими стра-

хами и прежде всего над страхом смерти, а о ней-то писатель думал постоянно.

Но почему «пискарь», а не «пескарь»? Ведь Даль специально отмечает, что форма на «и» в этом слове ошибочна (*Даль* 1882: 103—104). У Салтыкова вообще индивидуальный авторский стиль, своя лексика. Возможно, особой орфограммой он хотел скаламбурить: «пискарь-писк», жалкий писк беззащитного существа. Или это особенность тверского крестьянского говора? Злая ирония заложена в эпитете «премудрый» — какая уж тут мудрость! Но в действие, как всегда у сатирика, вступает принцип художественной игры. Ясно понимая, что «рыбий» образ — лишь аллегория человека, мы в то же время вместе с писателем «лавируем» между этим «рыбьим» и человеческим мирами, которые как будто для того и созданы здесь, чтобы прихотливо отражаться друг в друге. Замечателен в этом плане рассказ пискаря-отца о рыбной ловле. Вытаскивание невода, варка ухи — все показано «с точки зрения» рыбы. Это условность, но такая, в которой есть и правда, — правда поведения рыбы в момент опасности. Ни щука, ни окунь не едят пискаря, находясь в неводе. «В ту пору не до еды, брат, было! У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает... Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное... Слышит — „костер“, говорят...». Так и чувствуешь себя в положении этой несчастной трепещущей рыбешки, так и видишь этот жуткий неведомый «костер»... И, как дает понять писатель, только действительно умная рыба (=человек) могла осознать и всей душою пережить великий страх от массовой гибели этих щук, окуней и прочих рыб в непонятной им «ухе». Художник с грустным юмором добавляет: «И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха.., однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!» В этой фразе не только шутка, но и трезвое наблюдение знатока природы: у живых существ чувство опасности не гипертрофировано, иначе они не могут вести нормальный для них образ жизни. А вот пискарь-сын оказался действительно «премудрым» и запомнил катастрофу, в которой отец лишь чудом выжил. И эта катастрофа перепрограммировала всю жизнь «премудрого». Говоря проще, она его пришибла и сделала несчастным на всю оставшуюся жизнь. Он одинок, жалок, немощен, никому не нужен. Его «премудрость», сузившаяся до обостренного чувства самосохранения, обернулась глупостью; недаром прочие рыбы зовут его остолопом, дураком, «страмцом».

Но одно ли презрение вызывает подобный персонаж? Не только. Он внушает и жалость. Вечно голодный, иззябший, ослепший, он и сам начинает ждать, «когда же голодная смерть... освободит его от бесполезного существования».

Правда, сатирик не шадит своего «премудрого» пискаря и в самый момент его бесславной кончины, когда несчастному снова снится соблазнительный сон, «выиграл будто бы он двести тысяч...». Но и жалкая смерть есть все-таки **смерть** страдальца, неселое событие.

Вполне возможно, что Салтыков-Щедрин, здоровье которого в 1880-е годы сильно пошатнулось, все больше стал задумываться тогда о приближающейся кончине, и эти личные настроения заставили его отвести так много места теме смерти в цикле сказок. Этот личный момент способствовал обогащению сказочной мениппеи Щедрина, в которой неразрывно переплелись острая социальная сатира и общечеловеческие философские мотивы: вечный поиск справедливости в мире насилия и лжи, с одной стороны, и оппозиции «жизнь — смерть», «смех — страдание», с другой.

Иронический эпитет «премудрый» относится не только к несчастному пискарю. «Премудрым» назван верный пес Трезор, «преумным» — «здоровомысленный» заяц. И с ними судьба ведет злую игру, неуклонно обрекая их на смерть, так что сатира писателя и в этом случае неотделима от сочувствия сказочным героям. Пес и заяц смешны, забавны, нелепы и алогичны в своих мыслях и поступках, но есть в их поведении и обыкновенная житейская логика маленького человека, которому всегда сочувствовала русская литература. Пес Трезор это, конечно, хозяйский холуй, но холуй бескорыстный, наивный. Он трогателен в своих примитивных собачьих радостях, в своем глупом честолюбии и других мелких слабостях. Он жалок, беспомощен и несчастен в старости, когда хозяин, купец Воротилов, любивший по-своему Трезорку, брезгливо провозглашает: «Собаке — собачья и смерть... Утопить Трезорку!» Тут вспомнишь и «Муму» Тургенева. Зато с каким озорством ведет свою литературную игру писатель в этой сказке! Смешивая, как обычно, два плана повествования — «зоологический» и «человеческий», — сатирик извлекает из неожиданных переходов от одного уровня к другому удивительные комические эффекты. Тут царят алогизмы: Трезор то ли человек, то ли собака, то он действительно умен, то глуп невероятно. Его речь — это забавная помесь собачьего лая и ворчания с членораздельными фразами: «Рады стараться, ваше степенство!... хам-ам!»

Может пес и по-латыни выразиться: «Mea culpa! Mea culpa!» Знать, учился наш пес в семинарии. «Сколько раз и воры сговаривались: „Поднесемте Трезорке альбом с видами Замоскворечья“; но он и на это не польстился.

— Не требуется мне никаких видов, — сказал он...» Комизм ситуации строится на алогизме: воры рассматривают пса как человека, он и отвечает им по-человечески, но охраняет двор как преданная хозяину собака.

Обратим внимание еще на один важный аспект мастерства Щедрина — на психологизм его сатиры. Сам писатель как будто отказывался от него. В 1868 году, начиная работу над «Сказками», он пишет: «...гоголевская сатира сильна была исключительно на почве личной и психологической; ныне же арена сатиры настолько расширилась, что психологический анализ отошел на второй план» (Щедрин 1982: 185). Поначалу так оно и было, в его первых трех сказках психологизм действительно не играет особой роли, хотя и не исчезает совсем. Но уже в «Игрушечного дела людюшках» (1880) внимание писателя к внутреннему миру человека заметно усиливается: Щедрин желает проникнуть в душу человека «настоящего», живого, которому ведомы боль, огорчение, страх. И сатирик переживает «какое-то щемящее чувство, не то чтобы грусть, а как бы оторопь» от сознания того, что эти живые люди на его глазах превращаются в кукол, замыкаются в каком-то «совсем оголтелом царстве, где все в какой-то оцепелой безнадежности застыло и онемело». Теперь сатирика занимает жуткий социально-психологический феномен отчуждения, когда обычный человек становится одновременно и «куклой», бесчувственным механическим существом¹². Теперь художника снова занимают проблемы анализа души человеческой, ее противоречий. Но поскольку он сатирик прежде всего, поскольку перед ним то ли люди, то ли куклы (=животные, птицы, рыбы), то и психологизм обретает у Щедрина особые комически-игровые формы. Он не то чтобы уходит в подтекст, но как бы маскируется под веселое комикование. Так, в «Чижиковом горе», на первый взгляд, автор рисует забавные картинки из жизни игрушечного человечье-птичьего царства: чижик женится на канарейке, «скворцы величальные песни пели, а для наблюдения за порядком полицеймейстер отряд копчиков прислал». Но в формах простенького фарса разыгрывается серьезная семейная драма, драма маленького человека. Чижик, он же майор интендантского ведомства, честный и туповатый служака, «обыватель, какого лучше не надо», терпит крах в своих

упованиях на скромные семейные радости. Канарейка обманывает и разоряет его. «Может быть, она поступала так с умыслом, желая повредить чижику душу; но может быть, и без умысла, „так“. Душа канарейки — потемки, и ни один мудрец не разберет, где в ней кончается грациозное порхание мысли и где начинается мучительство». Разве в этих окрашенных веселой и горькой иронией фразах нет сходства — по существу, а не по форме — с анализом «психологических бездн», скажем, в прозе Достоевского? Тем более что этого писателя Щедрин особенно ценил за умение изображать человека во всей его душевной глубине. Хотя и порицал за «дешевое глумление над так называемым нигилизмом». У автора «Идиота» и «Бесов» сатирик видел, с одной стороны, «лица, полные жизни и правды», а с другой, «какие-то загадочные и словно во сне мечущиеся марионетки» (Щедрин 1982: 272—273). Упрек сатирика можно не принимать, но относительно его собственных сказочных «марионеток» заметим, что они по-своему и карнавалльно-условны и в то же время «полны жизни и правды». Проглядывает в них иногда и, несомненно, близкая манере Достоевского, обостренная до болезненности чувствительность, некоторое отклонение от психической нормы (понятия, все более размываемого в XX в.). Таковы все правдолюбцы и правдоискатели из щедринских сказок, включая сюда и «барана-непомнящего», одержимого неясными видениями. Таков и «здравомысленный» заяц (писатель, видимо, для усиления комического эффекта переделал на свой манер слово «здравомыслящий»). Алогична уже первая фраза, его характеризующая: «Хоть и обыкновенный это был заяц, а премуный». Еще лучше вторая фраза, дезавуирующая первую: «И так здраво рассуждал, что и ослу впору». Тут же приводятся образцы зайцевых рассуждений, в которых пародийно изложена дарвинова теория борьбы за существование. Заяц — искренний либерал и сторонник лейбницеvской идеи «все к лучшему в сем лучшем из миров», так что поедание зайцев хищниками считает делом весьма полезным для заячьего рода. Но все это были лишь его теоретические выкладки, а когда дело дошло до столкновения с лисой, то бедный зайчишка порядком струхнул, хотя и пытался храбриться. Писатель великолепно расписывает психологическую партитуру диалога хищницы с ее жертвой. Это, можно сказать, игра в одни ворота: «диспут» предрешен, заяц будет съеден. Лиса играет ради удовольствия: она то слегка кусает зайца, то дискутирует с ним, то всерьез (хотя и опять-таки шутя) злится на него: « — Вот ты какой лгун! — сказала она. —

Мне про тебя и невесть чего наговорили: и философ-то ты, и сердцевед-то...» Бедный заяц ведет себя мужественно: у него хватает силы духа на то, чтобы вести с лисою долгий разговор, он «старается как можно меньше робеть», но мысли его лихорадочно мечутся, он говорит и говорит — в пустой, но все-таки теплящейся надежде: а вдруг ему повезет! Чем дальше, тем больше беседа превращается в пытку для зайца — лиса кусает его все больше, но зайчишка и тут не теряет самообладания, хотя силы его уже на исходе. Впрочем, как сказать: «не теряет»? В самый страшный момент, когда лиса прямо заявила, что будет его есть, «у него тогда же в уме мелькнуло: «Вот оно, заячьё-то житье...»- но ему смерть не хотелось даже самому себе признаться в этом». Сцена последнего «раунда» садистской «игры» лисы с жертвой написана жестко, без всяких сантиментов. Щедрин выступил в этой сказке как блестящий психолог, умеющий передавать тончайшие оттенки поведения и мыслей персонажей в остро драматической ситуации. И конечно же, он не только дает сатиру на «здравомысленного» и благодушного пустозвона-либерала, но и вызывает в читателе жалость к нему как к жертве хищника.

Либералов Щедрин, что называется, на дух не переносил, но всегда ли справедлив был его великий гнев против них? Вряд ли. Да и он сам, как мы видим, когда заходила речь о «либералах» — живых людях, пусть и рисуемых им в облике животных, мог им сочувствовать. Другое дело, когда сатирик создает некий обобщенно-абстрактный образ Либерала вообще, собирательный тип, в котором сгущено все плохое, что может художник о нем сказать. Так обстоит дело в сказке, которая и называется «Либерал». Этот гротескный персонаж, полукукла и получеловек, только смешон и вызывает к себе, кроме смеха, лишь презрение: его чувства и мысли предельно механистичны. Ничего, кроме омерзения, не вызывает и щедринская Гиена, образ которой складывается из трех компонентов: зоологического (окрашенного юмором писателя), «волшебного» (иронический рассказ о ее «чарах»), публицистического (гневная филиппика сатирика против «гиенства»).

Но чем ближе к концу приближался цикл «Сказок» (а писатель собирался еще и дополнить его), тем реже звучал щедринский смех, тем мрачнее становился колорит его повествования. В цикле усиливается и мотив правдоискательства. Жанр мениппеи предполагает: поиск Истины перед лицом смерти — это по истине метафизическая экзистенциальная ситуация.

В свое время Радишев писал:

В различных видах смерть летает
Над гордою главой царя

Ода «Вольность»

У Салтыкова-Щедрина смерть в «различных видах» не щадит никого — ни правых, ни виноватых. Сходит с ума и удаляется бродить, «должно быть, по святым местам» крестьянка Татьяна. У нее во время пожара погиб сын, тело которого превратилось в безобразную черную массу» («Деревенский пожар»). Давно сгнил в дупле Богатырь, в образе которого критики усматривают сатирическую аллегория самодержавия. «Безобразная человеческая масса» качается на осине. Писатель нагнетает натуралистические детали. Это тело повесившегося Иуды. Смерть не искупает его греха. Умирает и безгрешный мальчик Сережа Русланцев, чье сердце разорвалось из-за переполнившей его любви к Правде. Чувствует себя как бы заживо погребенным («душа его была запечатана») литератор Крамольников, горячо и страстно преданный своей стране. Ни о каком юморе, пусть даже и о «черном», нет и речи перед лицом этой неумолимой силы Небытия.

Но и в такой, казалось бы, безысходной ситуации писатель оставался великим гуманистом, верящим в светлые идеалы. Гибель сына заставляет крестьянку Татьяну идти по святым местам, обратиться свои мольбы ко Христу. Сам Господь (в предании «Христова ночь») воскресает, чтобы проклясть предателя, и благословляет «землю и воды, зверей и птиц». И пусть сопоставление прозвучит несколько «кошунственно», но и сам писатель в известной мере уподоблялся изображаемому им Богу. Он проклинал человеческие пороки и сочувствовал им же показанным людям, зверям и птицам.

Щедринский Христос обращается к людям: «Я разорвал узы смерти, чтобы прийти к вам, слуги мои верные, сострадалцы мои дорогие!» И хотя много на земле всякого нечестия, но немало и выполняющих Божью волю. Таков старый Ворон-челобитчик. Таков Коршун, который пророчествует (в сказке «Ворон-челобитчик»): «Объявится настоящая, единая и для всех обязательная Правда; придет и весь мир осияет». Но как же еще долг и мучительно труден путь к этой (возможно, утопической, добавим от себя) Правде! В «Приключении с Крамольниковым», характерно обозначенным как «сказка-элегия», писатель, по существу, дает автопортрет. Здесь смешались многие жанры: пыт-

ливый самоанализ личности писателя, его раздумья о роли художника в обществе, о писательстве вообще и о месте творца именно в русской «пошехонской» жизни, рассказ о встречах его со знакомыми и, наконец, горько-иронический постскрипtum, как бы «снимающий» серьезность затронутых проблем (мол, «все написанное выше — не больше как сказка»), а на самом деле только эту серьезность подчеркивающий. В этой «сказке» о самом себе писатель с горечью задумывается о том, нужен ли вообще его писательский труд, не становится ли он напрасным из-за отчуждения между автором и его публикой. «Твой труд был бесплоден, — размышляет Крамольников, alter ego автора. — Ты протестовал, но не указывал ни того, что нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие». Конечно, насчет изображения гибели людей — в своем ли облике или под маскою животных — насчет сочувствия к ним автор упрекал себя зря. Мы неоднократно убеждались, что этим гуманным чувством пронизан весь цикл. Более того, сатирик показал, что и он подчинен этим законам жизни и смерти, так что общечеловеческие проблемы, как и вопросы остро социальные, ему совсем не чужды¹³.

В «Сказках» Салтыкова-Щедрина, как в истинной мениппее, сталкиваются и взаимодействуют смех и горе, злая сатира, игра, абсурд и христианские мотивы милосердия, мрачные раздумья о беспощадном роке и надежда на светлое будущее, отчаяние и упорный поиск правды, справедливости, обетованного царства любви и братства всех людей¹⁴.

В качестве постскриптума добавим интересный факт: в сталинской России ни о какой подцензурной «эзоповой» сатире, о «насмешках вечных над львами, над орлами» не могло быть речи. После же смерти вождя народов Вен. Ерофеев решился в своих «Записках психопата» сочинить сказку, в которой традиция Салтыкова-Щедрина явно ощутима (*Ерофеев* 2000, 110—116). Это сказка без заглавия о некоем «Птичьем острове», где история царствования Горного Орла (намек на Сталина) и сменившего его Пингвина (в котором угадывается Хрущев) рассказана по-щедрински остроумно, в язвительно-игровой манере и с грустью за птиц — воробьев, грачей, кур, стоически претерпевающих все «исторические» издевательства над собою. Некоторыми своими чертами фигура ерофеевского Орла явственно похожа на Орла-мецената из щедринской сказки. Заметна и разница между двумя авторами — в стиле, в художественных прие-

мах. У Ерофеева более значительную роль играют словесные каламбуры, подчас излишне педалируемые. Такова сцена, где Горный Орел зовет свое птичье войско на войну: « — Снова злые коршуны заносят над миром освобожденных пернатых ястребиные черные когти! Будьте же орлами, бесстрашные соколы! Ни пуха вам, ни пера!

...Воинственно нахохлились воробьи и стрижи. То и дело раздавались возгласы:

— Дадим им дрозда!»

Возможно, Ерофеев знал о памфлете-сказке Дона Аминадо (Шполянского) «О птицах», где был высмеян пролетарский Буревестник-Горький. Во всяком случае, в сказке о «Птичьем острове» эта фигура и «остров с чрезвычайно глупым названием „Капри“» упомянуты. Вообще же, традиция щедринской сказочно-комедийной манеры в русской литературе XX века — это тема, ждущая своего исследователя.

Примечания

¹ См. работы В. В. Гиппиуса, А. Жук, Б. В. Кондакова, С. А. Макашина, В. А. Мыслякова, Д. П. Николаева, Е. И. Покусаева, В. А. Туниманова и других авторов

² Вряд ли можно согласиться с автором, который видит «вечные темы и сюжеты» щедринских сказок только в «глубинной связи» их с Библией и даже в образе Дикого помещика усматривает «черты трагического героя» (*Шаврыгин* 1993: 41, 43).

³ Понятие игры чрезвычайно трудно для точного определения. Опираясь на мысли Роже Кайюа, мы понимаем игру как совокупность вероятностных процессов, в которых набор определенных правил (закономерностей) диалектически взаимодействует с известными степенями свободы (хаоса). В ходе игры возможны взаимопревращения ее участников и объектов (*Кайюа* 1980: 6—8).

⁴ «Зацикленность» некоторых исследователей на сатире приводит часто к тому, что сказки Щедрина воспринимаются лишь как «сатирические миниатюры» (*Трифонов* 1964: 7).

⁵ Об «универсальном» юморе, включающем в себя лирику, драму, трагедию, не раз говорил У. Теккерей (*Thackeray* 1904: 326).

⁶ Болезнь и смерть помешали Щедрину создать цикл очерков-эссе о терминах-понятиях Ум, Честь, Совесть, Истина. Подобное произведение, видимо, стало бы метатекстом в творчестве писателя.

⁷ Темой отдельной работы может стать сопоставление многих славянских сказок с щедринскими. Наметим ряд параллелей, обозначая слева фольклорный сюжет, справа — название сказки Салтыкова: «Правда и Кривда» — «Пропала Совесть», «Самоотверженный паук» — «Самоотверженный заяц», «Судья праведный» — «Недреманое Око», «Покаяние разбойника» — «Бедный волк» (*Бараг* 1979: 99, 124, 190, 203).

⁸ О сюжетных функциях и типах героев волшебной сказки см.: *Пропи* 1969.

⁹ Только П. Вайль и А. Генис указывают, да и то мимоходом, на связь щедринского юмора с литературой русского абсурда XX века (*Щедрин* 1999: 650). Они наметили объект увлекательного исследования.

¹⁰ Как образец щедринского игрового юмора с оттенком абсурда возьмем первую фразу «Повести о том...», которая открывает и цикл сказок в целом: «Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по шучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове». Какую связь между «легкомыслием» генералов и «необитаемым островом» (на котором к тому же **обитают** «мужичина») усматривает рассказчик? Может быть, чисто каламбурную: «ЛЕГКОМЫСЛЕННЫХ» персонажей легко и перенести куда угодно. Это предположение подтверждается присказкой повествователя «по шучьему велению, по моему хотению». Произнося эту формулу, автор-рассказчик юмористически уподобляет себя Емеле, сказочному озорнику и выдумщику.

¹¹ Цитаты из сказок писателя даются по изданию: *Щедрин* 1974.

¹² Различные формы соединения кукольного и человеческого в щедринских образах блестяще проанализированы: *Гиппиус* 1966.

¹³ Чрезвычайно интересными представляются связи некоторых идей и образов Щедрина с рассуждениями поэта и философа Вл. Соловьева (см.: *Ауэр* 1993).

¹⁴ Хорошо, что на современном этапе щедриноведение возвращается к лучшим своим традициям, проявившимся как уже при жизни писателя, так и в XX веке. С. Ф. Дмитренко в книге, предназначенной для школы, поместил после текстов сатирика удачную подборку из работ А. Н. Пыпина, В. Гиппиуса, Ю. Айхенвальда, критика А. И. Введенского, П. Вайля и А. Гениса, посвященных анализу творчества писателя (*Щедрин* 1999: 619—653). Но здесь не обошлось и без ложки дегтя. Заключительная статья Е. Демиденко «О преподавании сказок Салтыкова-Щедрина в седьмом классе» наряду с разумными положениями и добротными методическими рекомендациями содержит ряд нелепостей, утрирующих «перлы» советского литературоведения: «если в народных сказках... животное часто воплощает какую-то человеческую черту, то у Щедрина, как правило, оно — представитель какого-то социального уровня»; «в народной сказке, как правило, выражена некая мораль, показан идеал, у Щедрина же такой идеал отсутствует, а есть предмет сатиры»; в сказках писателя «есть несоответствие формы содержанию. Форма сказки, а содержание политическое» и т. п. (*Щедрин* 1999: 705 —712).

Традиция упрощенного социологизаторского подхода к сказкам, к сожалению, чрезвычайно живуча в нашем школьном литературоведении, чему примером служит и книга П. Э. Лиона и Н. М. Лоховой (*Лион, Лохова* 2000, 334—337). Из всей поэтики сказок Щедрина у этих авторов остаются гротеск, гипербола, «почти лубочно (! — В. В.) выполненные метафоры», пародия и «приверженность басенной традиции», акцент на социальной проблематике и сатира. Такой «социально» препарированный Щедрин почему-то противопоставлен авторами Чехову, у которого как раз обнаруживаются «общечеловеческие» (почему-то в кавычках. — В. В.) этические и экзистенциальные проблемы. У Щедрина, выходит, их нет.

Что сказал бы великий сатирик, прочитав такое о своих сказках «для детей изрядного возраста»?

Библиография

- Ауэр* 1993 — Ауэр А. П. Салтыков-Щедрин и поэтика русской литературы второй половины XIX века. Коломна, 1993.
- Базанов* 1966 — Базанов В. И. «Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина. М.; Л., 1966.
- Бараг* 1979 — Бараг Л. Г., Березовский И. П. и др. Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка. Л., 1979.
- Бахтин* 1972 — Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 3-е. изд. М., 1972.
- Бушмин* 1960 — Бушмин А. С. «Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина. М.; Л., 1960.
- Бушмин* 1991 — Бушмин А. С. Салтыков-Щедрин // История всемирной литературы: В 9 т. М., 1991. Т. 7. С. 96 — 105.
- Гиппиус* 1966 — Гиппиус В. Люди и куклы в сатире Салтыкова-Щедрина // Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966.
- Гусев* 1967 — Гусев В. Е. Эстетика фольклора. Л., 1967.
- Даль* 1882 — Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1882. Т. 3. С. 103—104.
- Денисюк* 1905 — Денисюк Н. Критическая литература о произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина. М., 1905. Вып. 5.
- Ерофеев* 2000 — Ерофеев Венедикт. Записки психопата. Москва — Петушки. М., 2000.
- Кайюа* 1980 — Кайюа Роже. Что такое игра? // Курьер ЮНЕСКО. 1980. № 2. С. 6—8.
- Кирпотин* 1955 — Кирпотин В. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. М., 1955.
- Лион, Лохова* 2000 — Лион П. Э., Лохова Н. М. Литература для школьников старших классов, поступающих в вузы. М., 2000.
- Мелетинский* 1969 — Мелетинский Е. М., Неклюдов С. Ю. и др. Проблемы структурного описания волшебной сказки // Семиотика: Труды по знаковым системам. Вып. 4. Тарту, 1969.
- Прозоров* 1989 — Прозоров В. В. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. М., 1989.
- Пропп* 1969 — Пропп В. Я. Морфология сказки. 2-е. изд.. Л., 1969.
- Русские писатели* 1954 — Русские писатели о языке. Л., 1954.
- Трифонов* 1964 — Трифонов И. Т. «Сказки» Салтыкова-Щедрина: Пособие для учителей. М., 1964.
- Шаврыгин* 1993 — Шаврыгин С. М. Вечные темы и сюжеты в «Сказках» Салтыкова-Щедрина // Литература в школе. 1993. № 6. С. 40—47.
- Щедрин* 1974 — Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1974. Т. 16. Кн. 1.
- Щедрин* 1982 — Салтыков-Щедрин М. Е. Литературная критика. М., 1982.
- Щедрин* 1999 — Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города. Господа Головлевы. Сказки / Сост., предисл. С. Ф. Дмитренко. М., 1999.
- Элиаде* 1997 — Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований. М., 1997.
- Thackeray* 1904 — Thackeray W. M. Critical Papers in Literature. London, 1904.

«Мета-балаган» как новая театральная форма (Пьеса Л. Н. Лунца «Обезьяны идут»)

Авангард реализовывался в разных художественных жанрах посредством новых экспериментальных форм, упраздняющих предыдущие традиции. Подобные формальные эксперименты были широко представлены в сфере драматического искусства, которое было особенно эффективно для выражения революционной идеологии и возбуждения интереса у публики. Эпоха революции была временем наиболее интенсивного развития авангардного театра. В ожидании наступления послереволюционного утопического мира находили осуществление такие художественные проекты авангарда, как эстетизация жизни, театрализация жизни и др. Однако установка авангардистов на утопическое довольно рано начинает обнаруживать некоторые черты самоотрицания (см.: *Лунатов* 1993; *Billington* 1970; *Groys* 1988).

Пьеса Л. Н. Лунца «Обезьяны идут» написана в начале 1920-х гг.¹ и никогда не ставилась на театральной сцене (*Clayton* 1994: 190). Тем не менее она отмечена характерными для русского авангардистского театра этого периода экспериментальными элементами. Но в то же время в ней присутствует рефлексия над революцией, послереволюционной реальностью и самим революционным агитационным театром авангарда. Написанная на пике развития авангардистского искусства и одновременно заключающая в себе рефлексию и иронию над ним, пьеса Л. Лунца обнаруживает свойство, отличающее ее от ставшей уже традиционной авангардистской агитационной драмы. Один из главных приемов авангардистского театра — пропагандистский балаган — в пьесе «Обезьяны идут» достигает кульминации и одновременно отвергается. Уникальность пьесы обусловлена ее особой театральной структурой, по социальному и внутрилитературному требованию

образуемой отрицанием, преобразованием и взаимным проникновением драматических приемов, таких как балаган и театр-в-театре, доминировавших в русском театре начала XX в. Для изображения изменившегося мира должна была изменить себя также и художественная форма.

* * *

Прежде чем обратиться к непосредственному рассмотрению особенностей структуры пьесы «Обезьяны идут», необходимо напомнить об основных чертах, характерных для театра начала XX в.

Благодаря введению Гегелем историко-диалектического метода в эстетику стало возможным осознание диалектического соответствия между содержанием и формой. Более того, на основе проекции исторического фактора в область художественных форм происходит историзация самой науки о жанрах. По Гегелю, настоящее художественное произведение — то, в котором совпадают содержание и форма. Содержание — не отсутствие формы, а нечто, заключающее в себе форму. В конечном счете, содержание — не что иное, как инверсированная форма, а форма — инверсированное содержание. Эта мысль Гегеля, ставшая уже общим местом, тем не менее весьма существенна. Почти все новые литературные формы возникали в момент исторического поворота, и в измененных историко-социальных условиях жанры литературы тяготели к самообновлению.

История драмы также свидетельствует об изменении формы, проходившем параллельно с изменением содержания. Обычно западно-европейскую драматургию и эстетику исследовали под знаком влияния греческой трагедии и аристотелевской «Поэтики». Но история западного театра демонстрирует существование еще одной драматической формы, которую невозможно объяснить в категориях аристотелевской драмы. Эти постоянно существовавшие и оказавшие еще большее влияние на современный театр драматические структуры принято определять как «неаристотелевские драмы». Формы этих неаристотелевских драм были необходимы для более полного выражения их содержания, ибо аристотелевские драмы трагического жанра не соответствовали картине мира христианского средневековья. Например, средневековые религиозные драмы должны были отразить вполне определенные евангельские сюжеты. Мистерии Кальдерона так же, как массовый фестивальный театр, включали в себя библейские аллегории. Дидактический иезуитский те-

атр вобрал в себя ту же форму неаристотелевского театра, чтобы соответствовать новой повествовательной задаче — рассказу о жизни грешников.

Традицию неаристотелевских драм наследовал и театр романтизма. В пьесе «Кот в сапогах» Л. Тика детская сказка дает повод для критики Просвещения и современного театра. В результате разрушения всякой театральной иллюзии обнаруживается, что как сказочный, так и реальный пласты действия являются всего лишь театром. И в драмах Г. Бюхнера пессимистический взгляд на французскую революцию выражается при помощи неаристотелевской драматургии. В его пьесах, сатирически изображающих театральность человеческой жизни, представление о жизни как о комедии пародируется и отвергается. Человек в контексте исторических событий бессилён, и он действует как марионетка².

В современной драме такая тенденция углубляется еще больше. Древнегреческий мир был цельным и завершенным. В универсуме, в котором сосуществовали человек и боги, была возможна единая и совершенная греческая трагедия. Но в современном мире, где Бог больше не присутствует непосредственно, у человека остаются только онтологическая тоска или ощущение абсурда. Драмы, которые рисуют современных людей, по необходимости стали абсурдистскими. Такие темы, как замкнутость человека внутри своего «я», обращенность к прошлому, бездеятельность человека, невозможность коммуникации между людьми, отчуждение и пустота, обесмыслили аристотелевскую драматургию, опирающуюся в своей «модели мира» на древнегреческое совершенное мироздание. Противостоящая театру реализма новая тенденция в европейском театре конца XIX — начала XX в. также опиралась на принципы неаристотелевских драм. Писатели того времени заимствовали из немецкой романтической драмы прием монтажа и ввели в театр цирковые элементы — акробатические номера, танцы, пантомиму, которые раньше воспринимались как инородные серьезному театру. Театральное действие часто превращалось в легкий водевиль, где, в отличие от театра реализма, подчеркивались чувственные элементы. Использовались и маски для разоблачения реальностей современного мира. Театр представлял театр, и зрители комментировали происходящее в театре. Социальная комедия на сцене обнаруживала, что она не более чем просто комедия. Р. Музиль, рефлексировав над соотношением между содержанием и формой, признает, что современный театр больше не может существовать в системе реализма, как театр К. С. Станиславского. Измененный новый мир требует адекватной ему

новой художественной формы. Ощущение отсутствия такой новой формы и осознание того, что драматургия натурализма не подходит для выражения новой стихии, в том числе и господствующей над русским миром начала XX в., было свойственно и русским модернистам³.

Театр Станиславского стремился репрезентировать реальность в пространстве театра. «Репрезентация» означает реализацию «на самом деле не существующего». «Ре» — приставка, означающая «снова», а «презентация» имеет значение «присутствующее сейчас». Следовательно, «репрезентация» — это повторение и подражание, и, в конечном счете, она парадоксальным образом оказывается пустым означающим «отсутствия». Для Станиславского сцена и реальность отделены друг от друга, при этом сцена должна полностью репрезентировать реальность. Актеры, вживаясь в роли, которые они играют, живут на сцене жизнью персонажей, а не своей. Жизни самих актеров там отсутствуют, они всего лишь симулируют присутствие персонажей.

Это свойство репрезентативного театра реализма критиковал В. Я. Брюсов в своей статье «Ненужная правда» (*Брюсов* 1975). Выражая скептическое отношение к успеху Московского Художественного театра, он говорит о том, что попытка изобразить реальность как таковую в конце концов неизменно заканчивается поражением, и поэтому театр должен вернуться к изначально присущей ему условности. По Брюсову, искусство имеет собственную систему внутренних знаков, и потому ему не нужно следовать знаковой системе реальности. Иными словами, театру больше не надо быть подражанием действительности. Сцена есть просто сцена, и на ней актеры не живут жизнью персонажей, а играют их роли. Таким образом, он отрицал традиционный репрезентативный театр и призывал к театральности. Теоретик символизма Вяч. И. Иванов также критиковал традиционный реалистический театр за то, что у него нет возможностей для активного изменения действительности. Он стремился к театру как действию, как синтетическому искусству, в котором участвуют и актеры, и зрители, и где сольются в единую гармонию и музыка, и танец, и хор. Театральная теория Иванова была притягательной для В. Э. Мейерхольда. Режиссеру оказалась близка идея возвращения сцены к древнему синкретизму и превращения зрителя из пассивно переживающего сценическое действие в активного его участника (*Вислова* 2000: 111). Развивая понятие «театральность» в статье «Балаган», Мейерхольд определяет традиционный театр как литературу для чте-

ния и настойчиво разъясняет, что настоящий театр основывается не на словах, а на действиях и что он должен быть местом, где зрители не слушают чтение актеров, а смотрят на их действия (*Мейерхольд 1968*). Для Мейерхольда балаган был олицетворением самых основных театральных элементов, воплощением настоящей театральности, где актеры больше не люди, которые живут на сцене, а марионетки, показывающие разные зрелища. Настоящее обновление театра, по Мейерхольду, возможно только с помощью внедрения на сцену балагана, в котором действие важнее, чем слова, и цель которого — не учить, а веселить. В балаганном действе, основанном на примитивных стимулах и следующих за ними реакциях, актеры становятся свободны от необходимости буквально подражать реальности, а зрители ведут себя более активно. Прежнее подражание превращается в остранение, реалистическое представление — в обнаружение театральности. В простоте балагана Мейерхольд нашел жизненность и силу. Балаган в эпоху своего возрождения был новым методом, который возник на фоне кризиса метода театрального реализма и адекватного ему мироощущения⁴.

С другой стороны, присущий балагану игровой народный характер и непосредственный критицизм по отношению к существующей действительности сделали его привлекательным для русских авангардистов начала XX в. — как театральный способ реализации их утопического идеала. Авангардисты, которые хотели обеспечить симпатии народа к новой власти и приблизить свое искусство к массам, неизбежно обратили внимание на традиционные примитивные художественные формы. Народный балаган включал в себя, помимо театра Петрушки, уличный театр, рыночные зрелища, традиционную живопись (лубок), которые продолжали существовать в разнообразных формах в сфере русской неофициальной культуры. Введение подобных народных элементов в театр соответствовало не только авангардистской установке на заимствование материала для искусства из материала жизни, но и практическим задачам расширения функций театра вплоть до массового зрелища. Своими изначальными примитивностью, импровизаторством, импульсивностью балаган соответствовал художественным требованиям авангардистов и стал одним из программных пунктов их художественных манифестов. Балаган как метафора, как драматический элемент, создающий комическое настроение, под воздействием революционности авангарда приобрел утопические черты и стал сферой приложения жизнотворческих концепций.

Однако в 1920-х гг. такой балаган становился слишком распространенным явлением. Публика уже насмотрелась на театральные эксперименты и осознала, что ее вкус далек от требований элитарных художников. К тому же такие социально-экономические условия, как конец военного коммунизма и начало нэпа, также способствовали упадку балагана. В вахтанговской постановке «Принцессы Турандот» 1922 г. уже содержится ирония по отношению к условному театру. Д. Клейтон считает постановку Вахтангова практическим концом театральности и балаганного театра (*Там же*: 103—123, 159—204). После этого балаган еще долгое время входил в основной репертуар российского театра, демонстрируя формальную закостенелость.

В конце своего развития балаган превращается в один из структурных элементов драмы. Иногда балаган как *театр-в-театре* становился предметом рефлексии драмы, и тогда подобные драмы, содержащие балаганные черты как структурные элементы претерпевали жанровые трансформации на путях к метадрамам и метатеатру.

Балаган — драматическая структура, подходящая для использования театром-в-театре, поскольку он владеет стратегией обнажения театральных приемов и разрушения театральной иллюзии. Вот почему в новом театре в роли театра-в-театре часто выступает балаган (*Clayton 1984: 72—81*). Театр-в-театре в своей классической форме опирается на театральную иллюзию. Мир театра-в-театре, принадлежащий к обрамляющему его миру театра высшего уровня, обнаруживая свою театральность и фиктивность, скорее укрепляет, а не разрушает театральную иллюзию в целом (*Там же*: 71). В драме Шекспира «Гамлет» театральный мир Гамлета создает театральную иллюзию, а принадлежащий к нему мир актера Гонзаго, наоборот, явно обнаруживает свою фиктивность, служит для метафоризации реальности мира театра высшего уровня и намекает на дальнейшее развертывание сюжета всей пьесы. Обычно использовавшийся с этими целями театр-в-театре был всего лишь фрагментом, занимающим меньшую часть по сравнению с театром высшего уровня. Однако в театре XX в. обрамляющий театр-в-театре мир целого театра, воздействуя на реальность театра-в-театре, обнаруживает его фиктивность более явно. К тому же, вопреки классической драме, театр-в-театре драмы XX в. состязается с миром театра в целом и стремится захватить его. Театр-в-театре больше не используется для укрепления иллюзии театрального мира, наоборот, при помощи отношений конкуренции между несколькими театрами-в-театре или противо-

стояния театра-в-театре миру театра в целом изображается картина расколотого мира.

В конце XIX в. в России, когда начался процесс внесения комических элементов в структуру драмы, театр-в-театре еще был чужд чертам саморефлексии. Введенные в драму комические элементы служили не столько для метадраматической рефлексии, сколько для монтажа разных драматических структур, придания зрелищу живости и экзотического оттенка. Однако в послереволюционный период структура театра-в-театре русского авангарда осложняется, и одновременно усиливается саморефлексивный характер театра. Театр стал местом, где происходили споры о самом театре. Театр — отражающее мир зеркало, и потому спор о театре становится спором об окружающей его реальности. Именно поэтому театр-в-театре мог быть политическим. И балаган также становится означающим театрального пространства, в котором театр осознает себя, пародирует себя же и пристально следит за самим собой (Clayton 1994: 159—161). Импровизация и другие элементы (например, разговор со зрителями), комические по происхождению, вводились в драму как балаганные, метадраматические элементы. Но для балагана больше не нужны были шутовские костюмы, персонажи традиционной *commedia dell'arte*, их маски, яркий и экзотический колорит. Следовательно, балаган в России того времени нельзя отождествлять с традицией итальянской *commedia dell'arte*. Его можно представить как совокупность новых театральных форм, которые, усвоив традиции итальянской *commedia dell'arte*, развивались в специфических для России условиях и которые, отвергая театральный реализм, обновляли отношения между сценой и зрителями; на передний план при этом выходила условность, конвенциональность театра, что в конце концов сделало возможными саморефлексию театра и рефлексию над окружающей его реальностью. И только на основе такого расширенного понимания балагана можно назвать 1920-е годы в России «золотым веком балагана» (*Там же*).

* * *

Рассмотренные выше понятия — театральность, балаган, метатеатр — главные элементы, характеризующие пьесу «Обезьяны идут», и их нельзя отделить друг от друга. В этой статье будет показано, как пьеса «Обезьяны идут», соединяя театральность и балаган с метатеатральными элементами, в конце концов

превращается в балаган в широком смысле, который отражает театральную тенденцию того времени и социальный срез послереволюционной эпохи. Главная движущая сила пьесы — взаимодействие и состязание двух театральных пространств, то есть пространства условного театра, явно обнаруживающего свою фиктивность, и пространства репрезентативного театра, обрамляющего мир театра-в-театре и создающего театральную иллюзию. Противостояние этих двух театральных пространств изображается посредством конфликта представлений о театральности разных героев. В частности, о театральности театра говорит зрителям и другим персонажам балаганный герой Шут, поэтому балаганные элементы пьесы нельзя отделить от проблематики театральности.

В пьесе «Обезьяны идут» явственно обнаруживается комедийная традиция. Театр Шута в этой пьесе отражает традицию театра «Петрушки», и образ самого Шута также похож на балаганного героя Петрушку. Но в результате проникновения реальности репрезентативного театра театр Шута (театр-в-театре) не может осуществиться, и сам Шут также не успевает выполнить свою роль. В этой пьесе балаган Шута становится предметом театральной рефлексии. И, как кажется, рефлексия над театром-в-театре Шута можно приравнять к рефлексии над внутренним противоречием авангарда, заложенным в его художественной программе. То, что сценический эффект театра-в-театре в конце концов привел к разрушению собственной сцены, — не что иное, как выражение самопротиворечия авангардистов и ставшей перед ними дилеммы. Далее будет рассмотрен отраженный в пьесе «Обезьяны идут» взгляд на революционную пропагандистскую тенденцию театра и художественную программу авангарда, который обнаруживает себя в разоблачаемой реальности и разваливающимся театральном мире балагана.

Пьеса «Обезьяны идут» начинается с описания театрализованных декораций гротескной сцены. Слева на сцене спит Шут, сюда же попадают люди, спасающиеся от вьюги. Поэтому условный театр того времени, или балаган, открывавшийся гротескной сценой с участием Шута, становится координатой, по оси которой развивается дальнейший спектакль. Условные театрализованные декорации не были чем-то новым для зрителей того времени. Более новаторской воспринимается игра актеров, действующих так, как будто они ничем не знают о происходящем спектакле. Разговор Шута с «Человеком в шапке» изображает столкновение персонажей, принадлежащих к двум отличным друг

от друга театральным формам. Попавшие в театр люди, не зная, что это театр, обнаруживают гротеск сцены, удивляются зрителям, обращающимся к ним.

Человек в шапке. Как же изба посреди города. И какая колоссальная изба, иду, иду, а стена все не кончается. (*Доходит до угла.*) А эта стена каменная. Колонны, рояль... Я не понимаю.

Человек в шапке. ⟨...⟩ Послушайте, товарищи, у вас нет спичек? Осветить бы. Зажигалка, разумеется, не действует. (*Пробует зажечь.*)

Голос из публики. Хочешь мою?

Человек в шапке. (*вздрагивает*). А! Что такое? Кто-то звал меня (*Луниц 1991: 1455*).

Зрители ведут себя более активно, актеры на сцене изображаются как глупые паяцы, высмеиваемые Шутом и зрителями, уже привыкшими к миру балагана и вместе образующими балаганный мир. Недовольство актеров, их критические замечания о декорациях, их удивление так гиперболизированы, что становятся смешны. Более того, один из актеров, несмотря на совет Шута, хорошо знающего о происходящем спектакле, падает в оркестровую яму между сценой и зрительным залом и таким образом обнаруживает свое неведение о театральности. Наоборот, Шут с гордостью демонстрирует свое знание о театральности, смеется над другими актерами, ведет себя как хозяин данного спектакля. Шут, с самого начала спектакля находящийся на сцене, знает настоящие имена актеров и их роли и даже понимает, как должен развиваться сюжет его спектакля.

Человек в шапке. Что вы, что вы, да я сроду не был артистом!

Шут. Бросьте шутки шутить. Вы актер. Ваша фамилия Дырявин.

Человек в шапке (*с изумлением*). Совершенно верно. Откуда вы знаете? Но я, честное слово, никогда не был актером.

Шут. Вы играете человека в меховой шапке, интеллигента-дурака. Вы дурак (146—147).

Шут. Да вот этой самой, в которой мы с вами сейчас играем. «Сомкнутыми рядами», пьеса в одном действии, революционного содержания (146).

Первая часть пьесы «Обезьяны идут» показывает вершину условного театра, балагана, инициативу в котором берет в свои руки сам Шут.

Сцена оживляется вбежавшими детьми, с ними ее захлестывает игровая стихия. Дети восхищаются акробатическими трюками Шута и отдают ему все свои товары. И Шут продает эти товары с аукциона, однако товары оказываются бумажными, всего лишь театрализованной конвенцией. Зрители, несмотря на то что они уже должны были бы понимать законы балагана, все же выражают удивление тем, что все продукты сделаны из бумаги. Так вновь подчеркивается театральность балагана. Таким образом, театральность обнаруживает себя в проблематике, опирающейся на традиционный, безусловный, репрезентативный театр. Кроме того, Шут смеется над людьми, которые начинают бояться звуковых эффектов спектакля, и даже использует это с целью усмирить возбужденную толпу. Все сценические эффекты находятся в распоряжении Шута, следовательно, толпа часто действует под его диктовку. Так, первая часть пьесы, находящаяся под властью шута, обнаруживает разные черты, присущие народному, игровому балагану, распространенному в начале XX века в России.

Однако по мере развития действия на сцене собираются люди, усиливается игровая стихия и параллельно с этим усугубляется сатирический характер спектакля. Картина общества того времени, в первой части пьесы не столь явно проступавшая в разговорах Шута со зрителями, теперь изображается прямо на сцене в разговорах между людьми из толпы. Большинство «Голосов из публики» заменяется «Голосами из толпы» на сцене, и одновременно разговор Шута со зрителями начинает занимать все меньше места. На сцене как бы происходит процесс смены доминирования балаганной традиции первой части театральной иллюзией, обрамляющим театр-в-театре репрезентативным театром. Инициатива театра-в-театре, управляемого Шутом, также скоро переходит к людям, принадлежащим к репрезентативному театру. И на это намекают уже с самого начала пьесы следующие факты: во-первых, представитель театра-в-театре, Шут, проспал и не успел произнести пролог к пьесе в самом начале, а во-вторых, он упал на землю из-за удара дверью, открытой людьми, находившимися вне сцены, и поэтому его кувырок также не удался. В разгар игровой стихии балагана на сцену выходит похоронная процессия, она дает Шуту повод к рефлексии над тем, что мир его спектакля (то есть мир театра-в-театре) живет независимо от из-

начального плана, он уже не под властью Шута. С этого момента изменяется и атмосфера спектакля. Шут, заявляя в своих монологах, что спектакль идет не по пьесе, зовет суфлера, но суфлер признается в том, что он уже давно ничего не делает, а спектаклем правит какая-то незнакомая, странная сила (155). В этом смысле, похоронная процессия воспринимается как похороны обессиленного Шута, его балагана в форме театра-в-театре и воплощенных в этой театральной форме революционной идеологии, ожиданий нового, прекрасного утопического мира.

Теперь сценой правит логика не театра-в-театре, а окружающего его и угрожающего ему мира репрезентативного театра. Голоса из зрительного зала почти исчезают, и зрители не отвечают даже на обращения Шута, как будто зрители, которые разговаривали с Шутом, уже слились с толпой на сцене. Поскольку с точки зрения мира репрезентативного театра они были такими же людьми, как люди из толпы, и только играли зрителей в театральном мире театра-в-театре, теперь, в процессе разрушения балагана (мира театра-в-театре), они, обнаруживая это, сливаются с людьми из толпы, которые на самом деле актеры на уровне целого театрального мира, создающие театральную иллюзию репрезентативного театра. Возглас «враг близок», происходящий откуда-то вне области власти Шута, слышен чаще и чаще, и в конце концов люди на сцене, включая Шута, начинают принимать этот звуковой эффект за настоящую реалию. Так, охвативший сцену звериный рев, крик «враг близок» приводит людей в состояние массового гипноза, под завывание вьюги паника все возрастает. Наконец, на сцене, где людьми владеют и надежды на приход нового спасителя и ужас перед неизвестными врагами, воцаряется хаос.

В этот момент на сцену выходит Человек, который вместо Шута становится двигателем действия второй половины пьесы. Это персонаж, напоминающий «Человека просто» из «Мистерии-буфф» Маяковского. Обнаруживается симметрия, осью которой является событие выхода на сцену похоронной процессии. Сценические эффекты первой половины пьесы во второй ее части превращаются в угрожающую жизни людей силу, и всю сцену захватывает истерия, как бы отражающая игровую стихию первой половины. Шут пытается вернуть на сцену прежнее веселье и живость балагана, но его паясничание становится чем-то похожим на бессмысленные жесты персонажей абсурдистской пьесы, беспрерывно пытающихся оттянуть финальную катастрофу произведения и вследствие провала этих попыток делающие возмож-

ным его дальнейшее существование. Выходящие на сцену шуты, превосходящие Шута и числом, и умением, только подчеркивают отчуждение и бессилие Шута. Его соревнование с другими шутами, принадлежащими к реальности репрезентативного театра, является столкновением и состязанием двух театральных миров, то есть мира театра-в-театре и находящегося вне его мира репрезентативного театра⁶. Сюжет, создаваемый иллюзией мира репрезентативного театра, противостоящего условному, театрализованному миру балагана, приводится к кульминации вновь вышедшим на сцену Человеком. Он в конце концов заявляет, что подлинные лица врагов — не человеки, а обезьяны⁷, и вследствие этого на сцене углубляется атмосфера страха, возникшего под влиянием реальности фиктивного мира театра-в-театре — звукового эффекта. Звуковой эффект, крик «враг близок», — всего лишь превращенная в реалию иллюзия, но иллюзия, угрожающая действительности мира театра-в-театре.

Теперь голоса противостоявшей Человеку толпы постепенно сливаются с его голосом. Пропагандистский театр, в центре которого стоял Шут, приходит в упадок, и возбуждающей толпу силой оказывается скорее страх перед фиктивными врагами мира театра-в-театре. Таким образом, показывается взаимное проникновение и состязание двух пластов театра, то есть мира театра-в-театре и действительности репрезентативного театра. Враждебность людей из толпы, проистекающая из их реальности, направляется на иллюзорного врага — обезьян, и в конце концов толпа, обвалив «условную» театральную сцену, строит баррикады. Крик «обезьяны идут» превращается в несомненную реалию репрезентативного театра, и реалию театра-в-театре подчиняет логика действительности. Даже Шут не сомневается в этом. Теперь он больше не заметен среди толпы. На охваченную хаосом сцену, на которой рушатся декорации и встает из гроба покойник, даже влезают зрители, разговаривавшие с Шутом в первой части пьесы. И в этой последней сцене обнаруживается, что проникнувшая в мир условного театра, потрясшая и в конце концов разрушившая его реалия мира репрезентативного театра также не что иное, как созданная автором театральная иллюзия. В этот момент вновь вскрывается театральность. И обнаруженная театральность репрезентативного театра вызывает у настоящих зрителей в зрительном зале чувство остранения. Все актеры, включая актеров в ролях зрителей в мире театра-в-театре, которые до этого находились в зрительном зале и во второй половине пьесы для создания театральной иллюзии сидели там молча, собираются за баррика-

дами, и, следовательно, между сценой и зрительным залом воздвигается настоящая «четвертая стена». При этом разоблачается сама сущность драматического искусства, в том числе и репрезентативного театра, который, хотя и кажется по сравнению с балаганным миром более реальным, также строится из условных, театральных знаков. Подобным полным разрушением театральности театра-в-театре и его искажением завершается вся пьеса «Обезьяны идут». Автор, властвующий над театральным миром, превращает сцену в поле боя противостоящих театральных форм и структурного столкновения мира балаганного театра-в-театре с миром внутритеатральной иллюзорной реалии и заставляет их отрицать друг друга. Так на сцене возникает хаотический мир, напоминающий произведения поставангардистов, обэриутов, где герои — обессиленные шуты, управляемые злодейскими силами, живут в демоническом, абсурдном, антиутопическом мире, отвергающем установку авангардистов на революционное и утопическое⁸.

* * *

Итак, можно ли назвать балаганом пьесу «Обезьяны идут»? В определенном смысле это не балаган, а пьеса о нереализованном балагане. Но несмотря на это, в пьесе «Обезьяны идут» присутствуют черты балаганного театра, используемые специфическим образом. Так, игровая стихия делает возможным «вихрящееся» продвижение театральных событий двух перепутанных друг с другом пластов пьесы, а цирковые номера в исполнении Шута служат для продления действия, оттягивания катастрофы. Эти балаганные черты становятся одновременно и предметом и инструментом метатеатральной рефлексии. Так изначальный смысл балагана сокращается, балаган, преобразуясь в «нечто балаганное» (Clayton 1984: 79), становится предметом рефлексии и пародии. Если понимать пьесу «Обезьяны идут» как пространство столкновения отличных друг от друга театральных форм, то балаган Шута является аллегорией балагана как комического зрелища улицы и театра дореволюционной России, в котором представлено игровое, карнавальное пространство, находящееся вне существующей реальности. Более того, балагану Шута (театру-в-театре) приписывается служебная роль пропагандиста революции — утопического проекта авангардистов того времени. Но, как уже было сказано, этот театральный мир балагана Шута терпит поражение из-за угрожающей ему реальности, с одной стороны,

и внутренних противоречий самого театра-в-театре — с другой. В частности, в последней сцене, которую можно интерпретировать и как пародию на агитационные пьесы Маяковского, полемику с агитационным театром Мейерхольда, парадоксальным образом возникает «четвертая стена», противоположная сущности самого балагана, и это также отражает иронический взгляд на провозглашенный авангардистами художественный принцип — эстетизацию жизни, и их попытки жизнотворчества в театральном пространстве. Обособление сцены от зрителей, происходящее по ходу пьесы, доходит до предела в последней сцене спектакля, что можно интерпретировать как метафору изоляции авангардистов от народа и их итогового фиаско.

Вначале идеалом авангарда было общение с массами, к которому стремился и театр-в-театре Шута, а также установка на эстетизированную жизнь, при которой можно аннулировать границу между театром и жизнью, и, более того, воплощение абсолюта в самом искусстве. Однако их идеал не мог быть реализован по следующим двум причинам. Во-первых, послереволюционная историческая реальность оказалась далека от авангардистской утопии, а политическая власть постепенно перестала нуждаться в поддержке авангардного искусства. Второй причиной было самоотрицание, скепсис авангардистов, происшедший из сознания невозможности осуществления художественной утопии. Театр-в-театре в пьесе «Обезьяны идут» терпит провал по тем же причинам. Угроза со стороны действительности и саморазрушительный звуковой эффект, крик «враг близок» — эти две причины, уничтожившие мир театра-в-театре в этой пьесе, — коррелируют с вышеупомянутыми социальным и художественным факторами провала авангардистского проекта. Как театральная реальность неизбежно составлялась из репрезентативных знаков, и, следовательно, настоящие зрители не могли не чувствовать остранение при виде влезавших на сцену актеров, игравших зрителей, так и искусство авангарда не могло избежать обособления от публики, так как оно было всего лишь «анаморфической и элитарной» методологией репрезентации какого-то абсолюта. В этом смысле появившаяся в конечной сцене «четвертая стена», как уже было отмечено, символизирует обособление авангардистов от публики, их отчуждение и провал их художественного проекта. Не случайно последняя сцена пьесы аллегорично отсылает к миру Блока, лирические драмы которого исполнены саморефлексией символизма, рефлексией над искусством и отражают хаотическую реальность и отчуждение художника от окружающего его мира⁹.

Пьеса Лунца «Обезьяны идут» и не комедия, и не балаган в узком смысле слова, — это только пьеса о провале балагана. Однако, как уже было сказано, в изменившемся послереволюционном мире старые художественные формы больше не имели силы. Напомним высказывание Д. Клейтона о том, что балаган, преобразуясь в «нечто балаганное», становится и структурным элементом театра и предметом театральной рефлексии. И через такое преобразование было возможно второе рождение балагана на фоне общего его упадка как искусства-представления в начале 1920-х гг. Следовательно, термин «балаган» в России 1920—1930-х гг. должен был обладать расширенным диапазоном значения — до балагана-в-балагане, саморефлексивного театра, в который вводятся балаганные черты и становятся в нем предметом внутрилитературной полемики. Поэтому балаган должен был стать метатеатром.

Пьеса Лунца при помощи того же метода метатеатра, приемов вторжения метаплана в сценическую структуру полемизирует с балаганом и авангардистским искусством того времени. Как балаган мог продолжать существовать за счет саморефлексии, самоотрицания и полемики с самим собой, так и авангард мог обновляться за счет присущих ему черт саморефлексивности и самоотрицания. Так, в пьесе Лунца «Обезьяны идут» балаган и театральность, сливаясь с метатеатральными чертами, выводят на передний план условность театра и его конвенции, подвергают их рефлексии и полемизируют с ними, превращая, в конце концов, весь мир театра в пустую шумиху и открывая новые стратегии раскрытия театральности. Ввиду этого пьеса Лунца, реализующая такую новую театральную форму, может быть понята как балаган в более широком смысле, который охватывает разные черты традиционного балагана и представляет собой разившийся в условиях России того времени вариант неаристотелевской драмы, то есть своего рода «метабалаган».

Примечания

¹ В статье «„Обезьяны идут“ Льва Лунца: интертекстуальное строение» К. Ичин называет пьесу самым загадочным произведением Лунца. Остаются непроясненными и обстоятельства ее написания. По всей видимости, пьеса создавалась в 1920 или 1921 г., но точная дата написания неизвестна (Ичин 1996).

² Об истории западных неаристотелевских драм см.: *Kesting* 1978.

³ Ср.: «Для современников рубежа XIX — XX вв. очень остро и по-новому встала проблема человека конца века. В частности, резко ощущалась

дистанцированность этого человека от начала XIX столетия. „Внешнему развитию соответствует внутреннее, и современный человек, человек конца века уже дальше отстоит от людей начала века..., — пишет В. Брюсов. — Особенно развивалась жизнь чувства...Для выражения этих новых ощущений, естественно, потребовались новые средства“» (*Вислова* 2000: 16).

⁴ Д. Клейтон упоминает о распространённом в начале XX в. ощущении кризиса театра и общества (*Clayton* 1994: 73—74).

⁵ Далее ссылки на это издание приводятся только с указанием страницы.

⁶ В отличие от Шута, у которого присутствует осознание того, что он только играет в роль шута балагана, другие шуты не играют, а живут жизнью шутов. И здесь, в частности, тот факт, что персонажи, опирающиеся на отличные друг от друга театральные структуры, независимо от этого изображаются как шуты, подчеркивает столкновение и отношение конкуренции двух театральных миров.

⁷ Как известно, Лунц входил в литературное объединение «Серапионовы братья». «Серапионы» испытали влияние выдуманного А. М. Ремизовым «тайного общества» «Обезьянья Великая и Вольная Палата», или «Обезвельволпал». Часть «серапионов» приобретала необходимые навыки художественного мастерства во многом благодаря внимательному изучению произведений Ремизова. В январе 1920 г. Лунц опубликовал статью «Театр Ремизова», в которой назвал ремизовские пьесы едва ли не единственным примером современной, живой, новаторской драматургии. Кроме того, он выступил с рефератом о творчестве писателя на одном из занятий Студии Дома Искусств.

Однако восприятие «братьями» творчества Ремизова скоро меняется. Ранее целостное: Ремизов-личность и Ремизов-писатель — теперь уподобляется соотношению содержания и формы, где одно явно не соответствует другому. В этом смысле показательна рецензия В. Каверина на книгу ремизовских рассказов «Мара», в которой откровенный пиетет перед авторитетом писателя сочетался с наметившейся критикой бессюжетности его прозы. И, наконец, особенно среди «серапионов»-западников, в числе которых был и Лунц, наблюдается отказ от творчества Ремизова как литературного «балласта», мешающего развитию русской прозы. В августе 1922 г. Лунц писал М. Горькому: «Я не хочу пустого, областного языка, мелочного быта, нудной игры словами, пусть цветистой, пусть красной. Я люблю большую идею и большой, увлекающий сюжет, меня тянет к длинным вещам, к традиции, к роману, непременно сюжетному. А Ремизова, а Белого — не терплю» (*Лунц* 1994: 326). В заглавии пьесы «Обезьяны идут» можно разглядеть также аллюзию на ремизовскую «обезьяню» тему.

Самым важным принципом «Обезьяньей Палаты» Ремизова является «игра». Игра в Обезьянье общество становится для Ремизова выходом из трехмерного пространства обычной жизни в инобытие. Ремизовская игра была тем жизнетворческим пространством, где создавался миф о времени и людях. Уподобление общества молодых беллетристов литературному образу, т. е. игра в гофмановских «Серапионовых братьев», безусловно импонировала Ремизову, для которого сюжеты, герои, а также сами создатели литературных произведений — суть мифологемы, пригодные не только для построения новых художественных текстов, но и для преобразования самой реальности. Однако такая мифологизация искусства и проект жизнетворчества соответствовали художественному идеалу русских модернистов. Игра становилась доминантой творческого поведения, подрывая изначальный свободный

характер общества (см.: *Обатнина* 1996; *Обатнина* 1998). В этом смысле провал игрового мира Шута, ставший угрозой присутствию театра звуковой эффект, в частности, фраза «Обезьяны идут», обнажают критический взгляд Лунца на игровой принцип Ремизова, его «Обезьянью Палату», и на театральное искусство того времени, которое стремилось найти силу жизнотворчества в игровой стихии театрального пространства.

⁸Подробнее о полемике Лунца с агитационным театром Мейерхольда (в частности, об интертекстуальных связях с постановкой Мейерхольдом верхарновской пьесы «Зори») см.: *Ичин* 1996: 6—12.

⁹О полемике Лунца с пониманием Конца в трактовке Маяковского и Блока см.: *Йованович* 2000.

Библиография

Брюсов 1975 — Брюсов В. Я. Ненужная правда // Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 62—73.

Вислова 2000 — Вислова А. В. «Серебряный век» как театр. М., 2000.

Ичин 1996 — Ичин К. «Обезьяны идут» Льва Лунца: интертекстуальное строение // *Wiener Slawistischer Almanach*. 1996. Bd. 37. P. 5—25.

Йованович 2000 — Йованович М. Полилог о конце: Блок — Маяковский — Лунц // *Поэзия и Живопись: Сб. трудов памяти Н. И. Харджиева*. М., 2000. С. 441—454.

Липатов 1993 — Липатов А. В. Авангард: искушение властью, или Политическое катапультирование в социальную утопию // *Литературный авангард: Особенности развития*. М., 1993. С. 26—35.

Лунц 1991 — Лунц Л. Н. Вне закона. СПб., 1991.

Лунц 1994 — Переписка Л. Н. Лунца с М. Горьким / Предисловие, публ. и примеч. А. Л. Евстигнеевой // *Лица: Биографический альманах* 5. М.; СПб., 1994. С. 329—373.

Мейерхольд 1968 — Мейерхольд В. Э. Балаган // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1. С. 207—229.

Обатнина 1996 — Обатнина Е. Обезьянья Великая и Вольная Палата: Игра и ее парадигмы // *Новое литературное обозрение*. 1996. № 17. С. 185—217.

Обатнина 1998 — Обатнина Е. А. М. Ремизов и «Серапионовы Братья» // «Серапионовы Братья»: Материалы. Исследования. СПб., 1998. С. 173—184.

Billington 1970 — Billington J. H. The Icon and the Axe: An interpretive history of russian culture. N.-Y., 1970. P. 478—492.

Groys 1988 — Groys B. Gesamtkunstwerk, Stalin: Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion. München; Dien, 1988.

Clayton 1984 — Clayton J. D. The play-within-the-play as metaphor and metatheatre in modern Russian drama // *Theatre and literature in Russia 1900—1930*. Ed. Lars Kleberg and Nils Ake Nilsson. Stockholm, 1984. P. 72—81.

Clayton 1994 — Clayton J. D. Pierrot in Petrograd. McGill-Queen's University Press, 1994.

Kesting 1978 — Kesting M. Das epische Theater: Zur Struktur des modernen Dramas. Stuttgart, 1978.

Ю. М. Валиева
С.-Петербург

Гностические мотивы в творчестве А. Введенского¹

Небольшая погрешность, небольшая ошибка
в равновесии есть признак жизни.

Я. Друскин.
Происхождение животных.

Концепт «смысл» в поэтической картине мира А. Введенского неотделим от представления поэта о *знании* в том значении, в каком оно существовало в *гностических системах*, то есть тождественном «Божественной Полноте». Бессмыслица синонимична отсутствию знания, что влечет за собой страдание и маету.

Гносисом греки называли знание, пришедшее с Востока, экстатическое, полученное через религиозный, мистический опыт единения с божеством. В древнейших офитских сектах словом «гносис» обозначался путь спасения человека от пут материи и времени, а содержание таинственного, мистического знания (γνωσις) включало в себя все необходимое для счастья людей. В гностическом сочинении «Пистис София», а также в одном из офитских гимнов γνωσις приносит людям Христос, раскрывая тайну совершенствования и духовного возрождения: «(Мария:) Мой Господь, вот мы узнали открыто, точно и ясно, что ты принес ключи тайн царства света, которые прощают душам грехи и очищают их и делают их чистым светом и вводят в свет» (*Поснов* 1912: 39). Этапы «искупления внутреннего человека» понимались офитами ступенями познания: «Начало совершенства — познание человека; познание же Бога есть безусловное совершенство» (*Поснов* 1917: 569). В большинстве гностических сект *знание* подразумевало и нравственно-практическую цель: избавить человека от бедствий мира, поэтому изучение человеческой сущности сочеталось с поисками природы зла.

Учение гностиков, признающее несовершенство человека, отмечено пессимизмом Мир человеческой жизни изображался «клетью», тюрьмой, «лабиринтом зла»: «Иисус сказал: Воззри, Отец, / Скорбное существо блуждает по земле, / Отторгнутое от Твоей обители. / Оно порывается бежать от горького хаоса / И не знает, как через него пробиться. / Сего ради пошли Меня, Отец! / С печатями (в руках) я сойду (в низший мир) / Пройду через все Эоны, / Все таинства раскрою / И покажу божественные образы / Сокровенные тайны священного пути / открою, назвав гносисом» (Николаев 1913: 215—216). Душа в гимне гностиков-наасенов предстает в виде трепещущей лани, блуждающей, изнуренной под гнетом смерти: «...то достигши царства света, она озаряется светом, то, в скорбь повергнутая, рыдает, то в стенаниях радуется, то в стенаниях своих осуждается, то осуждается и погибает, то, не находя выхода, несчастная во зле в лабиринте блуждает». Единственным способом устранения зла виделось овладение гносисом. Так в высказывании Феодота, ученика гностика Валентина, говорится: «... не омовение только спасает, но и гносис, кто мы и кем стали, откуда приходим и куда попали, куда мы идем и откуда ожидаем спасения».

Представление о знании как освобождению является центральной идеей поэзии А. Введенского. Откровение как единственный источник знания противопоставляется рациональным поискам.

По А. Введенскому, пространство человека так же, как в гностическом мировосприятии, бессмысленно в своей смертности и отождествляется с *незнанием*. Смертью захвачены все рубежи времени и пространства человеческого бытия: «умираем/ умираем / за возвышенным сараям / на дворе / или на стуле / на ковре / или от пули / на полу / или под полом / иль в кафтани долгополом / забавляясь на балу / в пышной шапке / в пыльной тряпке» («Битва»)²; ею «пропитаны» окружающие человека предметы: столы — это столы поминальные или столы, на которых лежат усопшие; скамья предназначается для ожидания Страшного Суда («на скамье присядем трубной» («Значение моря»); одежда — фраки, кафтаны — является метафорическим описанием гробов; посуда — чашки, рюмки — представляет собой орудие или знак смерти («наши мысли наши лодки / наши боги наши тетки / наши души наша твердь / наши чашки в чашках смерть» («Значение моря»).

В произведениях Введенского рядом с живыми находятся умершие и умирающие, часто с трудом можно понять, кто здесь

жив, а кто мертв. И те и другие задают вопросы; и те и другие сомневаются в подлинности мира: «я дрожу и вижу мир / оказался лишь кумир / мира нет и нет овец / я не жив и не пловец» («Ответ богов»), «Тумир. Что в мире есть? Ничего в мире нет, все только может быть?» («Четыре описания»).

Ошибка человека заключается в том, что, ограниченный пределами восприятия, он все же большей частью надеется на свой разум, не понимая тщетности рациональных поисков («мысль / ты взлети и поднимись / над балканами небес / где лишь Бог живет да бес / как ты сможешь это сделать / если ты в плену / и поднявшись до предела / сядешь на луну») («Святой и его подчиненные»). Герои Введенского, сознавая иллюзорность видимой реальности и свое бессмысленное бытие, ждут выхода в посмертном существовании («мы море море дорогое / понять не можем ничего / прими нас милое...») («Кончина моря»). Смерть, однако, является частью пространства человеческой жизни, поэтому как явь, так и сон отмечены эсхатологической тоской: «между тем из острой ночи / из пучины злого сна / появляется веночек / и ветвистая коса / ты сердитая змея / смерть бездетная моя / здрасте скажет Франц в тоске» («Человек веселый Франц»).

С темой знания — незнания связаны у Введенского мотивы: поиска выхода из «лабиринта зла», сомнения, света — тьмы, полноты — пустоты, души — тела, слияния человека с природой, смешения мужского и женского, а также образы: Творца, расчлененного мира, моря.

В значении слова «мир» в поэтическом языке Введенского можно выделить два противоположных концепта: *мир целостный* и *мир сотворенный, разобщенный*. Мир целостный отождествляется с Божественной Полнотой, не подвергшейся разрушительной воле Творца. Вне Божественного всеединства части мира томятся и тоскуют: «Не разглядеть нам мир подробно, / ничтожно все и дробно. / Печаль меня от этого всего берет» («Четыре описания»), «звезды *праздные* толпятся / люди *скучные* дымятся / мысли бегают *отдельно* / все *печально и бесцельно*» («Человек веселый Франц»). Благодаря синонимам и повторам, *печаль* становится доминантной эмоцией, а *тоскующий, бегающий, волнующийся, один* — постоянными характеристиками героев-объектов.

Разобщенность элементов мира передает образ вселенной-дома, внутри которого отдельные замкнутые миры: у звезд — гнезда, у зверей — норы, у леса — двери, за дверьми — миры вторые,

одна из комнат вселенной — гостиная, внутри пространства «гостиной» «среди земных плевел» «по ленточкам судьбы» ходят, бегают, скачут люди, звери, объекты природы: «Фомин пошел в темную комнату, где посредине была дорога». («Кругом возможно Бог»).

Персонажи Введенского, будучи частью сотворенного мира, сравниваются с детьми: *молодые* птички, *молодое* море («Две птички...»), ребенок *молодой*, *детский* снег («Седьмое стихотворение»), *бедный детский человек* («Две птички...»), *человек — ровесник миру* («Битва»). *Детскость* в концептуальной системе Введенского включает, помимо признака сотворенности, вычлененности из целого, признак одиночества, лишения знания. Подобно гностику Феодоту, море, горы, кусты, звери, человеки, другими словами — твари задают детские вечные вопросы о смысле мироустройства и своего существования, о причине зла в мире: «отчего же он с тоскою / этот мир...» («Святой и его подчиненные»), «кем я создан? кем ведом?» («Битва»).

Ведущую роль в развитии образа детей — «ровесников мира» играет речевая характеристика героев. Ребенок, обучаясь речи, воспроизводит ситуацию творения, указывая на предмет, вычленяя его из «дословесного» единства. Пограничность языкового сознания свойственна и героям Введенского. Они заново соотносят предмет и слово, совершая акт идентификации. Их языковое сознание погранично, подобно языковому сознанию маленьких детей, смешивающих реальное и воображаемое. Познавая мир, герои Введенского называют его части, исчисляют его элементы: «Тумир./ Всего не счесть, / что в мире есть. / стакан и песнь / и жук и лесь, / по лесу бегающие лисицы, / стихи, глаза, журавль и синицы, / и двигающаяся вода, / медь, память, планета и звезда, / одновременно не полны / сидят на краешке волны» («Четыре описания»), выделяя себя из мира, строят «парадигмы» отношений «я — ты — мы — вы» и т. д.: «мы есть мы / мы из тьмы / вы есть вы...» («Факт, теория и Бог»).

Мысли о смерти, безнадежности существования, философские размышления о душе и теле облекаются в ритмы считалок и потешек: «Эф:... Чиркнет спичка, / и заплачет птичка. / Пропадет отвага, / вспыхну как бумага. / Будет чашка пепла / на столе вонять, / или ты ослепла, / не могу понять» («Кругом возможно Бог»), «мы рабы / сидим и плачем / и в гробы / грозою скачем / и открытые как печь / верно значим / лечь иль жечь?», «скажи мне я / который час? / скажи мне я / кто я из нас?» («Факт, теория и Бог»).

Речь «ровесников мира» отмечена многочисленными отступлениями от языковой нормы, свойственными детям. В числе наиболее распространенных — морфологические и синтаксические ошибки, выражающиеся в замене косвенных падежей именительным, нарушении глагольного управления, контаминации нескольких сообщений, свертывании придаточной части сложного предложения и др., например: «Я сидел и я пошел / как растение на стол... / на собрание мировое», «Что ты значишь или нет», «Куда умрешь». В первом примере, из стихотворения «Гость на коне», высказывание героя — «Я сидел и я пошел / как растение на стол... / на собрание мировое» — является контаминацией нескольких сообщений: Растение на столе. Растение принесли на стол. Я сидел. Потом я пошел на собрание. Я оказался на собрании так же, (возможно также не по своей воле), как растение оказалось на столе. Это сравнение может относиться сразу к двум предикатам, один из которых выражает статический признак (сидел), другой — динамический (пошел). Так как целое высказывание разделено ритмическо-интонационным делением поэтических строк, то объединенным интонационно получается: «я сидел и я пошел как растение на стол». Происходящее смещение включает слова в иные парадигмы, подчиняющиеся контекстуальным ассоциациям, в данном случае: «пойти на стол» — умереть. Второй пример «Что ты значишь или нет» («Значенье моря») представляет контаминацию двух вопросов и свертывание части одного из них: Ты значишь что-нибудь или ты ничего не значишь? Если ты что-нибудь значишь, то — что?

В третьем примере — «Куда умрешь» («Факт, теория, Бог»), подразумевающим вопрос «Что будет после смерти?», свертывание сложноподчиненного вопросительного предложения с придаточным времени сочетается с семантической ошибкой, связанной с парадигматическими ассоциациями (Где ты будешь, когда умрешь? Куда ты попадешь, когда умрешь?).

В целом функция приема *детской речевой ошибки* в тексте — заострить внимание на проблеме номинации, на отношениях «человек — мир — Творец», «слово — предмет». Номинация как акт творения словом, «извлечение из божественного ничто», понимается поэтом как орудие расчленения мира. Подобно представлениям гностической теологии, Творец, разведивший изначальное единство, наделяется атрибутами Ветхозаветного Божества и противопоставляется Первобожеству — Первопричине, — все в себе содержащему.

В понимании сущности Божества и происхождения мира большинство гностических сект придерживались единого взгляда: Высшее Божественное начало противопоставлялось низшему началу — Демиургу, которому подвластен мир. Враждебное отношение к ветхозаветной традиции отмечает теологию офитов, каинитов, ператов, вервелиотов, гностиков Маркиона, Василида, Валентина. Демиург отождествлялся с Богом Исаака и Иакова. В мифологии офитов Ялдаваоф, осознаваемый как Мировое Творческое начало, появился от сближения Премудрости-Пруникос с бездной хаоса. Ялдаваоф породил ум, извивающийся в образе змея. Варвелиоты называли создателя низшего мира Первоначалом. Произведенный от соприкосновения Пруникос с хаосом материи, сам несовершенный, он сотворил землю и все земное, возомнил себя Высшим Божеством и стал властвовать над созданным им миром (Николаев 1913: 204—205). Ператы видели в Демиурге враждебную Божественному началу силу: один из семи Архонтов, олицетворявших низшие космические силы, Демиург «самозванно» объявил себя в Ветхом Завете Богом Единым (Николаев 1913: 218). В системе Валентина Демиург стоит во главе управляющей миром материи Гебдомады. Этим объясняют валентиняне ветхозаветный культ «низших космических сил». Демиург считается вышедшим из психической субстанции Софии, он создает материальные формы согласно тем образам, которые внушает ему мать, и не осознает своей отдаленности от Первобожества. Именно Демиург сотворил человека, вложив в него «высшее сознание», сделав его подобным Антропосу, высшему Человеку. Но Демиург и творец смерти, поскольку смерть и материя тождественны (Николаев 1913: 303). Вслед за своим учителем Кердоном гностик Маркион утверждал, что мир произведен Демиургом из первобытной, аморфной материи, противопоставляемой Неизреченному Божественному, «Низший Демиург» также понимался Маркионом как ветхозаветное божество.

В картине мира Введенского, как и в гностическом мировидении, Творец порождает время и смерть. Именование Создателя варьируется от метафорического «мудрые холмы» («Значенье моря»), метонимического «горы эти» («Факт, теория и Бог») до гротескно-сатирического: «там томился в клетке Бог / без очей без рук без ног» («Снег лежит»). Представленный через восприятие «детского» сознания, образ Творца предметно конкретен:

Бог летит Всемогуший
через райские куши
сквозь пустые вершины
сквозь моря и машины

(«Факт, теория и Бог»)

Фантастический реализм детских рисунков (*туловище, грозные глаза, кабинет*) сочетается в изображении божества с образами карающего Бога апокрифических книг: «которые мертвые / которые нет / идите четвертые в тот кабинет» («Факт, теория и Бог»), «вижу туловище Бога / вижу грозные глаза» («Битва»), аллюзиями на Книги Ветхого Завета, в которых Творец наделен чертами космического божества, совмещающего в себе стихии «огня», «света» и «воды»³.

«Кто это надвигается как река, воды его волнуются, как потоки; он говорит: „я поднимусь и покрою землю, истреблю (город) и обитателей его“» (Иер. 46, 7—8).

«Я наведу на тебя бездну, и покроет тебя множество вод; Я низведу тебя вместе с нисходящими в могилу к вечному народу и помещу тебя в преисподних землях» (Иез. 26, 19—20).

«Бог каждый день готов к гневу. Ежели нечестивый не обращается, изощряет меч свой, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет сосуды смерти, стрелы свои соделывает палящими (Пс 7. 13—15).

«Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу; и палящий ветер доля чаши их» (Пс. 10, 6)

«здесь окончательно Бог наступил хмуро и тщательно всех потопил» («Факт, теория и Бог»).

«Горело все кругом. Спешило все бегом» («Четыре описания»)

«Остроносое.
Все останавливается.
Все пылает.
Фомин.
Мир накаляется Богом,
что нам делать» («Кругом
возможно Бог. Беседа часов»)

Включенный в хронотоп конкретного действия настоящего момента, образ ветхозаветного Творца теряет свою «тропологичность», при этом на первый план выступают карающие функции Создателя. Герои Введенского осознают себя участниками событий, предсказанных пророками. Бытовое пространство, нарушаемое, уничтожаемое беспощадной силой, мифологизируется или зловеще символизируется. Искажаются «милые» личные вещи, принадлежащие своему, безопасному домашнему миру:

Остроносков.

Диван жжется. Он горячий.

Фомин.

Боже мой. Ковер горит.

Куда мы себя спрячем

Остроносков.

Ай жжется,

кресло подо мной закипело.

Фомин.

Тут раскаленные столы

стоят как вечные котлы,

и стулья как больные горячкой

чернеют вдали живою пачкой...

(«Кругом возможно Бог»)

Острота ощущения апокалипсичности мира создается за счет контраста между сутью происходящего и вербальной реакцией героев: разговорный язык характеризует ситуацию речи как бытовую, лишенную какого-либо пафоса.

Мир в целом, как пространство человеческой жизни в своей обреченности, предстает абсурдным и невыносимо безрадостным: «о как мрачно это все / скажет хмурая девица / Бог спокойно удивится / спросит мертвую ее / что же мрачно дева? Что / мрачно Боже — бытие» («Снег лежит»), «Мне не нравится что я смертен./ мне жалко что я неточен» («Мне жалко что я не зверь»).

В произведениях начала 1930-х гг. Введенским поэтически исследуется философский, религиозный аспект *номинации* — выделение частей из «божественного ничто», запечатленный Книгой Бытия как акт сотворения мира посредством *называния* и *отделения*.

И *сказал* Бог: да будет свет. И стал свет.

И увидел Бог свет, что он хорош; и *отделил* Бог свет от тьмы.

И *назвал* Бог свет днем, а тьму — ночью...

И *сказал* Бог: да будет твердь посреди воды, и да *отделяет* она воду от воды...

И *назвал* твердь небом

И *сказал* бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так.

И *назвал* сушу землю, а собрание вод назвал морями... (Быт. 1, 3 — 10)

В толковании образов *пустоты*, *темноты* и *воды* Книги Бытия («В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и *пуста*, и *тьма* над бездной; и Дух Божий носился *над во-*

дою») Введенский близок идеям гностиков о Боге-Демиурге, произведшем несовершенный видимый мир материи. *Пустота* интерпретируется как следствие расчленения (сотворения) мира, нарушения Божественной Полноты: мир *пустой* («Беседа часов»), облако *пустое*, море *пустое* («Две птички...»), *пустая* земная вода («Мне жалко что я не зверь»). *Темнота* сопутствует образу смерти, ужасу незнания и богооставленности: «что за горе / но в окне / смотрит море / и темно» («Седьмое стихотворение»), «Ровесник. / еду еду на коне / страшно страшно страшно мне / и везу с собой окно / но в окне моем темно... / все боятся подойти / блещет море на пути» («Ответ богов»), «*Темнеет*, светает, ни сна не видать, / где море, где слово, где тень, где тетрадь / всему настукает сто пятьдесят пять» («Серая тетрадь»).

В стихотворении «Две птички, горе, лев и ночь» гностические, библейские, мотивы воплощены в гротескных образах игрового и потешного фольклора. Объекты творения — небо, ночь, день, четверг — обсуждают свою горестную участь. Ночь жалуется горю на одиночество и безрадостное положение, в котором она, извлеченная из моря-первостихии, оказывается:

на что моя величина
скажи скажи хромое горе
из моря я извлечена...
...о море море
большая родина моя
сказала ночь и запищала
как бедный детский человек...

Все собратья по несчастью единодушны в признании причины бедствий: нарушение досотворенного единства — «родины» — погрузило мир во тьму и неведение, тождественные пустоте: «о горе птичка говорит одна / не вижу солнечного я пятна / а мир без солнечных высоких пятен / и скуп и пуст и непонятен», «шипит внизу *пустое* море / как раскаленная змея». Творец для них — не более чем «злой», «неземной неестественный зверек», «без золотого козырька», «тушканчик». Картина творения исключает и намек на величие: «по волнам носится тушканчик / с большим стаканом в северной руке / а в его стакане слово племя / играет с барыней в ведро». Акт порождения произведен посредством волеизъявления «продолжения рода»: слово «племя» в семантике Ветхого Завета синонимично слову «род»: «тут горе говорит / но что же делает тушканчик / давайте братцы поглядим / в его стакане пышном тихом / как видно появилась ночь / и слово племя *тяжелеет* / и превращается в предмет». Травестированное выра-

жение мифологических мотивов творения и непорочного зачатия, тем не менее, не снижает эмоциональную насыщенность текста. Состояние подавленности, ощущение безысходности переживают герои, осознав главный результат творения — всепоглощающее время: «эти звери все живые / и эти птицы молодые / и горе толстое хромое / умрут холодной зимою».

Образ двух птичек, летящих над только что сотворенным миром и тоскующих по свету, может восходить к «Книге Еноха» — птицам-духам, сопровождающим солнце. Еноху, взятому на четвертое небо, была показана солнечная колесница: «Слева и справа от солнечной колесницы увидел я по четыре огромных звезды... И два духа летят в образе двух птиц — один подобен фениксу, второй — халкедре. Лица у них львиные, ноги, хвосты и головы — крокодилы, окрашены они цветами небесной радуги» (*Книга тайн Еноха* 1997: 96). Внешний вид двух птичек в стихотворении Введенского неуловим. Согласно движению времени, их облик постоянно меняется: то они сраниваются с совой, то с обезьяной; «унылый хвост» и «мех» превращаются в «косицы», которые птички «распускают хвостом».

Возведенный на третье небо, Енох лицезрел рай, лежащий между тлением и нетлением; на северной же стороне находилось очень страшное место, где происходят всякие «муки и мучения», там нет света, и стоит «тьма лютая и мгла несветлая» (*Апокрифы Древней Руси* 1997: 48). Мир, материализовавшийся в «северной руке» тушканчика, осознается героями как страшное место, которое в один прекрасный момент всем принесет гибель: «солнце светить перестанет / земля поморщится подсохнет / и все как муха сразу сдохнет».

В то же время предлагается и другое объяснение бедственного положения мира. Его дает горе. Причиной всех несчастий горе называет *окостеневшее и застывшее море*. Море в данном случае — символ мира, погрязшего в низших мировых законах, символ духа, который не в силах подняться вверх.

Чтобы прояснить значение этого символа, обратимся к двум библейским текстам, которые чрезвычайно важны для понимания концептуальной системы Введенского. Это Книга Исхода и Псалом 113.

Эти тексты получили символическое толкование в религиозно-мистических кругах, идущее от гностических систем наасенов и ператов, которые понимали «исход из Египта» как образ перехода человеческого духа из низшего мира в высший. Переход через Черное море являлся для них символом освобождения от вла-

сти рока и низших мировых законов: спасаясь из области неведения, человек направляется через море судьбы и вступает в область Света, единственного вечного образа Царства Сына в видимом мире.

В 113 Псалме псалмопевец указывает на Сказание о Черном море, расступившемся перед евреями, и о чуде Иисуса Навина, приостановившего течение Иордана при занятии евреями земли обетованной. По толкованию наасенов, это символизирует дух, прекращающий свое нисхождение к низшему миру материи и обращающийся назад к своему источнику. Земля же египетская символизирует, по их толкованию, плоть.

В обсуждаемом тексте Введенского, *море* — это и первичная стихия-материя (*великое море*), и единица мира, которая наравне с прочими тварями наделяется качеством детскости (*молодое море*), и символ духовного начала, пришедшего в упадок («будто мрамор это великое море *окостенело и застыло* а потом оно *отплыть от берегов стремится*»).

Наличие в тексте одновременно богоборческого мотива «расчленения мира» и мотивов «поиска знания» и «падения духа» прослеживается и в других произведениях тридцатых годов («Снег лежит», «Святой и его подчиненные», «Факт, теория и Бог», «Значенье моря», «Кончина моря», «Кругом возможно Бог»). Образ моря в силу своей полисемантичности служит связующим звеном, точкой пересечения этих мотивов.

* * *

Гроб плывет, а мертвец поет.

Загадки русского народа

Я также был когда-то жив
и Финский я любил залив.
На состояние воды рябое
глядел и слушал шум прибоя.

А. Введенский. «Четыре описания»

Герой стихотворения «Зеркало и музыкант», Музыкант Прокофьев, рассказывает вызванному в зеркале духу, Иван Ивановичу, о своем опыте проникновения в иной мир и о преподанном ему видении.

Музыкант Прокофьев
...вот в неподвижность я пришел
и сел на стол

и стал как столб...
потом присел на табурет
и созерцал небес портрет

Иван Иванович
и какова была картина?

Музыкант Прокофьев
весьма печальна и темна...
...смотри — в могильном коридоре
глухое воеет море
и лодка скачет как блоха
...а в лодке стынет человек
он ищет мысли в голове
чтоб все понять и объяснить
...как звать тебя существо?
спрошу спокойно его
ответит: звали Иваном
а умер я под диваном...»

(«Зеркало и музыкант»)

Море в стихотворении «Зеркало и музыкант» выступает не только образом *последнего пути* и пугающей неизвестности пост-смертного существования, но и образом «*моря жизни*», по которому «плывут» живущие-к-смерти люди, пытающиеся рационально разрешить загадку жизни. На символическом уровне образ «могильного коридора» может быть интерпретирован как время человеческой жизни, от рождения до смерти, что соответствует отношению Введенского к миру человека. Сравнение плывущей лодки со скачущей блохой подчеркивает и ничтожность лодки, несущейся по *морю бытия*, и беспокойный нрав моря. Эпитет «глухое» (море) связывает разные ситуации: помимо «глухого» моря психической ассоциации (в значении «смутное, неясное»), эпитет «глухое» относится к морю мифологической ситуации, передавая значение «глухое ко всем просьбам», и к морю символической ситуации, передавая значение «затаенное, скрытое».

Море бытия — гностический символ, получивший широкое распространение в религиозно-мистических кругах. Название *περαταζ*, то есть переправляющиеся, применялось гностиками-ператами по отношению к самим себе в смысле мистической переправы через *океан бытия* из низшего мира в высший.

Божественная сущность, по учению ператов, непостижима, едина и троична в своих проявлениях: Царство Отца; Царство Сына (оно же Логос, Змей) и Низший мир, именуемый *θαλασσα* (то есть *море*). Второе проявление Божественной Тройственной Сущности извивается змеем между Непознаваемой Высшей Суш-

ностью Божественного Отца и Низшим миром материи, или миром *Влажного начала*, на поверхность которого бросает отражения непостижимых образов Божества. Лишь в этих отражениях состоит, по учению ператов, реальность видимого мира.

Попыткой понять мистическое значение моря как «моря жизни», «океана бытия» является стихотворение «Значенье моря».

Герой стихотворения в стремлении узнать тайну устройства «этого» мира, мира рождения и смерти, решает пережить состояние до-рождения («чтобы было все понятно / надо жить начать обратно»). Состояние до-рождения, в то же время, соотносится с досотворенным состоянием мира. В поэтической системе Введенского «бытовые» детали профанного мира часто служат элементом ассоциативной цепи, ведущей к объекту или понятию сакрального мира. При этом создается игровая ситуация контраста между семантическим наполнением (экспрессивной, эмоциональной коннотацией) слова, данного в тексте, и слова скрытого, подразумеваемого. В данном случае намеком на возврат к досотворенному состоянию мира служит образ обратного хода истории мира, выраженный через иронично приведенное представление эволюционной теории («и ходить гулять в леса / обрывая волоса»).

Чтобы пережить состояние инобытия, герой проводит магический ритуал с огнем («а когда огонь узнаешь / или в лампе или в печке / то скажи чего зияешь / ты огонь владыка свечки»), обставленный, судя по упоминающимся в тексте предметам (свечка, печь, лампа, цветок, ваза, бубенец) в традициях кабалистической практики. В видении ему предстает сцена небесного застолья, на которое собираются почившие элементы мира — лес, поля, горы, ущелья, скалы, люди, звери, — ожидающие своей дальнейшей участи. На небе, как и на земле, царит уныние и страх, веселье сменяется скукой («и стоят поля у горки / на подносе держат страх / люди звери черногорки / вселятся на пирах», «лес волнуется от скуки»). Обреченные на рождение и смерть, сотворенные элементы, в загробном мире не перестают гадать о будущем («лес рычит поднявши руки... / шепчет вяло я фантом / буду может быть потом»), празднуют свадьбы и рождения, не подозревая о том, что свадебные пиры являются в то же время тризной:

здесь *всеобщее веселье*
это сразу я сказал
то *рождение ущелья*
или *свадьба* этих скал

это мы увидим *пир*
на скамье присядем *трубной*
 между тем вертятся как мир
 по рукам гремели бубны
 будет небо будет бой
 или будем мы с тобой.

Подобно Еноху, герой наблюдает картину мучений всемирного масштаба («звери сочные воюют / лампы корчатся во сне / дети молча в трубку дуют / бабы плачут на сосне»), обобщает которую образ «кладбища небес», на котором стоит создатель «этого мира» — «универсальный бог».

Ответ о причине страдания людей дается герою в виде символического изображения. Живущие люди видятся ему утопленниками, обитающими на дне моря-бытия: «мы на дне глубоком моря / мы утопленников рать / мы с числом пятнадцать споря / будем бегать и сгорать».

Числовой символ «пятнадцать» («мы с числом пятнадцать споря / будем бегать и сгорать») может иметь двойную интерпретацию. Согласно первой из них, основанной на семантике всего стихотворения, число «пятнадцать» символизирует заветы Христа. Большинство гностиков придерживалось докетических воззрений на Христа и называло временем явления Спасителя в мир для освобождения людей от власти творца 15-й год царствования Тиверия (*Поснов* 1917: 403).

Возможна и другая интерпретация этого числового символа. Число «пятнадцать» в контексте магического, по всей видимости кабалистического, ритуала может означать карту под номером 15 из Большого Аркана Таро, имеющую название «Дьявол», прочтываемую, в зависимости от положения на плоскости, как «что-то должно произойти, но это во благо» или «что-то должно произойти, но во зло» (*Крэг* 1993: 10—12).

Таким образом, в приведенных выше строках заключен образ жизненной «суеты сует», в которой человек пытается оспорить свою судьбу и «сгорает», не следуя путям спасения.

Установка на множественность значений является одним из стилиобразующих элементов художественной системы Введенского. Возможность двойного прочтения текста мотивирована прагматической направленностью поэтического языка: поэтическое переживание у Введенского — это переживание ситуации загадывания, в которой загаданным является мир в его Божественной целостности и полноте, а текстом служат его фрагментарные отражения, доступные человеческому сознанию. Фрагменты мира

«складываются» и интерпретируются человеком в зависимости от типа мышления, мировоззренческих установок, конкретной ситуации восприятия. Наложение в одном тексте не только нескольких сюжетных пластов, но и полярных оценок одного и того же явления передает свойство человеческого сознания манипулировать объектами, принадлежащими разным пространствам-источникам (наблюдаемому, снящемуся, вспоминаемому, в том числе слышанному, читанному, придуманному), воспринимать и объединять информацию о мире, полученную как через личный опыт, так и опосредованно.

Попадание людей на морское дно обусловлено «волей свыше»:

холмы мудрые бросают
всех пирующих в ручей
в речке рюмки вырастают
в речке родина ночей...

Семантическое наполнение образов «ручей» и «речка» и неоднозначность оценки происходящего подвергаются обыгрыванию.

Употребление синонимов-заместителей и слов с уменьшительными суффиксами — характерная черта поэтической системы Введенского. Как правило, «замещается» слово, в семантический объем которого входит общекультурное или библейское символическое значение, а синоним, который его замещает, такого значения не имеет: книга жизни — тетрадка; коса (смерть с косой) — шашка, сабля; кафтан (гроб) — тулуп и т. д. Аналогично слово-символ или слово с семантикой «предмет культа» замещается своим дериватом с уменьшительным суффиксом: образ — образок и т. п. При этом получается двойной эффект: тайной речи, с одной стороны, и игровой ситуации — с другой.

Синоним-заместитель сужает, конкретизирует семантический объем слова. Образ опредмечивается, что влечет смену «декодирующего кода»: на первый план выступает «зримость» образа; символическая ситуация подменяется предметной («в речке рюмки вырастают») и прочитывается в стилистике потешного фольклора. Игровая ситуация создается за счет «опознания» спрятанного символа, сопоставления семантического наполнения двух ситуаций (символической и предметной) и осознания-интерпретации смыслового сдвига в рамках читательской языковой компетенции.

В данном случае «ручей», «речка» служат намеком на «реку жизни», — образ, ассоциативно связанный с образом «море бытия». Выражение «холмы мудрые бросают всех пирующих в ру-

чей» подразумевает тогда отправление в плавание по «реке жизни». Употребление *ручья* вместо *реки жизни* может быть истолковано как указание на исток реки или на ее измелчение, то есть, в ключе символического образа *реки жизни*, — на рождение или смерть.

В то же время оправданна и другая интерпретация происходящего, а именно обряд крещения водою. Создается игровая ситуация контекстов, включающая разную оценку происходящего: 1) земные твари обречены «мудрыми холмами» на круговорот жизни и смерти, 2) «мудрые холмы» дают им возможность спасения.

Образ рюмок, вырастающих из речки-ручья, может выражать как мотив «перерождения», так и мотив «единения с Божеством». Прообразом рюмок, соответствующим последнему, является символ Чаши в герметической традиции («в чаше обретается познание Божества» (Николаев 1913 : 41)). Идея перевоплощения представлялась в образе многих чаш, в которых вечно переливается божественная субстанция духа, в пифагорействе, служившем одним из источников гностических учений.

Последняя часть стихотворения — окончание мистического ритуала. В сознании героя происходит наложение двух изображений: картины видения («кони мчались по полям / и была пальба и плач / сон и смерть по облакам / все утопленники вышли») и пространства реального мира. Возвращение героя из страны мертвых описывается как выход из воды, позади остаются «волны» инобытия, впереди расстилаются морские волны реального мира, по которым путешествуют корабли («молча вышли из воды / позади гудели волны / принимаясь за труды / корабли ходили вскачь»). Наложение двух ситуаций делает героя участником событий последнего видения, одним из «утопленников», вышедших из моря. Этот образ содержит аллюзию на главу 20 Апокалипсиса — метафорическое описание воскрешения прежде почивших язычников, с которыми отождествляет себя герой: «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них...» (13).

Образ «волн смерти», в свою очередь, отсылает ко 2-й Книге Царств: «Окружили меня волны смерти, потоки Велиала устрашают меня, цепи преисподней охватили меня, настигли меня петли смерти» (22: 5—6). В значении «преисподняя» возникает образ «дна моря» в Книге Иова: «Дошел ли ты до источников моря, ходил ли ты по дну бездны? Открылись ли для тебя врата смерти, можешь ли видеть врата мрака?» (38: 16—17).

Несмотря на «урок», преподанный во время мистического ритуала, пришедший в сознание герой, как, впрочем, и другие покинувшие «дно моря», не верит в пути спасения («я сказал я вижу сразу / все равно придет конец») и предпочитает жить так, как жил раньше: «волю / память и весло / слава небу / унесло». Таков же итог «хождений» героини стихотворения «Снег лежит», взятой на небо, а потом возвращенной в мир людей. Попавшая в рай «девица», видит Творца, «томящегося» среди произведенных им элементов мироздания («там вертелись вкось и вкривь / числа домы и моря / в несущественном открыв / существующее зря / там томился в клетке Бог»). Девица жалуется Богу на жизненную тоску. В ответ возникает видение с образом «ленточки Судьбы» — выхода из «мрачного бытия». Но воскресшая девица забыла все увиденное и «помчалась как ослица всем желаньям потакать».

Стараясь постигнуть смысл «мира иного», герои испытывают сомнение в определении аксиологии «моря». Море представляется то преисподней, то «лучшим миром», как в стихотворении «Сутки». Сутки — символ дуализма мира. Кольцевая композиция стихотворения (ночь — день — ночь; зима — весна — осень) и диалогичная (Вопрос. — Ответ.) структура соответствуют идее бесконечной череды жизни и смерти. Сюжет строится как параллельное движение трех кругов: природного цикла, смены дня и ночи, «круга» человеческой жизни. Мир живущих (в круге человеческой жизни) лишен моря и показывается как *мрак, сон, зима, ночь*:

Вопрос. Но кто тебя *здесь* повстречал
в *столичном этом мраке*,
где вьются гнезда надо мной,
где нет зеленых листьев,
и *страждет человек земной*,
спят раки,
где моря нет?
Где нет значительной величины воды.
Скажи кто ты?
Тут мрак палат.

В то же время пространство *дня* не является в стихотворении миром ценностным. Наступление дня и, соответственно, весны влечет «рост мира» («День наступает, мир растет»), таяние «снега», начинает течь «ручей» человеческой жизни («Снег был зимой числом. / Он множествен. / Теперь в ручье кивать веслом / ты можешь»). Наступление дня дает ход движению времени: «Жук пробежал. Трава продвинулась на точку за этот час». Река жизни

«уносит» человека и зверей («Шипит брошенная в ручей свеча, / из нее выходит душа. / Плачет кинутый в воду крот / и слепыми глазами читает небосвод. / И рыбак сидящий там где река / незаметно превращается в старика...»).

Пространству жизни («Столица здесь. / Здесь моря нет. / Здесь мира нет») противопоставляется *море* как мир ценностный («безупречная вода»). Не знающее страданий жизни, море понимается миром абсолюта, миром радости, лежащим в основе бытия («печаль ей незнакома», «Она под каждую ложбиной дома. / Она ленивица. / Она просторна. / Она горда, / она тверда, / она бесспорна»).

* * *

Я — ты, и ты — Я. Где ты, — там и Я. Я — во всем, и ты меня собираешь своею волею, и собирая Меня, — ты, собираешь себя.

Евангелие Евы

иди сюда я / иди ко мне я / тяжело без тебя
/ как самому без себя.

А. Введенский. «Факт, теория и Бог»

Стремление к миру абсолюта, путь к знанию через преодоление материального начала Низшего мира — тема пьесы «Куприянов и Наташа». Действие пьесы ведется одновременно на трех уровнях, каждый из которых реализует свой сюжет. Бытовой план соотносится с любовной драмой; символический план — с космогоническими мифологическими мотивами. Связующими элементами и одновременно маркерами разных уровней текста служат эпитеты, сравнения и многозначные атрибуты и предикаты.

В начале пьесы, обращаясь к Наташе, Куприянов называет ее «Маруся, Соня». Оговорка, случайное именование — игровой прием, используемый А. Введенским в качестве семантического маркера подтекста. Имена «Мария» и «София» скрыты их мирскими, «домашними» производными:

Наташа,
что ты гуляешь трепеща,
ушли давно должно быть гости.
Я даже позабыл, Маруся,
Соня,
давай ложиться дорогая спать...

Имя Наташа ориентировано на внешний план и известно всем, включая «свиных гостей», удалившихся перед началом действия; им пользуется повествователь, описывая происходящее:

«Наташа (снимая юбку)», «Наташа (снимая кофту)», «Наташа (снимая штаны)», «Наташа (снимая рубашку)», «Наташа (одевая рубашку)» и т. д. Соотносимое с материальным, плотским, оно является в семантике пьесы не просто именем-матрешкой, скрывающим имена ценностно означенные, семантическое наполнение которых связано с библейской и мифологической символикой, но и выражает материнское, порождающее начало (*natalis* (*лат.*) — относящийся к рождению): «Ты будешь со мной, я буду с тобой / заниматься деторождением». Тройственность имени героини (Наталья — Мария — София) указывает на ипостаси женского образа и обозначает лейтмотив пьесы — представленную на разных уровнях мировую драму любви и богоискательства. Вследствие многоплановости действия неоднозначное наполнение получают основные мотивы и образы пьесы: мотивы искушения, сомнения, разочарования, превращения, образы света и тьмы, одежды, дерева.

В приведенном выше отрывке имя «Соня» вынесено на отдельную строку, интонационно выделено, и приглашение ко сну звучит обращенным именно к ней. Мифологический пласт действия разворачивается вокруг обыгрываемой омонимии «соня — Соня». «Но что-то у меня мутится ум, / я полусонная как сучка», — говорит обнажаясь («снимая штаны»), Наташа. «Я молча одеваюсь в сон. Из состояния нагого / я перейду в огонь одежд», — произносит она, одеваясь («надевая штаны»). «Сон» при этом соотносится с «одеждой» и противопоставляется «состоянию нагому». В финале пьесы превращение героини в дерево происходит после того, как она заканчивает одеваться, и сопровождается погружением в сон «окончаний ее груди», которые в обнаженном виде «сияли» на «сытой» груди:

Наташа (*надевая кофту*).
 Гляди идиот, гляди
 на окончания моей груди.
 Они исчезают, они уходят, они уплывают,
 потрогай их дурак.
 Сейчас для них наступит долгий сон.
 Я превращаюсь в лиственницу..

Ассоциативный ряд со значением «смерти»: исчезать — уходить — уплывать — погружаться в долгий сон и данное противопоставление сна «состоянию нагому» придают образу одежды героини негативную коннотацию. В начале пьесы возлюбленная Куприянова не только выдает свой страх перед одеждой, но и обнаруживает подчиненное ей положение: «боюсь тебя владычица

рубаха, / скрывающая меня в себе, / я в тебе как муха». Двойственный характер атрибуции — свойственный Введенскому прием переключения действия с одного сюжетного уровня на другой. Возвратное местоимение «себе» может относиться как к слову «рубаха», так и к слову «меня». В последнем случае «рубаха» — это нечто, мешающее героине увидеть собственную сущность, а обнажение можно интерпретировать как символ процесса самоисследования, самопознания. Активность, целенаправленность этого процесса подчеркивается выделенностью субъектно-объектных отношений; так, вместо привычной суффиксальной формы возвратного глагола «(я) обнажаюсь», в реплике Наташи употреблена аналитическая форма с возвратным местоимением: «себя я... обнажаю», разделяющая «я» говорящего на субъект и объект действия.

Несмотря на то что Наташа ощущает себя под властью «рубахи», она с ней на «ты», как с равной («боюсь тебя владычица рубаха»). Рубаха сковывает ее свободу («я в тебе как муха»). Параллелизм («меня в себе, я в тебе») включает личное местоимение «тебе» в отношения возвратности: я в тебе как муха, я в себе как муха. Символический план данного сравнения — противопоставление материального и нематериального начала — скрывается за «бытовым», просторечным выражением благодаря метонимическому переносу «рубаха — материя», «муха — летать». Символический план создается и за счет обыгрывания в сравнении «себя я будто небо обнажаю» значений возвратности-объектности, сказывающегося на интерпретации внутренней структуры сравнения, а именно возможности нескольких прочтений: 1) героиня обнажает себя, будто небо обнажает себя; 2) она обнажает себя, как она обнажает небо; 3) сравнивается с небом объект действия («себя»), то есть внутренняя сущность героини.

В основе сюжетной линии Куприянов — Соня, включающей мотив поиска знания, мотивы своеволия и падения, борьбы света и тьмы, лежит трансформация гностического мифа о Софии. Теология гностицизма исходит из абсолютного первосущества: самого в себе заключенного, безначального, далекого, необъятного. Понимаемый как Первооснова, первоэон, совокупность идей и духовных сил, Бог бесконечно возвышен над всем сущим. Творение мира заключается в раскрытии Первоосновы и исхождении отдельных эонов из недра Божества как идей вечного духовного мира. Причиной исхождения эонов из абсолютного в одних гностических сектах называли божественную самораскрывающуюся любовь, в других — метафизическую необходимость. В

наиболее развитой системе Валентина от абсолютного исходит 30 сигизий, или муже-женских пар. Все вместе эоны образуют духовный мир, мир света или духовную полноту — Плерому (πλήρωμα). От Плеромы существенно отличается материальный, видимый мир, в котором господствует злое начало. Сирийские гностики представляли материю, согласно с парсизмом, в виде злой субстанции, которая находится в непримиримой вражде с царством света. Александрийские гностики следовали в понимании материи Платону и представляли ее себе как пустоту, противостоящую божественному существу, как тень — свету. Она сама по себе безжизненна и оживает лишь через соприкосновение с Плеромой. София (Σοφία), согласно гностической теогонии, последний член в божественной цепи эонов. София падает в темный хаос, передавая импульс жизни, но поглощается материей, от этого начинает томиться и ищет спасения. Падение эона-Софии объясняется гностиками по-разному: недостатком силы для поддержания связи в цепи эонов, греховной любовью к материи или своеволием. По учению валентиниан, София возгордилась и пожелала стать подобной Божественному Началу, создав из себя ряд совершенных эманаций. Но это оказалось ей не по силам. Спасение понимается гностиками как освобождение светлого эона из оков земной материи, происходящее через Христа, являющегося совершенным эоном. Благодаря гносису, который несет Христос, всякий беспорядок в мире эонов устраняется; материя уничтожается огнем, вышедшим из нее.

Противопоставление низшего мира материи, соответствующего незнанию, одиночеству, томлению, — высшему миру единения в Божестве было присуще всем гностическим системам. Согласно проповеди гностика Маркиона, люди, отрекшиеся от материи, получают возможность ожить в созерцании Божественного начала и радостно слиться с ним. Отречение от материи предполагало, по Маркиону, в первую очередь, отказ от плотских удовольствий. Гностик Саторнил, придерживавшийся крайне аскетических принципов, запрещал брак и рождение детей. В сектах офитов и ператов низший мир материального начала отождествлялся с водой, тьмой, глубиной и хаосом.

В пьесе Введенского образ воды и ассоциативно близких к нему образов (волна, источник, родник, утка, судаки) связаны с чувством сексуального вождления:

Куприянов (*снимая брюки*):
Сейчас и я предстану пред тобой
почти что голый как прибор...

я видел женщины родник
и я считал что женщина есть дудка,
она почти что человек,
недосягаемая утка.

Наташа (*снимая штаны*):
Уже ты предвкушаешь наслаждение
стоять на мне как башня два часа,
и чувствуешь моей волны биенье.

Наташа (*надевая штаны*):
...я сама для себя источник

Предвкушая любовные утехы, Куприянов, представляет: «Ты будешь со мной, я буду с тобой / заниматься деторождением. / И будем мы подобны судакам». Вряд ли можно найти основания для сравнения супружеской пары с «судаками» в «занятии деторождением». По способу размножения судак не отличается от других рыб. Судак (от sand — песок), как рыба, обитающая близко ко дну, олицетворяет подводный мир. За счет синтаксической и интонационной обособленности сравнения глагол-связка «будем» приобретает экзистенциональную коннотацию, а все высказывание подразумевает вступление героев в особое состояние. На авторскую оценку этого состояния указывают особенности употребления личных местоимений: в первом предложении Куприянов употребляет вместо объединяющего «мы» описательное «ты со мной», «я с тобой», во втором предложении по отношению к «мы» использует малоупотребимую, а значит, семантически маркированную форму множественного числа «судаки» вместо собирательной «судак» («И будем мы подобны судакам»). Тем самым, возможность единения в плотской любви подвергается сомнению.

Обыгрывание грамматической семантики личных местоимений «мы», «они», проходящее через весь текст, заключается в том, что вводится уточнение входящих в эти «мы» и «они» единиц: «а настут двое», «они вдвоем обнялись», подчеркивая в составе лексем значение множественности, а не собирательности, и в то же время указывается на отсутствие значимости этой множественности: «мы здесь одни». Идея «единения-в-Боге» возникает в тексте как оппозиция одиночеству в «подводном мире». Чувство «эсхатологической» тоски, томления по единству, обреченности выражается и лексическими повторами «один», «последний», «конец», в контексте пьесы звучащими как синонимы: «я одна осталась», «лежу одна», «я осталась одинокой дурой», «оказалось, что я одинокий ездок», «Ну вот все кончилось. Одевайся», «окончания моей

груди», «обнажилась до конца», «последнее чувство», «последнее колечко мира», «Ты окончательно мне дорога», «Я доверилась последнему негодяю», «достоинство спряталось за последние тучи».

Используя прием сокрытия сакральных слов их профанными синонимами или производными, А. Введенский маскирует гностический интерес Куприянова желанием любовных утех: «давай ложиться дорогая спать, / тебя хочу я покопать / и поискать в тебе различные вещи, / недаром говорят ты сложена не так как я». В эротическом контексте пьесы глагол «покопать» должен свидетельствовать об интересе Куприянова исключительно к физиологии любовного акта. Если глагол «покопать» имеет значение начала действия, то «раскопать» — его результат. Переносное значение — «найти, разыскать, разузнать». Куприянов стремится узнать истину. Предмет его интереса характеризуют эпитеты «хитрый», «безумный» («она показывала хитрое тело», «безумная фигура» Наташи), реализующие в данной сюжетной линии пьесы значения «мудреный, сложный, недоступный разумению». Наташа-Соня обнажается, и перед Куприяновым постепенно раскрываются стихия и первоэлементы: «себя я будто небо обнажаю: / покуда ничего не видно, / но скоро заблестит звезда, «ты ешь мой вид земной. / ...и чувствуешь моей волны биенье», «живот пустынный / ...а дальше дивное сиденье, / его небесное виденье / должно бы тебя поразить».

Сняв рубашку, Наташа-Соня обнаруживает весьма неопределенное строение, напоминающее то ли змею («Смотри-ка, вот я обнажилась до конца / и вот что получилось, / сплошное продолжение лица», «темный от длины... пейзаж спины»), то ли некое млекопитающее («соски сияют впереди»). В цветовом изображении обнаженного тела присутствуют и темные и светлые тона («ты ... светла», «видны как свечи мои коричневые плечи», «темный пейзаж спины»). У офиан существовала символическая диаграмма. В соответствии с трихотомией, лежащей в основе учения, диаграмма состояла из трех частей: царства света, средней части и тартара. В средней части диаграммы находилось царство Софии — изображались два круга: внешний с надписью $\Sigma\omicron\phi\iota\alpha$ $\rho\rho\omicron\nu\omicron\sigma$, окрашенный в желтый золотистый цвет, был змеевидный, внутренний круг, надписанный $\Sigma\omicron\phi\iota\alpha$ $\phi\upsilon\beta\omicron\varsigma$, — синий. Их соединение указывало на смешение света и тьмы. В виде полудевы полу-змеи изображалось женское начало Едем в системе гностика Иустина (Поснов 1917: 296).

Семантика отношений «свет—тьма» меняется в зависимости от той или иной сюжетной линии пьесы. Действие пьесы начи-

нается вечером, и внешний ход действия: от ночи — к рассвету («Наташа, гляди светает»). В начальных словах Куприянова («пугая мглу горит свеча») обозначается общехристианский мотив борьбы света и тьмы как двух противоположных сил, соответствующий сюжетной линии пьесы с мотивом грехопадения в центре. На этом уровне Наташа (Мария) — искусительница, и ее образ сопровождается атрибутами грешников апокрифических книг и лубочных изображений — искусительным жаром («от глаз podobных жарких женщин / бегут огни по тела моего аллее»), темным, как у черта, телом («коричневые плечи»), и из уст ее звучат «погибельные речи»: «Ну что же Куприянов, я легла, / устрой чтоб наступила мгла», «ложись скорее Куприянов, / умрем мы скоро». Грудь Наташи сравнивается с адскими котлами; лица героев выглядят как «рожи», а они сами напоминают чертей. И в данном случае по отношению к ним употребляется обобщающее «наши рожи», «мы черти».

Кульминация пьесы — отказ Куприянова: «Нет, не хочу. (*Уходит*)». Отказу Куприянова предшествовали слова Наташи «Ложись скорее... / умрем мы скоро». В данной сюжетной линии мотивировкой сделанного героем выбора является страх наказания, а не чувственное охлаждение к героине. Куприянова настигает кара: «как все темнеет. / Мир окончательно давится. / Его тошнит от меня», «и нету для меня надежд». Возмездие пришло к Куприянову за то, что он «оставил первую свою любовь» (Откр. 2, 4), не остался верен «одной звезде», в которую когда-то верил. Представляет интерес контекстуальная этимология имен героев: в имени Наташа актуализируется значение «родная»; фамилия «Куприянов» произведена от имени Куприян, что является разговорной формой от Киприан (кургос — о-в Кипр), возможная коннотация имени героя связана с ходившей в древности дурной славой о распущенности нравов жителей острова Кипр.

Финал — превращение героини в дерево (за словом «лиственница» по фонетическому сходству легко угадывается скрытое «девственница»), восход солнца «мощного как свет» — прочитывается в образах последней главы Апокалипсиса: «И показал мне... древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов» (Откр. 22, 1–2), «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков» (Откр. 22, 5).

Мотив «свет—тьма», соответствующий сюжетной линии Куприянов— Соня, соединен с мотивами «поиска знаний» и «свое-

волия». Именно Наташа тоскует без света («Куприянов мало проку в этой свечке»), и ее обнажение связано с тем, что на ее теле «небе» должна появиться звезда («покуда ничего не видно, / но скоро заблестит звезда»). Раздевшись, Наташа-Соня становится «красива и светла». Меняются и отношения «низ—верх»: «а дальше дивное сиденье, / его небесное виденье / должно бы тебя поразить». Квартира оказывается над героями и характеризуется как тьма: «А черная квартира над ними издали мгновенно улыбалась». Квартира является символом материального мира с его временностью. Наташа-Соня, одеваясь, обращается к рубашке со словами: «Я затем тебя снимала, / потому что мира мало, / потому что мира нет, / потому что мира нет, / потому что он выше меня». Себя и Куприянова метафорически называет «последним колечком мира»: «последнее колечко мира, / которое еще не распаялось, / есть ты на мне».

Свет в гностических учениях считался символом знания и Божественного присутствия и противопоставлялся огню как атрибуту Творца Низшего мира. В книгах Ветхого Завета свет и *огонь* характеризовали разные стороны Божества: символ света выражал Божию благодать, небесный огонь символизировал орудие гнева и казни грешников; так, в Книге Пророка Исаии содержится и образ света, как проявление милости Божества к праведным, и образ огня, как орудие. У офитов Первичный Свет, пребывающий в непознаваемой Глубине, — Безграничный, Непостижимый, назван Отцом всего сущего (Николаев 1913: 204). Материальное бесформенное начало, образующее Воду, Тьму, Глубину и Хаос, приводится в движение Частицей Превечного Света, которая создает себе из воды тело — живую материю, обладающую всеми потенциями бытия. Произведя мир, Частица Превечного Света (она же Премудрость (Σοφία) и мужеско-женское начало Пруникос (Προυϊνικός)) сама оказалась пойманной в созданной материи мира, так как приведенные в движение частицы хаоса, устремились к ней и, прильнув, отяготили ее. Далее Пруникос создала из своей материальной сущности небесную твердь как «грань между областью Непостижимого Света» и познаваемым миром. Окрепнув в своем стремлении к Высшему Свету, София-Пруникос полностью освободилась от материи и оставила свое змееобразное тело.

В гностическом сочинении «Пистис София», содержание которого — беседы воскресшего Христа с Марией Магдалиной и Пречистой Девой Марией, излагается миф о падении, покаянии и спасении Софии (Поснов 1917: 308—315, Николаев 1913: 470—

473). София кается Свету Светов за то, что «воззрела ввысь» и пожелала стать подобной Неизреченному Началу, создать из себя ряд совершенных эонов: »И помыслила она: пойду я в сие место без супруга моего, возьму свет, создам из себя Эоны света, чтобы могла я идти к Свету Светов, который в горня горних» (*Пистис София* 1996: 38). По системе Валентина, после падения эона Софии двадцать девятый член Плеромы, соответствующий Софии в последней сигизии, мужской эон *Желанный*, оставшись без своей пары, втягивается обратно всю Плеромую и в ней растворяется (*Николаев* 1913: 298).

В заключительной части Куприянов «становится мал-мала меньше и исчезает». С семантикой данного образа видится допустимой ложная этимология имени Куприянов: произведение его от «приятный», с родственными словами «приятъ», «приязнь» (др.-русс., ст.-слав., греч. «εὐνοία», «πιότης») (*Фасмер* 1996).

Мотив превращения в дерево также имеет место в гностических системах. В теогонии варвелиотов (варVELO-гностиков) на одном из этапов творения из сочетания Логоса и Мысли происходит Саморожденный, спутницей которого является Истина. Саморожденный производит первого Совершенного Человека, названного Адамантом, и сопутствующее ему Совершенное Познание, благодаря чему Совершенный Человек познает сущность Божества. От этого сочетания Совершенного Человека и Познания происходит Дерево (*Николаев* 1913: 204—205).

Мотив совершенства возникает во второй (условно) части пьесы. «Одинокое наслаждение», которое испытывает герой, свидетельствует о достижении им самодостаточности, при этом прямое значение данного выражения замаскировано переносным — эфемистическим перифразом («сидя на стуле в одиноком наслаждении»). После того как Наташа-Соня демонстрирует Куприянову свое «хитрое тело», в изображении гностика-Куприянова появляется одна загадочная деталь, также звучащая эфемизмом, — «четвертая рука». Реплика Куприянова «И поднята могущественно к небу моя четвертая рука» содержит аллюзию на гностическое учение о Четверице. Учение о Четверице, или Тетраде, приписывается гностиком Валентину, унаследовавшему пифагорейское мирозерцание (*Там же*: 295), согласно которому квадрат произошел из единицы и содержит в себе потенции всего сущего. В образе Квадрата-Четверицы представляются первые проявления Непознаваемого Божества у варвелиотов (*Там же*: 204—205).

Благодаря Соне, Куприянов приобретает способность «стать самому для себя источником» наслаждения. Мотив преодоления

материального начала широко распространен в апокрифических памятниках и базируется на понимании Божества как средоточия Духа. Примером тому может служить отрывок из гностического «Евангелия от Египтян», в котором наступление Царствия Божия соотносится с таким «преобразованием» сознания, «когда двое будут как одно, а мужеский и женский пол будут ни мужеским, ни женским» (*Там же*: 215—216). Непознаваемое Божество наасенов, именуемое Первым, изображалось началом муже-женским (*Николаев* 1913: 206, *Поснов* 1997: 167). В виде муже-женских сигизий-исхождений описывается процесс творения и у других гностиков.

В пьесе, как мы видим, во втором, символическом, пространстве по-новому разрешается мировая драма. Введенский, переигрывая ветхозаветный миф, спасает человека от последующего зла. Проигрывая и трансформируя миф о Софии, возвращает ее Свету Светов.

* * *

Общую идею гностицизма — соединение всех элементов в первоначале отражают имена Божества. Гностические учения были тесно связаны с мистериями Египта и эллинского мира, ассимилировали астрологический и магический опыт Востока. В основе именованного Бога лежало указание на Его свойства: Первичный Свет, Безграничный, Непостижимый, Отец всего сущего, Первый Человек (офиты), Непознаваемое, Неизреченное Божество (варвелиоты), Благой (Иустин), Высшая Всеблагая Божественная Сущность (Макион), Непостижимая, Единая, Неизреченная, Первобытная Сущность (ператы), Неизреченное Первоначало Божества (Валентин), вмещающий в Себе потенции всего имеющего быть, но пребывающий в самодовлеющем покое вне времени и пространства, Бог-Не-Сущий (Василид).

В системе Валентина пары эонов-исхождений были названы соответственно прилагательными мужского рода и существительными женского рода: прилагательными были обозначены свойства первоначала, существительными — его творческие потенции, например: Нестареющий и Единение, Самородный и Радость, Отчий и Надежда, Материнский и Любовь.

«Движение» к Божеству представляется Введенским как изменение сознания. Этим объясняется время действия большинства произведений: настоящее длящееся время, соответствующее акту воспринимающего сознания, и тип героя — умираю-

щий, визионер, сновидящий («Четыре описания», «Значение моря», «Кончина моря», «Пять или шесть», «Больной который стал волной», «Где. Когда», «Потец», «Кругом возможно Бог»). Противопоставление действия длящегося кратковременным, прерывным, разнонаправленным соответствует двум оппозициям, обозначенным в текстах: 1) остановка времени в сознании умирающего — подвижность окружающих его людей; 2) внешняя неподвижность умирающего — мелькание изменяющегося сознания.

Пример первой из них — описание отца и сынов в пьесе «Потец». Сыновей, провожающих отца в последний путь, характеризуют многочисленные, разнообразные по способу действия, выраженные в большинстве случаев глаголами совершенного вида со значением начала или конца действия: «позвенев в колокольчики», «загремели в свои языки», «легли спать», «построясь в ряды», «начинают танцевать кадрили», «прекращают танцевать», «салятся», «входят». Процесс изменения сознания отца передается действиями длящимися, что выражается действительным причастием настоящего времени (*увядающие* очи), глаголом несовершенного вида настоящего актуального времени со значением «конкретного настоящего времени момента» (Он *умирает*) и фазовым глаголом (*становится* крупным):

«Они (сыновья) глядят в его *увядающие* очи. Отец *умирает*. Он *становится* крупным как гроздь винограда».

Один из способов, используемых Введенским для создания эффекта «мелькания-мира», — полипредикативность. Финал пьесы «Где. Когда» передает пограничное состояние героя, умирающего или медитирующего на смерть: «И дикари, а может, и не дикари, с плачем похожим на шелест дубов, на жужжание пчел, на молчание камней, и на вид пустыни, держа тарелки над головами, вышли и неторопливо спустились с вершины на немногочисленную землю». Плач, который слышит герой, похож одновременно на шелест, жужжание, молчание и вид. Звук, отсутствие звука, зрительный образ становятся нераздельным единством, знаменуют переход в иной мир.

С темой изменения сознания связан мотив смешения грамматических и понятийных категорий: рода, числа, одушевленности-неодушевленности («и был он бабка был осока», «коровы они же быки», «баньщик он же баньщица», «Два купца (смотрят в баню прямо как в волны). Он должно быть бесполой этот баньщик»). Преображенное сознание умирающего открывает ему новое видение мира, без деления на *наблюдателя и наблюдаемо-*

го («я бестелесный будто гусыня сидит»), в мире, увиденном поновому, нет границ между человеком и природой. На языковом уровне «растворенность» человека в пространстве выражается с помощью эпитетов, сравнительных оборотов с союзами *как*, *будто*, *словно*, сравнений *гл. + сущ. в т. п.*, где сравниваемый предмет принадлежит к семантическому полю *человек*, а то, с чем он сравнивается, принадлежит к семантическому полю *объект природы* («ее животик был как холм»; «он как утренний бамбук»; «другой молчанием погашен / холмом лежит как смерть бесстрашный»), предложениями предикации с составным именным сказуемым со значением отождествления с отвлеченной и полуотвлеченной связкой: *был + сущ. в т. п.*; *стал + сущ. в т. п.* («увы он был большой волной»; «он был просто муравей»), предложениями тождества с составным именным сказуемым с нулевой связкой («он резеда»; «он сена стог»; «я сложнейшая герань»). Мотивы «трансформации сознания» и «нового видения» передаются также через изменение актуального членения предложения («Когда он приотворил распухшие свои глаза, он глаза свои приоткрыл»), средствами экспрессивного синтаксиса («Река властно бежавшая по земле. Река властно текущая. Река властно несущая свои волны. Река как царь. Она прошалась так, что. Вот так» («Где. Когда»)).

Гносис остается для героев Введенского за пределами мира живых, и заветные слова «Я знаю знаю» принадлежат перешедшему в мир иной отцу.

Обобщая рассмотрение гностических мотивов в произведениях А. Введенского, нужно отметить, что поэтический метод близок способу «оживания» сказочного пространства детьми, переносимыми отдельные предметы или атрибуты в мир реальных вещей, «коллажирующих» пространство собственных рассказов с помощью частей или характеристик реальных и нереальных пространств. Введенский, перенося отдельные черты или предметы других литературных миров, строит свой «апокрифический» образ мира.

Примечания

¹ В основу статьи легли результаты работы: Валиева Ю. М. Поэтический язык А. Введенского: (Поэтическая картина мира) (защищена в ноябре 1998 г. в Санкт-Петербургском государственном университете в качестве кандидатской диссертации). В названном исследовании впервые установлена близость идей Введенского теологическим, этическим идеям гностиков, гностическому учению о человеке.

² Стихи Введенского цитируются по: *Введенский* 1993. Здесь и далее подчеркивание и курсив в цитируемых текстах автора статьи.

³ Возможным импульсом обращения Введенского к библейской тематике и образу Яхве, каким он предстает в Книгах Пророков и в Псалмах, могли служить работы И. Г. Франк-Каменецкого, в особенности статьи «Вода и огонь в библейской поэзии» (*Франк-Каменецкий* 1924) и «Пережитки анимизма в библейской поэзии» (*Франк-Каменецкий* 1926) — итог докладов, прочитанных автором в Российской Академии Истории материальной культуры в январе и августе 1924 г. С идеями ученого Введенский мог познакомиться во время учебы в 1922—1923 гг. на юридическом, затем на восточном факультете университета.

Библиография

Апокрифы Древней Руси 1997 — Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1997.

Введенский 1993 — Введенский А. Полн. собр. произв.: В 2 т. / Вступ. ст. и примеч. М. Мейлаха. М.: Гилея, 1993.

Книга тайн Еноха 1997 — Книга тайн Еноха // Гностики, или О «лжеименном знании». Киев, 1997.

Крэг 1993 — Крэг Д. М. Современная магия. СПб., 1993.

Липавский 1993 — Липавский Л. Разговоры // Логос. 1993. №4. С. 7—75.

Николаев 1913 — Николаев Д. В поисках за Божеством. СПб., 1913.

Пистис София 1996 — Пистис София // Знание за пределами науки: Мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллектуальных традициях I—XIV вв. М., 1996. С. 37—44.

Поснов 1917 — Поснов М. Э. Гностицизм II века и борьба христианской церкви с ним. Киев, 1917.

Поснов 1991 — Поснов М. Э. Гностицизм II века и борьба христианской церкви с ним. Брюссель, 1991.

Поснов 1912 — Поснов М. Э. Гностицизм и борьба церкви с ним во II веке. (Речь, произнесенная на годовичном акте в Киевской Духовной Академии 26 сентября 1912 года). Киев, 1912.

Фасмер 1996 — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1986.

Франк-Каменецкий 1924 — Франк-Каменецкий И. Г. Вода и огонь в библейской поэзии: (Отголоски яфетического мирозерцания в поэтической речи Библии) // Яфетический сборник: III. 1924. С. 127—164.

Франк-Каменецкий 1926 — Франк-Каменецкий И. Г. Пережитки анимизма в библейской поэзии // Еврейская мысль. Л., 1926. С. 42—80.

БИОГРАФИИ

Марк Смирнов
Москва

ПОСЛЕДНИЙ СОЛОВЬЕВ

Жизнь и творчество
поэта и священника Сергея Соловьева

Главы из книги

Предисловие

«Книги имеют свою судьбу» — гласит латинское изречение. О судьбе героя этой книги — поэта и священника Сергея Соловьева — читатель узнает из дальнейшего повествования. О судьбе самой книги, точнее, о том, как и почему она была написана, мне хочется рассказать в настоящем предисловии.

В 70-х годах, когда я учился в Ленинградской Духовной Академии, мне довелось познакомиться со своим однофамильцем, преподавателем английского языка — протоиереем Георгием Смирновым. Этот чрезвычайно обаятельный и образованный человек пришел в Церковь в 20—30-е годы, уже имея к тому времени диплом филолога. В сан священника отец Георгий был рукоположен кем-то из епископов, находившихся в расколе с митрополитом Сергием (Страгородским), что послужило достаточным основанием для ареста отца Георгия и последующей ссылки его в город Малоярославец (Калужской области). Все это стало мне известно из долгих и интересных бесед с отцом Георгием в его доме во Всеволожке, под Ленинградом.

С чего началось наше знакомство? Как это обычно бывает, со случайности. Как-то в библиотеке Академии меня попросили отвезти отцу Георгию книги — и я оказался в гостеприимном до-

ме с прекрасной религиозно-философской библиотекой, которая состояла из дореволюционных изданий. Здесь я впервые взял в руки тома сочинений Владимира Соловьева, а увидев его портрет, был поражен пророческой внешностью философа.

Однажды, когда мы говорили о Вл. Соловьеве и многочисленной его родне, отец Георгий рассказал, как во время своей ссылки в Малоярославец был дружен с несколькими русскими католическими монахинями-доминиканками, тоже ссылкой. По словам отца Георгия, они были последними членами общины русских католиков, окончательно разгромленной в 1931 году. Во главе общины стоял священник Сергей Соловьев, племянник философа, перешедший в католичество из православия, — в то время единственный в Москве русский католический священник восточного обряда, остававшийся на свободе.

Видя мой интерес к этой эпохе и людям, с ней связанным, отец Георгий, после некоторого колебания, сказал, что две из тех монахинь еще живы и их можно найти в Москве.

Так я познакомился с католической монахиней — сестрой Екатериной, в миру — Норой Николаевной Рубашовой. Нора Николаевна родилась в Минске 12 марта 1909 года, а крещение в Католической Церкви приняла в Москве в 1926 году, в апреле. Крестил ее отец Сергей Соловьев. С 1927 года она стала монахиней Доминиканского ордена, войдя в общину восточного обряда, основанную матерью Екатериной Абрикосовой¹. Дважды Н. Н. Рубашова побывала в заключении: с 1931 по 1936 и с 1949 по 1956 год. В первый арест она проходила и была осуждена по тому же делу, что и отец Сергей Соловьев; во второй раз — вместе с сестрами-доминиканками малоярославской общины.

В 60-е годы, после реабилитации, вернулась в Москву, работала в Исторической библиотеке. Комната коммунальной квартиры, где Нора Николаевна жила вместе с другой доминиканкой — сестрой Стефанией (в миру — Верой Львовной Городец)², была их монастырем.

Еще четыре доминиканки восточного обряда, чудом уцелевшие после стольких лет гонений, собрались в Вильнюсе. Там, на улице Дзуку, в крошечной двухкомнатной квартире, нелегально существовал католический монастырь, где бережно хранилась память о русских католиках, в том числе — об отце Сергии Соловьеве.

Благодаря помощи Н. Н. Рубашовой и других бывших прихожан отца Сергия Соловьева, с которыми она меня познакомила, я смог начать собирать по крупицам сведения — документы,

фотографии, воспоминания — о жизни и деятельности Сергея Соловьева; из них и стало складываться его жизнеописание.

Нора Николаевна предоставила в мое распоряжение и собственные краткие — на двух машинописных страницах — воспоминания об отце Сергии, написанные по моей же просьбе³.

С оказией — воспользовавшись пребыванием в Ленинграде священника Общества Иисуса отца Михаила Арранца — я передал эти воспоминания и портрет Сергея Соловьева работы М. С. Родионова на Запад, где в то время готовилось издание книги Сергея Соловьева «Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева». Книга вышла в свет в брюссельском издательстве «Жизнь с Богом» в 1977 году, в ней в качестве приложения были помещены и воспоминания Н. Н. Рубашовой под псевдонимом «сестра Мария». Этот псевдоним до самой смерти Норы Николаевны так и оставался нераскрытым⁴.

В той же книге издательство «Жизнь с Богом» опубликовало и «Материалы к биографии С. М. Соловьева». Эта работа была подготовлена священником Конгрегации ассумпционистов Антониом Венгером. В основу материалов легли сведения о С. М. Соловьеве, почерпнутые из писем епископа Пия-Эжена Неве, бывшего с 1926 по 1936 год апостольским администратором в Москве. Эти письма посылались с дипломатической почтой в Рим епископу Мишелю д'Эрбиньи, который возглавлял ватиканскую комиссию «Pro Russia», и другим церковным иерархам. В письмах епископа Неве, отправлявшихся в Рим дважды в неделю, встречается довольно много упоминаний об отце Сергии Соловьеве.

Соловьев же так рисует в своих стихах образ Пия Неве — католического епископа, представлявшего в столице Советского Союза Святейший Престол и Ватикан:

Незыблемо, неколебимо,
Рукою (осенив)* престол,
Стоит апостольского Рима
Уполномоченный посол.

(...)И здесь в России, в царстве зверя,
Где опрокинут весь закон
И где кошунство и безверье
Воздвигли безобразный трон, —

Он, горстью окружен ничтожной
Людей, склоненных у креста,
Свидетельствует, что не ложно
Обетование Христа⁵.

* Слово восстановлено по догадке из-за повреждения рукописи. — М. С.

Однако строить биографию Соловьева исключительно на письмах епископа Неве нельзя. Необходимо взглянуть на них критически. Неве жил в Москве в условиях тотальной слежки — ОГПУ особенно тщательно следило за иностранцами, — и сам по себе контакт с епископом, подданным Франции, был очень рискованным шагом. Общение епископа с советскими гражданами ограничивалось кругом прихожан французской католической церкви в Москве на Малой Лубянской улице, считавшейся посольской церковью. После ареста отца Сергия сведения о нем и его судьбе попадали к Неве из вторых, а то и из третьих рук. Не исключено, что ОГПУ могло сознательно дезинформировать епископа. К такого рода дезинформации можно отнести упоминающиеся в письмах Неве слухи о том, что во время обыска и ареста у отца Сергия Соловьева «нашли порнографические стихотворения и песенки фривольного содержания» и что «кроме того, у него собирались женщины и устраивались оргии» (*Венгер* 1977: 9). По словам Н. Рубашовой, в общине русских католиков был провокатор — некто Шатковский, который пользовался большим доверием Соловьева. Во время следствия отец Сергей узнал о роли Шатковского, что, несомненно, явилось для него сильнейшей психической травмой и одной из причин дальнейшего развития душевного заболевания⁷. С легкой руки ОГПУ, переводы античных поэтов можно было свободно выдать за фривольные стихи, а приходивших к Соловьеву домой на богослужения и религиозно-философские беседы членов общины назвать участниками оргий.

Некоторые сообщения епископа о Сергее Соловьеве совершенно очевидно не соответствуют действительности⁷. Кроме того, в «Материалах к биографии» отсутствует ряд существенных для жизни священника сведений — таких, как дата принятия священного сана, а также время присоединения к католичеству.

Стремление пролить больший свет на жизнь последнего русского католического священника восточного обряда в Москве послужило причиной моего решения написать биографию Сергея Соловьева. Мне хотелось, чтобы эта биография дополнила портрет человека, которого наши современники знают очень мало — преимущественно как троюродного брата Александра Блока, друга Андрея Белого и поэта-символиста. Жизнь Соловьева начиная с 1913 года — после окончания университета и принятия священного сана, — почти неизвестна. Что же касается присоединения к Католической Церкви и деятельности в качестве священника общины русских католиков восточного обряда в Москве, то эта

сторона его жизни до сих пор вообще не была исследована, отчего и оказалось возможным, в частности, появление в литературоведческих кругах мифа о том, что Сергей Соловьев был католическим епископом⁸.

Долгое время оставались в забвении и последние годы творчества Соловьева: его работа как поэта-переводчика. Мне представляется необходимым коснуться также и обстоятельств его смерти, полных драматизма тех лет. Последний из рода Соловьевых ценен для нас не только принадлежностью к известной семье, но и своим поэтическим и богословским наследием, своим осмыслением путей к единству Восточной и Западной Церквей, православия и католичества.

Замыслом написания книги о Сергее Соловьеве я поделился с моим другом священником Александром Менем, который не только поддержал идею работы над книгой, но и оказал неоценимую помощь в поисках важных документов и людей, знавших Соловьева или готовых содействовать розыску его рукописей в государственных архивах.

В 1979 году я смог найти дочерей Сергея Соловьева — Наталью Сергеевну и Ольгу Сергеевну — хранительниц живой памяти о своем отце. Благодаря их участию в мои руки попали документы и фотоальбом семьи Соловьевых, рукопись «Воспоминаний» и стихи Сергея Соловьева; большая часть этих материалов до сих пор не издавалась.

Здесь следует сказать, что дочери Сергея Михайловича, получив в детстве религиозное воспитание и оставаясь верующими, были, однако, людьми совершенно нецерковными. Из деятельности отца достойным внимания они полагали в основном его поэтическое творчество. О богословских его трудах и публицистике, о служении священника и настоятеля общины русских католиков они почти ничего не могли сказать, и все это, похоже, их мало интересовало. Для них, как и для прочих, он оставался прежде всего одним из поэтов-символистов младшего поколения. Помню, как Ольга Сергеевна передала мне фотографию, на которой Сергей Соловьев был запечатлен в священнической рясе с надетым поверх нее иерейским крестом — на снимке отчетливо просматривалась цепочка от креста, — но вся нижняя часть снимка, вместе с крестом, была отрезана... Это было очень символическим для того времени. Страх и воспоминания о годах репрессий заставляли людей уничтожать многое, в том числе и самое для них дорогое, связанное с близкими, убивать в себе память о прошлом, скрывать свое происхождение.

Словно предчувствуя подобные страшные времена, Сергей Соловьев в 1918 году написал стихотворение, которое называется «Дочери». В нем есть такие строки:

Возникнет ли в года твоей весны
Перед тобой забытый образ мой?
И не отравит ли златые сны,
Как странный призрак, темный и чужой⟨...⟩

И что тебе расскажут про меня,
Как исказят любимые черты?
Но твой огонь — от моего огня,
И клевету уразумеешь ты,
И вспомнишь все, и смех исчезнет с уст,
И мир покажется уныл и пуст...

⟨...⟩И что-то ранит сердце глубоко,
И как откроешь книг моих листы,
И в них найдешь беспечно и легко
Отвергнутые близкими мечты,
Ты вдруг поймешь весь жар моей любви⟨...⟩⁹

И Наталья Сергеевна в разговорах со мной особенно старалась подчеркнуть, что ее отец прежде всего — поэт, а его религиозные «увлечения» — это, в некотором роде, семейная «блажь», идущая от Владимира Соловьева. Возможно, что это было формой самомаскировки ввиду условий того времени, но определенная отстраненность от религиозного тут тоже присутствовала¹⁰. Наталья Сергеевна очень неохотно «отдавала» в мои руки свои архивы, зная, что меня интересует Соловьев — священник. Она отвергала мысль о возможности издания книги об ее отце за границей, оставаясь и здесь «патриоткой» своей страны. На протяжении нескольких лет и с большим трудом мне приходилось буквально вытягивать из нее материалы к биографии «последнего Соловьева».

Помню, 2 марта 1979 года, в годовщину смерти С. М. Соловьева, мне удалось уговорить обеих его дочерей поехать на панихиду в церковь Новой Деревни, где служил отец Александр Мень. Только там, во время заупокойной молитвы и последовавшего затем чаепития, у них появилось чувство исполненного по отношению к отцу долга. Это была первая церковная панихида по Сергею Соловьеву после его смерти в 1942 году.

В конце 70-х годов, когда я начинал собирать материалы для книги, еще были живы люди, знавшие Сергея Соловьева в 20—30-е годы, с ними мне довелось встречаться. Среди тех, с кем мне удалось побеседовать — Сергей Шервинский, Алексей Лосев, Со-

фья Гиацинтова, Надежда Павлович, Анастасия Цветаева, Кирилл Пигарев, Константин Поливанов, Надежда Мандельштам. К сожалению, помнили они немного и в основном воссоздавали в своих рассказах образ милого, доброго и талантливое человека — но не более того. Чаще их воспоминания касались малозначительных фактов его жизни — встреч на литературных чтениях, совместного отдыха в Крыму и т. п., что скорее составляло фон, чем было самой биографией. Исключением являлся лишь рассказ о Соловьеве Софьи Гиацинтовой, очень яркий и, на мой взгляд, правдивый, отражавший период их взаимной романтической влюбленности с трагической развязкой.

Работа над рукописью проходила в весьма непростых, почти конспиративных условиях. Биография репрессированного поэта и священника, возглавлявшего общину русских католиков в Москве, разгромленную в 30-е годы, по понятным причинам не могла стать темой книги, изданной в СССР. Оставался только один путь — опубликовать книгу за рубежом, что по тем временам уже было политическим преступлением. Поэтому материалы к книге приходилось все время прятать то у одних, то у других знакомых, хранить в разных местах копии. Однако и эти меры предосторожности не спасли положения: во время обыска в моем доме часть архивных материалов и воспоминаний о Сергее Соловьеве была изъята и в дальнейшем, несмотря на просьбы вернуть, пропала в ленинградской прокуратуре. Таким образом, многое из собранного оказалось утраченным навсегда, что-то удалось восстановить по памяти.

Естественно, что большинство из тех, кто делился со мной воспоминаниями о Сергее Соловьеве, боялись огласки и просили их в книге не упоминать. Но и тогда встречались смелые и бескомпромиссные люди — например, известный физик, академик Евгений Львович Фейнберг, который помог достать медицинское дело из архива Казанской психиатрической больницы и рассказал о последних днях Сергея Соловьева, а также о погребении его на Арском кладбище в Казани. Помню, на мой вопрос, могу ли я в тексте книги упомянуть его как автора воспоминаний, Евгений Львович без обиняков ответил, что и не думает скрывать своего авторства. Указав на портрет академика Сахарова, стоявший у него за стеклом книжной полки, он сказал, что и дружбы с опальным академиком тоже не скрывает. От встречи с этим замечательным человеком у меня сохранились самые светлые воспоминания.

Перебирая в памяти тех, кто каким-то образом причастен к написанию этой книги, я снова вспоминаю отца Александра Ме-

ня. Однажды в его доме в поселке Семхоз, в кабинете, расположенном под самой крышей, мы обсуждали проект издания целой серии книг, посвященной русским католикам — начиная от Печерина и Лунина. «Сколько интересных судеб талантливейших русских людей можно было бы описать», — говорил отец Александр... Не знаю, удастся ли когда-нибудь осуществить этот замысел сполна, но книга о Сергее Соловьеве — часть того, что мы когда-то задумали.

Автор книги от души благодарит всех, кто даже и в малейшей степени содействовал написанию и изданию ее. Они были движимы одним чувством — стремлением возродить в памяти потомков образ человека, несправедливо забытого. Подвиг веры, совершенный «последним Соловьевым», теперь не останется неизвестным, не пропадет втуне.

Русские католики: 1921—1924

В конце 1920 года священник Сергей Соловьев присоединился к общине русских католиков. Об этом пишет исследователь русского католичества священник Поль Майе: «На Рождество 1920-го года московский православный священник отец Сергей Соловьев, племянник известного философа, попросил присоединить его к Католической Церкви» (*Mailleux* 1964: 38)¹¹.

К сожалению, подробные обстоятельства этого события остаются неизвестными, мы не знаем, кем из представителей Католической Церкви был совершен акт присоединения — принятие от Сергея Соловьева «исповедания веры». Скорее всего, Соловьева принял в католичество экзарх русских католиков Леонид Федоров, приехавший в это время в Москву. Такое предположение подтверждается и словами другого исследователя — бенедиктинского монаха из монастыря Нидеральтайх в Германии дьякона Василия фон Бурманна: «Неожиданная встреча о. Сергия Соловьева в Ярославле с митрополитом Андреем (Шептицким. — *М. С.*), после его освобождения, конечно, не могла не оставить следа. С 1919 г. о. Сергей жил в Саратовской губернии, занимая там должность учителя. Постепенно он стал тяготиться своим положением и написал о. Леониду, что не в состоянии больше жить в «схизме». На Рождество 1920 г. в Москве состоялось его воссоединение с Римом. Оно явилось немалым событием в кругах русской интеллигенции» (*Василий* 1966: 611).

Чем же было вызвано такое решение? С одной стороны, конечно, ему предшествовали длительные духовные поиски, сказа-

лось и влияние идей дяди — Владимира Соловьева. Но, с другой стороны, не следует забывать, что решение принималось в годы, когда Российская Православная Церковь была раздираема расколами и разделена на взаимовраждующие группировки. У Сергея Соловьева это создавало ощущение неуверенности, перед лицом же надвигающегося на христианство воинствующего безбожия усиливалось стремление найти незыблемую опору «в твердом камне Церкви», в «скале Христовой». Таким фундаментом Вселенской Церкви, по его мнению, оставалась, как и прежде, Церковь Католическая, возглавляемая епископом Римским.

Что же представляла из себя община русских католиков восточного обряда во главе с экзархом, к которой присоединился православный священник Сергей Соловьев?

История общины исчислялась к тому времени менее чем пятнадцатью годами; известно о русских католиках довольно мало, в основном благодаря исследованиям священника Поля Майе, дьякона Василия (фон Бурманна) и священника Антония Венгера. Вероятно, здесь будет уместным обрисовать, хотя бы в общих чертах, основные вехи и проблематику развития русского католицизма.

* * *

Понятие «католицизм» в применении к российской действительности неоднозначно: есть существенное различие между католицизмом иностранцев, живших в России, и католицизмом русских, ушедших от православия.

Первый существовал в Российской империи несколько веков и стал проблемой лишь после присоединения Польши и нескольких крупных депортаций поляков в русские города и в Сибирь. Этот католицизм для его носителей, в первую очередь именно поляков, был не столько знаменем Вселенской Церкви, сколько символом национальной независимости, средством противостояния русификации, а иной раз — и орудием колонизации. Приходится с грустью признать, что католицизм обрел в славянской Польше ту же национальную окраску, что и православие в России. В России же такой католицизм всегда вызывал подозрение, враждебность, отторжение и страх.

Католицизм русских, ушедших от православия, появился лишь в XIX веке. На протяжении столетия он был уделом людей, искавших альтернативу летаргически спящей Синодальной Церкви и не желавших уходить во внецерковные протестантские об-

щины. Законы царской России запрещали переход из православия в любую другую веру, и решиться на такое мог не всякий. И не у всякого, конечно, была возможность познакомиться с католицизмом. Поэтому на протяжении XIX века католичество оставалось уделом высшей аристократии, уделом одиночек, которые не мыслили какого-либо соединения своих убеждений с традиционными русскими верованиями. Обычной судьбой католиков-русских была эмиграция. Князь Дмитрий Голицын стал, к примеру, священником в США; его кузина, Елизавета Голицына, тоже переехала в Америку. Во Францию эмигрировал Печерин¹². Как первая католичка, оставшаяся в России, известна княгиня Елизавета Волконская. Католичество приняли ее дети, из которых князь Александр Волконский стал католическим священником и автором нескольких книг, посвященных русской истории и католическому вероучению. Вокруг княгини Волконской образовался кружок единомышленников — именно к этому кружку примыкал Владимир Соловьев.

Начало XX века — время появления первых общин, состоявших целиком из католиков русского происхождения. Непосредственно из кружка Волконской образовалась такая община в Петербурге; Наталья Сергеевна Ушакова, известная как наиболее активный ее член и ходатай перед властями, была кузиной Столыпина и пользовалась благосклонностью вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Постепенно Ушакова собрала в столице трех священников, перешедших в католичество из православия и старообрядчества. Заметим, что все они считали необходимым и в католичестве сохранять неприкосновенными православные обряды. Первым был православный священник Алексей Зерчанинов, ставший убежденным сторонником католицизма после изучения богословия для диспутов со старообрядцами; далее — священник Иоанн Дейбнер, саратовский чиновник, последователь Вл. Соловьева, в 1903 году рукоположенный греко-католическим митрополитом Андреем (Шептицким); а также священник Евстафий Сусалев, который перешел в католичество из старообрядчества. Все трое переехали в Петербург после манифеста 17 апреля 1905 года, даровавшего свободу совести, что вызвало массовое возвращение в Католическую Церковь бывших униатов, насильственно зачисленных по православному ведомству. Но правительство требовало в таких случаях принятия ими латинского обряда; католичество византийского обряда официально оставалось совершенно неприемлемым. Князь Петр Волконский писал: «В России законно строить мечети, буддистские

пагоды, протестантские часовни любого направления, масонские ложи, даже католические церкви латинского обряда. Но католическая церковь византийского обряда — никогда! Это было бы слишком привлекательно!» (*Mailleux* 1964: 43).

С 1905 до 1917 года католические общины византийского обряда в обеих столицах существовали на полуполюгальном положении. Службы по восточному обряду совершались в часовнях, устроенных на частных квартирах. Ходатайства Н. С. Ушаковой могли лишь предотвратить закрытие часовен, но об официальном разрешении и речи не шло. Парадоксальным образом конфликт разворачивался не только с православными властями, но и с католическими. Последовательным сторонником укрепления католичества восточного обряда был митрополит Андрей (Шептицкий) — выдающийся церковный деятель. В 1908 году он добился в Риме разрешения учредить должность генерального викария для католиков восточного обряда в России и назначил на эту должность А. Зерчанинова. Но, с другой стороны, польская католическая община и возглавлявшие ее священники, проявив худшие черты провинциального, националистического католицизма, в штыки встретили новое течение. Когда Леонид Федоров — студент Петербургской Духовной Академии, уехавший в Италию и там поступивший в католическую семинарию, — сообщил своему патрону отцу Сциславскому, настоятелю церкви святой Екатерины в Петербурге, что хочет быть рукоположен в священники восточного обряда, тот в ответ лишил его материального пособия и написал: «Настоящие русские питают непреодолимое отвращение к византизму и татаршине» (*Василий* 1966: 68). С течением времени стал враждебно относиться к восточному обряду в Католической Церкви и священник Алексей Зерчанинов.

Московская община русских католиков, созданная Владимиром Владимировичем и Анной Ивановной Абрикосовыми, первоначально шла по пути западного обряда. Появившиеся у Абрикосовых — в результате их активной миссионерской деятельности — последователи (в основном среди студенток, курсисток и учительниц) часто становились членами «третьего ордена» святого Доминика, монахиней которого была мать Екатерина (в миру Анна Ивановна Абрикосова). Впоследствии они восприняли восточный обряд и стали именоваться доминиканской общиной восточного обряда.

В 1913 году наметилось некоторое улучшение положения русских католиков. Начал даже выходить журнал «Слово Истины», пропагандировавший идею воссоединения Церквей. В Петрогра-

де полулегально функционировала часовня восточного обряда на Бармалеевой улице — там служил священник Иоанн Дейбнер. Но это были слабые ростки.

Короткий период расцвета наступил после Февральской революции, когда были сняты все ограничения свободы совести. Митрополит Андрей (Шептицкий) посвятил Владимира Абрикосова в священники, сделав его официальным главой московской общины русских католиков. Экзархом, главой русских католиков восточного обряда во всей России, он назначил священника Леонида Федорова — личность в высшей степени незаурядную, хотя тот до 1917 года находился в тени: сначала за границей, потом — в ссылке. В день Пасхи 1917 года священник Леонид Федоров прибыл из Тобольска (где отбывал ссылку) в Петербург и сразу же принял участие в пасхальном богослужении. Он стоял вне уже сложившихся к тому времени в русском католичестве группировок, а главное — был последовательным и принципиальным сторонником восточного обряда. В тот же период в Петрограде состоялся Собор под председательством митрополита Андрея (Шептицкого), положивший каноническое основание Русской католической Церкви.

Большевистская революция прервала всякую деятельность русских католиков. Наступило время, когда прежде всего следовало думать о сохранении жизни. В отчете Папе Пию XI от 5 мая 1922 года экзарх Леонид Федоров следующим образом описывал сложившуюся ситуацию: «В России существуют два католических центра: один в Петрограде, другой в Москве. Месяц назад мы смогли образовать третий — в Саратове. В Петрограде у нас около 70 верующих, в Москве около 100; в Саратове только 15. Кроме того, более 200 верующих разбросаны по городам и весям нашей необъятной страны, например, в Вологде, Вятке, Томске, Орле и Пензе. Многие ради спасения жизни в 1918—1920 гг. покинули Россию. Многие умерли от голода и болезней. Число оставивших нас приближается, вероятно, к 2000» (*Mailleux* 1964: 151—152). Одной из основных проблем оставались отношения со священниками латинского обряда. С православным духовенством Федоров сумел организовать несколько собеседований, пользовавшихся большим успехом и вызвавших симпатию к русским католикам; однако достигнутый успех был сведен на нет: с одной стороны — запрещением властей повторять собеседования, а с другой — антиправославными выступлениями латинского духовенства, провокационными присоединениями новообращенных из числа православных к за-

падному обряду. Федоров писал, что латинские священники «не понимают или не хотят понимать, что их недолговечный успех и немногие души, в том числе много полек, — это ничто в сравнении с колоссальной проблемой примирения 100 миллионов православных, живущих в нашей стране» (*Там же*: 152). Католиков латинского обряда было, однако, значительно больше, чем католиков восточного обряда; православным оставалось недоумевать: кто же представляет истинную позицию католической Церкви? «Латиняне утверждают, — писал Федоров в Рим, — что воссоединение Церквей — это глупая идея и фантазия. Бесплезно устанавливать отношения с православным духовенством, так как все эти священники бесчестные и развращенные люди. Добиваться сближения католического духовенства с православным означало бы подвергать его опасности индифферентизма, ослабления католического действия. Опять приводится обычный пример: „Культурные русские не привыкли к восточному обряду; они хотят латинского обряда... Умножайте число обращений и не мечтайте о воссоединении Церквей в целом!“» (*Там же*: 128). Такую позицию занимало именно рядовое католическое духовенство; митрополит Андрей (Шептицкий), могилевский архиепископ Ян Цепляк, и даже Папа Бенедикт XV благожелательно относились к католицизму восточного обряда.

В сентябре 1922 года вместе с большой группой ученых, писателей, философов из России были высланы священник Владимир Абрикосов¹³ и член московской общины известный публицист Дмитрий Кузьмин-Караваев. Община была практически обезглавлена. Весной 1923 года, когда власти развернули кампанию нападков на Церковь, обвиняя ее в попытке сопротивления изъятию церковных ценностей, прошел процесс и над католическим духовенством. Тринадцать священнослужителей предстали перед судом; среди них: архиепископ Ян Цепляк, монсеньер Константин Будкевич и экзарх Леонид Федоров. Они обвинялись в отказе от передачи церковного имущества властям и в совершении богослужений вне церквей. Прелат Будкевич был расстрелян¹⁴; остальных ждали различные сроки заключения. Федорова, приговоренного к десяти годам тюрьмы, досрочно выпустили на свободу в 1926 году, но вскоре вновь арестовали; отбыв очередной срок заключения, он умер в Вятке 7 марта 1935 года. В ноябре 1923 года в Москве была разгромлена доминиканская община, которая возглавлялась Екатериной Абрикосовой. Всего было арестовано 38 человек, в том числе и активные прихожане.

Именно в эти критические для русского католицизма годы священник Сергей Соловьев присоединяется к католической Церкви.

* * *

Вернувшись из Балашова в Москву в конце 1920 года, Сергей Соловьев начинает поистине «новую жизнь». Он становится поэтом-переводчиком, а также преподавателем истории литературы и классических языков, работает в Румянцевском музее. Но это внешние перемены. В духовном же плане главным стало присоединение к католической Церкви. Однако переход в католичество для Сергея Соловьева оказался трудным и мучительным: с 1920 по 1924 год им был пережит период сомнений и метаний. Внутренняя раздвоенность усугублялась еще и тем, что Соловьева покинула жена, явно не одобрявшая его увлечений идеей соединения Церквей. 20 мая 1921 года Татьяна Тургенева писала Сергею Соловьеву в ответ на его письмо из Москвы: «Я очень рада, что ты видишь, что это не моя фантазия была, что нельзя ехать налаживать отношения с католиками, и без меня это не так просто, а я бы еще усложнила»¹⁵.

Вот как отзывался о метаниях Сергея Соловьева экзарх русских католиков Леонид Федоров: «Под первым впечатлением, он „горел, кипел, сверкал“, очаровал московскую общину, читал свою книгу „Скала веры“, но в то же время сближался и с латинскими священниками, говорил о польской миссии в деле обращения России, о необходимости некоторой латинизации восточного обряда, чем немало смущал русских католиков. Видимо, у него была тогда потребность много делать, а еще больше — говорить» (*Василий* 1966: 611).

Из книги Василия фон Бурманна мы узнаем и следующее: «⟨...⟩ На Фоминой неделе 1921 г. о. Соловьев уведомил запиской о. Владимира Абрикосова о том, что сила благодати Божией и молитвы преподобного Сергия вернули его в лоно православной Церкви. Некоторые даже приписали такую перемену рецидиву психического расстройства, которым он страдал в молодости. Другие говорили об оскорбленном самолюбии, которое не нашло удовлетворения в новом положении. ⟨...⟩ Московские католики отметили, что о. Сергей путался в своих объяснениях: то говорил, что причиной его ухода является „непорядочность московской общины, жестокость и тирания о. Владимира“, то благодарил ту же общину за „участливое, хорошее и отеческое отношение»

к нему¹⁶. В том же духе высказывался отец Сергей и в беседе с отцом Леонидом, пришедшем навестить его в Румянцевский музей. «Разговор их длился два с половиной часа. О. Соловьев одевался тогда по-штатски, писал стихи и увлекался классической литературой. О. Леонида он уверил, что не вернулся в православие, а считает себя „запрещенным католическим священником“.

„Нетрудно было, конечно, доказать этому большому младенцу всю вздорность его представлений, — написал об этом свидании о. Леонид. — Ругал я его крепко, а он смиренно слушал. Оказывается, что он не находит в католичестве глубины православия и еще не разрешил себе окончательно вопрос о папской непогрешимости, о моменте Пресуществления и об отношении католической Церкви к русским святым. Свой переход он считает ложным шагом (*faux pas*) и важно заявляет, что призван распространять и углублять „идеи своего дяди“. Впечатление он производит жалкое. Кажется порой, что он действительно страдает от раздвоенности. (...) Меня он любит по-прежнему и просил позволения писать мне письма, на что я ему весьма охотно дал согласие“.

Однако это „умопомрачение с отпадением“, как выразился о. Леонид, оказалось кратковременным. Благодаря старанию и благотворному влиянию о. Михаила Цакуля, о. Сергей снова вернулся в лоно (католической. — М. С.) Церкви» (*Василий* 1966: 611—612)..

Из письма Сергея Соловьева к Андрею Белому, датированного 19 декабря 1922 года, становится ясно, что колебания между католичеством и православием еще не прошли: «Я продолжаю верить, что кроме Павла есть еще и Петр, и мне кажется, что у тебя всегда была неверная оценка Петра, как начала внешнего, камня фундаментального, но не живоносного. Между тем, вспомни слова: „Блажен ты, Симон, сын Ионин... ибо не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец Мой, сущий на небесах“? Все молчали, молчал Иоанн, и один Петр сказал: „Ты — Христос“. Здесь начало католицизма. И пусть в нем много вековых грехов, много демонической жути, но ведь это волшебный лес с чудовищами, в глубине которого таится чаша с божественной кровью. *Я отвергнут и католиками, и православными, но все с большей бодростью чувствую, что иду по правильному, хотя очень опасному и скользкому пути*» (курсив мой. — М. С.) (*Соловьев* 1953). Из письма отца Сергея к дочери от 23 октября 1923 года мы узнаем, что в это время он еще совершает богослужения в православной церкви де-

ревни Надовражино (рядом с имением Коваленских). А уже в 1924-м он пишет работу «Основы вселенского православия», где его отношение к католицизму изложено вполне определенно и без недомолвок. По той части рукописного наследия Соловьева, которое оказалось доступным автору, мы не можем достаточно точно проследить, как протекал сам процесс перемен в церковных взглядах отца Сергия, но сохранившиеся документы дают достаточно полное представление о его воззрениях после присоединения к католицизму.

Во всяком случае, возвращение к католицизму следует отнести к 1924 году, что подтверждается документом, опубликованным в «Материалах к биографии Сергея Михайловича Соловьева», подготовленных иеромонахом Антонием Венгером. Это обращение Сергея Соловьева к Католической миссии помощи России, написанное на бланке миссии. В нем отец Сергей говорит о том, что передает Ватиканской библиотеке рукопись Владимира Соловьева «История и будущность теократии». Текст обращения датирован *26 августа 1924 года*. Под обращением подпись: *Племянник Владимира Соловьева, католический священник восточного обряда. Сергей Соловьев* (Венгер 1977: 3).

Отметим еще раз мужество Сергея Соловьева, который окончательно связал себя с московской общиной русских католиков именно в тот период, когда она подвергалась репрессиям. Как уже было сказано, в конце сентября 1922 года советские власти выслали за границу настоятеля московской общины священника Владимира Абрикосова. Его заменил священник Николай Александров, но уже в ноябре 1923 года он был арестован вместе с настоятельницей доминиканской общины матерью Екатериной (Анной Ивановной Абрикосовой), почти всеми сестрами и многими из прихожан¹⁷. Домовая церковь властями была закрыта, часть квартиры Абрикосовых, где размещалась доминиканская община, — обращена в «коммуналку». Следствие продолжалось шесть месяцев. Первые четыре месяца Абрикосову содержали в одиночной камере во внутренней тюрьме на Лубянке, к концу следствия ее перевели в Бутырскую тюрьму, где находились и некоторые сестры — члены ее монашеской общины, — и другие подследственные.

В середине мая 1924 года все арестованные по этому делу получили приговор: различные сроки заключения — от трех до десяти лет. В начале июля осужденные были отправлены этапом в Сибирь¹⁸. Знал ли об этом Сергей Соловьев? Понимал ли, какому риску он себя подвергает?

Конечно, знал — и прекрасно понимал, на что идет. Более того, именно отсутствие священника в общине и заставило отца Сергия заменить арестованного Николая Александрова и встать во главе московских католиков восточного обряда. Вот как описывает московский приход в этот драматический период биограф экзарха Леонида Федорова дьякон Василий (фон Бурманн): «Московский приход, после разгрома 1923—1924 г., представлял печальную картину. То, что еще оставалось в Москве, было лишь тенью прихода. Тем не менее эти последние из русских католиков (их было человек тридцать) оказались крепко спаянными и глубоко религиозными. Возглавлял их теперь о. Сергей Соловьев. Его приютил у себя о. Михаил Цакуль в церкви Божией Матери на Грузинах, где о. Сергей совершал литургию по восточному обряду на боковом престоле» (*Василий* 1966: 610—611).

Весной 1926 года, выйдя на свободу, экзарх русских католиков Леонид Федоров приехал в Москву. Шла Страстная неделя — и отец Леонид мог провести ее в храме, вместе с московской общиной. С отцом Сергием они читали Двенадцать Евангелий, совершали Пасхальную Заутреню и Литургию. «После службы, в Светлое Воскресенье, все разговлялись в одной из ризниц, имевшей отдельный ход со двора. Эти дни, после тюрьмы, были большой радостью для о. Леонида и отрадой для его совсем уже „малого стада“. Видеть о. Соловьева тоже было для него утешением, так же как и сердечное отношение лично к нему и вообще к русским католикам местных представителей латинского духовенства» (*Василий* 1966: 611—612).

Питерская католичка С. А. Лихарева, побывав в Москве, нашла отца Сергия и его прихожан в обстановке поистине исповеднической. Вот что она рассказывала в своих воспоминаниях: «Дома недостаток во всем, нет даже самого необходимого. Жил он вместе со своим другом в Ваганьковском переулке. Семья — под Москвой. Служил он в Грузинах, где был настоятелем о. Цакуль. Зимой во время богослужения замерзала не только вода, но и вино; приходилось перед Пресуществлением отогревать около кадила. Было Рождественское время... Верующих, да еще восточников, было мало; они же чтецы, певчие. Всюду, в самом костеле, можно было встретить шпионов. Беседовали мы у о. Сергия на дому; в другой мой приезд — в одной из небольших чайных. О. Сергия пока еще не трогали, так как он имел документы профессора и литератора» (*Там же*: 612).

Как сообщает Лихарева, Сергей Соловьев несколько раз побывал в Петрограде, чтобы поддержать дух здешней общины. В

доме при храме Святой Екатерины на Невском проспекте он провел два чтения: одно — в память 25-летия со дня смерти Владимира Соловьева, другое — о восточном богослужении. На втором чтении присутствовал священник Болеслав Слоскан¹⁹, горячо поддерживавший общину русских католиков в Петрограде (*Там же*: 612).

В те дни отец Сергей продолжал размышлять о путях к достижению христианского единства. Он считал, что почитание католической Церковью древнерусских святых могло бы содействовать молитвенному общению католиков и православных и, таким образом, их сближению.

Во главе московской общины: 1924—1931

Отец Сергей возглавил общину русских католиков в Москве, придя на смену арестованному священнику Николаю Александрову. Соловьев отчетливо сознавал ущербность общины, состоявшей из нескольких десятков человек — преимущественно интеллигенции. Такое положение дел — и безо всякой надежды на лучшее — было очень далеко от видевшегося ему воссоединения. Впрочем, надо заметить, что проблема эта, вероятно, не разрешима индивидуальным переходом из одной юрисдикции в другую. Подлинное воссоединение может быть осуществлено лишь Церквами в их полноте.

Соловьев служил в римско-католическом храме Непорочно-го Зачатия на Малой Грузинской улице, где настоятелем был священник Михаил Цакуль, с которым на первых порах у них сложились хорошие отношения. «Из друзей, — писал Соловьев родным 31 марта 1925 года, — все больше дружу с польским священником Цакулем, давно не имел такого хорошего, милого друга, веселого, умного, очень строгого и очень доброго». «Придел русских католиков в храме Непорочно-го зачатия Божией Матери был посвящен Остробрамской иконе Богородицы и являлся одним из четырех приделов, расположенных, по обыкновению, во всех латинских храмах, — вспоминает одна из прихожанок отца Сергея Н. Н. Рубашова. — Придел располагался ближе ко входу в храм и был в отдалении от главного алтаря. Там стояли подсвечники, посреди придела лежала икона праздника, но внешний вид придела сохранял стиль латинской церкви. Иконостаса не было. Облачался отец Сергей в ризнице (сакристии) и выходил с чашей к престолу. Проскомидия совершалась на маленьком столике — жертвеннике, специально поставленном сбоку от престола.

На престоле горел семисвечник, в алтаре стоял аналой... Мне много раз приходилось слышать молитвы на церковно-славянском языке в православных храмах, но такого красивого богослужения и таких проникновенных проповедей, как у отца Сергия, мне слышать почти не приходилось. Зимой в храме было холодно, отец Сергей служил в шубе. От соприкосновения с металлом чаши губы его все время были окровавлены» (*Рубашова. Воспоминания*)²⁰.

Сведений о жизни священника Сергия Соловьева в те годы осталось очень и очень мало, собирать их пришлось по крупицам. Уместно, конечно, описать и некоторых прихожан отца Сергия. Об одной из них он сам писал дочери 12 февраля 1925 года: «В понедельник я поехал в Надовражино, и в тот же вечер явились из Москвы католики за мной, потому что умерла одна молодая монахиня и надо было ее хоронить. Я очень ее любил, звали ее Татьяна, а в монашестве Мария-Екатерина. Она была из простой мещанской семьи, кончила гимназию и потом стала монахиней и превосходно читала Апостол. Целый год она тяжело болела, перед отъездом в Балашов (на Рождество 1925 года. — М. С.) я последний раз ее исповедовал и причастил. В гробу у нее было такое прекрасное лицо, что трудно было от него оторваться. До болезни она была румяная, с чудными зубами, хотя и некрасивая, а когда умерла, стала белая, как воск, и похожа на ангела. Мы с Цакулем хоронили ее на Ваганьковском кладбище, он служил полатыни, а я по-славянски».

В воспоминаниях Н. Н. Рубашовой перечисляется еще ряд лиц, входивших в общину: «Сестры Сапожниковы — Валентина Аркадьевна и Тамара Аркадьевна; Валентина Аркадьевна, 1887 года рождения, пришла в католическую церковь в 1911 году (ранее она принадлежала к реформатской Церкви), талантливый ученый-филолог — специалист по Данте — и педагог. Свои знания и силы долгие годы отдавала Церкви, делая доклады, проводя научные беседы со студентами и прихожанами. Ее знали и ценили и в университете, и в Институте Красной профессуры, в Коммунистической академии, но из-за своих религиозных убеждений она не могла там долго работать²¹. Ее сестра, Тамара Аркадьевна, старше на год. Пришла в католическую Церковь на пять лет позже, в 1916 году. Математик по образованию, она преподавала в школах, была уважаема и любима учениками, часть которых, обретя веру, стали прихожанами греко-католического прихода. Супруги Кайдловы: жена умерла молодой, а ее муж вскоре был выслан за границу. Оставшихся двух маленьких детей, Сережу и Ва-

лю, усыновила Людмила Кох, пришедшая в Церковь из секты пятидесятников. Эту семью любил и опекал отец Сергей. Новицкая Анастасия Ивановна и ее муж, принявший священство на Соловках, — отец Донат. Оба они впоследствии выехали в Польшу».

«Особенно трогателен и обаятелен образ Виктории Львовны Бурвассер²², — пишет далее в своих воспоминаниях та же Н. Н. Рубашова. — Во время своего пребывания в Университете, она слушала лекции и была на семинарах профессора древних языков и литературы Аполлона Грушко. Профессор Грушко увлекся и полюбил умную и красивую девушку. Она ответила ему взаимностью. Не знаю, сколько времени продолжалась их связь, но когда Виктория Львовна приняла христианство (крестил ее отец Сергей), она нашла в себе силы эту связь порвать и побудить Грушко вернуться к жене. Когда он смертельно заболел, Виктория Львовна вместе с женой ухаживала за ним» (*Рубашова. Воспоминания*).

1929 год ознаменовался новым наступлением атеистического фронта на религию. И над крошечной общиной русских католиков нависла угроза уничтожения. К сожалению, настоятели католических храмов столицы, в том числе и отец Михаил Цакуль²³, отказали отцу Сергию в алтаре для совершения богослужения по восточному обряду. Настоятель французской церкви святого Людовика в Москве католический епископ Неве предлагал Соловьеву по договоренности с кем-нибудь из друзей — православных священников — служить в православном храме, но тот отказался: не хотел, по его словам, «дать повод отделенному (от Рима) духовенству говорить: „Он вернулся к нам“» (*Венгер 1977: 7*). «Остановка богослужений полная, очень удручающе действует, — писал отец Сергей Н. С. Соловьевой 11 октября 1929 года. — С Цакулем возобновились мирные отношения, но холодно сдержанные; как всегда бывает после ссоры друзей»²⁴.

Тернистый путь Соловьева был омрачен и столкновением с реальной позицией католической иерархии — тогда еще очень консервативной — по отношению к восточному обряду и русским католикам вообще. В своих сочинениях отец Сергей выражал уверенность, что «многовековая, неизменная политика пап гарантирует непреложность восточных обрядов и традиций. Конечно, могут быть отдельные злоупотребления, но это потому, что переходит в католичество горстка интеллигентов, часто потерявших всякую связь с родным своим народом и тогда даже не знающих традиций русской церкви» (*Соловьев. Неопубликованное: 537 об.*)²⁵. Именно с этими «злоупотреблениями» он столкнулся,

например, в 1929 году, когда послал свою рукопись о преподобном Сергии Радонежском в Рим, где цензор сделал следующее заключение: «Нельзя говорить о Сергии Радонежском как о святом, потому что в Русской Церкви не было святых после разделения церквей» (*Венгер* 1977: 7). А ведь как раз совместное почитание католических и православных святых как путь к практическому соединению Церквей было заветной мечтой отца Сергия (*Соловьев*. Неопубликованное: Л. 5). Вопрос о почитании преподобного Сергия и других русских святых, живших до Флорентийского собора 1439 года, получил свое благоприятное разрешение только в период понтификата Пия XII.

Кроме богослужений, которые поневоле перенеслись на дом, Соловьев проводил религиозно-философские «семинары» — иногда на квартирах прихожан, иногда у себя дома. Обычно «отец Сергий читал доклад, который затем обсуждался присутствующими, — вспоминает Н. Н. Рубашова. — Некоторые слушатели задавали отцу Сергию вопросы. На религиозно-философские собрания народу приходило не очень много. О месте и времени очередного собрания узнавали друг от друга. Отец Сергий сообщал об этом кому-либо из прихожан, а тот передавал сообщения другим... Помню доклад о Вл. Соловьеве у кого-то на квартире. Людей присутствовало немного — приход был небольшой, на докладах собирались совсем немногие. Доклад был прочитан в течение нескольких дней. Многие хотели знать — был ли Вл. Соловьев католиком, но об этом, насколько помню, точно не говорилось. Из докладов мне запомнились наиболее яркие: о Сергии Радонежском, о Серафиме Саровском, о таинстве Евхаристии... Иногда возникали дискуссии — среди слушателей бывали и те, кто отдавал предпочтение латинскому обряду и западной церковной культуре, — и отцу Сергию приходилось прививать им любовь к богослужениям Восточной Церкви, к ее святыне, к ее богословскому наследию. Среди прихожан отца Сергия были как бывшие православные, так и бывшие католики латинского обряда, которые, вступая в браки с православными, охотно принимали восточный обряд» (*Рубашова*. Воспоминания).

Вообще существенной чертой духовного руководства отца Сергия была его способность найти верный тон в отношении к Православной Церкви, тон христианина Церкви Вселенской. «Зная хорошо латинский язык, будучи специалистом в этой области, он очень редко употреблял латинские цитаты» (*Там же*). Показательно благожелательное отношение к нему православного духовенства. «На богослужения в храме Непорочного Зачатия, ко-

гда там служил отец Сергей Соловьев, часто приходили православные священники, друзья отца Сергея, симпатизировавшие ему и интересовавшиеся католичеством. Уже после присоединения ко Вселенской Церкви отец Сергей никогда не выступал против Православной Церкви, со священнослужителями которой у него сохранились дружеские отношения... Он терпеливо и незлобиво принимал непонимание и недоброжелательность к восточному обряду как некоторых латинских священников, так и мирян, и иногда с остроумием, ему свойственным, шутил по этому поводу» (*Там же*). «Тихоновские иерархи, как, например, епископ Валериан, присутствовали на его службах. Православные священники приглашали служить его в храмах. В 1927 году отец Сергей служил Литургию на праздник Вознесения в 60-ти верстах от Москвы» (*Венгер* 1977: 5).

Основной принцип католичества восточного обряда (в литургической практике) сформулировал еще в 1912 году государственный секретарь Ватикана кардинал Мерри дель Валь: «Ничего не прибавлять, ничего не убавлять, ничего не изменять (в восточном обряде, аналогичном обряду Православной Церкви — *М. С.*). Таким образом, русские католики оказались в странном положении, „между небом и землей“. Для окружавших их католиков латинского обряда они были обрядово и культурно инородным телом, а для православных — чем-то вроде старообрядцев. Чтобы избежать эклектики — смешения католических и православных традиций, — приходилось лишать себя права создания своей оригинальной традиции, следовать во всем за православием, не принимая их» (*Mailleux* 1964: 88). Парадоксальность этого положения особенно проявилась уже после II Ватиканского собора, когда новые веяния в Католической Церкви не затронули католиков восточного обряда.

В 1926 году в Россию приехал епископ Мишель д'Эрбиньи, член Общества Иисуса, председатель Папской комиссии «Pro Russia», ректор Папского восточного института, автор исследований о Вл. Соловьеве. Д'Эрбиньи дважды посетил СССР с целью изучения положения религии и Церкви в Советском Союзе. При этом он имел и тайные полномочия по восстановлению католической иерархии в России. Д'Эрбиньи, отправляясь в СССР в 1926 году, официально числился простым священником, но по дороге, проезжая через Германию, был тайно рукоположен в епископы тогдашним папским нунцием в Берлине кардиналом Эудженио Пачелли, будущим Папой Пием XII. Прибывшим в СССР Д'Эрбиньи были рукоположены четыре новых католических епи-

скопа, в том числе и Пий Эжен Неве, назначенный апостольским администратором в Москве. Осенью 1926 года Д'Эрбиньи познакомился с отцом Сергием Соловьевым. «Он так меня обнимал и целовал, — писал Соловьев своей старшей дочери (письмо без даты), — что и не знал, как вырваться». В ноябре того же года Неве назначил Соловьева вице-экзархом католиков восточного обряда — то есть заместителем экзарха Леонида Федорова, пребывавшего в заключении на Соловках. Неве избрал отца Сергия своим духовником²⁶. Н. Н. Рубашова вспоминает: «К восточному обряду монсиньор Неве относился с большой любовью и, хотя никогда не служил по восточному обряду, но хорошо знал его. В беседах со мной он часто высказывал свое неодобрение тем русским католикам, которые практиковали западный обряд. Он считал, что русские должны практиковать только восточный обряд» (*Рубашова. Воспоминания*; ср.: *Венгер 1977: 4*). О Соловьеве Неве писал в 1930 году: «Он мне очень помогает. Благодаря своей жертвенности и мало заметному, но эффективному участию в деле раздачи и экспедиции продовольственных посылок населению» (*Венгер 1977: 7—8*)²⁷.

С осени 1929 года Сергей Соловьев переходит на «катакомбное» положение. «После упразднения общины русских католиков, некоторые прихожане вошли в западную общину храма Непорочного Зачатия, а другие стали собираться для богослужения на квартирах... Отец Сергей забрал из Храма Непорочного Зачатия несколько облачений, на престольное Евангелие, антиминс и другие вещи, необходимые для совершения богослужения на дому. Богослужения проходили в катакомбных условиях, присутствовали только несколько человек, служил он всегда по восточному обряду. Престолом у него был обычный, накрытый белой скатертью стол» (*Рубашова. Воспоминания*).

* * *

Впрочем, существование отца Сергия давно — и против его воли — приобрело характер раздвоенности. Конечно, с его знаниями нетрудно было найти кусок хлеба. Долгое время удавалось читать лекции по античной литературе: в 1921—1922 годах — в 1-й государственной «профессионально-технической школе поэтики», позднее, до 1928 года — в Литературном институте. Заработок, и весьма существенный, давали переводы: в первую очередь, с греческого — Эхила, Софокла, Сенеки; с латыни — Вергилия; с немецкого — Гете; с итальянского — Тассо. Специально ради за-

работков были выучены английский (переводились Шекспир, Диккенс) и польский (для переводов Мицкевича) языки. Работа велась, к сожалению, не в лучших условиях конкуренции (прежде всего потому, что в те годы подобным образом кормилось много «бывших»), в постоянной спешке — и не всегда на должном уровне. Однако многие из сделанных тогда Соловьевым переводов, особенно Софокла, Эсхила, Гете, Мицкевича, стали классическими и публикуются по сей день. Сергей Соловьев пытался выбрать авторов, близких себе по духу. О Мицкевиче, например, он сообщал в недатированном письме дочери: «Перевод Мицкевича, кроме финансов, доставит мне громадное наслаждение, этот поэт как-то мне родственен. Он очень революционен — но так глубоко религиозен и изображает таких прекрасных священников, что сейчас это печатать невозможно. Все-таки стараюсь протолкнуть как можно больше. Никогда нельзя знать наверняка, что пропустят и что запретят». Обращение к античной тематике было данью старой любви. В связи с постановкой «Орестеи» во МХАТе 2-м Соловьев писал: «Этот спектакль, кроме художественного значения, будет иметь и большое религиозное значение, так как здесь в дивной музыке изображено торжество духа над телом, ума над глупостью и любви над мудростью... Богиня Афина со щитом и копьем очень напоминает Пресвятую Деву Марию, когда Церковь славит ее как „взбранную воеводу“» (*Там же*).

К сожалению, о тех годах оставили свои воспоминания в основном люди, для которых круг, близкий Соловьеву, был чужим. Уникально в своем роде свидетельство драматурга Сергея Ермолинского, передающее хотя бы общую атмосферу этой своеобразной интеллигентской среды; позволим себе привести из них пространную цитату: «На бывшей Пречистенке (уже давно переименованной в улицу Кропоткина), в ее кривых и тесных переулках, застроенных уютными особнячками, жила особая прослойка тогдашней московской интеллигенции. Территориальный признак здесь случаен (необязательно „пречистенцу“ жить на Пречистенке), но наименование это не случайно. Именно здесь исстари селилась московская профессура, имена ее до сих пор составляют гордость русской общественной мысли. Здесь находились и наиболее передовые гимназии — Поливанова, Арсеньевой (...). В двадцатые годы эти традиции как бы сохранялись, но они теряли живые корни, продолжая существовать искусственно, оранжерейно...

Советские „пречистенцы“ жили келейной жизнью. (...) Они писали литературоведческие комментарии, выступали с неболь-

шими, сугубо академическими статьями и публикациями в журналах и бюллетенях.

Жили они в тесном кругу, общаясь друг с другом.

Квартиры их, уплотненные в одну, реже в две комнаты, превратившись в коммунальные — самый распространенный вид жилища тогдашнего москвича — напоминали застывшие музеи предреволюционной поры. В их комнатах громоздилось красное дерево, старые книги, бронза, картины. Они были островками в мутном потоке нэпа, среди народившихся короткометражных капиталистов и возрождающегося мещанства, но в равной степени отделены и от веяний новой, формирующейся культуры, еще очень противоречивой, зачастую прямолинейно примитивной в своих первых проявлениях.

У „пречистенцев“ чтились филологи и философы.

Они забавлялись беседами о Риккертe и Когене. В моду входили Фрейд и Шпенглер с его пресловутым «Закатом Европы», в котором их привлекала мысль, что главенство политики является типичным признаком вырождения общества. А посему они толковали об образе, взятом из природы и преображенном творчеством, о музыкальных корнях искусства, о мелодии, связанной с ритмом. В них все еще сохранялась рафинированность декадентщины предреволюционной поры, но они считали себя продолжателями самых высоких традиций московской интеллигенции» (*Ермолинский* 1982: 607—608).

К приведенным воспоминаниям, которые написаны с явной неприязнью, надо, наверное, добавить, что «келейная» жизнь «пречистенцев» не была добровольно выбрана ими, как не выбирал экзарх Леонид Федоров для своего проживания соловецкой кельи. У этих людей будущее было насильственно отнято. Отец Сергей Соловьев по многим признакам — происхождению, воспитанию, даже по месту рождения — относился к «пречистенцам», и в эти годы он тоже писал литературоведческие работы, оставшиеся неопубликованными: о творчестве Баратынского и о «Тиэсте» Сенеки. Были написаны им и воспоминания, многократно цитировавшиеся выше. Но и в этой среде он оставался чужаком — из-за священства, из-за католичества. Ему самому двойная жизнь давалась нелегко: и чисто физически, и духовно. Описав дочери визит к Качалову в связи с постановкой «Прометей», переведенного им, Соловьев добавляет: «Очень тяжело для священника ходить по актерам, особенно в дни Великого Поста, когда ежедневно служишь в церкви». Несколько лет подряд отец Сергей на лето уезжал вместе с дочерьми к поэту Максимилиану

Волошину в Коктебель, где собирались многие представители старой интеллигенции. Вот как вспоминает о нем один из гостей «Дома поэта» (так называл свой гостеприимный дом Волошин) — С. В. Шервинский: «Последний раз мы встретились летом 1926 года в Коктебеле, в гостях у Макса Волошина. В то время там собиралась значительная группа литераторов, проводившая в Коктебеле время своего отдыха. Там были священник Дурылин, Белый, Габричевский. Мы довольно весело проводили время, устраивали любительские спектакли, в которых я принимал большое участие, шуточные вечеринки, танцы и т. д.

С. М. во всем этом никакого участия не принимал. Жил он в соседнем от Волошинского дома здании и почти все время проводил в своей комнате, как в монастырской келье, в полном уединении. Одет он был в цивильный костюм — черные брюки и куртку. Однажды я зашел в комнату к С. М. и стал его уговаривать пойти в наше общество развлечься, немного пообщаться и отдохнуть. При этом я уверял его, что ничего плохого, не подобающего его сану, не произойдет. На это С. М., показывая на свою очень скромную старенькую черную куртку, сказал: „И без того, вот этим святые ризы унижены, а вы говорите идти развлекаться, нет уж, дорогой, увольте...“ Впрочем, он принимал участие в религиозно-философском вечере, посвященном 700-летию со дня смерти св. Франциска Ассизского, который устроили отдыхающие литераторы» (*Шервинский. Воспоминания*).

Сергей Соловьев очень любил Волошина, с удовольствием бывал у него в Крыму и посвящал Коктебелю стихи, но тем не менее в 1929 году в письме к дочери он говорит: «Гадкая репутация Коктебеля, где расстроилось столько счастливых людей и браков, что признает и сам Макс. Для Макса, Габричевских и их окружения жизнь есть игра... Конечно, это не вполне исчерпывает этих людей, есть и у них минуты, когда они бывают человечны и серьезны, но типичны и для Коктебеля, и для „золотой молодежи“ (довольно серенькой, лысоватенькой и обрызгшей) именно это циничное отношение ко всему, что имеет действительную цену».

Вселенское православие

В числе чудом сохранившихся бумаг Сергея Соловьева — две его работы, посвященные единству Восточной и Западной Церквей, а также судьбам христианства в России. Отец Сергей готовил большое сочинение «Основы вселенского православия», ос-

тавшееся неоконченным. В марте 1924 года он пишет главы: X — «Еврейские, греческие и латинские основы церкви», XI — «Литургия восточной церкви» и XII — «Русский католицизм» — и делает наброски плана второй главы «Типы русской религиозной мысли».

Апрелем 1926 года датирована рукопись его работы «Под дубом Волыни», намеренно копирующая диалогическую форму знаменитого сочинения Вл. Соловьева «Три разговора». Это также беседы (первая из них не сохранилась)²⁸, в которых участвуют различные персонажи: польский граф — представитель католицизма в его наиболее националистическом и консервативном варианте, лесничий — представитель вульгарного атеизма; остальные же характеризуются автором так: «В лице архимандрита перед нами явилась старая Русь, старое православие; в лице профессора — настоящее русского православия, повернутое лицом к Бергсону и модернистам». Идеи самого Сергея Соловьева выражает пятый участник разговора — учитель, воплощающий «будущее России, России, верной своему святому прошлому и смело смотрящей в будущее» (Соловьев. Неопубликованное: Л. 549)²⁹.

Уже рукопись 1924 года — результат огромной работы мысли, а также серьезных перемен, произошедших в личности ее автора и его судьбе после 1918 года, — являет собой принципиально новое понимание проблемы единства Церквей, далекое от прежних экспансивных, эмоциональных, возвышенных, но мало обоснованных рассуждений.

Соловьев размышляет о двух точках зрения на католичество, господствующих в русском сознании. Первую из них он называет славянофильской и излагает ее следующим образом: «Истинная церковь, основанная Христом, стоит незыблемо на Востоке, в пределах четырех восточных патриархатов и России. Римская церковь также незыблема в своей ереси, столь же злостной, как ересь лютеранская». «Далее, — иронизирует Сергей Михайлович над «славянофилами», — последуют печальные признания об упадке, бездеятельности и беспорядках, имеющих место в этой единой истинной восточной церкви, тихий искренний вздох и, быть может, фраза о близком конце мира и пришествии антихриста» (Л. 550).

С другой точкой зрения Соловьев почти не полемизирует, обращаясь к позиции, которая преобладает и в наше время. Католическая Церковь, в таком понимании, «осуществляет задачу христианской церкви для западного мира, является частью вселенской церкви наравне с восточной греко-российской церковью.

Следовательно, церковное воссоединение желательно и для Запада, и для Востока. У обеих разделенных церквей есть свои достоинства и свои недостатки... При соединении эти взаимные недостатки ослабнут, а достоинства возрастут» (Л. 550). Это, заметим, взгляд Соловьева на католичество, излагавшийся им уже в статьях 1917 года. В этой точке зрения, по мнению отца Сергия, сочетаются как «элементы подлинно-христианского чувства любви», так и «интеллигентского мудрования и индифферентизма» (Л. 551). «Сила и достоинство первых (славянофилов. — *М. С.*) в неколебимой вере, вторых — в пафосе разумности и любви. Но если вера, без разумности и любви, легко переходит в изуверство и фанатизм, то разум и любовь без веры являются чистым призраком» (Л. 550).

Отец Сергий теперь ставит вопрос о воссоединении Церквей более исторично, конкретно, с большей эрудицией. Главное, он призывает не останавливаться на стремлении к единству Церквей как некоем умонастроении, неопределенном — и исключительно личном — благожелательстве к противной стороне. Ему хочется осмыслить и разрешить проблему разъединения Церквей до конца, преодолеть благостное равнодушие к ней — и потому он заостряет постановку вопроса. «Признание действительности таинств в какой-либо церкви еще не равносильно признанию ее законности». «Соединение церквей православной и католической, несомненно, должно носить характер принятия или отречения католической церкви от ее догматов, или отречения православной церкви от антикатолических учений». «Если кто-нибудь убежден, что папа есть действительный глава церкви, то, естественно, он ему подчинится, чтобы находиться в истинной церкви; если же папа не есть глава церкви, а только мнит себя таковым (...), то о каком соединении с римской церковью может быть речь?» (Л. 552).

Соловьев формулирует два тезиса, которые и делают проблему столь острой.

Во-первых, он убежден, что устарел принятый в православии критерий богословской истины, а именно — соответствие идеям святых отцов. «Ведь в мыслях их (святых отцов. — *М. С.*) не могло быть такого предположения, что наступит век, когда их писания станут единственным церковным авторитетом... Послушание ныне действующей церковной власти есть необходимое условие жизни в церкви, и заменить его послушанием прошлому невозможно» (Л. 552 об.). «Когда православные полемисты, осуждая все (католические. — *М. С.*) постановления по этим вопросам, от-

сылают нас опять же ко святым отцам Востока первых 10 веков, мы физически не можем исполнить это требование, так как по многим поднятым в средние века вопросам прямых ответов у этих восточных отцов мы не найдем» (Л. 559).

Во-вторых, он, как и раньше, убежден в том, что Православная Церковь не есть схизматическая, что «единая католическая церковь не есть только латинская, она есть и греческая», поскольку Восток практически не покидал никогда Церкви: «русская церковь и в Киеве, и в Москве, и в Синодальный период дала множество плодов благодати, дала святых и подвижников, которые не могут быть вне церкви» (Л. 552 об.).

Таким образом: Православная Церковь лишилась критерия истины и подменяет живую истину обращением к прошлому — но, в то же время, она по-прежнему является частью Тела Христа.

Для разъяснения этого противоречия отец Сергей предлагает «естественно-исторический», как он называет его, взгляд на проблему разделения Церквей. Суть этого взгляда заключается в следующем. Догмат о папской непогрешимости (и другие особенности католичества) хотя и развивался, как и прочие догматы, из евангельского зерна, но вырос и окреп не в святоотеческие времена, а после разделения, и особенно в борьбе с протестантизмом. «Если ложью является утверждение, что римская церковь в течение первых десяти веков не имела старшинства и руководящего авторитета во вселенской, единой церкви, то не меньшей ложью будет утверждение, что в 10-м веке вселенская церковь являлась церковью монархической, возглавляемой епископом Рима, какой она является в наши дни». «Ни на Западе, ни на Востоке еще не думали о догматическом оформлении учения об устройстве и управлении земной церковью. Лишь после удара протестантской ереси начинается на Западе построение этого догмата, завершившееся на Ватиканском соборе (1869—1870 гг. — М. С.), тогда как на Востоке пробовали сохранить старое положение, смутное и неразборчивое» (Л. 555).

Сергей Соловьев не приводит здесь напрашивающейся аналогии с дохалкидонскими Церквями, которые отпали от церковного единства, но еретическими не являются, так как их изоляция началась еще до утверждения догмата о двух природах во Христе.

Отец Сергей считал, что именно благодаря развитию догмата о папской непогрешимости Западная Церковь столь крепка: «После разделения церкви ересь за ересью восставали на латинском Западе, и, конечно, единство церкви и православие разру-

шились бы на Западе, если бы в лице первосвященника римского эта церковь не имела воли и решительного авторитета, отсеивавшего из века в век все крайности богословских школ и мистических учений и приводившего к единству многообразные элементы латинской церкви» (Л. 563 об.).

Догмат о главенстве в Церкви не развивался на Востоке, и это было причиной упадка Восточной Церкви вообще и богословия в частности; восточная экклезиология склоняется к цезарепапизму, к протестантским веяниям. К XX веку положение уже перестает быть нейтральным, и резкое неприятие нового догмата действительно губит православие и делает его схизмой. «Постановлениями Ватиканского собора Рим как бы повторял слова Спасителя: „Кто не со Мною, тот против Меня“; и в то же время православная церковь, и в своем богословии, и в своем церковном устройстве теряла последние признаки католического и апостольского православия. Остается лишь добрая вера простых и благочестивых людей» (Л. 555).

В «естественно-историческом взгляде» Соловьева легко уловить слабо аргументированные места, особенно когда он говорит о принципиальности кризиса православного богословия или о праве Католической Церкви вводить новый догмат без рецепции со стороны Церкви Восточной (тем более, по словам самого отца Сергия, не пребывавшей до введения догмата в схизме). Важно, однако, что Соловьев действительно выявил основной корень разъединения — и мучительно искал возможности преодоления разногласий. Важно и то, что он шел по пути, не магистральному в современном экуменизме, который еще с 1930-х годов развивался в основном как диалог православных и протестантов. Сегодняшнее экуменическое общение стремится прежде всего выявить ту основу, что соединяет различные христианские вероисповедания, — Соловьев же намеренно выявляет различия. Ему важно отметить не то, что может *помочь* соединению, а то, что может соединению *помешать*. Поэтому вдвойне интересно его мнение о судьбе именно русского православия.

Сергей Соловьев повторяет идею Владимира Соловьева о великой посреднической роли России: «Как народ, поставленный между Востоком и Западом, мы должны исцелить ту рану, которую Византия нанесла вселенской церкви: наше призвание быть мостом между церквями запада и востока и соединить то, что разъединилось по вине Византии» (Л. 564 об.). Соловьев, как и в статьях 1917 года, резко обличает современную ему жизнь Русской Церкви, но на этот раз он указывает и причину кризиса: «Бог

справедливо и беспощадно уничтожил империю. Над ее развалинами всплыл призрак старой Московской Руси: патриарх, подотчетный собору, созданному первой революцией и истребленному второй. Два века церковная власть в России опиралась на государство. Попробовала опереться на народ и реставрировать славянофильские фантазии — и в конце концов оперлась на государство, в программе которого стоит активная борьба со всякой религией. Достоянные, благочестивые священники русской церкви напрягают последние усилия, чтобы сохранить в России хотя бы некое подобие иерархического организма, но что могут сделать матросы, оставшиеся без капитана» (Л. 520). В диалогах «Под дубом Волыни» Сергей Соловьев несколько карикатурно и не слишком естественно изображает «профессора», излагающего смесь идей Бердяева, Булгакова, Флоренского и просто либеральной интеллигенции. В этом проявилось прежде всего непонимание Соловьевым сущности религиозно-философского ренессанса, в котором он, к сожалению, не увидел ничего, кроме «мистического алогизма модернистов и русских неоправославных богословов» (Л. 575). «Развившаяся в Византии тенденция противопоставлять мнимую чистоту греческого богословия мнимой черноте богословия римского и возводить это противопоставление к первым векам церкви, несомненно, привила и русской богословской мысли последних веков, и особенно начала 20 века, бешеное латинофобство, развившееся в неоправославное богословие наших дней, в своем анархическом противолатинстве далеко опередившее и Керуллория, и старых русских славянофилов» (Л. 568 об.).

Однако Соловьев бесконечно любит и чтит русское православие, прежде всего его литургику, и потому отвергает бывшие ранее опыты союза с Римом. «Чаадаев говорил: „Россия есть белый лист, на котором еще ничего не написано“. Я же думаю, что на этом листе написано „Святая Русь“, и, хотя далек от славянофильских преувеличений, считаю, что задача католичества в России не есть насаждение латинской культуры, а возрождение церкви св. Владимира и св. Сергия Радонежского... Отстаивая неприкосновенность восточной литургики и мистики, я не только не отрицаю, но считаю необходимым взаимное влияние Востока и латинства. Важно только, чтобы здесь получилась не мешанина, а живой и органический синтез» (Л. 534—535 об.). Соловьев полагает, что «принцип русской греко-католической церкви должен быть таков: ничего не уничтожать, что достойно сохранения, и не бояться прибавлений и осторожной латинизации» (Л. 521 об.).

Поэтому он считает возможным и необходимым говорить не о присоединении, а о соединении. «Хотя соединение церковей носит характер подчинения восточной церкви главе церкви римской (так как ясно, что последний сам никому подчиняться более не может), тем не менее можно говорить и о соединении, поскольку латинская и греческая церкви, вступая в единство, не уничтожают друг друга, но восполняют» (Л. 565 об.).

На оставшийся вопрос о практической возможности желаемого подчинения отец Сергей отвечает словами героя того же сочинения «Под дубом Волыни» — учителя (под чьим именем выступает сам), обращенными к графу, мечтавшему о католической России в ее чисто западном виде: «Ваша будущая Россия с органами по деревням — действительно утопия, тогда как восстановление связи с римским престолом — самая реальная задача ближайшего будущего, правда, встречающая на своем пути громадные затруднения и препятствия. Препятствия эти здесь налицо: консервативная восточность о. архимандрита, Ваше крайнее латинство и расплывчатый мистицизм и модернизм профессора» (Л. 537 об.). «Будет ли Россия католической страной — это неизвестно. Но мы знаем также, что другого пути для возрождения русской культуры нет. Католическая проповедь пока не может идти в народные низы, а должна ограничиваться верхушкой интеллигенции. Но (...) только католицизм может соединить народ с интеллигенцией, прошедшее с будущим, византийскую традицию с европейской культурой» (Л. 524). Свою статью «Похвала Августина», написанную в августе 1930 года, отец Сергей завершил словами: «Будем молиться св. Августину, чтобы ценить кровавый опыт и предуготовить нашим внукам ту церковь, где святое предание Востока, сохраненное в своей чистоте и целостности, засияет новой красотой и блеском от восстановления связи с центром вселенского единства» (Л. 575 об.).

Закат: 1931—1942

Конец 1928-го и 1929 год ознаменовались очередной антирелигиозной кампанией. В 1930 году на Западе начался «крестовый поход молитв» в защиту русских христиан: неудивительно, что в России как ответ на это прокатилась волна арестов среди католического духовенства, представителей которого особенно много было в поволжских немецких колониях (Венгер 1977: 7). Печальным образом все эти события сказались и на жизни отца Сер-

гия. В 1928 году он был отстранен от преподавания, в 1929-м — лишен возможности служить в церкви.

После провозглашения митрополитом Сергием (Страгородским) — в июле 1927 года — декларации лояльности Православной Церкви новой власти произошел раскол духовенства на два лагеря. Группа православных епископов, духовенства и мирян, не признавших главенства митрополита Сергия над Русской Православной Церковью, а также его декларации лояльности советской власти, получила название «иосифовцы», «иосифляне» — по имени ее руководителя, митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых). Соловьев, у которого возникла идея объединения русских католиков с православным духовенством, отошедшим от митрополита Сергия, составил некое воззвание и размножил его на пишущей машинке. «Свою декларацию к „иосифовцам“ я составил с призывом к присоединению „иосифовцев“ к Риму. Хотя обе эти силы стоят на разных религиозных позициях, но, учитывая их враждебное отношение к совласти, я рассчитывал, что именно это враждебное отношение и Рима, и «иосифовцев» к совласти может их объединить для общей борьбы с совластью (...). Это обращение я понес на санкцию к епископу Неве, но тот счел, что обращение является несвоевременным и опасным лично для меня, а также и для других» (Соловьев. Следственное дело)³⁰. Надо отметить, что епископ Пий Неве, посчитавший необходимым предотвратить возможные последствия безрассудного, по его мнению, поступка, постарался уничтожить все копии обращения отца Сергия, не подозревая, что тот сохранил у себя два экземпляра. Один из этих экземпляров был найден у знакомых Соловьева при обыске и стал поводом для обвинения его в антисоветской деятельности³¹. Малочисленность общины русских католиков не помогла ей ускользнуть от внимания властей; к тому же любые связи с иностранцами стали расцениваться как прямое доказательство шпионажа.

Вот что пишет о последних днях Сергея Соловьева на свободе его дочь Наталья Сергеевна: «С осени 1931 года я переехала в Москву окончательно и поселилась с отцом в 7-ом Ростовском переулке в его четырнадцатиметровой комнате с большим окном, смотрящим на Киевский вокзал, по ту сторону Москва-реки. (Дом стоял на высоком косогоре и имел выход на набережную.)

Еще с 1922 года возникло странное несоответствие между высокой оценкой С. Соловьева как поэта-переводчика и ученого филолога (большое количество заказов, получение комнаты из фондов Центральной комиссии улучшения быта ученых) и тем,

что от знакомых стали поступать сигналы о том, что деятельностью отца интересуется ОГПУ³².

Все говорило о скором решении участи отца, но такова уж была его натура, что напряженное ожидание ареста не лишало его юмора. Однажды вечером, в гололед, я поднималась, не сняв коньков, по лестнице, и, когда вошла в квартиру, папа встретил меня словами: «А я уж подумал, неужели „они“ ходят шагами Командора. И „они“ пришли в ночь на 16 февраля 1931 года, обыск продолжался до утра. В эту же ночь арестовали почти всю группу католиков греко-восточного обряда» (Соловьева 1993а: 64).

Итак, в ночь с 15-го на 16 февраля 1931 года отец Сергей Соловьев, а одновременно с ним православный священник Александр (Васильев) и многие прихожане его общины: Екатерина Малиновская, Валентина Сапожникова, Виктория Бурвассер³³, Нора Рубашова и другие — были арестованы³⁴.

Получение денежных средств для общины от епископа Неве, не отрицаемое отцом Сергием на допросах, интерпретировалось следствием как факт подтверждения шпионажа в пользу Ватикана и Франции и содействия интервенции. Та же линия поддерживалась и сведениями от «добровольного помощника» ОГПУ³⁵. Следствие добивалось показаний, подтверждавших шпионскую деятельность представителей католического духовенства³⁶. Имелись и показания о том, что русские католики содержатся на деньги Ватикана: «Соловьев говорил (...), что дает средства Неве с 1925 г. ежемесячно и систематически на их поддержание, на организацию помощи заключенным и для помощи детям сосланных» (Цакуль. Следственное дело)³⁷.

Собственно в тюрьме Соловьев пробыл чуть более четырех месяцев. Через много лет Н. Н. Рубашова вспоминала: «Следствие закончилось очень быстро, но было задержано приведение приговора в исполнение благодаря хлопотам и заботам Екатерины Павловны Пешковой (в то время возглавлявшей Советский Красный Крест. — М. С.), которую я хорошо знала. Пешкова, вероятно, хлопотала о судьбе отца Сергея, благодаря этому его и выпустили. Моя встреча с ним во внутренней тюрьме ГПУ на Лубянке произошла, возможно, по недосмотру охраны. Нас одновременно проводили по одному и тому же коридору. Возможно, надзиратели не заметили приближения другого конвоя, который вел арестованного отца Сергея, а может быть, я, не исполнив приказа повернуться лицом к стене, могла несколько мгновений видеть отца Сергея, проходившего мимо... По его виду я поняла, что ему очень плохо, что он тяжело болен. Я была так потрясена

его внешним видом, что не смогла ничего ему сказать. Было заметно, что его рассудок уже помутился. О том, что он заболел, мне было сказано следователем во время следствия: „Ваш Соловьев заболел“, — злорадно сказал он, желая тем самым унижить отца Сергея в моих глазах. Наше дело вел старший следователь Ульрих — „специалист“ по католикам, а также следователь Каменев. Под следствием в тюрьме отец Сергей находился с 16 февраля по 25 августа 1931 года» (*Рубашова*. Воспоминания)³⁸.

Во время пребывания Сергея Михайловича Соловьева во внутренней тюрьме ОГПУ нервное перенапряжение вновь, как и девятнадцать лет тому назад, повлекло за собой расстройство его психики³⁹.

Приговор был вынесен достаточно мягкий: десять лет ссылки (в Алма-Ату, столицу Казахстана). 25 августа Соловьева освободили из тюрьмы, и был уже куплен билет на поезд — но болезнь обострилась. 5 сентября 1931 года Соловьева доставили в так называемую «Троицкую колонию» — психиатрическую больницу на станции Столбовая Курской железной дороги в 64 километрах от Москвы⁴⁰.

Епископ Неве тогда писал в одном из писем в Рим об отце Сергии, ссылаясь на сообщение Екатерины Малиновской, освобожденной вместе с Соловьевым, следующее: «О здоровье отца Сергия она рассказала очень грустные факты. Он так худ, что при виде его можно испугаться... Ему сказали, что (...) обе дочери арестованы. Вследствие этого отец Сергей потерял способность здраво рассуждать». «В разговоре у себя дома он обронил слова: „Я всех выдал“. Правда ли это? Или это игра его воображения? Один Бог знает истину. Нет сомнения, что были использованы все способы давления на этого несчастного, чтобы получить от него неизвестно какие признания» (Венгер 1977: 9)⁴¹.

На Столбовой отец Сергей пробыл чуть больше года. В ноябре 1932-го он был выпущен на поруки одной из его дочерей⁴². В течение трех последующих лет Сергей Соловьев большую часть времени проводит в психиатрических клиниках: Первого Медицинского института, в Донской больнице, в больнице имени Кащенко. В эти годы в свет вышел последний прижизненный литературный труд Соловьева — поэтический перевод трагедий Сенеки (*Сенека* 1933).

По воспоминаниям дочери, «болезненное состояние С. М. Соловьева усугублялось тем, что он подверг себя казни, заключавшейся в отказе от всякой деятельности». Н. С. Соловьева пишет: «Недовольство собой у него начало проявляться задолго до

болезни, внешне оно выражалось в том, что он никогда не фотографировался и не смотрелся в зеркало. Единственное изображение его внешности — портрет, выполненный художником М. С. Родионовым в 1925 году⁴³. Он не передает главного, что одушевляло, озаряло его лицо, — глаз, о которых кто-то из хорошо знавших философа Владимира Соловьева восклицал: „Опять я вижу соловьевские глаза!“ . В болезни глаза приобрели трагическое выражение. Отца мучило ощущение своей вины перед теми, кто ему поверил, за ним последовал и оказался в тюрьме. Наступало очередное обострение болезни, и его приходилось в очередной раз помещать в психиатрическую больницу. Он твердил: „Я отравил весь мир! Смотри — небо темнеет, с него падают мертвые птицы“ . Он жил ожиданием конца света, и однажды это привело к тому, что во время побывки дома он вечером не вернулся с прогулки, только на следующий день его привез милиционер. (После этого случая его уже не отпускали из больницы.) Дома его ожидали друзья и близкие, собравшиеся по поднятой мною тревоге. Он очень трезво рассказал о том, что решил встретить конец света на Николаевском вокзале, откуда уезжали в милое Дедово, в Надовражино, в Шахматово. Когда он пешком пришел на вокзал, была уже ночь. Спящих на лавках и на полу людей он принял за умерших. Стояла поздняя осень. Отец решил встретить смерть среди деревьев и оказался в Сокольниках. Очевидно, он утром вышел на шоссе, где его обнаружил милиционер. Отец ни с кем не хотел встречаться, сохранял только горячую любовь к дочерям» (*Соловьева* 1993а: 64—65)⁴⁴.

9 июня 1936 года Соловьев в последний раз переступает порог больницы имени Кашенко. В августе 1941 года больницу эвакуировали из Москвы в Казань, где он умер 2 марта 1942 года.

* * *

От десятилетнего пребывания отца Сергея в больницах осталась лишь история болезни да воспоминания брата его зятя — Евгения Львовича Фейнберга.

Медицинское дело открывается длинным перечнем родственников, страдавших психическими расстройствами — в их числе и Владимир Соловьев. История заболевания кратка: «Странности стали проявляться в 26 лет, в 1931 г. острая вспышка». «Депрессия продолжается с рядом ипохондрических идей» — помета 1935 года.

Наиболее подробные записи сделал врач из клиники имени Кашенко: «Выражение лица безразличное... Высокий широкопле-

чий астеник с большим черепом. Его наружность говорит о сочетании немощи и силы, физической беспомощности и психической глубинности... Один раз он рассмеялся громким смехом ребенка с неожиданно высокими нотами. В этом детском смехе было что-то от насмешки. В беседе с персоналом он остроумен, склонен к тонкому иронизированию над ними. Сознание болезни и полная бесперспективность будущего приводят его в отчаяние». Была в истории болезни и такая запись: «По словам Соловьева, „память плоха. Она есть и в то же время ее нет“. Это он называет „чекистский фокус“, потому что когда он на допросе говорил, что не помнит, то следователь уверял, что память у него хорошая»⁴⁵.

Воспоминания Е. Л. Фейнберга о пребывании С. М. Соловьева в Казани мы считаем необходимым привести почти полностью, так как это единственный источник, проливающий свет на последний период жизни Соловьева, который долгое время оставался никому не известным.

* * *

«В числе других больных московской психиатрической больницы имени Кащенко Сергей Михайлович в конце лета 1941 года был эвакуирован из Москвы в Казань и помещен в Казанскую психиатрическую больницу (КПБ). Я с семьей находился в это время в Казани как сотрудник эвакуированного туда Физического института Академии наук СССР. Дочь Сергея Михайловича, Наталья Сергеевна, бывшая замужем за моим братом И. Л. Фейнбергом (он был на фронте), осенью того же года прислала мне письмо, прося разыскать отца и установить с ним контакт.

(...) Сергея Михайловича удалось разыскать с большим запозданием, насколько помню, уже поздней осенью, вероятно, в конце октября или начале ноября.

КПБ помещалась в специальном старом здании, построенном в виде буквы „П“. Мужские отделения помещались одно за другим, вдоль одной ножки этой буквы.

Врач повел меня за собой, переходя из одного отделения в другое, тщательно запирая за собой каждую дверь. Слева от широкого коридора, по которому мы шли, помещались палаты. Двери в них были широко распахнуты. В коридоре и палатах сидели, стояли, лежали больные, некоторые расхаживали, многие монотонно двигали руками и туловищем. В общем, обычная картина психиатрической лечебницы, но сильно переполненной. Наконец, врач завел меня в одну палату, где слева от входа, в средней

из трех прижатых к стене кроватей, неподвижно лежал на спине и смотрел в потолок, укрывшись одеялом до подбородка, небритый полуседой человек с длинным худым лицом. Врач, который произвел на меня очень хорошее впечатление, подробно рассказал мне, что Сергей Михайлович находится в состоянии апатии (это мое слово — я не помню, какое слово употребил врач, может быть — глубокой депрессии), отказывается от еды — говорит, что не может есть (применяли, насколько помню, искусственное питание); мало говорит — утверждает, что ему трудно; не читает — говорит, что не может: не видит и т. п.

Я до того никогда не видел Сергея Михайловича. Мне было известно, что он очень отрицательно относился к моему брату, поэтому я не удивился, когда на слова врача, представившего меня, и на поясняющие мои слова он лишь повернул на подушке голову, посмотрел на меня и снова уставился в потолок. Впечатление было тяжелое. Визит этот был кратким.

По моей просьбе Сергея Михайловича вскоре перевели в „легкое“, „санаторное“, отделение, помещавшееся на втором или третьем этаже „главной части“ здания. Здесь я и посещал его впоследствии — насколько помню, каждое воскресенье в течение последующих одного-двух месяцев. Сергей Михайлович выходил ко мне в коридор, освещавшийся тусклой электрической лампочкой на свисавшем с потолка шнуре. По обеим сторонам коридора стояли стулья, на которых и усаживались посетители с больными.

От посещения к посещению наши разговоры становились более нормальными в том смысле, что Сергея Михайловича удалось „разговорить“ — вначале он почти только молчал, кратко отвечая на мои вопросы и продолжая утверждать, что читать он не может — не видит. Однако когда я однажды принес ему письмо от Натальи Сергеевны — вероятно, это было уже в декабре, — он жадно схватил листок двумя руками, стал под лампочкой и быстро, без всякого труда прочел его.

В это время он уже не отказывался от пищи, ни на что не жаловался, брал и приносимые мною жалкие продуктовые передачи. Наталья Сергеевна прислала кое-что из белья.

Я очень плохо помню содержание наших разговоров. Я и тогда был совершенно атеистичен (скорее, даже антирелигиозен), поэтому, хотя и знал смутно о религиозности Сергея Михайловича, считал бестактным поднимать эту тему — и твердо знаю, что она в наших разговорах не фигурировала. Но моя жена ясно помнит, что с последних посещений я возвращался возбужденный, с горящими глазами, и говорил, что были интересные разговоры

на литературные темы (естественно, на меня произвел большое впечатление рассказ о хорошо известной дружбе Сергея Михайловича с Блоком, о которой я тогда еще не знал). Все же, хотя я, видимо, в конце концов „разговорил“ Сергея Михайловича, он говорил сдержанно и мало.

В декабре я свалился с очередной вспышкой туберкулеза, и мои посещения больницы прекратились. Тогда стала ходить в больницу сестра жены (жена болела плевритом), относившая еду, которую варила теща (еду, конечно, жалкую — по условиям того времени). К сожалению, они тогда были очень наивны и не догадывались, что приносимую еду нужно было передавать Сергею Михайловичу лично, в руки, как это делал я. Свояченица моя вместо этого передавала продукты через санитаров, и теперь мы понимаем, что эти продукты могли до него и не доходить. Лично с Сергеем Михайловичем она ни разу не виделась. Но наступил день, когда у нее не приняли передачи, сказав, что Сергей Михайлович умер.

Вместе с моим другом В. Л. Гинзбургом мы отправились в морг больницы. Служитель открыл нам комнату, в которой вповалку лежали голые трупы с бирками на ноге. Он отыскал труп Сергея Михайловича, и мы договорились, что через день он подготовит тело для похорон. Жена отнесла ему одежду. Где и как раздобыли гроб, не помню. В назначенное время мы с моей женой и В. Л. Гинзбургом нашли возчика с санями, поставили на сани гроб и отправились на Арское кладбище (в одном-двух километрах от больницы). Возчик, которого с трудом удалось уговорить, очень спешил. Поэтому почти весь путь, в частности, по кладбищенской аллее среди огромных сугробов, мы сами ехали на санях, обняв гроб руками. Никакого отпевания или вообще религиозного ритуала не было (я не представлял себе, что это существенно, да и не помню, была ли на кладбище действующая церковь)...» (Фейнберг. Воспоминания).

* * *

Жизненный путь отца Сергия Соловьева трагичен своей безысходностью, незавершенностью, но свет веры Христовой освещает этот путь, придает ему смысл, законченность и величие христианского подвига. Жизнь Соловьева засвидетельствовала возможность и необходимость соединения разделенных членов Церкви Христовой, чтобы исполнились слова Учителя: «Да будут все едино».

Примечания

¹Абрикосова Анна Ивановна (в монашестве — Екатерина) (1882—1936) — основательница Доминиканской общины восточного обряда в Москве. Арестована органами ОГПУ в ноябре 1923 г.; впоследствии, о чем будет упомянуто далее, умерла в Бутырской тюрьме.

²Городец Вера Львовна (сестра Стефания) (1893—1974) — монахиня доминиканского ордена, входила в общину, руководимую матерью Екатериной Абрикосовой. Первый раз была арестована 10 марта 1924 г., пребывала в ссылке с 19 мая 1924 г. по 9 мая 1930 г. Входила в группу монахинь-доминиканок восточного обряда, живших в Малоярославце. Второй раз арестована по постановлению Особого совещания при МГБ СССР 17 августа 1949 г. В 1956 г. Военным трибуналом Московского Военного округа дело было пересмотрено и прекращено «за отсутствием состава преступления». Впоследствии реабилитирована. Скончалась 25 мая 1974 г. и похоронена на Хованском кладбище в Москве.

³Автограф воспоминаний хранится в архиве автора книги. Позднее мною был записан на магнитофон расширенный вариант воспоминаний Н. Рубашовой о Соловьеве; эти воспоминания и личные впечатления от встреч с отцом Сергием и используются в настоящей работе.

⁴Нора Николаевна Рубашова умерла 12 мая 1987 г. и похоронена на Хованском кладбище в Москве.

⁵Автограф стихотворения хранится в архиве автора данной работы.

⁶«На о. Сергия подействовало угнетающе то, что один из его любимых прихожан, которого он очень ценил, оказался тайным сотрудником ГПУ. Он понял это из допроса на следствии» (*Василий* 1966: 613).

⁷Вот один пример: «Его жена восприняла новую идеологию, развелась, вторично вышла замуж и, узнав о несчастье, постигшем отца Сергия, пришла жить в комнату, которую он занимал с двумя дочерьми, и привела с собой двух мальчиков от нового брака. Второй муж увлекается охотой и ничего не зарабатывает. Чтобы свести концы с концами, продали за бесценок рукописи великого мыслителя Вл. С. Соловьева» (*Венгер* 1977: 11). По сообщениям родственников и других лиц, оставивших воспоминания о Сергее Соловьеве, у его бывшей жены — Татьяны Тургеневой, и ее нового мужа — Гурия Омитирова, был только один сын — Юрий Тургенев (ум. 1998). После развода Татьяна Тургенева никогда не проживала со своим новым мужем в доме Сергея Соловьева. Ко времени ареста и после выписки из психиатрической лечебницы Соловьев жил в 7 Ростовском переулке вместе со старшей дочерью, ставшей, когда он психически заболел, его официальным опекуном. Факт продажи рукописей Владимира Соловьева отрицают обе дочери. К тому же вряд ли в 1930-х гг. эти рукописи могли представлять очень большую ценность для советских архивов.

⁸В публикации стихотворений Сергея Соловьева (*Молодяков* 1993) автор ее пишет, что в 1926 г., став вице-экзархом русских католиков, Сергей Соловьев был посвящен в епископский сан. То же самое утверждает и автор другой публикации стихов Соловьева (*Вишневецкий* 1993: 242). Он указывает, что отец Сергий, «посвященный в епископы монсеньером Д'Эрбиньи, становится вице-экзархом католиков греко-российского обряда». Многие исследователи творчества С. М. Соловьева забывают, что в церковной практике должность экзарха, или вице-экзарха, не обязательно епископская, ее может занимать и священник.

⁹ Из архива Н. С. Соловьевой. Публикуется по сделанной ею рукописной копии, предоставленной в распоряжение автора.

¹⁰ Чтобы не быть голословным, приведу высказывания самой Н. С. Соловьевой из ее воспоминаний об отце, в которых она дает оценку своему юношескому отношению к религии: «Я (...) считалась „заблудшей овечкой“, потому что мое воображение было захвачено „Коммунистическим манифестом“ („Призрак бродит по Европе...“), логикой „Капитала“ Маркса, сходными по своей стилистике с катехизисом „Вопросами ленинизма“. Отец никогда не пытался разубедить меня, на дерзкое заявление „меня вполне устраивает материализм“ отвечал: „Это у тебя от молодости“» (Соловьев 1993: 64).

¹¹ Все цитаты из книги Майе даются в обратном переводе с английского.

¹² Печерин Владимир Сергеевич с 1835 г. был профессором греческой филологии Московского университета. В 1836 г. он уехал за границу и принял католичество, жил в монастырях Англии, был членом братства Искупителя (редемптористов); за невозвращение из-за границы и принятие католичества был судим в 1847 г. Его перу принадлежат воспоминания «Замогильные записки» («*Apologia pro vita mea*»): (Печерин 1989).

¹³ Священник Владимир Абрикосов, в 1922 г. высланный из Советской России, жил в эмиграции во Франции; скончался в 1950-х гг.

¹⁴ Приговор был приведен в исполнение 31 марта 1923 г. в подвале ВЧК на Лубянке.

¹⁵ Семейный архив Соловьевых. Далее отсутствие в цитатах ссылок на архивные источники означает, что мы приводим материалы этого архива.

¹⁶ Нелишне отметить, что при всей тенденциозности обвинений отца Сергия в адрес отца Владимира Абрикосова, следует иметь в виду характеристику, которую дал последнему экзарх Леонид Федоров в письмах к митрополиту Андрею (Шептицкому): «Его недостатки: резкость характера, скептицизм, заставляющий временами падать духом, ригоризм и слишком строгое отношение к латинянам». «Вас смущает, может быть, его резкость, соблазняющая других...» (Василий 1966: 539).

¹⁷ Священник Николай Александров в 1924 г. был осужден и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения.

¹⁸ После 9 лет заключения, в конце 1932 г., по причине болезни, Абрикосова Анна Ивановна была освобождена; в начале же 1933 г. — вновь арестована и отправлена в Ярославский изолятор. Мать Екатерина умерла в Бутырской тюрьме в 1936 г. от рака.

¹⁹ Болеслав Слоскан — католический священник в Петрограде, позднее епископ, апостольский администратор в Могилеве, апостольский визитатор для русских и белорусских католиков в Западной Европе.

²⁰ Ср.: *Сестра Мария* 1977: 14.

²¹ Валентина Аркадьевна Сапожникова была арестована 16 февраля 1931 г. вместе с Сергеем Соловьевым и другими его прихожанами. После пятилетнего заключения вышла на свободу и поселилась в Подольске, где работала письмоноском.

²² Виктория Львовна Бурвассер была арестована вместе с Сергеем Соловьевым. Погибла во время следствия в Бутырской тюрьме в 1931 г. См. также примеч. 33.

²³ «20 февраля 1929 года был арестован ксензд польского храма Божьей Матери, настоятель (Михаил Цакуль. — М. С.), где, как уже говорилось, молились на службах о. Сергия члены его общины. Обвиненного в шпионаже и участии в „контрреволюционной организации“ ксендза 3 мая, однако,

освободили „под подписку“ и дело его прекратили, С этого момента он отказал отцу Сергию в совершении служб в своем храме» (*Осипова* 1996: 22).

²⁴ Ср.: «Отец Сергий со своей общиной оказался в сложном положении: совершать службы в московских православных храмах он не решался, так как могли пойти разговоры о его возвращении в православие, а первое же богослужение в католическом храме св. Людовика, где настоятелем был епископ Пий Неве, могло закончиться арестом. Оставался единственный выход — совершать службы в православных церквях под Москвой у знакомых священников (его бывших студентов), которые приняли бы его. Однако это порождало большие трудности для членов его общины. Поэтому-то редкие встречи членов общины на квартире о. Сергия — единственная возможность общины — были так важны для них» (*Осипова* 1996: 22).

²⁵ Черновые, с трудом поддающиеся расшифровке записи в старой конторской книге.

²⁶ О личной симпатии, которой были проникнуты отношения Пия Эжена Неве и священника Сергия Соловьева, свидетельствуют следующие строки: «Епископ Пий Неве познакомился с отцом Сергием в 1926 г. и после первой же встречи писал о нем в Рим: „У меня сложилось хорошее впечатление от его первых высказываний“. Они стали переписываться, а после переезда Неве в Москву — встречаться» (*Wenger* 1987: 165). Из показаний Сергея Михайловича Соловьева: «Неве выдвинул перед Римом мою кандидатуру и после санкции, полученной из Рима, предполагаю, через французское или итальянское посольство, передал мне о моем назначении» (*Соловьев*. Следственное дело).

²⁷ Для сравнения приведу строки из показаний Сергея Михайловича Соловьева: «Из года в год мною принимались новые члены общества. Они собирались у меня на квартире, кроме того, на квартирах других восточников. Часто беседовали на текущие политические и экономические темы. Кроме того, мы обсуждали и делились впечатлениями о положении з/к и высланных восточников, имея в виду организацию им материальной помощи» (*Соловьев*. Следственное дело).

²⁸ То, что диалогов первоначально было три, подтверждается письмом С. М. Соловьева М. А. Волошину, написанным 8 июня 1927 года, где, среди прочего, есть такие слова: «Везу три диалога о церкви» (фрагменты переписки С. М. Соловьева и М. А. Волошина в числе прочих материалов были любезно предоставлены в 1979 г. автору настоящей работы тогдашним директором Дома-музея М. А. Волошина в Коктебеле В. П. Купченко в виде выписок из документов, хранящихся в архиве этого музея..

²⁹ Далее цитаты из этого Сборника с обозначением в скобках листов.

³⁰ Как явствует из материалов того же следственного дела, после неизбежно последовавшего ареста священник Сергей Соловьев вынужден был в показаниях на допросах расценить свои действия «как крупный факт анти-советской деятельности».

³¹ Об этом же см.: *Венгер* 1977: 5.

³² Ср.: «Знакомых литераторов приглашали на Лубянку для проверки их благонадежности; наиболее порядочные предупреждали отца: „Меня о Вас спрашивали“. Помню, с какой горечью отец рассказывал о том, что некий литератор, которому он посвятил одно из лучших своих стихотворений „Иаков“, на заседании секции переводчиков возмутился: „Мы держим в своей среде священника!“» (*Соловьева* 1993: 180).

³³ О Виктории Львовне Бурвассер Н. Н. Рубашова в своих неопубликованных воспоминаниях рассказывает следующее: «Ее арестовали вместе с от-

цом Сергием и В. А. Сапожниковой в одну ночь. В тюрьме с Бурвассер я не встречалась, а В. А. Сапожниковой пришлось быть в одной камере с ней. В Бутырской тюрьме нас содержали в общих камерах. Во внутренней тюрьме на Лубянке — в одиночных камерах, в такой камере мне пришлось провести 3 месяца. Вероятно, когда Сапожникову перевели из внутренней тюрьмы в Бутырку, там она и встретилась с Бурвассер (...). Бурвассер умерла в Бутырской тюрьме от перитонита. Все это произошло на глазах у Сапожниковой, с которой мы встречались в Москве после моего выхода из тюрьмы» В свою очередь, Н. С. Соловьева утверждает, что В. Бурвассер покончила с собой в тюрьме.

³⁴ Надо отметить удивительно стойкое поведение арестованных прихожанок московской общины.

Из показаний на допросе Н. Рубашовой: «Считаю необходимым заявить о своем враждебном отношении к совласти. Я считаю, что коммунизм несовместим с христианством, между ними — борьба, и в этой борьбе я всецело на стороне христианства против коммунизма. Борьба совласти с религией и „религиозным дурманом“, как выражаются коммунисты, также заставляет меня враждебно относиться к совласти» (*Осипова* 1996: 25).

Показания А. Новицкой: «На мне лежала помощь восточным священникам, сосланным совластью на Соловки за контрреволюционную деятельность и шпионаж. Я же лично и все восточники считали, что они посланы не за контрреволюционную деятельность и шпионаж, а за религиозную деятельность, и расцениваем это как гонение на религию» (*Там же*).

В. Бурвассер: «Кто именно меня крестил и где проходило крещение, называть отказываюсь» (*Там же*).

³⁵ «Соловьев в беседах со мной проявлял исключительную осведомленность о важнейших политических фактах в СССР (...) Он имеет интересные знакомства среди инженеров и профессуры и православного духовенства, и эти знакомства Соловьев использует (...) в целях получения ряда сведений и передачи их Неве (...), а от Неве получал исчерпывающие указания.(...)Вся эта община восточников рассматривалась Неве как одна из вспомогательных сил, долженствующих помочь Франции в ее деятельности против СССР» (*Соловьев*. Следственное дело).

³⁶ Из показаний на допросе православного священника Александра Васильева: «Во время многочисленных визитов к епископу Неве меня крайне поражала отличная осведомленность Неве в делах православной церкви. Такая осведомленность могла являться только результатом наличия у Неве информаторов из среды православных священников. Предполагаю, что такими информаторами являлись настоятель Петровского монастыря епископ Варфоломей и Соловьев С. М. Неве, говоря об этих лицах, неизменно отзывался о них с большой похвалой и одобрением» (*Осипова* 1996: 24).

³⁷ Отец Сергей Соловьев не отрицал факта получения денег для общины и показал, что «источники получения денег — от Неве. (...) Неве давал (...)средства ежемесячно, систематически, из заграничных источников» (*Соловьев*. Следственное дело).

³⁸ Об этих же событиях Н. С. Соловьева пишет следующее: «Их долго продержали в следственной тюрьме на Лубянке, родственники общались через „Красный Крест“. Там я узнала о том, что покончила с собой В. Бурвассер... (курсив мой. — М. С.) У отца был очень интеллигентный и квалифицированный следователь — специалист по польским делам Циммеровский. Я убеждена, что он уверился в полной невинности отца, но снять с него и

его группы обвинения не мог, потому что это политическое дело было связано с епископом Неве, который пользовался дипломатической почтой в своих сношениях с Ватиканом, с высокими представителями католичества во Франции» (Соловьева 1993а: 64). Ср.: «В эти годы политические заключенные еще не подвергались унижениям и физическим мукам. Квалифицированный интеллигентный следователь понял, что имеет дело с идеалистом, который не связывал церковь с политикой, но процесс над католиками требовал их наказания» (Соловьева 1993: 180).

³⁹ «Следует заметить, что с самого начала следствия отец Сергей начал подписывать самые тяжелые обвинения против себя и членов общины. В воспоминаниях выживших сестер общины причинами такого поведения и последующей душевной болезни священника назывались постоянные угрозы арестовать его дочерей и лживые уверения следователя о расстреле епископа Пия Неве» (Осипова 1996: 25).

⁴⁰ Н. С. Соловьева пишет: «Сергей Соловьев был осужден на высылку в Казахстан, но в результате ходатайства Горького его направили на обследование в психиатрическую лечебницу ГПУ у станции Столбовая» (Соловьева 1993а: 64).

⁴¹ Ср.: в письме в Рим от 31 августа 1931 г. епископ Пий Эжен Неве, также извещенный о болезни отца Сергея писал: «Это был мужественный человек! Единственный священник, который был предан мне. (...) Какая мука видеть, что столько людей страдает из-за меня и на протяжении стольких лет!» (Wenger 1987: 250).

⁴² Н. С. Соловьева пишет: «Через год он был признан психически больным, высылка была отменена и можно было жить дома при условии постоянного ухода» (Соловьева 1993а: 64).

⁴³ Н. С. Соловьева ошибается.: около 1926 г. в Коктебеле Александром Габричевским были сделаны карандашные наброски портрета С. М. Соловьева.

⁴⁴ Вообще же, несмотря на внутренние метания, перипетии судьбы, душевную болезнь, Соловьев неизменно и живо интересовался всем, что было связано с его детьми; мысли о дочерях не оставляли Сергея Михайловича в самые сложные моменты жизни. Свидетельства этому можно найти в его письмах за разные годы и к самим детям, и к близким друзьям. Вот несколько таких писем, относящихся ко времени пребывания отца Сергея на Столбовой — печальному, закатному периоду его жизни.

«Дорогая моя Туся (дочь С. М. Соловьева, Наталья Сергеевна. — М. С.), бесконечно тебя благодарю за всю твою преданность и заботы. (...) Но, дорогая, заботься о себе, твое положение меня беспокоит. Дни и ночи думаю о тебе и Леле (дочери Ольге Сергеевне. — М. С.). Вспоминается прошлое: Дедово, Коктебель, Мураново. Кажется, как мало я для Вас сделал, и хочется попросить прощения» (20 декабря 1931 г).

«Многоуважаемая и дорогая Елена Васильевна (Гениева. — М. С.), от души благодарю за память и посылку. Но пищевых посылок не надо. Я страдаю другим голодом: не имею вестей о моих детях больше месяца. Это мучает день и ночь. Если знаете что-нибудь, сообщите. Вообще, прошу всех, кто меня помнит, больше заботиться о моих детях, чем обо мне» (28 января 1932 г.).

«Сердечно благодарю Вас за все, что Вы делаете для моих детей. Более страшного сиротства, чем это, в каком я их оставил, не бывает» (письмо тому же адресату от 17 июня 1932 г.).

⁴⁵ История болезни С. М. Соловьева находится в архиве Казанской психиатрической больницы.

Библиография

- Василий* 1966 — Василий, диакон. Леонид Федоров: Жизнь и деятельность. Рим, 1966.
- Венгер* 1977 — Венгер Антоний, иеромонах. Материалы к биографии С. М. Соловьева // Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977.
- Вишневецкий* 1993 — Вишневецкий И. Стихотворения С. Соловьева // Символ. 1993. № 29. С. 242.
- Ермолинский* 1982 — Ермолинский С. Драматические произведения. М., 1982.
- Молодяков* 1993 — Молодяков В. Стихотворения С. Соловьева // Простор. 1993. № 11.
- Осипова* 1996 — Осипова И. И. «В язвах своих сокрой меня...»: Гонения на Католическую Церковь в СССР: По материалам следственных и лагерных дел. М., 1996.
- Печерин* 1989 — Печерин В. С. Замогильные записки // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: Мемуары современников. М., 1989. С. 148—311.
- Рубашова*. Воспоминания — Рубашова Н. Н. Воспоминания // Личный архив автора.
- Сенека* 1933 — Сенека Луций Анней. Трагедии / Пер. С. М. Соловьева. Л., 1933.
- Сестра Мария* 1977 — Сестра Мария. Из воспоминаний // Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977.
- Соловьев*. Неопубликованное — Соловьев С. М. Сборник неопубликованных сочинений 1920-х годов // Частный архив.
- Соловьев*. Следственное дело — Соловьев С. М. Следственное дело // Центральный архив ФСБ РФ.
- Соловьев* 1953 — Соловьев С. М. Письмо А. Белому от 19 декабря 1922 г. // Опыты. 1953. № 2.
- Соловьев* 1993 — Соловьев С. «Над пустыней мертвого песка...» // Наше наследие. 1993. № 27. С. 64.
- Соловьева* 1993 — Соловьева Н. С. О судьбе отца // Новый мир. 1993. № 8.
- Соловьева* 1993а — Соловьева Н. С. Отцом завещанное // Наше наследие. 1993. № 27. С. 64.
- Фейнберг*. Воспоминания — Фейнберг Е. Л. Воспоминания // Личный архив автора.
- Цакуль*. Следственное дело — Цакуль М. Х. Следственное дело // Центральный архив ФСБ РФ.
- Шервинский*. Воспоминания — Шервинский С. В. Воспоминания // Личный архив автора.
- Mailleux* 1964 — Mailleux P. S. J. Exarch Leonid Fedorov: Bridgebuilder between Rome and Moscow. N.-Y., 1964.
- Wenger* 1987 — Wenger A. Rome et Moscou, 1900—1950. Paris, 1987.

*В. А. Царицын
С.-Петербург*

Рядом с Малевичем (Штрихи к творческой биографии Эдуарда Криммера)

Криммер рисует очень хорошо...
Хочется, чтобы он сохранил свою
индивидуальность в колорите и цвете

Казимир Малевич

Более чем полувековая творческая жизнь яркого представителя «классического» авангарда, ученика Казимира Малевича Эдуарда Михайловича Криммера (1900—1974) удивительна и противоречива. С одной стороны — выдающиеся произведения в разных жанрах изобразительного искусства, многие из которых тиражируются до сих пор (в частности, произведения из фарфора), с другой — почти полная неизвестность даже среди искусствоведов; с одной стороны — супрематические работы, с другой — помпезные традиционные фарфоровые вазы.

До последнего времени Э. Криммер был известен прежде всего как мастер декоративно-прикладного искусства. Сервизы, вазы, декоративные сосуды и сувениры Криммера постоянно экспонируются на многочисленных выставках, представлены в крупнейших музеях мира. Этой грани деятельности художника посвящено несколько статей, последняя из которых опубликована более 20 лет тому назад (*Оленева 1959; Чижова 1965; Аноним 1968; Бродский 1979*).

О работах Криммера в стекле (а их более ста двадцати) нет ни одной исследовательской публикации, хотя они высоко оцениваются авторитетными специалистами в этой области искусства, упоминаются в качестве образцовых в монографиях по прикладному искусству и выпущены в виде открыток (*Качалов 1959; Криммер 1960; Шелковников 1969; Воронов, Рачук 1973; Воронов, Дубова 1984* и др.).

О популярности творчества Э. Криммера — скульптора-прикладника, автора новаторских форм из фарфора свидетельствует, например, такой факт. В каталоге лучших изделий Ленинградского фарфорового завода (ЛФЗ), из ста восьмидесяти цветных репродукций произведений сорока авторов — более сорока работ Э. Криммера (*Каталог*).

Одно из искусствоведческих открытий последних лет — живописные работы Э. Криммера. В 1996—2001 гг. они регулярно экспонируются на выставках и впервые кратко рассмотрены автором настоящей работы (*Царицын 2000*; здесь воспроизведены тринадцать цветных репродукций картин Э. Криммера; см. также: *Ковтун 1979*).

Сценография Криммера (а он занимался театром с перерывами с 1920 по 1935 г.) также пока не анализировалась, хотя уровень ее настолько высок, что даже студенческие эскизы декораций 1920—1921 годов экспонировались в 2000 г. на одной из «этапных» выставок в Русском музее «Русский футуризм» и не «затерялись» среди работ М. Матюшина, Д. Бурлюка, Н. Альтмана, В. Татлина, и других известных мастеров. Цветная репродукция эскиза декорации Криммера 1921 г. (дар автора настоящей работы) включена в монографию «Живопись 1920—1939 гг.» (*Леняшин 1988*).

Детские книги Криммера и его рисунки 1920—1930-х гг., о которых Малевич сказал, что они «относятся к сезанновской категории», — особая грань таланта художника, неизвестная массовому читателю и зрителю, но представляющая заметное явление в авангардном искусстве России (*Кулешова 1989*; *Царицын 2000*).

Выставки в Манеже (1996—1999 гг.) и Русском музее (2000—2001 гг.) а также книги, сопутствовавшие этим выставкам (*Скобкина 1999*; *Иванова 2000*; *Малевич 2000*), по-настоящему открыли зрителю творчество Криммера.

Ниже мы попытаемся рассказать о личности художника, его творческом пути и проанализировать некоторые грани его таланта.

Эдуард Криммер родился 17 ноября (ст. ст.) 1900 г. в г. Николаеве в семье одного из пионеров российской фотографии. В 1911 г. поступил в реальное училище, которое закончил в 1918 г. с отличным аттестатом (из 14 оценок только одна «4» по арифметике).

С детских лет Криммер увлекся рисованием и литературой. В краткой биографии он пишет: «В училище решающее влияние на меня оказали два учителя: Н. Я. Кузьмин — преподаватель ли-

тературы и А. А. Казаков — учитель рисования, выпускник Петербургской Академии художеств» (Криммер 1971: 130).

В 1917 г. в Николаев приезжают несколько известных в то время художников, в том числе последователь К. Малевича — Амшей Нюренберг, будущий участник объединения НОЖ (Новое общество живописцев) (Леняшин 1988). От него Криммер узнает об идеях авангарда, Малевиче и супрематизме. Криммер активно включается в художественную жизнь города Николаева, а с конца 1918 г. — и Одессы; принимает участие в оформлении спектаклей и создании модных в те годы крупных революционных фресок. В этих, по сути, детских работах он уже искал новые средства выражения для создания современных тем и образов. Подобно своим старшим и опытным коллегам Н. Альтману, М. Шагалу, Д. Штеренбергу и другим, Криммер с помощью цвета и простейших геометрических фигур создавал образы рабочих и буржуев, пытался изобразить «Красный призрак коммунизма», еще бродивший тогда по Европе. Рисуя революционные плакаты и лозунги с помощью условных декоративных средств, будущий художник усваивал основные идеи авангарда: самостоятельность, точность, смелость, раскованность, яркоцветность. Ему нравились афористичные лозунги К. Малевича: «Ничего старого — ни формы, ни жизни»; «Мы предлагаем освободить живопись от рабства перед готовыми формами действительности и сделать ее искусством творческим, а не репродуктивным» (*В круге Малевича* 2000: 18).

В дневнике он формулирует принципы своей будущей творческой жизни, которым действительно следовал всю оставшуюся жизнь: «Нельзя терять ни секунды жизни, потому что каждая секунда пройдет, унесет с собой возможность работы и не вернется. Деятельность всегда деятельность! Умственная работа, не суетливая и не торопливая, а постепенная, твердая и уверенная. Только она даст хорошие результаты.

Нужно приучить себя жить таким способом, чтобы за идеей всегда следовало действие! Помнить, что придет смерть, значит надо ценить жизнь, дорожить временем» (26 мая 1918 г.)¹.

Криммеру только 17 лет, а он уже активно творчески работает: «Работы я себе наметил две. Во-первых, закончить иллюстрации к сказке „Конек-горбунок“. Мне осталось еще от 5 до 8 рисунков, 3—4 виньетки, 6—7 букв. Во-вторых, я думаю приняться за большую работу о творчестве Короленко» (23 мая 1918 г.).

Симптоматично, что одна из поставленных задач связана с художественным творчеством, а другая — с литературой. Без литера-

турных опытов Криммера трудно анализировать его творчество. Он профессионально писал о декоративно-прикладном искусстве, о сценографии, живописи, музыке, художниках, о детской игрушке (Криммер 1930; Криммер 1968; Криммер 1986; Криммер 1999), его письма можно отнести к классике эпистолярного жанра (см.: Кулешова 1989).

Творческая жизнь Э. Криммера продолжалась 56 лет (с 1918 по 1974 г.). Он рисовал буквально до последних дней своей жизни, не теряя напора и оптимизма, находясь постоянно рядом с учениками Малевича, в сфере влияния его идей, хотя иногда и выходил за пределы «радиуса основы».

Криммер начал свою деятельность в период, когда очистительные волны авангарда (и супрематизма, в частности) охватили всю культурно-художественную сферу страны. Наряду с супрематической утопией (К. Малевич, Н. Суетин, К. Рождественский) возникли авангардные утопии в поэзии (В. Хлебников, Д. Бурлюк, В. Маяковский, Д. Хармс), прозе (А. Платонов, И. Бабель, С. Спасский), музыке (С. Прокофьев, М. Матюшин, Г. Попов), архитектуре (Л. Хидекель, Е. Рояк), театре (В. Мейерхольд, А. Таиров, И. Терентьев). В развитии этих утопий принимал участие и Криммер.

В первые послереволюционные годы практически все деятели авангарда, в том числе и Криммер, активно поддерживали своим творчеством светлые, как тогда казалось, идеи обновления общества. Коренные изменения социальной жизни многие молодые художники, поэты, композиторы связывали с непременным «взрывом» художественной формы, считая, что революция социальная непременно приведет и к революции в мышлении и восприятию искусства.

С 1918 по 1922 г. Криммер обучается в Одесском художественном институте на факультете театрально-декорационного искусства. Зарабатывает плакатами, графикой, работой в Одесском театре. «Ни от какой работы не отказываюсь. Сделал курсовую и преддипломную работы в эскизах и написал по ним в натуре на бумаге декорации к постановкам „Веселая смерть“ Евреинова и „Проделки Скапена“ Мольера. Играли студенты художественного института под руководством петербургского режиссера Г. Крыжицкого» (Криммер 1971: 130). Тогда же, в 1921 г., по просьбе Крыжицкого (он был литератором и режиссером) Криммер сделал свою первую обложку к книжке режиссера «Театр духа и плоти» (Крыжицкий 1921). Всего было подготовлено около десяти эскизов декораций (пять из них сейчас в Русском музее,

остальные — в частных коллекциях).. Эскизы декораций решены в кубо-футуристическом стиле: прямоугольные, квадратные, овальные плоскости и конструкции пересекаются цветными яркими полостями; все это умело скомпоновано и композиционно уравновешено. Они являются примером передового темпераментного авангардного искусства начала двадцатых годов и могут рассматриваться не как эскизы декораций, в которых приходится играть актерам, а как самостоятельные художественные произведения.

С 1923 г. Э. Криммер в Петрограде. Впервые посещает Русский музей и Эрмитаж, в которые затем ходит почти ежедневно, изучая мастерство любимых им Александра Иванова, Венецианова, Федотова, Сурикова, Серова и Сезанна, Матисса, Ван-Гога и др. Активно включается в художественно-литературную жизнь Петрограда (Ленинграда). Знакомится с тогда еще неизвестными поэтами: Д. Ювачевым (Д. Хармсом), приятелем С. Есенина — С. Полоцким, В. Эрлихом, А. Введенским и молодыми художниками П. Кондратьевым, Е. Чарушиным, Ю. Васнецовым, Л. Юдиным, К. Рождественским, литератором, поэтом и режиссером И. Терентьевым, композитором, только что окончившим консерваторию, Г. Поповым и др. С большинством из них, ставшими впоследствии видными деятелями авангарда и супрематизма, Э. М. Криммер поддерживал приятельские отношения многие десятилетия. Едва ли в истории искусства не только России, но и всего мира можно найти период, когда так тесно соприкасались, объединяясь (часто на небольшой срок, иногда формально), представители разного вида искусств: художники, поэты, режиссеры, композиторы, архитекторы. Впрочем, это время рождало и созидало универсалов.

В 1925—1926 гг. имя Криммера фигурирует среди имажинистов: в анонсе книги «Необычайное свидание друзей», проектировавшейся к выпуску в январе 1926 г. тиражом в 1000 экземпляров (напечатан на обороте коллективного поэтического сборника «Ровесники имажинисты» — Л., 1925), имя Э. Криммера названо наряду с другими участниками этого издания — В. Ричиотти, С. Спасским, Г. Шмерельсоном, В. Эрлихом и другими (любопытно, что в этом же списке фигурируют и А. Введенский с Д. Хармсом — будущие обэриуты).

Читаем Криммера: «Неожиданно получил на пробу работу в издательстве „Радуга“. Экзамен выдержал. Стал сотрудником издательства. Первые напечатанные мои работы — детские книги — относятся к 1924 году. Я выступал в роли и автора и худож-

ника. Здесь познакомился с интересной и живой средой: Маршак, Житков, Лебедев, Клячко, Конашевич...»

Чтобы оценить уровень книжной графики того времени и коллектив поэтов и художников, окружавших Э. Криммера в издательстве «Радуга», достаточно привести фрагменты из небольшого каталога книг, вышедших из печати или подготовленных к печати в 1925 г.: *Андреев М.* Хвастуны / Рисунки Э. Криммера; *Конашевич В.* Рожи / Рисунки автора; *Криммер Э.* Цифры / Рисунки автора; *Мазуркевич В.* Улита едет / Рисунки Э. Криммера; *Маршак С.* Чудеса / Рисунки Б. Кустодиева; *Маршак С.* Книжка про книжки / Рисунки С. Чехонина; *Федорченко С.* Присказки / Рисунки К. Петрова-Водкина; *Чуковский К.* Мойдодыр / Рисунки Ю. Анненкова; *Чуковский К.* Бармалей / Рисунки М. Добужинского.

Выходит в свет около тридцати детских книг (см.: *Кулешова* 1989а), в которых Э. Криммер выступает и как автор, и как иллюстратор. Можно утверждать, что Криммер является одним из первых художников-иллюстраторов, которые создали новый жанр детской книги, где художник играет не сугубо подчиненную роль, пассивно «обслуживая» текст, а становится, как минимум, соавтором, а часто и основным ведущим автором книги, а иллюстрации являются самостоятельными произведениями искусства. Мы уже не говорим об особом виде книг, появившихся впервые в середине 1920-х гг., — книжках-картинках.. В иллюстрациях к своим лучшим книгам Криммер никогда не пользуется живописной, натуралистической, описательной манерой, не «протыкает» книжную страницу иллюзией перспективы, а творчески использует для достижения главной цели — красоты, доходчивости, гармонии, самостоятельности рисунка — сочетание условности, декоративности и реалистичности. Десятки рисунков Криммера к детским книгам находятся в собрании Русского музея.

Уже первые работы в книжной графике получают одобрительный отзыв «корифеев». В. В. Воинов отмечает: «Голлербах мне сообщил, что сейчас народилось много талантливой молодежи, пришедшей в книжную графику, так, например, Криммер» (*Ганкина* 1988). К. Малевич считает, что «Криммер рисует очень хорошо. Его рисунки относятся к сезанновской категории».

В 1928 г. С. Маршак и В. Лебедев приглашают Э. Криммера участвовать в оформлении журналов «Еж» (выходил с 1928 по 1935 г.) и «Чиж» (1930—1941 гг.). Несколько лет Криммер сотрудничает в этой «Академии Маршака». Работает вместе со своими

друзьями Л. Юдиным, В. Курдовым, В. Ермолаевой, Б. Малаховским, К. Рождественским, В. Лебедевым и поэтами С. Маршак, Д. Хармсом, А. Введенским, Н. Олейниковым, Н. Заболоцким. Известно более десяти номеров журналов «Еж» и «Чиж» с иллюстрациями и обложками Криммера.

Периодически, начиная с 1928 г., Криммер занимается дизайном. Иногда работает совместно с Л. Юдиным, К. Рождественским, П. Кондратьевым. Об этой стороне деятельности художника известно немного. В каталоге выставки ИЗОРАМ указано, что в период с 1928 по 1929 г. в Ленинграде под руководством Э. Криммера работала модельно-проектировочная мастерская по конструированию современной мебели (*ИЗОРАМ* 1929). Задача была интересной, творческой и крайне актуальной, так как в стране не хватало ни жилья, ни мебели. Судя по отрывочным сведениям, Криммеру удалось спроектировать и создать несколько промышленных образцов разборной мебели (кресло-кровать, стол, совмещенный со шкафом, и т. п.).

Сохранились также эскизы этикеток для парфюмерии, конфет, пастилы. Эти этикетки, подготовленные в 1934—1935 гг., декоративно безупречны, яркие, красивы, выполнены в супрематической манере. Одна из них находится в частной коллекции за рубежом, другие — в собрании автора.

В 1937—1939 гг. Криммер совместно с Л. Юдиным и К. Рождественским готовит ряд крупных выставок и экспозиций. Сохранились «Трудовые соглашения представителей „Международной выставки в Нью-Йорке“ с художником Криммером Э. М.» от 4 ноября 1938 г. и 2 января 1939 г. на:

1. Эскизный проект центральной установки «Конституция» в Американском зале;

2. Фотомонтаж «Пресса» размером 10(3 м).

Значительная часть творческой жизни Э. Криммера посвящена театру. Как уже отмечалось, он принимал участие в оформлении спектаклей в театрах Николаева и Одессы еще до учебы в институте. Затем сделал свои известные супрематические декорации в 1920—1921 гг. (*Ковтун* 1979).

С 1927 г. Криммер возобновил сценографическую деятельность и работал в театрах до 1935 г. включительно. Известно несколько театров, где в создании спектаклей принимал участие Криммер: ТРАМ, Рабочий театр, Театр Дома печати (режиссер И. Терентьев); филиал БДТ (режиссер П. Вейсбрем), Красный театр (режиссер В. Вольф) и Передвижной хоровой театр — ХОРТ (режиссер Б. Барабанов).

Криммер подготовил декорации и костюмы к десяти спектаклям, главными из которых являются: «Ревизор», «Наталья Тарпова» С. Семенова и «Джон Рид» в инсценировке И. Терентьева (1928—1931 гг., Театр Дома печати), «Баня» В. Маяковского (1928—1930 гг., БДТ), «Большая жизнь» А. Арбузова (1933 г., Красный театр), «Новая родина» В. Финка (1935 г., Красный театр). И. Терентьев и Э. Криммер к сезону 1930—1931 гг. подготовили к постановке в «Рабочем театре» следующие спектакли: «Днепрострой» А. Афиногенова, «Хлопок» А. Зиновьева, «Хлеб» Ремина, «Молодежь в борьбе за культуру» Ю. Олеси, «Элеватор» Е. Павлова. Судьба этих спектаклей неизвестна. Примерно в то же время Криммер совместно с драматургом и руководителем Передвижного хорового театра Б. Барабановым готовит к постановке три спектакля: «Большинством голосов» С. Полоцкого, «Колхозная» В. Финка и «Волга-Дон» Юного. Кроме сохранившейся афиши, другие сведения об этих спектаклях отсутствуют.

Противник натурализма и «литературщины» в изобразительном искусстве вообще, Э. Криммер и в области театра успешно экспериментирует, создавая декорации к современным и классическим пьесам. Он всегда находит общий язык с режиссерами новаторами, и в первую очередь с выдающимся экспериментатором в области режиссуры Игорем Терентьевым. Многие спектакли с декорациями Криммера получают одобрительную оценку в печати. Фотографию одной из декораций публикует журнал «Новый Леф»; здесь супрематическая, по сути, декорация и в целом весь спектакль получают высокую оценку С. Третьякова: «Действие в купе вагона происходит за ширмой и отражается с помощью наклонного зеркала (монтажировка художника Эдуарда Криммера). Это приспособление дает возможность неожиданных ракурсов и быстрой смены сцен... В целом в работе Терентьева есть такие ценные и редкие вещи, как веселое изобретательство, крепкий сарказм, высокая техничность и чувство злободневности» (*Третьяков* 1928: 33—34).

Тот же С. Третьяков в газете «Читатель и писатель» подробно анализирует несколько спектаклей театра И. Терентьева с монтажировками, костюмами и декорациями Э. Криммера. Здесь же отмечается, что в театре «с годами сработалось руководящее изобретательное ядро: музыкант Кашницкий, художник Криммер и др.». И далее: «Наталья Тарпова дает новый метод инсценировки романов с наименьшим повреждением их текста и способ перебрасывания действия из одной обстановки в другую, осуществляемый наклонной зеркальной установкой».

В статье подчеркивается, что театр творчески применяет современные простые и выразительные декорации и костюмы вместо старомодных пыльных плюшевых занавесей, бархатных костюмов и дорогой громоздкой мебели. «Изобретательство театра Терентьева идет не за счет многотысячных установок, а реализуется средствами простейшей бутафории, имеющейся в каждом клубе» (Терентьев 1928а).

Говоря об универсальности дарования Криммера, в качестве примера можно привести фрагмент его статьи о работе над спектаклем В. Маяковского «Баня»: «Пересматриваю принципиальные установки: что изобретать сейчас? Доброкачественные декорации, обновленные опытом последних десятилетий иллюстрации места действия по картинам, конструкции с выдумкой забавных фокусов? Отвечаю: все может быть взято и верно применено в спектакле, если налицо будет ясная и четкая нравственная целеустремленность работы. Только при этом условии можно подойти к зарождению нового качества, к показу вертикального разреза драматургического материала, к созданию цельного спектакля, активно воздействующего на зрителя.

Монтировка «Бани» жесткая, сухая. Она состоит из двух частей:

1. Вертикальных штор, являющихся переходной формой от актера к объемной декорации; шторы, не обладая статичностью декорации, при соответствующем управлении принимают гибкость и изменчивость живого существа;

2. Мостика — металлической конструкции, под которой и вокруг которой проползают шторы. Мостик центрирует и организует движения актеров и штор. Скупая форма монтировки и сниженная цветность окраски позволила нам создать спектакль-плакат, спектакль бодрый и уверенный, а не спектакль-игрушку» (Криммер 1930: 11—12).

Особый, малоизвестный, но очень важный и в значительной степени определяющий этап жизни и творчества Криммера — период его сотрудничества с Казимиром Малевичем и кругом его соратников и учеников: Н. Суетиным, А. Лепорской, К. Рождественским, П. Кондратьевым, Л. Юдиным, В. Ермолаевой и др. Несколько лет Криммер вместе с близкими по духу Малевичу художниками совершенствует свое мастерство под «суровым» руководством мастера. Особенно активно эта «учеба», встречи и «штудии» проходили в 1928—1931 гг. Несмотря на то, что Криммер всю свою жизнь увлеченно занимался живописью, безусловно, лучшие живописные произведения он создает имен-

но в этот период. К сожалению, большинство работ 1920—1930-х гг. художник позже уничтожил, опасаясь репрессий. Даже своим близким — жене и пасынку (автору этих строк) — он очень скупно сообщал об этом периоде своей жизни, а немногие оставшиеся «левые» работы никому не демонстрировал. Страх был так велик, что свою фамилию он даже вырезал с обложек детских книг. Из нескольких фотографий Криммера и Малевича, о существовании которых перед смертью рассказывал художник, сохранилась лишь одна, обнаруженная автором и подаренная в 1997 г. Русскому музею (Малевич 2000). Под снимком подпись: «Малевич с учениками. 1933(?)». Анализ некоторых деталей снимка, в частности, особенностей лиц Криммера и Малевича, характер копий картин Ренуара в руках у художников, позволяет с большой определенностью внести существенное исправление этой даты: 25 ноября 1929 г. В этот день Малевич «разбил» копию картины Ренуара, сделанную по его заданию Криммером. На снимке изображены: Криммер (в очках) рядом с Малевичем, художники Мицкевич, Джагубова, две натурщицы и неустановленная художница.

В живописных работах Криммера 1929—1932 гг. — удивительное умение цветом лепить форму, формировать образ, организовывать поверхность холста, мастерски строить композицию.

В архиве Э. Криммера удалось найти удивительный документ — машинопись стенографических записей обсуждения К. Малевичем работ его учеников, и в частности Э. Криммера в период 1929—1931 гг. Каждая фраза Малевича записывалась, как правило, А. Лепорской. Позже записи были расшифрованы известным художником, учеником П. Филонова и К. Малевича П. М. Кондратьевым (близким приятелем Криммера). Приведем фрагменты этих бесед (вероятно, впервые оказывается возможным познакомиться с разговорной речью мастера, манерой общения с близкими ему по духу художниками).

«25 февраля 1929 г.

Малевич: Что из себя представляет Криммер. Он рисует очень хорошо, но техника его рисунка — это живописный рисунок. Есть рисунок графический, академический, живописный. Рисунки его относятся к сезанновской категории, то есть культура в рисунке развилась до определенного предела и повернула в сторону живописи... Хочется, чтобы он сохранил свою индивидуальность в колорите и цвете.

Неясность очертаний в этом холсте зависит от того, что не удалось установить отношения между светом и тенью, — нет дос-

таточного количества синеватых воздушных прослоек. Этот холст лучше предыдущего, но он беден по пятнам и преобладает красный над синим, нет промежуточных, чтобы добиться фосфоресцирующего тона холста.

11 марта 1929 г.

Малевич: Подход, манера подходят к вашим ощущениям, но вопрос в колорите. Модель разорвана повторением одинаковых тонов. Надо собрать их, потом внедрить протекающий тон, какой-нибудь один тон, желтоватый или зеленоватый. Нужно выяснить основной тон, на котором выдержать всю работу. Продолжать работу, обобщая натуру и протекающий тон.

Криммер: Я сознательно не выделяю натуру, она только повод, ведь можно делать и беспредметно.

7 мая 1929 г.

Криммер: Не могу писать импрессионизм, ничего не получается.

Малевич: Почему это происходит? У нас перемена — научная разработка сменилась просто живописным руководством. Разрабатывать импрессионизм легче тому, кто пишет с натуры, потому что сам импрессионизм вышел не из теории, а из натуральных предпосылок... Разрабатывать Криммеру надо то, что в нем есть, — живопись. Вы ощущаете натуру в этих холстах, что она ни при чем?

Криммер: Нет, не согласен!

Малевич: Но натура дает только впечатление, а сама исчезает...

Криммер: Главное — это квадрат холста, который нужно заполнить...

Малевич: Хочется посоветовать вам написать этюд с натуры. Где-нибудь на Петроградской стороне, чтобы были видны кусок стены и ветлы густые, с ветвями. Но в этом пейзаже поразнообразить фактуру.

4 июня 1929 г.

Криммер: Я не случайно в этюд попал, а шел постепенно, к контрастам, к гляцам. Но у меня ощущение, что это очень поверхностно и вглубь не идет.

Малевич: Хорошо, что вы беспощадно к себе относитесь... То, что он говорит о поверхности, — это не то, что он скользит, а то, что на поверхности холста набрасываются краски и они остаются на поверхности, не втягивая наши ощущения в глубину.

Криммер: Нет, вы ошибаетесь. Я говорю о поверхности самого восприятия.

Малевич: А я говорю о самой живописи и не ошибся, потому что в средней натурщице круглая форма больше втягивает, чем на старой натурщице. У вас происходит то, что вы втискиваете беспредметную живопись в предмет. Живопись как бы готова, но не находит себе приюта ни в какой форме. А если ее накладывать на тело, то и получается поверхностное скольжение

16 сентября 1929 г. (Натурщицы, натюрморт, 7 работ и рисунки.)

Криммер: Не удовлетворен, потому что чувствую, что не сдвинулся с места, хотя количеством и много. Единственно, что передано, это ощущение выжженного обесцвечивающего солнца.

Малевич: Это верно. Но еще весной я говорил, что надо приблизиться к какому-то методу — или Кандинского, или Пикассо. Растворение цвета... Нужно опять определить установку — за счет чего растворяется натура. Летние работы заставляют подчиняться натуре. То, что выжжено солнцем, это верно. Но это не переведено в цветную реальность, как у Верещагина, например. Это уклон литературный, этюдный, который и может остаться только как литературное воспоминание. Шесть центральных работ относятся к категории Кандинского. Но тогда надо идти по той системе, по которой шел Кандинский. У Кандинского ясно, за счет чего растворяется природа. Последние холсты Криммера — очень большой культуры цвета. Вам необходимо идти к Кандинскому, у вас подсознательно есть такое тяготение. И вам нужно растворять природу так же, как делал Кандинский.

Криммер: Думаю идти по обратному пути, почти бесцветному.

5 октября 1929 г. (2 новые вещи, рисунки.)

Обе вещи предметны — женщины на берегу реки.

Малевич: Существуют два метода подхода к натуре: деформация природы и преобразование в новые реальные формы. Один — как бы кубистический, другой — кандинистический. Эти два течения выходят к беспредметности путем растворения природы. Предмет у вас по системе Кандинского растворился, и вы вышли из природы в беспредметность. Кандинистическая система известна. 2-й метод — кубизм тоже растворяет природу, по методу более объективному. 1-й метод — более индивидуальный.

У Кандинского не имеется очертаний, границ. Сохраняется много пластических, индивидуальных моментов. У кубизма — больше зажимается, конструируется, устанавливается.

В кубизме все для вас и для меня ясно, а здесь для вас ясно, для меня — нет. И вам остается прислушаться к самому себе и так

дальше работать. У вас все время перебиваются два метода: Кандинского и кубизм.

7 ноября 1929 г.

Криммер: Рисунок делал долго для того, чтобы, изучая детально эту форму и ритм ренуаровской модели, я смог легче войти в ренуаровскую гамму. Анатомических целей не преследовал и теперь ощущаю, что, может быть, могу войти в эту гамму.

Малевич: Когда рисуете, имейте в виду, что живопись — не рисунок. У живописцев и у Ренуара передается не характер натуры, а характер живописи... Все подчеркивание форм — это только подчеркивание живописных мотивов, пятен, масс.

25 ноября 1929 г.

Малевич: Какая была установка?

Криммер: На Ренуара. Так, как вы говорили. Но я не могу заставить себя писать не корпусно.

Малевич: В смысле фактуры у вас вполне приемлемо. Но у вас случилось, в отличие от других, то, что все другие не имеют своего определенного тона и их можно переводить из одного тона в другой.

Ренуаровского характера у вас очень много, но он здесь только в другой гамме. Я ничего не имею против этой гаммы, но только, чтобы это лицо представляло собой чистое пятно, — ярко выделить лицо, шею. Тон и характер шляпы не выделен. Зеленоватый тон нужно выразить посильнее и тогда обратить внимание на остальной фон, связать его с зеленым. Форму брать четче. Ручка чтоб была пятном, лицо, зонтик тоже. Работать в этой же гамме, но выделять пятна, чтобы они больше контрастировали... Как многие молодые художники: темперамент выразят сразу, замазав холст, а что дальше делать — не знают. Старый же мастер темперамент растягивает на месяц и не замарывает всего холста сразу.

24 мая 1930 г. (2 кубистических холста.)

Малевич: Криммер хорошо ощущает живописно-цветовой порядок. Эти гаммы — кобальты — самые опасные. Они неспроста, а диктуются определенными формами, которые вы еще не осознаете. Гамма ваша коричневая не имеет определенной системы, она совершенно не соответствует данной геометрической форме, она наносная, и нужно выяснить ее происхождение.

Криммер: Голубые — это впечатление от пикассовских вещей, коричневые — мои личные.

Малевич: Кубизм — пройденное, но в кубистических школах лежит многое, что нужно знать. Если пойти по кубистическим гаммам — они будут давать другие тональности. А эти голубые и

красноватые имеют другую схему, не кубистическую. Поэтому предлагаю сделать однодневный набросок по следующей гамме. Все формы натуры расчленить — киноварь алая, выпадающая в сурик, вернее — чистый сурик, кобальт и белила. Этими красками распределить — овал лица, торс, руки или, наоборот, овал лица — красный. Все формы могут быть смешанные: угловатые с овалом, прямой с овалом. Это для того, чтобы узнать: реакции, затруднения, которые будут в композиционности этюда и в вас самом, — отталкивающие, приятные, неприятные, — все реакции.

Кобальт и синее сейчас должны стать самыми активными в нашей современности».

Сложность квалифицированного комментария этого документа объясняется прежде всего отсутствием рассматриваемых работ, большинство из которых было уничтожено. Главное все же необходимо отметить.

Э. Криммер встречается с Малевичем сразу после его поездки в Европу (1927 г.), в период переосмысления супрематизма, возвращения к фигуративности, то есть в период, называемый «постсупрематизмом». В этот период Малевич, отягощенный сомнениями, с новых, уже не агрессивных, позиций ретроспективно анализирует творческие приемы лучших, вернее, типичных представителей различных направлений в живописи.

Через серебристо-серую и коричневатую палитру передвижников (Перова и Верещагина), через светлую, трепетную, вибрирующую палитру импрессионистов (Ренуара), через пластическое богатство и устойчивость форм Сезанна, через сознательное построение, геометричность и функциональность деталей Пикассо и Татлина он подводит своих учеников или к импровизационной фантазии абстракций Кандинского (к чему, по его мнению, склонялся Криммер), или к новой строгой цветовой организации предметного мира, образной остроте абстракций супрематизма.

На занятиях Малевича обсуждались такие важные для живописцев проблемы, как:

— создание объемности и плоскостности формы, весомости, массивности и «безвесности», пластической тяжести и пластической невесомости;

— влияние прямых и кривых на цельность и разобщенность композиции (прямые — разъединяют, а кривые — соединяют);

— теория цветности и живописно-цветовой порядок.

Малевич стремится к тому, чтобы Криммер и другие его ученики поняли, что настоящее живописное произведение должно быть интересно само по себе, независимо от того, что оно изо-

бражает (7 ноября 1929 г. он говорит: «У живописцев и у Ренуара передается не характер природы, а характер живописи»), то есть картина не должна отражать, а тем более копировать природу, а должна быть независимой от природы, самодостаточной, как любая вещь, как книга, стол, лампа (мысли А. Матисса). Малевич приучал учеников к понятию «живописный реализм».

Малевич учил Криммера дольше и вдумчивее работать над холстом, постоянно анализировать взаимоотношения оттенков цвета («молодые замарывают холст сразу, а старый мастер темперамент растягивает на месяц»). Он подчеркивает, что супрематизм и кубизм — методы научные, аналитические, а остальные, например импрессионизм, вышли из натуральных предпосылок и являются импровизационными.

Несмотря на характерный «менторский», назидательный тон, некий «вождизм» при работе с учениками (многие из которых уже были выдающимися художниками), Малевич высоко оценивает художественные способности Криммера: «рисует очень хорошо», «холсты очень большой культуры цвета», «хорошо ощущает живописно-цветовой порядок» и т. п.

Таких характеристик из уст Малевича в любом контексте (по свидетельству П. Кондратьева) не удавалось ни один из его учеников. Известно, что Малевич вообще «был совершенно нетерпим к чужим произведениям» (по воспоминаниям С. Дымшиц-Толстой — *Малевич* 2000: 415—416).

Криммер часто вступает в острый диалог с учителем. Иногда он это делает по-мальчишески демонстративно. Тот же П. Кондратьев (расшифровавший записи А. Лепорской) утверждает, что спорить с Малевичем отваживался только Э. Криммер. Это объясняется тем, что уже тогда многие приятели (Л. Юдин, Т. Певзнер, А. Лепорская, П. Кондратьев) считали Криммера вполне состоявшимся живописцем и он ждал не поучений, а критического разбора. Позже он напишет: «Очень не хватает жесткой критики. Товарищи мне помочь ничем не могут. Им все нравится» (письмо от 28 сентября 1938 г. — *Кулешова* 1989: 77)..

Малевич стремился отрегулировать отношения между формой и натурой, оформить и развить природный живописный талант Криммера: «Разрабатывать Криммеру надо то, что в нем есть, — живопись!». Он стимулирует обретение Криммером целостного живописного метода, побуждая его сделать выбор между Пикассо и Кандинским.

Криммер поставил перед собой как перед живописцем нерешаемую задачу — с помощью живописи сделать мир искреннее,

чище, сильнее и добрее, используя колорит, композицию, ритмические построения и то, что доступно только талантливому мастеру, — природную, необъяснимую интуицию.

В лучших картинах Криммера, по нашему мнению, главное — цветовое и пластическое совершенство, эмоциональная выразительность, мажорное звучание цвета, отсутствие мельтешения красочных пятен и удивительное чувство радости и гармонии. Действительно, как говорил Д. И. Митрохин: «Какова живопись — таков и человек» (*Криммер* 1986).

Многие холсты Криммера благодаря живописному ритму и звонкости красок воспринимаются как музыкальные произведения-этюды, сонаты, сюиты, а картина «Поле» по силе и мощности «звучания» оранжевой палитры и полифонической гармонии может ассоциироваться с небольшой симфонией.

Криммер часто писал о живописном ритме картины, похоже, не всегда вкладывая в это понятие музыкальный смысл. Например:

14 июля 1938 г. — «...внутри этого основного — членение, которое создает ритм вещи...»

20 июля 1938 г. — «...стремлюсь не потерять этого чувства цвета и очень жесткой и четкой ритмики...»

7 октября 1938 г. — «Я не могу уловить ритмическую структуру мотива... Когда чувствуешь ритм, характерный для этого явления...»

Для достижения большего эмоционального эффекта Криммер использует различную фактуру живописного мазка. В одной из лучших своих картин — «Поле» — он применяет три характерных вида мазков — для пшеничного поля (мощный, рельефный), для неба (ровный и гладкий) и для облаков (нервный и изящный).

Криммер успешно решает традиционно сложную для живописца задачу взаимоотношения красного с зеленым, выявления их солидарности или контрастности (мысленно «соревнуясь» с Матиссом).

Криммер настолько уверенно владеет тонкостями композиционного искусства, что даже в «проходных» работах и этюдах ему не составляет труда с помощью незначительных и незаметных на первый взгляд деталей достигнуть удивительной построенности композиции (это может быть цветовое пятно, маленькое облако, куст, ветка дерева).

Интересно отметить, что Криммер никогда не рисовал мужчин, старых людей, натюрморты. В последние годы жизни он любил городские пейзажи, почти всегда «украшая» их подъемны-

ми кранами, самолетами, автобусами, другими техническими объектами.

Сейчас ясно видно, что даже среди выдающихся живописцев, окружавших Малевича, работы Криммера выделяются своим особым мастерством, энергией, экспрессивной напряженностью, оптимизмом. Но не «избыточным» казенным оптимизмом люмпенов, а философско-христианской любовью к жизни, реализуемой в цветовой и композиционной гармонии.

С этих пор (а фактически намного раньше, с первых «революционных» фресок и студенческих декораций), чем бы ни занимался Э. Криммер (книга, графика, дизайн, стекло, фарфор, живопись), везде он фактически следовал идеям Малевича, усвоенным творчески, а не по-ученически слепо. Во всех произведениях Криммера чувствуется смелость, напряженно-эмоциональная выразительность, яркость, экспрессивность, отсутствие рабского подражания натуре, свежесть восприятия.

Свое кредо живописца Э. М. Криммер сформулировал в одном из писем :

«1. Смотреть очень широким взглядом. Так, чтобы весь намеченный пейзаж входил в глаз. Тогда форму и цвет рассматриваешь не отдельно, а в связи с близлежащими и дальними предметами.

2. Брать только крупные и характерные, выразительные явления. И уже внутри этого основного — членение, которое создает ритм вещи.

3. Напрягать цвет до предельной выразительности, но так, чтобы он выражал плотность и мясистость вещей и людей, а не лежал сверху покраской.

4. Форму надо рисовать сразу с нескольких сторон, как бы охватывая ее цветом.

5. Любить то, что изображаешь.

6. Быть абсолютно искренним и не бояться рисковать.

7. Всегда иметь к себе долю недоверия, и...смело пытаться это отрицать».

Говоря о наблюдении «широким взглядом», Криммер мысленно спорит с Малевичем, беря на вооружение живописный закон Матюшина (оппонента Малевича): «Необходимо видеть весь пейзаж сразу». Почитатели Матюшина шутя говорили, что у него глаза и на затылке. Малевич же обычно подчеркивал, что, рисуя объект или пейзаж, надо как бы обходить его со всех сторон. Стремление увидеть все основное сразу и позволяло Криммеру в лучших живописных работах достигать гармонии

живого и неодушевленного (конечно, привлекая талант, интуицию и мастерство). Отсюда его тезис: «Тогда форму и цвет рассматриваешь не отдельно, а в связи с близлежащими и дальними предметами».

Характеризуя Криммера-живописца, невозможно пройти мимо его удивительно «живописных» писем к своему другу, художнице Е. Шеир:

«...бабки внутри поля желтые, пролессированные тонкими черточками (разбеленная умбра + кадмий красный), с краев — темно-оливковые (умбра + кадмий оранжевый + зелень изумрудная), бабки на втором плане — такие же плюс в краях — розовато-коричневые (кадмий красный + умбра + белила), к краю горизонта сверкают до оранжевых кадмием, все это разбито и раздроблено вертикальными черточками. Небо у горизонта — розово-серое, потом — серо-теплое с мерцанием голубых и серо-голубых. Написано небо прозрачно, так что холст просвечивает... деревца слева, стволы написаны внутри серо-голубым и коричневатым (умбра натуральная + белила + кобальт голубой) с краев и в тенях тот же тон потемнее, переходящий в коричнево-красный холодный (умбра натуральная крапак + кобальт синий + белила). Все вместе — это какое-то золотое мерцание...» (письмо от 28 сентября 1938 г. — *Кулешова* 1989: 130).

«Вот уже три дня, как я работаю над этимод часов по 7 в день и не черта не выходит. Этюд очень сложный: залив озера, камыши на берегу реки, уже золотые елки, осинки и какие-то ярко-красные кусты, камыши, голубые сверху, рыже-бурые — внизу; все отражается в воде. Вода ярко голубая, небо — блекло-розовое. Казалось бы все готово и выдумывать нечего, но я не мог уловить ритмическую структуру этого мотива и отсюда у меня цвет превращался в декорации или становился белесым... Когда чувствуешь ритм, характерный для этого явления, тогда находишь правдоподобную условность. Когда этого нет — теряешься» (письмо от 7 октября 1938 г. — *Кулешова* 1989: 134).

«Природа неимоверной красоты, все горит вокруг и под хмурым небом, это золото и кровь в бешенстве кипят и вдруг тонут в голубом свинцовом озере... О Ван-Гоге будем говорить, когда приеду. Какая страсть у этого человека, какая прямая и искренняя жизнь. Я бы хотел быть таким ясным, но я не хочу быть таким трагичным» (письмо от 13 октября 1938 г. — *Кулешова* 1989: 134).

В 1935—1937 гг. Криммер работает на Ленфильме и Киевской киностудии, создает эскизы декораций и костюмов к кинофильмам «Большие крылья» и «Строгий юноша».

На этой совершенно неизвестной стороне творчества Э. Криммера следует остановиться подробнее. Сам Криммер не любил вспоминать об этом периоде своей жизни, так как судьба названных фильмов была сложной и печальной. Сохранился трудовой договор на украинском языке с режиссером А. Роомом о том, что Э. Криммер начиная с 30 апреля 1935 г. будет делать эскизы декораций и костюмов к фильму «Строгий юноша». Кроме того, он обязуется участвовать в режиссерско-постановочной работе. И все это за «1600 карбованцев в месяц». В то же время, работа Криммера над этим фильмом обогатила его жизнь встречами с выдающимися деятелями советского искусства и культуры: Ю. Олешей (автором сценария). А. Роомом (главным режиссером), О. Жизневой и М. Штраухом (исполнителями главных ролей).

Сценарий Олеси, затрагивающий модную тогда тему моральных взаимоотношений в будущем бесклассовом обществе, вызвал дискуссию еще до постановки фильма, дискуссии продолжались во время съемок и по их окончании.

При создании декораций и костюмов Криммер совместно с В. Каплуновским использовал большой театрально-сценографический опыт предыдущих лет. Здесь были и сложные металлические конструкции и предполагаемые мраморно-зеркальные амфитеатры будущего. Специально для О. Жизневой Криммер создал эскизы костюмов, подчеркивающих ее природную красоту: легкие, длинные, светлые шелковые платья, шляпы с широкими, поникшими полями, высокие лайковые перчатки. Для отрицательного героя был придуман черный костюм-тройка и темное старомодное пальто, застегивающееся наглухо (это означало овеществленное продолжение его «черной» души).

Все художественные элементы этой картины (сценарий, декорации и новаторская музыка друга Криммера — Г. Попова) вызвали злобную реакцию руководства страны. В газете «Кино» 28 июля 1936 г. была помещена погромная статья, в которой привычными штампами: «формалистические выверты», «отрыв от действительности», «неясность концепции» — предварялось постановление о запрещении фильма «Строгий юноша» к показу. Существует легенда, что фильм никогда не выходил на экраны, по крайней мере, до 1974 г. Однако это не так: «Начиная с середины 60-х годов фильм „Строгий юноша“ появился на экранах, сначала маленьких, тесных просмотровых залов ВГИКа, а затем вышел на экраны творческих домов, стал обязательным участником юбилеев писателя Ю. Олеси и режиссера А. Роома. И, наконец, в 1974 году по праву занял место в ретроспективе филь-

мов Роома, посвященной его 80-летию, вышел на самый большой киноэкран массового кинотеатра. В кинотеатре „Повторного фильма“ в течение месяца он собирал активный, заинтересованный зал» (Грищенкова 1977: 174)..

В 1941 г. Э. Криммер уходит добровольцем на фронт и служит до конца войны. В 1941—1944 гг. он начальник маскировочной службы 8-й авиабазы Военно-воздушных сил Балтийского флота, в 1944—1945 гг. работает в штабе флота в Таллине (Миронова, Царицын 1995). Криммер много рисует, иногда в землянке, при свете коптилки, работает над книгой «Маскировка самолетов», которая выходит в 1946 г.

Воюет он вместе со своим другом художником П. М. Кондратьевым, который также продолжает рисовать, часто советуясь с Э. Криммером, признавая его художественный авторитет. В опубликованных письмах П. Кондратьев отмечает: «Я сделал успехи и кое-что еще понял в рисунке. На днях показывал все Эдуарду Михайловичу — он сказал, что я почти на правильном пути и, пожалуй, что время войны не потерял для своей работы (7 июня 1944 г.)». Ранее, 6 марта, он пишет: «Наградили Эдуарда Михайловича и меня медалями „За боевые заслуги“...» (Суриц 1993: 385—386).

Криммер, естественно, следит за судьбой своих друзей по «школе Малевича», остро переживая, когда кто-либо из них погибает.

25 мая 1942 г. «Из моих друзей и знакомых мы не увидим многих. Юдин погиб в бою. Маленький Лев Юдин, до боли жалко, что не могу больше сердиться на него(...); было в нем драгоценное. Певзнера, Тырсы нет... Кондратьева спасает жена Таня, высокой марки человек. Хочу Кондратьева устроить к нам на службу. Думаю, что удастся. Суетин продолжает творчески работать (завидую, кто продолжает профессионально работать). Рождество (так друзья звали К. Рождественского; Криммера звали «Эдмих». — В. Ц.) удрал в Казань, служит в военном учреждении — жалуется».

14 октября 1943 г. «Курдов пока цел и делает штуки (плакаты. — В. Ц.) на фрицев, по-моему, хорошо! Герта (Неменова. — В. Ц.) сделала декорации к „Слуге двух господ“. То, что делают художники в Ленинграде, судя по выставкам, на которых я бывал, — очень плохо».

20 октября 1944 г. «Многие из наших вернулись в Ленинград. Помнишь ли Герту Неменову, Кострова Колю с женой, Чарушина, Васнецова? Но как до боли горько думать, что маленький Лев

Юдин погиб. Недавно погиб Юрочка Петров (это один из самых одаренных людей)».

И даже на фронте все мысли — о творчестве.

7 ноября 1941 г. «Меня охватывает безумное желание работать — писать, рисовать...».

25 мая 1942 г. «Я собираю материалы для книги и уже много в этом отношении написано... Хочу книжку с рисунками сделать... Мои лучшие „масла“ я снял с подрамников, штук 40 завернул в рулон».

21 июля 1942 г. «Пока был в госпитале, сделал около 200 рисунков по памяти... помню все очень живо!».

22 июля 1942 г. «Русский музей шлет акт о приеме моих вещей на хранение... Это устроил Кондратьев».

14 октября 1943 г. «Волнует меня очень — как начну работать, когда будет можно?».

16 января 1944 г. «Я сделал за 10 дней 10 хороших акварелей и сам был этим потрясен(...). Эти 10 акварелей имеют острое чувство жизни и живую остроту формы(...); их принимают хорошо(...). К сожалению, этот альбом остался в Москве при отчете(...) Рисую с натуры земляночный быт. Когда я мысленно сравниваю эти акварели с тем, что я видел на выставках и в печати, преимущество остается на моей стороне».

23 апреля 1945 г. «Числа 15 или 20 (?) отправляюсь в большое путешествие в Германию. Маршрут большой: от Мемеля до Штецина(...), основное мое дело будет — рисовать. Ну, конечно, я постараюсь сделать возможно большее количество рисунков не служебных, а для себя. Поехать мне интересно, а рисовать — тем более».

Вот еще несколько фронтовых зарисовок:

14 октября 1943 г. «Как мы живем? Иногда больше воюем, иногда меньше(...); привыкли к тому, что рядом фронт(...) Сколько труда, времени и сил нужно положить, чтобы снова восстановить себя. Опыт жизни, опыт ощущений, связанных с искусством — очень большой — это все надо реализовывать(...) Так, на честное слово, никто не поверит.

В моем отделении сейчас 8 девушек и 2 бойца. Эти матроски дают жизни... Они выделывают такие штуки, что мне, бесхитроственному командиру, в голову такое не придет... Раз в неделю провожу с ними занятия по специальности, так что у меня здесь пансион благородных девиц».

16 января 1944 г. «Вчера был в Ленинграде. То, что было вчера, могут полностью понять и почувствовать только очевидцы(...)

Весь город, в котором нет квартала без ран, город, в котором остались люди с особой печатью на душе, весь город бил по немцам артиллерией. Били корабли с Невы, били дворы, били кварталы, отовсюду была артиллерия. Город грохотал, все дрожало, и среди всего этого — идут трамваи, авто, люди по улицам, работают фабрики и заводы, театры и кино, люди встречаются, любят, выкупают паек по карточкам, а город непрерывно изрыгает из себя огонь и смерть».

17 мая 1945 г. «Война кончилась, и даже как-то не верится, что это произошло. И слова не найти, чтобы это сказать. Какие-то слова должны быть большие-большие, а у меня их нет...»

В первые послевоенные годы Криммер, пытаясь отодвинуть тяжелые воспоминания, восстановить творческий оптимизм, создает серию автолитографий к произведениям Пушкина и Лермонтова. Выходят массовым тиражом (100 000 экз.) наборы открыток с иллюстрациями Э. Криммера, получивших высокую оценку специалистов. В письмах к Криммеру Д. И. Митрохин отмечает: «Ваши литографии к сказкам Пушкина доставили мне большую радость. Очень большая и успешная работа проведена Вами. Как хорошо выдуманы и красивы по колориту рисунки! Благодарен Вам бесконечно. Представляю себе трудности, которые Вы одолели, чтобы добиться такой хорошей литографской печати, шрифт кто писал? Вы?» (11 сентября 1947 г.). В другом письме от 30 октября 1947 г., делясь впечатлениями от рисунков Криммера к «Песне про купца Калашникова» Лермонтова, Д. И. Митрохин пишет: «Вы сделали хорошие литографии. Смотрю их и пересматриваю, и вижу столько своеобразного и в пропорциях фигур, и в пейзаже, костюмах, утвари и узорах. И очень сдержанная подцветка слабым тоном так идет к рисункам. Мне нравится и титульный лист, и заставки... Очень хотел бы видеть Ваши рисунки с натуры, очень хотел бы с Вами беседовать. Меня так радует Ваша возобновленная работоспособность. Жду самых лучших результатов».

В 1947—1948 г. над работниками искусства вновь сгущаются тучи, атмосфера становится удушающей. Криммер, как и многие его друзья по авангарду, «уходит» в промышленность, вначале — «в стекло» (с 1948 г.), затем — «в фарфор» (с 1950 г.). Плацдарм он подготовил раньше. В 1945 г. в письме к Криммеру его давний приятель, самый преданный ученик Малевича К. Рождественский, к тому времени уже знаменитый дизайнер, сообщает: «Звонила Мухина, говорили о Вас. Я дал объективную и (увы!) замечательную характеристику. Я честь Вашу под-

держал достойно». Учитывая авторитет Мухиной в правительственных кругах, можно было считать, что место для Криммера на Ленинградской зеркальной фабрике (затем — заводе художественного стекла) было как бы забронировано. Тем более что Мухина была там председателем худсовета завода.

«В стекло» Криммер пришел прекрасно подготовленным специалистом, несмотря на то что художников-прикладников по стеклу начали готовить только с 1945 г. Сказался многолетний опыт работы в дизайне, театре, самостоятельные занятия лепкой, живописью, графикой, природное чувство объема, формы, цвета. Уже через несколько месяцев работы в экспериментальном цехе Зеркальной фабрики Криммер создает более пятидесяти (!) уникальных художественных произведений из стекла и хрусталя. Воистину, перефразируя П. Пикассо, «он не искал, он находил». Уже первые работы, подготовленные в содружестве с В. Мухиной и Н. Качаловым, показывают огромные творческие возможности художника и в этой сфере искусства, несут в себе элементы зрелого мастерства и оригинального мышления.

В. П. Мухина, оценивая первые произведения Криммера 1948 г. пишет: «В этом году возрождена деятельность экспериментального цеха художественного стеклоделия. Отсутствие художника А. А. Успенского поставило нас в тяжелое положение, так как художник, работающий в области стекла, должен ощущать объемную форму и быть графиком. Это сочетание очень редко. К счастью, ЛОСХ сумел подобрать для этой ответственной работы художника Э. М. Криммера, который, помимо указанных свойств, обладает большой изобретательностью и новаторством. Эти свойства позволили Криммеру в короткий срок освоить сложную стекольную технологию и дать ряд очень интересных работ. Его прекрасное графическое чувство умело руководит им в создании новых образцов декоративного и бытового стекла, уже принятых для массового производства и на других заводах Союза. Опыт его работы в стекле позволил мне рекомендовать его также на фарфоровый завод им. Ломоносова».

Эта рекомендация помогла в дальнейшем продолжить Криммеру творческую жизнь в прикладном искусстве.

В лучших работах Криммера в стекле органически соединились черты народных традиций и новаторства, декоративной красоты и утилитарной технологичности. Бесспорным успехом художника являются его низкие вазы, построенные на аналогиях с древнерусским ковшами и «круговыми чашами». Новые формы сосудов и ваз и необычный цвет стекла (ярко-желтый, изумруд-

ный, ярко-красный, кобальтовый), новые виды огранки таких известных произведений, как ваза «Изумруд», желтый графин для вина, графин «Соты» и многие другие, несут печать авангарда, творчески продолжают идеи К. Малевича.

Многие вещи художника созданы в единственном экземпляре, так как сделаны способом «свободного выдувания», при котором горячее стекло, набранное на трубку, свободно раздувается, не ограниченное металлической или деревянной формой. Поверхность стекла в таких изделиях получается блестящая, зеркально-гладкая, не требующая обработки и украшений, а чистый цвет стекла может заменить декор.

Большинство произведений Криммера отличает сдержанность и четкая построенность, то магическое «чуть-чуть», которое может украсить или разрушить любое изделие. Художник стремится подчеркнуть и выявить каждую функциональную часть сосуда: горло, тулово, основание или ножку. Часто изделия решены на контрасте этих объемов. Четкость построения требовала и соответствующей декорировки изделия — часто это крупные, шлифованные грани, оригинальная гравировка.

Криммер одним из первых начал делать вещи из многослойного разноцветного стекла, гравировка и декоративные сферические «выемки» на которых придавали этим работам особую красоту. Репродукция одного из таких произведений — прибор для вина «Соты» — в виде открытки была выпущена в 1960 г. тиражом в 20 000 экз. (*Криммер* 1960).

Криммер плодотворно работал и над созданием крупных декоративных ваз из стекла совместно с лучшим стеклодувом России тех лет В. А. Ереминым. «В экспериментальном цехе зеркальной фабрики по эскизу художника Э. М. Криммера заканчивается изготовление большой декоративной вазы из стекла цвета аметиста. Высота ее вместе с постаментом — более одного метра. Ваза такой величины создается на фабрике впервые. Вазе придается форма снопа, по поясу которого будут выгравированы рисунки, изображающие праздник урожая» (*Аноним* 1948). Вновь снопы и жницы — любимые образы художников авангарда, но впервые — в стекле. Вспоминаются классические живописные и графические работы Малевича, Суетина, Рождественского, Пакулина и др. Эту вазу Криммера, формально созданную к 30-летию Белорусской ССР, можно считать памятником авангарду, знаком уважения и памяти Малевича (ваза находится в Государственном музее изобразительных искусств г. Минска, авторская копия — в Русском музее).

Ободренный успехом этой работы, Криммер приступает к проектированию одного из самых крупных декоративных произведений из стекла — вазы высотой более двух метров. В конце 1948 г. газеты сообщают: «Худсовет зеркальной фабрики при участии Лауреатов Сталинской премии В. Мухиной и члена-корреспондента АН СССР Н. Качалова одобрил эскиз вазы, законченный недавно художником Э. Криммером. Ваза будет сделана из хрусталя, красного и черного стекла. Высота ее — 2 метра 40 сантиметров. На хрустале будет выгравирован портрет А. А. Жданова. Эскиз вазы был выполнен в уменьшенном размере. Сейчас художник начал воспроизводить его в натуральную величину» (*Аноним* 1948а).

Некоторые вещи Криммера в стекле, созданные в конце 1940-х гг., казались странными и необычными, но, как писали позже: «теперь ясно видно, что Криммер шел впереди своего времени. Он предвосхитил тот стиль, который распространился в декоративном искусстве в начале 60-х годов. Многие вещи художника в стекле и сегодня смотрятся современно» (*Воронов, Дубова* 1984: 27). Криммер всегда помнил, что ни функциональность изделия, ни технология не должны нарушать главного — гармонии создаваемого произведения. Именно этой гармонией любой вещи Криммера и объясняется успех его творчества в стекле.

В 1950 г. обстановка в стране вообще и в Ленинграде в частности резко обостряется. «Ленинградское дело», как обычно, венчают казни. На этот раз расстреливают шестерых главных партийных руководителей города. В организациях, имеющих отношение к культуре, также идут «чистки». Увольняют в первую очередь «формалистов» (то есть действительно творческих работников) и «безродных космополитов» (то есть евреев). Уволили заведующего художественной лабораторией зеркальной фабрики, известного графика А. Каплана. Криммера вызывают в дирекцию, и там Н. Воронов, ценивший творчество Э. Криммера, смущаясь, говорит художнику о его увольнении по указанию городских партийных властей. Так на взлете творческой карьеры прервалась художественная деятельность Криммера «в стекле», чтобы после небольшого перерыва продолжиться и более ярко расцвести на фарфоровом заводе им. Ломоносова, где художник работал с 1950 г. и фактически до конца своей жизни.

Здесь трудились его друзья, ученики и соратники К. Малевича — Н. Суетин (он был главным художником завода) и его жена А. Лепорская. Имея большой положительный опыт работы на зеркальной фабрике, Криммер практически сразу создает произ-

ведения, поставившие его в ряд лучших художников-керамистов страны. Здесь в полной мере раскрылся творческий универсализм художника. В нем счастливо сочетались дарования скульптора и живописца, графика и архитектора, конструктора и инженера. Казалось бы, трудно привнести что-то новое в традиционные, существующие уже не одно тысячелетие формы ваз, чайников, чашек, кувшинов и других бытовых предметов. Однако неистощимая фантазия, острая выдумка, мягкий юмор и, конечно, талант позволили художнику создать уникальные, запоминающиеся произведения, отличающиеся яркой декоративностью, динамичностью, оптимизмом и новаторством.

Диапазон его произведений в фарфоре поистине безграничен. Среди работ Криммера — монументальные фарфоровые вазы высотой более двух метров и миниатюрные туалетные наборы, знаменитые самовары-чайники («Пара чаю») и грандиозная фарфоровая люстра, украшавшая ленинградский павильон на ВДНХ, скульптурные подарочные сосуды («Бык», «Петух», «Медведь» и др.), многочисленные сервизы из традиционного и костяного фарфора, декоративные настенные пласты и сувенирные скульптуры. Сам художник из этого многообразия выделяет три основных направления своей работы в фарфоре: большие уникальные вазы, сервизные изделия и скульптурные сосуды в традициях народного искусства. В каждом из указанных направлений Криммер создает высокохудожественные произведения, многие из которых определили путь развития и современное лицо декоративно-прикладного искусства России.

В формах и росписи изделий Криммер продолжает развивать идеи авангарда, и в частности Малевича и Суетина, умело сочетая новаторское, художественное, декоративное с утилитарным и практичным (но все же отдавая предпочтение художественному).

В прикладном искусстве Э. М. Криммер часто выступает не только в качестве скульптора (автора формы сосуда или сервиза) и художника (автора росписи), но и как искусствовед и литератор, увлекательно и поэтически комментируя творческий процесс (см.: *Криммер* 1968; *Криммер* 1986). Искусствоведческое наследие Э. М. Криммера интересно не только с профессиональной точки зрения, но и с историко-культурной и литературной. В нем ярко проявились неординарность мышления, глубина мысли, явные литературные способности.

Почти всю свою творческую жизнь Криммер прожил на Петроградской стороне, рядом с рекой Карповкой, в коммунал-

ке (пятнадцать соседей), в чердачно-мансардном помещении с изломанными, постоянно протекающими потолками. Привыкшие к послевоенным житейским трудностям автор настоящей работы и его мать (ставшая первой и единственной женой Э. Криммера в 1946 г.) при первом посещении квартиры художника поразились аскетичности обстановки его комнаты-мастерской. В ней не было предметов «первой необходимости» — стола, шкафа, кровати; столы, рабочий и «обеденный», заменяла огромная чертежная доска, лежащая на деревянных козлах, вместо кровати — матрас (кирпичи вместо ножек), шкаф для немногих домашних вещей заменял ряд аккуратно вбитых гвоздей, на которых висели шинель и несколько простых рубашек, вместо книжного шкафа (книг и журналов было много) — несколько рядов книжных полок-этажерок, стоявших друг на друге.

В дальнейшем, конечно, обстановка менялась, но неизменным оставалось равнодушное отношение к богатству, деньгам, модным безделушкам. Того, что мы называем «хобби», у Криммера не было. Отдыхом для него была работа, а работа — отдыхом.

Несмотря на то что Криммер любил жизнь во всех ее проявлениях, он никогда глубоко не интересовался политикой, чужды ему были интриги, карьера, «подписанство». Он никогда ни о ком не отзывался резко и плохо, молодых и неумелых художников (в частности, выпускников «Мухинского» училища, где он был председателем или членом экзаменационных комиссий) он всегда поддерживал, а если и критиковал, то мягко и добродушно. Неспроста все знавшие Э. М. Криммера вспоминали и вспоминают его до сих пор только теплыми и добрыми словами.

Свои произведения он редко подписывал, никогда не носил правительственные награды (хотя неоднократно награждался, в частности, на фронте).

У Криммера было много приятелей (ближе остальных — композитор Г. Н. Попов, автор музыки к кинофильму «Чапаев», «прославленный» вместе с С. Прокофьевым, Д. Шостаковичем и другими в знаменитом партийном постановлении о формалистах), но подлинным, единственным другом художника была его жена Г. С. Царицына, с которой он прожил, ни на день не расставаясь, 28 лет.

Произведения Э. М. Криммера находятся во многих российских и зарубежных музеях и в собраниях известных коллекционеров.

Криммер — единственный художник, представленный в Русском музее практически во всех жанрах изобразительного искусства. Здесь хранятся 150 его работ (из них 50 подарены автором настоящей статьи).

Примечания

¹ Запись от 26 мая 1918 г. в дневнике Э. Криммера, автограф которого находится в составе архива художника (собственность автора наст. работы). В дальнейшем эти и другие материалы названного архива приводятся без специальных ссылок.

Библиография

- Аноним* 1948 — Ленинградская правда. 1948. 2 апреля.
Аноним 1948а — Вечерний Ленинград. 1948. 29 декабря.
Щедрина 1968 — Щедрина Г. О ленинградском фарфоре // Декоративное искусство СССР. 1966. № 11. С. 17—19.
Бродский 1979 — Бродский В. Знаки времени: (художник Криммер) // Декоративное искусство СССР. 1979. № 12. С. 28—30.
В круге Малевича 2000 — В круге Малевича / Сост. И. Н. Карасик. 2000.
Воронов, Рачук 1973 — Воронов Н., Рачук Е. Советское стекло. Л., 1973.
Воронов, Дубова 1984 — Воронов Н. В., Дубова М. М. Невский хрусталь. Л., 1984.
Грищенкова 1977 — Грищенкова И. Н. Абрам Роом. М., 1977.
Иванова 2000 — Иванова Е. О фарфоре Э. М. Криммера // В круге Малевича / Сост. И. Н. Карасик. 2000. С. 306—317.
ИЗОРАМ 1929 — ИЗОРАМ: (каталог выставки). М., 1929.
Каталог — Ленинградский фарфоровый завод им. Ломоносова: Каталог изделий. М., (б. г.)
Каталог 1925 — Каталог издательства «Радуга». Л., 1925.
Качалов 1959 — Качалов Н. Стекло. М., 1959.
Ковтун 1979 — Ковтун Е. Ф. Письма В. А. Царицыну.
Криммер 1930 — Криммер Э. Что изобретать сейчас? // Маяковский. Бая. М.: Филиал Государственного Большого театра, 1930. С. 11—12.
Криммер 1960 — Криммер Э. Прибор для вина «Соты»: Открытка. Л., 1960.
Криммер 1968 — Криммер Э. Поэзия целесообразного // Декоративное искусство СССР. 1968. № 4. С. 34.
Криммер 1971 — Криммер Э. Творческая биография // Художники об искусстве керамики. М., 1971. С. 130—134.
Криммер 1986 — Криммер Э. Д. Митрохин // Книга о Митрохине. Л., 1986. С. 19.
Криммер 1999 — Криммер Э. О Д. Митрохине // Д. И. Митрохин: (каталог выставки). СПб., 1999. С. 9.
Крыжицкий 1921 — Крыжицкий Г. Театр духа и плоти. Одесса, 1921.
Кулешова 1989 — Кулешова Н. Письма Эдуарда Михайловича Криммера. Л., 1989.

- Кулешова* 1989а — Кулешова Н. Романтика техницизма: Художник Эдуард Криммер // Детская литература. 1989. № 6. С. 65—68.
- Леняшин* 1988 — Живопись 1920—1939 гг. / Под ред. В. Леняшина. Л., 1988.
- Малевич* 2000 — Казимир Малевич в Русском музее / Сост. Е. Баснер. 2000.
- Миронова, Царицын* 1995 — Миронова Т., Царицын В. А. Люди с особой печатью на душе // Час пик. 1995. 21 июня.
- Оленева* 1959 — Оленева В. В. В мастерской художника Эдуарда Криммера // Художники Ленинграда. 1959. С. 40.
- Скобкина* 1999 — Четвертая международная выставка «Диалоги» / Под ред. Л. Скобкиной. СПб., 1999.
- Сурис* 1993 — Больше, чем воспоминания / Сост. Е. Сурис. СПб., 1993.
- Третьяков* 1928 — Третьяков С. Перегибайте палку // Новый ЛЕФ. 1928. № 5. С. 33—34.
- Третьяков* 1928а — Третьяков С. Новаторство и филистерство: (По поводу театра И. Терентьева // Читатель и писатель. 1928. № 21. С. 5.
- Царицын* 2000 — Царицын В. Художник Эдуард Михайлович Криммер // В круге Малевича / Сост. И. Н. Карасик. 2000. С. 306—317.
- Чижова* 1965 — Чижова И. Художник Э. Криммер // Декоративное искусство СССР. 1965. № 8. С. 20—22.
- Шелковников* 1969 — Шелковников Б. Русское художественное стекло. Л., 1969.

ПУБЛИКАЦИИ

*А. В. Крусанов
С.-Петербург*

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ФУТУРИЗМА

I

Виктор Шкловский

Художественная жизнь большевистской России

Публикуемая ниже статья В. Б. Шкловского, до последнего времени считавшаяся не разысканной¹, обнаружена в харьковской газете «Новая Россия» (1918. 11 декабря. № 2). Она посвящена беглому обзору культурной жизни Петрограда и Москвы за 1918 г.

Солидаризовавшийся с футуристами в идейно-художественной области, В. Шкловский резко разошелся с некоторыми из них в сфере политики. После Февральской революции, будучи помощником комиссара Временного правительства в Иране, младшим унтер-офицером 8-го артиллерийского броневое автомобильного дивизиона, он примкнул к правым эсерам и в 1918 г. вошел в Военную комиссию ЦК эсеровской партии. Занимаясь в первой половине 1918 г. подготовкой антибольшевистского переворота, В. Шкловский после раскрытия заговора вынужден был уйти в подполье, а осенью 1918 г. уехал сначала в Поволжье, а затем на Украину, где в контакте с эсерами продолжал активную политическую деятельность.

В то же время ряд видных деятелей футуристического движения сначала в Петрограде, а затем в Москве пошли на тесное сотрудничество с большевиками, заняли ряд административных постов в руководстве Наркомпроса и получили широкие возможности для пропаганды и внедрения в жизнь своего искусства, особенно ярко проявившиеся в Петрограде 1 мая и 7 ноября 1918 г.

Статья В. Б. Шкловского освещала события с откровенной партийной тенденциозностью, а также с явной неосведомленностью о тех изменениях, которые в это время произошли с определением и пониманием самого термина «футуризм». Между тем изменения эти носили

принципиальный характер: футуризм стал пониматься не только как движение в рамках искусства, но и как движение за пределами последнего: в социально-политической сфере. Впоследствии подобная идеологическая тенденция выкристаллизовалась в концепцию жизнестроения, но в 1918—1919 гг. она не была еще четко сформулирована, оставаясь только заметным идейным устремлением, своеобразной питательной средой для различных художественных и теоретических начинаний, предпринимавшихся деятелями русского авангарда.

После возвращения В. Шкловского в Петроград (март 1919) он столкнулся с этими идейно-художественными изменениями в футуризме, свидетельством чего стала его полемическая статья «Об искусстве и революции», опубликованная в газете «Искусство Коммуны» (1919. 30 марта. № 17). В ней В. Шкловский, как и в публикуемом ниже тексте, выступал против сращивания политики с искусством. В ответной статье Н. Пунин разъяснял, что Третий Интернационал — такая же футуристическая форма, как любая другая, что различия между Третьим Интернационалом, рельефом Татлина и «Трубой марсиан» Хлебникова, по существу, нет никакой.

Аргументация Н. Пунина если не убедила В. Шкловского, то по крайней мере была отчетливо осознана им. Он не стал сторонником расширенного толкования термина «футуризм» и включения в него явлений, лежащих за традиционными границами искусства, но сама мысль о том, что эти явления могут стать материалом искусства, запала, видимо, глубоко. Уже через год он признался: «...пользование внеэстетическим материалом в художественном произведении поразило меня»². Впоследствии В. Шкловский высказывал ту же мысль при описании татлиновской модели памятника Третьему Интернационалу: «Совет Народных Комиссаров принят Татлиным, как кажется мне, в свой памятник как новый художественный материал и использован вместе с РОСТА для создания художественной формы. Памятник сделан из железа, стекла и революции»³.

Таким образом, публикуемая статья отражает достаточно кратковременный эпизод в быстрой эволюции идейно-художественных и политических убеждений В. Шкловского.

Текст печатается по современной орфографии. Искажения названий некоторых литературных произведений, а также упоминаемые факты художественной жизни оговорены в комментариях. Полемические оценки и высказывания В. Шкловского, обусловленные его политическими и идейно-художественными взглядами, не комментируются.

Художественная жизнь большевистской России

По странной случайности футуризм сделался официальным искусством в большевистской⁴ России. По крайней мере, мы видим в ней проекты марок работы Натана Альтмана⁵, герб рабо-

ты Малевича, Татлина⁶ в изобразительном отделе комиссариата искусств, и Артура Лурье в роли руководителя «Всероссийской музыки»⁷. В это же время к постановке в советских театрах готовятся вещи Василия Каменского и Владимира Маяковского⁸. Но насколько советская власть не народна, настолько же чуждо пролетариату и ее «придворное» футуристическое искусство. Не народным, но только личным вкусом или снобизмом А. В. Луначарского, отчасти признанием Максима Горького⁹, отчасти готовностью к услугам, проявленное отдельными футуристами перед советской властью, — объясняется то, что кормление многих из них принято на государственный счет.

Во всяком случае, все это напоминает не Курбе на службе Парижской коммуны¹⁰, а, скорее, оранжерейное возрождение искусств при дворе Карла Великого¹¹.

Ни обывательские, ни рабочие массы не поняли футуризма, не захотели его. Они жалуются, как это было в Выборгском районе, на эти непонятные картины, на эти нарисованные заводы, надоевшие им, на красную краску, напоминающую кровь, которой уже довольно...¹²

Первого мая украшение города было поручено футуристам... Был прекрасный день. Светило солнце, и было мало народу. Бродили люди по улицам и даже не смотрели, не сердились на громадные, самые «левые» полотна со «сдвигами» и разложением цветов.

То же происходило с празднованием годовщины большевистской революции. Отпущено было на праздник в Петрограде керенок на 18 миллионов, сотни тысяч аршин материи... Все это делалось именем народа, но до народа не дошло, и народ на все смотрел, как на чужое.

А искусству это обходится дорого, так как передовые художники силятся родить то, что еще не выношено, стараются связать то, что не связуемо: искусство и политику.

Почему некоторые художники идут на советскую службу, почему они не остались верны своей независимости, голодной, но гордой? Потому, что сейчас нет никакого покупателя, кроме государства, нет выставок, нет несоветских театров, нет ничего, кроме руки разных пролеткультов, руки, из которой щедро летят на ветер легкие, целыми вагонами печатаемые керенки.

И несмотря на громадные суммы, которые сейчас тратятся на искусство, все, что создается им теперь, не грандиозно, а, скорее, банально.

Просто плох вновь поставленный в Москве памятник Радищеву¹³ с закинутой головой и раздавленным черепом; тривиален и как будто выштампован в Германии бюст, вернее — голова Лассалья, поставленная в Петрограде на Невском проспекте¹⁴, верх банальности — обелиск, построенный на месте снятого памятника Скобелеву¹⁵. Обелиск оштукатурен под гранит, памятники гипсовые «под мрамор» и «под бронзу», все временного, барачного строения.

В области литературы, после «Скифов», в которых Иванов-Разумник спешно устанавливал связь между стихами Есенина и разгоном Учредительного Собрания¹⁶, а Блок наслаждался в поэме «Двенадцать» ароматом противоречий, вышел «Апокалипсис» В. В. Розанова¹⁷, странная книга — юдофильская и «реакционная», «Человек» Маяковского с прекрасным по величественной иронии описанием неба и «бутафории миров». Его же юбилейная «Мистерия-буфф»¹⁸, что-то вроде обозрения революции в стихах (самое слабое произведение Маяковского), сделанное в виде одного сплошного каламбура, — идет в театре «Музыкальной Драмы»¹⁹ с декорациями Малевича. «Последние стихи» Зинаиды Гиппиус, «Фарфоровый павильон» и «Мик»²⁰ Гумилева, «Голубень» Есенина, мелкие издания товарищества «Сегодня»²¹ и немногие другие.

В Москве Андрей Белый, Вячеслав Иванов и «настоячивый покойник» Валерий Брюсов открыли студию стиховедения.

Журналов нет; в Петрограде издает тощее «Пламя» Совет Северной Коммуны, но журнал — типа еженедельника — живет больше переводами; в провинции при совдепах издаются тоже тетрадки, разные «Горнила»²² и т. п., полные на 99% хлама не большевистского. Безвременье, безумные цены на издания и общее угнетенное настроение опустошили русскую литературу.

А победителям нечего сказать. Не имея пролетариата, можно разыграть подобие пролетарской революции, но нельзя создать, даже при помощи «Пролеткульта», новой культуры.

Примечания

¹ Галушкин А. Ю. Комментарии // В. Б. Шкловский. Гамбургский счет: Статьи — воспоминания — эссе (1914—1933). М., 1990. С. 491—492.

² Шкловский В. О громком голосе // Жизнь искусства. 1920. 8—9 мая. № 446—447.

³ Шкловский В. Памятник Третьему Интернационалу // Жизнь искусства. 1921. 5, 8, 9 января. № 650—651—652.

⁴ Редакция газеты «Новая Россия» сделала здесь следующее примечание: «Форма «большевистский», ставшая, к сожалению, общепринятой, являет-

ся несомненным варваризмом. Форма «большевицкий» — единственно правильная, как соответствующая и живому произношению, и грамматике (сравни: «мужицкий», «казацкий» т. п.).»

⁵ Изображения проектов почтовых марок Н. Альтмана опубликованы в журналах «Пламя» (1918. № 11. С. 7), «Изобразительное искусство» (1919. № 1. С. 50, 51), альбоме «Сердцем слушая революцию» (Л., 1980. Илл. 265, 266) и др.

⁶ Петроградской коллегией изобразительных искусств летом 1918 г. был объявлен конкурс на герб Советской республики, печать Совета народных комиссаров, монеты и национальный флаг. Известны проекты художников И. Пуни, С. Чехонина, С. Лебедевой. Проекты герба работы Малевича и Татлина, по-видимому, утрачены.

⁷ А. С. Лурье занимал должность заведующего МУЗО Наркомпроса в 1918—1921 гг.

⁸ Пьесы В. В. Каменского «Стенька Разин» и В. В. Маяковского «Мистерия-буфф» были поставлены к 7 ноября 1918 г.

⁹ Еще весной 1915 г. на одном из вечеров в «Бродячей собаке» М. Горький произнес по поводу футуристов ставшую широко известной фразу: «В них что-то есть». Впоследствии он опубликовал специальную статью, посвященную своему отношению к футуристам, а также привлек некоторых из них к сотрудничеству в газете «Новая жизнь».

¹⁰ Курбе Жан Дезире Гюстав (1819—1877) — французский живописец, график, скульптор. Активный участник Парижской коммуны 1871 года. Управлял при ней общественными музеями и руководил низвержением Вандомской колонны.

¹¹ Карл Великий (742—814) — король франков, основатель Западной Римской империи. Прославился на воинском поприще, в области законодательства и просвещения. Окружал себя учеными, организовал академию.

¹² В. Шкловский пересказывает отзывы, появившиеся в петроградской прессе после 1 мая 1918 г.

¹³ Идентичные памятники Радищеву работы скульптора Л. В. Шервуда были открыты в Петрограде (22 сентября 1918) и в Москве (6 октября 1918).

¹⁴ Памятник Лассалю работы скульптора В. А. Синайского был поставлен на Невском проспекте у здания городской думы в период между 22 сентября и 20 октября 1918 г. (Пламя. 1918. № 25. С. 13)

¹⁵ Обелиск Советской конституции (по проекту архитектора Д. Осипова) на площади перед Моссоветом был открыт 7 ноября 1918 г.

¹⁶ Подобных высказываний Иванова-Разумника в сборниках «Скифы» (Сб. 1: Пг., 1917; Сб. 2: Пг., 1918) не содержится.

¹⁷ В. Шкловский имеет в виду книгу В. Розанова «Апокалипсис нашего времени» (Вып. 1—10. Сергиев-Посад, 1917—1918).

¹⁸ В тексте статьи дано искаженное название: «Мистерия буфф».

¹⁹ В театре Музыкальной Драмы состоялись только два представления «Мистерии-буфф» (7 и 8 ноября 1918 г.) в постановке В. Э. Мейерхольда.

²⁰ В тексте статьи дано искаженное название: «Мак».

²¹ Петроградская артель художников «Сегодня» выпустила весной — летом 1918 г. около десятка красочных детских книжек.

²² Имеется в виду издание: Горнило: Литература. Искусство. Жизнь: Художественно-литературный и социально-политический журнал. Саратов, 1918. № 1. Июль. Других изданий с таким названием в 1918 г. не вышло.

II

Материалы к биографии Николая Бурлюка

До последнего времени достоверные биографические сведения о непродолжительном послереволюционном периоде жизни поэта Николая Бурлюка не были известны практически никому. Даже дата его смерти (1920 г.), приведенная еще в «Неизданных произведениях» В. Хлебникова (с. 474), Полн. собр. соч. Маяковского (т. 13) и Краткой литературной энциклопедии (т. 9) без каких-либо пояснений, впоследствии стала вызывать сомнения у специалистов и сопровождаться знаком вопроса¹.

В западной искусствоведческой литературе по поводу обстоятельств и даты смерти Николая Бурлюка существовал весьма широкий спектр различных мнений. Согласно одним авторам, Николай Бурлюк погиб в 1917 г. на румынском фронте²; по мнению других, он был убит в 1916 г.³ Даже Д. Бурлюк в разное время сообщал разные даты смерти брата: сначала — 1918⁴, затем — 1929⁵.

Немногом лучше обстояло дело в отечественных изданиях: со знаком вопроса или без него большинство исследователей придерживалось официальной даты — 1920 год. Что же касается обстоятельств смерти, то разногласия здесь были столь же велики, как и на западе. Биографическая справка, помещенная в книге «Поэзия русского футуризма», весьма уклончиво сообщает, что Н. Бурлюк «участвовал в Гражданской войне на стороне белых и, вероятно, погиб»⁶. В книге «Русский футуризм. Теория. Практика. Критика. Воспоминания» комментатор утверждает, что путь Н. Бурлюка оборвали «война и ранняя смерть в шанхайской эмиграции»⁷.

Публикуемый ниже документ, полученный из архивов Службы Безопасности Украины, должен внести определенную ясность в этот вопрос и положить предел всевозможным догадкам.

Специфический характер этого документа, представляющего собой обвинительное заключение по делу Н. Д. Бурлюка, низкий уровень грамотности его составителя, с трудом справлявшегося не только с орфографией и синтаксисом, но даже с падежами и элементарным построением фразы, все это заставляет воспроизвести его дословно без каких-либо грамматических исправлений. Некоторые добавления, облегчающие понимание текста, даны в угловых скобках. Правописание названий населенных пунктов уточнено по изданиям: Список населенных мест. СПб., 1868—1869. Вып. XLVI: Харьковская губерния; Вып. XLVII: Херсонская губерния; Семенов П. Географико-статистический словарь Российской империи. Т. 1—5. СПб., 1863.

Заключение

По делу № 607/196, по обвинению БУРЛЮК Николая Давидовича в службе у белых.

Я, Следователь Особотдарма 6 Рогов, рассмотрев настоящее дело, нашел:

БУРЛЮК Николай Давидович, 31 года⁸, происходит из мещан, Харьковской губернии, Лебединского уезда, села Рябушки⁹, женат, большую часть жизни проживал в г. Херсоне. Русский, православный, сын бывшего управляющего одного из имений графа Мордвинова в Таврической губер(нии) (Черная долина), беспартийный, сам имущества никакого не имеет, семья состоящая из жены, ребенка и матери жены проживает в селе Веревчина¹⁰ — Балка Херсонской губернии. До 1909 учился в гимназии гор. Херсона¹¹ с 1909 до 1914 г. в Петроградском университете¹² где и был студентом Сельско-Хозяйственного Университета г. Москвы до 1916 года после чего был мобилизован на правах вольноопределяющегося и служил в Электро-Техническом Баталионе и в 1917 году 15 Июля кончает школу Инженерных прапорщиков, после чего отправлен на Русский (Румынский?) — фронт и в 9 Радио-дивизионе сначала исполняет обязанности Пом(ощника) Нач(альни)ка Учебной команды, затем сам Нач(альни)к Полевой Радио-Телеграфной учебной школы.

В начале Ноября 1917 года едит (sic!) в Россию и привозит свою мать в Румынию гор. Вотушаны (Ботошани?), и в Январе (19)18 года ввиду разоружения дивизиона белыми добровольцами на ст. Сокола Бурлюк уезжает в г. Кишинев в Радио-Румфронта и в том же Январе (19)18 года поступил в Кишиневскую Земуправу, затем уезжает в г. Измаил Уездным представителем Министерства Земледелия Молдавской Республики, в Марте месяце (19)18 года уходит в запас армии и продолжает служить в Управлении Земледелия до Июня (19)18 года. После чего через Одессу едет на жительство в г. Херсон, где и пристраивается черно(—) рабочим завода Вадон, затем помощнико(м) табельщика, и в начале Августа (19)18 года уезжает в имение Скадовского (Белозерка Херсонской губ.) где служит Приказчиком и неофициально исполняет (обязанности) Помощника Управляющего и в Ноябре месяце (19)18 года по объявленной мобилизации Гетманом¹³ является как офицер (и) направляется в г. Одессу в Радио-Дивизион, где от Гетмана переходит к Петлюре¹⁴ затем к белым в начале Декабря (19)18 года затем в Апреле (19)19 года остается (и) служит при Красной Армии¹⁵ до Мая (19)19 года после чего преходит на службу в морскую пограничную стражу и в Июне (19)19 года освобождается как агроном и уезжает в гор. Херсон затем в с(ело) Веревчино к родным и с Июня до Августа (19)19 года живет в деревне, но затем уезжает в Алешки¹⁶ для подыскания

службы учителя дабы не попасть в ряды белых и по объявленной мобилизации белыми является как офицер находясь на службе рядовым преследуется до Сентября за службу в Красной армии после чего отправляется на фронт против Махно в районе Знаменка затем Гуляй-Поле, показывает, что следует рядовым телефонистом.

В Декабре месяце под натиском Красной армии белые отступают Бурлюк от белых удирает через Мелитополь и Алешки в Херсон, затем на Голую-Пристань и там скрывается в больнице боясь военной службы противоречущей своему убеждению и так скрывался до Декабря (19)20 г. после чего считая с тем, что гражданская война закончена сам является в комиссариат для учета как бывший офицер.

Белым явился по первому приказу как офицер потому, что документы были в их руках, а законом Р.С.Ф.С.Р. и приказам не подчиняется и не являлся потому, что не желал служить как у тех так и у других и продолжал скрываться целый год.

Принимая во внимание показание самого Бурлюка, из коего видно: БУРЛЮК Николай Давидович сын управляющего крупных имений Мордвинова, гимназист студент в 1917 г. офицер, служит начальником учебной команды на Румынском фронте и в то время когда ген(ерал) Щербачев¹⁷ предполагал совершить переворот базируется в Яс(с)ах, Бурлюк привозит свою мать в Румынию, после чего так же пристраивается в Молдавской Республике, по неизвестным причинам едет обратно в Россию, где при первой мобилизации Гетмана является как офицер и от Гетмана переходит к Петлюре затем к белым и при приходе Красной армии остается на службе при Радио-Телеграфном дивизионе, затем переходит в пограничную стражу, откуда под видом агранома <sic!> удается освободиться <sic!> и при первом приказе белых является как офицер где продолжает служить, и лиш <sic!> при отступлении белых опять удирает в Херсон затем в деревню, где в течение года не исполняет ни одного приказа Рабоче-Крестьянской власти и скрываясь ровно год в тылу Красной армии, не известно чем занимается что дает повод (отнести) Бурлюка к числу шпионов армии Врангеля и ему подобных и лишь в (19)20 году в Декабре месяце когда ликвидирован Крымский фронт Бурлюк считая гражданскую войну законченной, и надеясь на милость Рабоче-Крестьянской власти после года скитаний является для учета, кроме того в день ареста при нем оказываются документы, подтверждающие, что Бурлюк лишь в Декабре (19)20 года начал выявлять свое присутствие на территории Совет(ской) власти и

тут же он уже оказывается агрономом (sic!) и пристраивается в Советских учреждениях см. удостоверения) при деле № 13063, 4282 и 1062¹⁸ принимая в основание показание самого уже Бурлюка где много сказано за то, что в течение года когда Бурлюк скрывался было много приказов Р.С.Ф.С.Р. и Крас-армии что лицам не зарегистрировавшимся и скрывающимся будет применена высшая мера наказания расстрел, имея в виду, что виновность Бурлюка им уже подтверждена, желая скорее очистить Р.С.Ф.С.Р. от лиц подозрительных кои в любой момент свое оружие могут поднять для подавления власти рабочих и крестьян как сделал и Бурлюк при первой мобилизации белых явился как офицер, а по сему

Полагал бы: БУРЛЮКА Николая Давидовича, 31 года, Расстрелять.

Следователь: Рогов

Завлечастью: Согласен. Голуб. 25 декабря 1920

Резолюция Начособотдела 6 армии:

Утверждается Чрезвычайной тройкой особотдела 6 армии.

Председатель: (Быстров?)

Члены: (Брянцев?) (нрзб.)

25 декабря 1920

Из ответа Службы Безопасности Украины по Сумской области от 27 мая 1998 года:

Уважаемый Андрей Васильевич!

Направляем в Ваш адрес копии заключения по уголовному делу № 8380. Также сообщаем, что приговор в отношении Бурлюка Николая Давидовича приведен в исполнение 27 декабря 1920 года.

К сожалению, в деле отсутствуют фотографии Бурлюка Н. Д. и другие материалы литературно-биографического характера, которые представляли бы для Вас интерес.

Начальник Управления: (подпись)

Таковы сведения о последних годах жизни Николая Бурлюка, согласно архивам СБУ.

Любопытная деталь. Оказывается, Давид Бурлюк, живший в Америке, все это время знал про обстоятельства смерти брата. В письме В. Ф. Маркову от 24 февраля 1964 он осторожно написал о том, что Николай «был ликвидирован в запас»¹⁹, иначе говоря,

признал, что его брата большевики расстреляли ни за что, на всякий случай. Но сказал он об этом в частном письме только после двух хрущевских антисталинских съездов. Причины такой скрытности понятны: утверждая себя в качестве «отца» сначала «российского», а затем и «пролетарского» футуризма, Д. Бурлюк вынужден был акцентировать только те факты, которые вписывались в его стремление к идеологической ориентации на СССР. Он простил большевикам расстрел брата, видимо, списав все на «местные перегибы».

Примечания

¹ См.: Русские писатели: 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 369—370.

² Dreier K. Burluk. N.-Y., 1944. P. 74.

³ Gray C. The great experiment: Russian art 1863—1922. London, 1962. P. 288.

⁴ Color and rhyme. 1958. № 36. 3-я с. обл.

⁵ Color and rhyme. 1964. № 57. 1-я с. обл.

⁶ Поэзия русского футуризма. СПб., 1999. С. 271.

⁷ Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. М., 1999. С. 449.

⁸ Н. Д. Бурлюк родился 22 апреля 1890 г. (ст. стиля); в декабре 1920 г. ему было 30 лет 8 месяцев.

⁹ Согласно метрическому свидетельству, Н. Бурлюк родился в слободе Котельвы Ахтырского уезда Харьковской губернии, где в это время жила семья Бурлюков. Рябушки — место рождения его отца — Лебединского мещанина Д. Ф. Бурлюка. Позднее Д. Д. Бурлюк рассказывал, что Рябушки — родовое гнездо Бурлюков, основанное «еще во времена наполеоновского нашествия» его прадедом (*Бурлюк Д.* Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб., 1994. С. 100; см. также Color and rhyme. 1961/1962. № 48).

¹⁰ Вереvчины — хутор на речке Вереvчине.

¹¹ В Херсонскую мужскую гимназию Н. Бурлюк поступил 16 августа 1901 г. и обучался по 10 июня 1909 г., окончив полный восьмиклассный курс.

¹² 26 августа 1909 г. Н. Бурлюк был зачислен студентом историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета; 15 сентября 1909 г., по собственному прошению, был переведен на физико-математический факультет (агрономическое отделение); 6 октября 1911 г., по собственному прошению, переведен на словесное отделение историко-филологического факультета, а уже 20 октября 1911 г. перевелся обратно на физико-математический факультет (естественный разряд); 12 февраля 1914 г. получил выпускное свидетельство о прослушании полного курса наук в Санкт-Петербургском университете.

¹³ Гетманом Украины в период немецкой оккупации стал Павел Петрович Скоропадский (1873—1945), избранный 29 апреля 1918 г. После вывода немецких войск, 14 декабря 1918 г. был свергнут и бежал в Германию.

¹⁴ Симон Васильевич Петлюра (1879—1926) пришел к власти в ноябре 1918 г. после ухода немецких войск. Вместе с В. К. Винниченко возглавлял

Украинскую Директорию; главный атаман войск Украинской Народной Республики; с 10 февраля 1919 г. — председатель Директории.

¹⁵ Советская власть была установлена в Одессе 17 (30) января 1918 г.; с марта по ноябрь 1918 г. город был оккупирован австро-германскими войсками, а с ноября 1918 по апрель 1919 г. — англо-французскими. С апреля по 23 августа 1919 в Одессе временно была установлена Советская власть, ликвидированная в результате наступления Добровольческой армии.

¹⁶ Алешки — уездный город Таврической губернии Днепровского уезда.

¹⁷ Шербачев Дмитрий Григорьевич (1857—1932) — генерал от инфантерии. В апреле 1917 г. назначен главнокомандующим русскими армиями на Румынском фронте. В декабре 1917 г. Румынский и Юго-Западный фронты были объединены в Украинский фронт под командованием Д. Г. Шербачева, который занял антибольшевистские позиции и до января 1918 г. подчинялся Украинской Директории. В феврале 1918 г. заключил в Фокшанах перемирие с Германией, а в марте дал согласие на введение румынских войск в Бессарабию.

¹⁸ К делу приложены: удостоверение № 4282 Херсонского кооперативного райсоюза о том, что Н. Д. Бурлюк состоит в должности инструктора, выданное 7 декабря 1920 г.; удостоверение Херсонского Уездного земельного отдела № 13063 от 17 декабря 1920 г. о том, что Н. Д. Бурлюк взят на учет в Бюро учета специалистов по сельскому хозяйству и землеустройству. Что собой представляет удостоверение № 1062, осталось невыясненным.

¹⁹ *Марков В. Ф.* История русского футуризма. СПб., 2000. С. 357.

После Парижа: письма в Англию (из архива Б. И. Элькина)

*Вступительная статья, публикация и примечания
О. Р. Демидовой (С.-Петербург)*

После непродолжительной «странной войны» и молниеносного наступления мая—июня 1940 г. немецкая армия заняла Париж. Об этом событии сохранилось достаточно мемуарных свидетельств очевидцев и участников, и все они воссоздают отличную друг от друга историю оккупации Парижа, в зависимости от того, на чьей стороне оказался мемуарист. Такое положение вполне естественно: у каждого из участников было свое, сугубо индивидуальное восприятие происходящего; для каждого из них события имели свое, вполне определенное значение; у каждого была с ними связана своя трагедия.

Для воинов «победоносной» армии день 14 июня 1940 г. стал еще одним днем торжества немецкого оружия и новой идеологии (через несколько лет приведших Германию к краху). Для французов — днем национальной трагедии и национального позора. Для многочисленных российских эмигрантов в этот день история словно вернулась на 20 лет назад: эмигранты вновь превратились в беженцев. «Блистательный русский Париж», признанная столица русских изгнанников, перестал существовать. Все, что происходило после Парижа: бегство в неоккупированную зону, переезд за океан, попытки в очередной раз возродить прежнюю жизнь на новом месте, относится уже к совершенно иной эпохе и к иной культуре.

Адресат публикуемых ниже писем Борис Исаакович Элькин (1887—1972) был в эмиграции фигурой достаточно известной. Выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета (1910), присяжный поверенный, начинавший свою адвокатскую деятельность под началом И. В. Гессена; историк, журналист; убежденный сторонник правового строя и противник любого террора, в январе 1919 г. он вместе с семьей покинул Россию. Обосновавшись поначалу в Германии, стал одним из инициаторов берлинского русскоязычного издательства «Слово» и членом его правления; продолжал заниматься адвокатской практикой¹. После прихода нацистов к власти перебрался во Францию². В описываемых событиях Элькин непосредственного участия не принимал: начало войны застало его в Великобритании, и ему не пришлось

ни бежать из Парижа накануне немецкой оккупации, ни эмигрировать в Америку. Тем не менее его имя оказалось тесно связанным с историей военного и послевоенного русского Парижа (и Нью-Йорка, который в значительной степени оставался тем же русским Парижем, лишь оказавшимся по другую сторону Атлантики).

После оккупации Франции Элькин по возможности пытался помочь своим бывшим соотечественникам: способствовал в получении американских виз, организовывал сбор денег, отправку продовольственных посылок, в случае необходимости оказывал адвокатские услуги³. Как всегда, вел обширную переписку с друзьями и коллегами из Англии, Франции, Швейцарии, Соединенных Штатов, впоследствии составившую основу его архива, переданного в Бодлеанскую библиотеку Оксфордского университета⁴. Сохраненные Элькиным письма дают исчерпывающее представление о положении русских эмигрантов в Европе и Америке в годы войны и в первые послевоенные годы.

Для публикации отобраны семь писем bibliофила Я. Б. Полонского⁵ и тринадцать писем писателя М. А. Алданова⁶ 1940—1945 гг. Написанные соответственно из Франции и Нью-Йорка, письма создают своеобразный стереоскопический эффект, представляя различные точки зрения по поводу одних и тех же событий. Различное видение и оценка событий обусловлены многими причинами. Прежде всего, сказывалась «география»: Полонский находился «на переднем крае», Алданов — на другом континенте. Сказывалась и личность каждого из авторов: непримиримый «общественник» Полонский значительно более пристрастен, чем Алданов, «джентльменство» которого было общепризнанным (и, вероятно, в значительной степени обязывало). Близость к событиям (хотя и не всегда непосредственное участие в них), близкие родственные отношения с Алдановым, фигурой в эмиграции достаточно авторитетной, «общественная жилка», горячий темперамент — все это и многое другое легко «вычитывается» из писем Полонского. С одной стороны, он стремится максимально подробно и последовательно рассказать о происходящем, но в силу особенностей его характера рассказ нередко становится сбивчивым, чрезмерно эмоциональным, превращается в перечень мелких фактов. С другой — Полонскому присуще выраженное стремление не только рассказывать, но и судить, и осуждать, что особенно очевидно в письмах 1944 и 1945 гг.⁷ Алданов, напротив, с присущей ему дотошностью стремится прежде всего выяснить все обстоятельства дела и по возможности спокойно и беспристрастно разобрататься в них, воздерживаясь от скороспелых суждений.

Однако при всем различии темпераментов, мировоззрений, манеры изложения в письмах есть нечто, их объединяющее. И дело не только в том, что речь идет об одной эпохе и во многом об одних и тех же событиях. Письма написаны людьми, активно участвующими в *политической* жизни эмиграции и остро реагирующими на происходящее именно с этой точки зрения. При этом современного читателя удивляет не столько выраженная «политизированность» текста, сколько явная его

анахроничность: названия упоминающихся партий (эсеры, эсдеки, меньшевики и пр.) как будто относят нас к внутрироссийским событиям дооктябрьского периода, когда в стране кипели политические страсти высочайшего накала. Все партии, о которых идет речь в письмах (кроме РДО и маклаковской группы, которые, впрочем, не являлись новообразованиями в строгом смысле слова, а были лишь «продуктами распада» кадетской партии), сложились именно в ту эпоху, которая давно миновала, и в той стране, из которой упоминающиеся общественные и политические деятели давно уехали или были изгнаны. Как выяснилось, Россия, которую они «унесли с собой», включала и эту, казалось бы, давно утратившую актуальность сторону. Вероятно, хотелось довести до конца ту игру, которая оказалась прерванной в самом разгаре, доиграть свои «роли», ставшие почти второй натурой. Бесперспективность подобного занятия очевидна сегодня, по прошествии более чем полувека; что касается участников событий, для многих из них «игра в общественность» превратилась едва ли не в смысл жизни. (Возможно, это одна из особенностей эмигрантского бытия вообще, позволяющая сохранить иллюзию «значимости» и хотя бы отчасти преодолеть мучительное ощущение катастрофической разорванности, разъединенности жизни, возникающее у эмигранта, — во всяком случае, если эмиграция вынуждена). К сожалению, «общественность» не объединяет людей, а оказывает прямо противоположное воздействие. Политическая разобщенность послевоенного эмигрантского сообщества, приводившая иногда к весьма спорным с нравственной точки зрения поступкам⁸, составляет весьма плотный фон, на котором воспринимаются события авторами писем (и которого нельзя не учитывать для адекватного их осмысления сегодня).

Авторы обращаются к Элькину не только как к внимательному и заинтересованному читателю, но и как к человеку, который в силу своего положения имеет возможность сохранить полученные сведения и передать их другим. Кроме того, нередко Элькину приходится выступать в роли арбитра, призванного рассудить стороны, найти наиболее верное в сложившейся ситуации решение, примирить на первый взгляд непримиримые точки зрения. Можно предположить, что эта роль была весьма непростой, принимая во внимание то обстоятельство, что речь в письмах идет о самых острых вопросах и поворотных моментах в жизни эмиграции.

После войны одним из таких вопросов, расколовших эмиграцию, стал вопрос о сотрудничестве эмигрантов с немцами в годы оккупации. Обвинение в коллаборантстве было после освобождения, пожалуй, самым серьезным из возможных обвинений. Причем поводом для него могло стать как действительно имевшее место сотрудничество или явно выраженные симпатии к Гитлеру, так и неосторожное высказывание, неверность которого автор достаточно скоро осознал и отказался от него, или несчастливое стечение обстоятельств. Именно так произошло, например, в случае с Ниной Берберовой, вину которой многие в эмиг-

рации считали неоспоримой и не изменили своего мнения до конца жизни⁹, и с поэтессой Лидией Червинской, арестованной по подозрению в сотрудничестве и впоследствии оправданной французским судом¹⁰. Отношение многих эмигрантов к истинным или мнимым коллаборантам было поистине непримиримым¹¹; положение усугублялось еще и тем, что и французское правительство заняло по отношению к ним предельно жесткую позицию, что, в свою очередь, имело печальные последствия для всей диаспоры. Многие русские были арестованы по подозрению в германофильстве, начались преследования, высылки, запреты на работу. «После поведения германофилов Жеребкова, которое вымещали на всех вообще, перспективы русских (...) казались безотрадными. Явилась уверенность (...), что здесь больше жить будет нельзя. И беженцы, податливые на панику, в нее впадали: куда же бежать теперь?»¹² Многие задавались вопросом: а нельзя ли вернуться в Россию? Наряду с гордостью за победу русского оружия эмигранты испытывали надежду на грядущие демократические перемены в России, на возможность совмещения демократических принципов с советским строем.

В этих условиях в эмиграции совершенно естественно усилился интерес к Советскому Союзу и возникло движение «советских патриотов», к которому, как это ни парадоксально на первый взгляд, присоединились многие из бывших германофилов. 7 ноября 1944 г. «патриоты» устроили бал в честь годовщины октябрьского переворота; Д. Одинец¹³ провозгласил тост за Советский Союз как за «самое свободное государство». За деятельностью «патриотов» внимательно следило и направляло ее советское посольство. С другой стороны, существовало крыло «непримиримых», т. е. убежденных противников советской власти, готовых продолжать с нею открытую борьбу. В эмиграции все явственнее назревал раскол.

Сложившееся положение стало причиной события, которое получило название «визита 12 февраля». 12 февраля 1945 г. группа известных деятелей эмиграции во главе с В. А. Маклаковым (так называемая Маклаковская группа)¹⁴, приняла приглашение посла А. Е. Богомолова и посетила советское посольство¹⁵. Члены группы ставили своей целью «добровольное и беспристрастное исследование: возможно ли примирение с советами, т. е. сочетание советского государства с принципами демократии», и рассматривали визит как попытку «примирения и соглашения на условиях прощения прошлого обеими сторонами и возможности совмещения принципов демократии с советским устройством. Если это совмещение было возможно, было бы и примирение; невозможно — не было (бы) и примирения»¹⁶. Группа стремилась противостоять как «непримиримым», так и «патриотам» и по возможности преодолеть наметившийся раскол.

Довольно скоро выяснилось, что советская сторона преследует совершенно иные цели, и надежды участников визита на возможность примирения не более, чем иллюзия. «Наивная мысль» о воссоздании старой России и «примирении новой со стариной», с которой Макла-

ков шел в посольство, не получила подтверждения. Убедившись в этом, Маклаков «разочаровался в Советах» и признал визит ошибкой, попыткой, «которая не осуществилась», хотя и не отказался от надежды на то, что она «может осуществиться позднее», поскольку не разочаровался в самой задаче¹⁷.

По словам Маклакова, группа не придавала серьезного значения посещению посольства, и оно не произвело «никакой сенсации»¹⁸ ни во Франции, ни в Англии: во всяком случае, было воспринято относительно спокойно. В Америке дело обстояло иначе. В русском Нью-Йорке известие о визите вызвало настоящий скандал: многие нью-йоркцы (в недавнем прошлом — парижане) «были оглушены, как громом», когда прочли в газете весьма тенденциозную статью Я. Кобецкого с изложением обстоятельств визита¹⁹. Начался интенсивный обмен письмами между Нью-Йорком и Парижем, нередко из-за разного рода цензуры происходивший через Англию. Элькину пришлось выступать в этой переписке посредником и в определенном смысле третейским судьей. Вероятно, ему не удалось окончательно примирить стороны, но это было и невозможно в сложившихся обстоятельствах. Однако он, несомненно, способствовал тому, что удалось избежать опрометчивых шагов с обеих сторон и в конце концов достичь взаимопонимания.

Публикуемые письма приведены в соответствие с нормами современной орфографии и пунктуации с сохранением особенностей авторского написания дат, дописывания заключены в угловые скобки, купюры — в квадратные; авторские ошибки отмечены: <так!>, дефекты текста оговорены в послетекстовых примечаниях. Комментарий разделен на два блока: реально-событийный и персональный (список имен); в последний, за редкими исключениями, вошли справки лишь об *эмигрантском* периоде жизни тех лиц, сведения о которых удалось разыскать. Широко известные имена (Милюков, Гиппиус, Адамович, Алданов и т. п.) не комментируются.

Публикатор приносит благодарность сотрудникам архива за техническую помощь и любезное разрешение опубликовать письма, а также фонду «Открытое общество», стипендия которого 1996 г. сделала возможной работу в архиве.

Примечания

¹ Благодаря многолетнему опыту и сложившимся в немецком юридическом мире связям Элькину удалось освободить из концлагеря Р. Гуля; см.: *Гуль Р.* Я унес Россию: Апология эмиграции. Нью-Йорк, 1981. Т. 1: Россия в Германии (по указателю имен). Кроме того, Элькин был душеприказчиком А. И. Гучкова и П. Н. Милюкова.

² Подробнее об Элькине см.: *Андреев Н. Б. И.* Элькин // Новый журнал. 1972. № 109; *Рогачевский А.* Борис Элькин и его оксфордский ар-

хив // Евреи в культуре русского зарубежья (далее — ЕКРЗ). Иерусалим, 1996. Вып. 5.

³ См. указ. публикацию Рогачевского (С. 224—225) и письма Алданова к Элькину в наст. публ.

⁴ Bodleian Library. Department of Western Manuscripts. Mss Russian. Elkin, d. 3—12. Краткое описание архива см. в статье А. Степанского (Отечественные архивы. 1994. № 6).

⁵ Полонский Яков Борисович (1892—1951) — общественный деятель, библиограф, библиофил, журналист; родственник Алданова (муж сестры). Сотрудничал в «Последних новостях», «Современных записках», «Русских записках»; соредактор «Временника Общества друзей русской книги» (1925—1938, Париж). См. отрывки из его дневника в: Время и мы. 1980. № 55—56.

⁶ Алданов (наст. фам. Ландау) Марк Александрович (1886—1957) — прозаик, драматург, публицист; по образованию химик; в эмиграции с марта 1919 г. (Константинополь — Берлин — Париж). Подробнее о нем см.: Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918—1940. Т. 1. Писатели русского зарубежья. М.: РОССПЭН, 1997.

⁷ Весьма показателен отзыв Г. Адамовича в письме А. А. Полякову от 27 августа 1945: «Здесь все друг друга травят, а правит бал, вместо сатаны, Полонский, чуть-чуть рехнувшийся, по-моему» (Bakhmeteff Archive (далее — BAR). Coll. Poliakov).

⁸ К числу таковых можно отнести решение не посылать тем, кого подозревали или обвиняли в коллаборантстве, продовольственных посылок, фактически обрекающее на голодную смерть людей, вина которых не была доказана. В послевоенном русском Париже, охваченном истерией «охоты на ведьм», число таких людей было достаточно велико.

⁹ О «деле Берберовой» см., например, ее письмо Алданову от 20 сентября 1945 г. в: Гаухман Ю. Из архива Софьи Юльевны Прегель // ЕКРЗ. Иерусалим, 1995. Вып. 4.; см. также письмо А. Седых к Алданову: «Новое письмо Полонского очень интересно и также принесло мне много материала. (...) Но Берберова? У меня рука не поднимается для расправы с этой бывшей приятельницей, которую я очень искренно любил. Решил пока молчать и даже не рассказывать, — очень уж велико мое личное разочарование. Прав я или нет? Как бы вы поступили? Зная вас, думаю, что вы со мной согласитесь» (письмо от 13 мая, год не обозначен, вероятно, после освобождения Парижа; примечательно указание на то, что сведения о «преступлении» Берберовой получены из письма Полонского). Ср. со значительно более резким письмом того же корреспондента к А. Бахраху от 9 мая 1976 г.: «Я давно поставил себе за правило не упоминать имя Берберовой в газете. С Берберовой я с 1945 года не раскланиваюсь и под мою амнистию она не попала» (BAR. Coll. Aldanov; Vacherac). Противоположная точка зрения выражена в письме Б. Зайцева Алданову от 8 февраля 1945 г.: «Про нее распустили нелепейшие слухи, будто у нее были какие-то „немецкие“ тяготения и даже действия! Вот это совершенная чепуха, которая меня злит. Я и Вера знаем жизнь Нины во всех подробностях, многое вместе переживали, вместе оплакивали ссылку Оли Ходасевич и Марианны. Ни в каких немецких изданиях Нина не участвовала, никаких ни дел, ни знакомств с немцами не вела, ни на каких собраниях и чтениях по немецкой пикой не выступала. По горячности и легкой увлекаемости высказывала иногда в частн(ых) разговорах мнения — в глаза некото-

рых „еретические“... От нечего делать началась переписка о Н(ине) с югом и даже Америкой! В результате „кампании“ многие — особенно вернувшиеся с юга — стали на нее коситься, избегать ее, вообще проявлять враждебность.

Пишу Вам обо всем этом подробно, так же, как и Ивану (Бунину.) написал, потому что пора все это прекратить. Нужно, чтобы и Иван, и Вы знали всю настоящую правду — из первоисточника, а не по пересказам третьих лиц» (BAR. Coll. Aldanov).

¹⁰ Червинская Лидия Давыдовна (1907—1988) — поэтесса, прозаик, журналистка; ученица Г. Адамовича; в ее творчестве нашла наиболее полное воплощение поэтика «парижской ноты». Об описываемых событиях см.: *Яновский В.* Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк, 1983 (по указателю имен).

¹¹ Интересно отметить, что самыми непримиримыми оказались те, кто пережил оккупацию вне Парижа, в так называемой «свободной зоне», и те, кому удалось эмигрировать в США.

¹² Письмо В. А. Маклакова к А. И. Коновалову от 9 июля 1945 г. (Bodleian Library. Department of Western Manuscripts. Mss Russian. Konvalov).

Жеребков Юрий Сергеевич — артист балета, сын флигель-адъютанта Николая II, после 1917 г. в эмиграции в Германии, с июля 1941 г. глава Комитета взаимопомощи русских эмигрантов, созданного оккупационными властями в апреле того же года, в 1942 г. переименованного в Управление делами русских эмигрантов во Франции; редактор пронацистской русской газеты «Парижский вестник», издававшейся в Париже в годы оккупации.

¹³ О Д. М. Одинце см. Список имен.

¹⁴ Маклаков Василий Алексеевич (1870—1957) — общественно-политический деятель, кадет, депутат 2-й, 3-й и 4-й Государственной Думы, получил назначение послом во Францию от Временного правительства, верительных грамот вручить не успел. С 1924 г. возглавлял Эмигрантский комитет по делам русских беженцев. Маклаковская группа была образована после освобождения Франции в противовес непримиримым противникам советской власти, с одной стороны, и «совпатриотам» — с другой, а также для защиты интересов русских беженцев. В группу вошли А. С. Альперин, А. А. Титов, А. Ф. Ступницкий, М. М. Тер-Погосян и др.

¹⁵ Подробнее о визите Маклакова и др. в советское посольство см.: *Будницкий О. В.* Попытка примирения // *Дiaspora—I: Новые материалы.* Париж; СПб.: Атенеум; Феникс, 2001.

¹⁶ Письмо Маклакова Коновалову от 30 января 1946 г. (Mss Konvalov).

¹⁷ Письма Маклакова Коновалову от 9 июля 1945 г. и 30 января 1946 г. (Mss Konvalov).

См. также речь Маклакова на приеме 12 февраля: «Эмиграция стояла за начала, на которых развивалась жизнь старого мира, вы же несли с собою основы для нового. Вы — достаточно реалисты, чтобы знать, что новое прочно только тогда, когда приводит к синтезу со старым, что истинная победа не в уничтожении побежденного, а в примирении его с этой победой» (Mss Elkin).

¹⁸ Письмо Маклакова Коновалову от 9 июля 1945 г. (Mss Konvalov).

¹⁹ Письмо Коновалова Маклакову от 16 июня 1945 г. (Mss Konvalov. Копия). См. также письма Алданова в наст. публ.

Письма Я. Б. Полонского Б. И. Элькину

1

Written in Russian¹

Paris 5 Juin 1940

Дорогой Борис Исаакович,

Я написал Вам письмо 15 мая, а через несколько дней открытку. Лунц сказал, что получил от Вас запрос о нашей судьбе. Бомбардировку перенесли благополучно, хотя в нашем районе и даже совсем близко упало 8 бомб, а ⟨в⟩ нашем доме в [1 нрзб.]-de-Chaussee от взрыва разнесло стекла. Сидим и обдумываем, что делать дальше. Отъезд связан с массой трудностей и формально-го характера и практического, кроме того, повсюду все переполнено. Если бы мы имели *sauf-conduit*², то пожалуй уехали бы, но у нас его еще нет. Сегодня заходил прощаться Вишняк, уезжает в Vichy. Макс и Таня³ начали хлопотать прежде всех и уже получили *sauf-conduit*, вероятно, на днях уедут. Уехали Цетлины, Авксентьев, Михельсон и много др. Лев Моисеевич Зайцев был у нас вчера — он приехал из Брюсселя в порядке беженства. Думает ехать дальше. Только что из официального *communiqué*⁴ узнали, что началось наступление.

Всего лучшего. Ваш Я. Полонский
(в Дублин, Ирландия)

2

6/8/1940

Дорогой Борис Исаакович,

я читал Вашу открытку от 6 июня к Павлу Никол(аевичу)⁵ и знаю, что Вы переселились в Англию. Мы здесь с 11 июня на беженском положении. Не знаем еще, что с нами будет дальше, скорее всего, вынуждены будем обстоятельствами вернуться в Париж, т(а)к к(а) здесь никакого занятия найти нельзя. О возвращении, к(а)к Вы догадываетесь, думаем с тоской. На всякий случай запишемся в квоту в амер(иканское) консульство, к(а)к это сейчас делают все наши знакомые, и будем надеяться, что междун(ародное) положение к весне изменится к лучшему. В Vichy живем как в русском уездном городе: масса соотечествен-

ников из Парижа. Мы живем в одном отеле с Фрумкиными и всеми Гальперинными. Лунц не успел выбраться из окк(упированной) обл(асти) и застрял в Dinarde'e. Марк(у) Ал(ександровичу) не повезло — они переменили 6 городов, пока попали, наконец, в Ниццу. Завтра должен был уехать Милюков⁶, но удалось его уговорить переждать тяжелое время (жара и демобилизация). До сих пор можно было переписываться с Парижем, но теперь оккупанты запретили (временно). «Посл(едние)» Нов(ости)» выходить не будут⁷, по крайней (мере) в ближайшем будущем. Постепенно находят друг друга все наши знакомые, разбросанные по всей Франции.

Привет от Люб(ови) Ал(ександровны), Ляли⁸ и меня Anne Александровне и Вашим.

Я. Полонский

3

33, Bd. Victor Hugo

Nice

*Ecrit en Russe*⁹

23 января 1941

Дорогие Анна Александровна и Борис Исаакович,

Ваше письмо от 17 декабря мы получили по нынешним временам довольно скоро — 10 января, но до сих пор не было возможности Вам написать, т(ак) к(ак) в день получения В(ашего) письма слег Ляля с температурой 40,4, через 2 дня заболела Любовь Александровна, а еще через три дня слег и я. Только сейчас справились. Очень обрадовались Вашему письму. Я Вам писал еще летом из Виши, как только узнал от Павла Николаевича Ваш теперешний адрес; по-видимому, Вы не получили. Слава Богу, что Вы живы и здоровы — сейчас это главное. Жаль, что Вы не пишете о Ваших детях, где они? Как мы живем? Не блестяще. Очень тревожит материальное положение и абсолютная невозможность найти занятие. Если бы не это — мы более или менее спокойно ждали бы конца событий. В плане историческом мы оптимисты, в плане личном — пессимисты, разве что произойдет каким нибудь чудом перемена в нашем положении. Поэтому моральное состояние оставляет желать лучшего. Ляля ходит в местный лицей, однако сможем ли мы долго еще жить здесь — не знаем. Ехать в Америку — душа не лежит, да и практически это нам не под силу, хотя, если бы наши оптимистические ожидания не оправдались, то это решение, конечно, ста-

нет необходимостью. Во время нашего пребывания в Виши (до 6 сент(ября)) мы постоянно встречались с Павлом Ник(олаевичем). Это было для нас очень большим наслаждением и утешением. Он прямо поражает своей высокой настроенностью душевной и ясностью ума. Совершенно не изменился, бодр, живо всем интересуется, читает, ведет свои записи, делает вырезки. На днях получил от него длинное письмо¹⁰; пишет: «я по прежнему оптимист, и мой оптимизм еще более окреп, так как симптомы, на котором <так!> н базируется, увеличились в числе». Единственно, что его огорчает — это ликвидация газеты, но и тут он оптимист и считает, что идея «Посл(едних) Нов(остей)» отнюдь не ликвидирована¹¹. Из Парижа получаю регулярно известия от Лозинского (ему тоже тяжело в материальном отношении, т(а)к к(а)к исчез основной источник его дохода — Le Mois, но он утешает себя тем, что пока не платит квартирной платы; конечно, не отапливается, пристроил «буржуйку»), от Зайцевых, Ремизовых. Борис Львович¹², к(а)к Вы знаете вероятно, в Париже. На днях Лев Моисеевич получил Ваше письмо, которое побило рекорд быстроты — оно шло всего 15 дней! Браунштейн находится в Лиссабоне, ждет визы. Лунцы здесь, но выдаем мы их редко (Г(ригорий) М(аксимович) приехал из Парижа только в конце октября). Лев Сол(омонович) Поляк никуда из Парижа уезжать не хочет, живется ему не плохо, повидимому. Мы здесь мало кого выдаем. Раз в неделю встречаемся с Каннегиссерами и Адамовичем. Хотели бы вернуться в нашу парижскую квартиру, это облегчило бы наше положение и открыло бы, хотя бы ограниченн(ые), возможности работы, но практически это для нас неосуществимо, хотя мы и пытались получить разрешение. Вокруг нас все, за небольшим исключением, больны Америкой, хотя от приехавших уже туда (Вишняк, Авксентьев) идут невеселые вести¹³. Очень осудительно к тяге туда относится и Пав(ел) Ник(олаевич), которого настойчиво соблазняли сотрудники (в том числе и Марк Ал(ександрович)) перенести деятельность и издание в Америку¹⁴. По этому вопросу шла долгая и упорная борьба. В Монпелье Пав(лу) Ник(олаевичу) скучновато, хотя там сейчас находятся Волков, Могилевский, Марков, А. А. Поляков, Бенедиктов, Ратнер и ОЗЕ. Волков и Могилевский собираются окончательно вернуться в Париж по делам, связанным с ликвидацией Посл(едних) Нов(остей). Приезжал сюда на несколько дней из Парижа Лукин, он, к(а)к и почти все русские его толка и настроений, переживает очень радостно нынешние события и вообще они в фаворе у власть

имущих. Знаете ли Вы что-нибудь о судьбе Вашей квартиры? Если будете нам писать, сообщите, к(а)к долго идут письма из Англии в Америку.

Печальные вести — скончался здесь в декабре Оск(ар) Осипович¹⁵ от уремии, болел всего несколько дней. До последнего времени был он, к(а)к обычно, оживлен, много говорил и за несколько дней до кончины закончил вторую часть своих воспоминаний¹⁶. По субботам у него собирались знакомые и он делился своими воспоминаниями. О кончине В. В. Руднева¹⁷ Вы, вероятно, знаете.

Чем дальше, тем настроение у людей нашего круга все мрачнее из-за личных обстоятельств, конечно. Ведь большинство, покидая Париж, рассчитывало перенести и свою деятельность и никто не был подготовлен к вынужденному безделью.

Утешением здесь служит большая столетняя русская общественная библиотека. Много читаем, но еще больше, кажется, времени уходит на хлопоты, связанные с продовольствием. С кем Вы переписываетесь в Америке?

Собираются туда уезжать Коновалов, Миркин-Гецевич (ему повезло, он получил двухлетний контракт от Рокфеллер(овского) фонда), Вакар, Л. М. Зайцев и др.

Простите за это сумбурное письмо, но что уж теперь писать о более серьезных вещах, да и не знаешь, дойдет ли письмо. Если увидите Веру Марковну¹⁸, скажите ей, что Любовь Ал(ександровна) послала ей вчера открытку.

Будем очень, очень рады, если напишете о себе и о Ваших. Любовь Ал(ександровна) и Ляля горячо Вам кланяются.

Ваш Я. Полонский

Немановы по прежнему в Виши и Л(ев) М(оисеевич) на службе. Их дом не пострадал, это они знают от уехавшего туда Перверзева.

Я. П.

4

19 апреля 1941

Written in Russian

Écrit en russe

Дорогие Анна Александровна и Борис Исаакович, очень обидно, что письма — по крайней мере наши к Вам — идут так долго, трудно писать их, когда знаешь, что читать Вы

его будете месяца через два. На этот раз нам повезло: Ваше письмо от 2 апреля мы получили вчера — это небывалый рекорд скорости! Правда, мы ко многому такому стали привыкать, о чем еще несколько месяцев тому назад не могли думать всерьез, так что в общем характер нынешней жизни — медленность почтовых сообщений — отнюдь не наибольшее неудобство. Живем мы по-прежнему, в каком-то полуреальном мире людей, оторванных от ставшего привычным быта, не имеющих оседлости. Все мы за два десятка лет надышались свободного воздуха и искренно поверили, что это нормальная и постоянная среда, и вдруг обстоятельства в такой короткий промежуток времени вернули снова к психологии русской черты оседлости. Правда, я считаю, что всем нам необычайно облегчает существование и оправдывает его — наш совершенно удивительный исторический оптимизм. Чему только мы ни готовы верить и за какие только надежды мы не хватаемся. С какой нетерпеливой жадностью и ожиданием перемен все мы следим мы (так!) за газетами и громкоговорителями. Мне думается, что никакой другой народ не наделен в такой мере неисчерпаемыми запасами оптимизма. Вот сейчас глава вновь учрежденного органа по еврейским делам в своем заявлении сказал, что будет делаться различие между худыми и добрыми гражданами — все мы в таком восторге, точно нам объявлено, что никаких ограничений вообще не будет. Практически же мы все (и мужчины, и дамы) тратим добрую половину дня на стояние в очередях за продуктами. Остальное время отводим для себя, т. е. пользуемся благами имеющихся здесь библиотек, из которых церковная русская, насчитывающая около ста лет существования, очень богата историческими журналами и книгами. Последний месяц я немного работаю снова по обработке неизданных исторических документов, найденных мною здесь в частных собраниях. Это письма имп. Александра II к кн. Юрьевской, ее мемуары, письма Нессельроде и др. Это создает иллюзию нормального быта. Вокруг нас все чаще и чаще уезжают в Америку, вообще доколе не доказано противное, считается, что каждый русский беженец (в нашем нынешнем положении термин «беженец» больше подходит, чем «эмигрант») ждет визы в Америку. Уехали в Лиссабон Фрумкины, получили на днях визы и в мае уезжают А. И. Коновалов, В. И. Руднева, Извольская с матерью; за ними последуют получающие в апреле и мае визы Поляков-Литовцев, Вакар с женой, Бенедиктов. Имеет визу, но откладывает отъезд Лев Мойсеевич. Собираются уезжать (у них все в порядке) Саша и Ната

Зайцевы. Угрожает отъезд, по-видимому, и нам — угрожает, ибо ехать туда очень не хочется, а оставаться неопределенное время здесь — нельзя. Слухи о болезни Коновалова оказались преувеличенными — он похварывает все время, но это не мешает его отъезду, на днях он был в Марселе за визой и числа 15 мая уедет с женой. Из Америки письма тоже не очень веселые. Вообще я назвал бы это письмами из Русской Америки, ибо наши перенесли с собой эмигрантский парижский быт, и у меня такое впечатление, что люди, мол, слышали, что где-то рядом живут настоящие американцы, но никто их не видел. Селятся по преимуществу в одном квартале, даже в одном доме (на одном этаже Соловейчики, под ними Алдановы, за углом Слуцкая и т. д.) и то не у американцев, а у француженки. За исключением Николаевского и Вишняка никто не устроился, да и те устроились только спустя 5—6 месяцев. О русской печати говорить всерьез не приходится (и тут жизнь вполне оправдала позицию Павла Николаевича в той борьбе, которую ему прошлым летом пришлось вести с сотрудниками газеты и Коноваловым). Кроме Зензинова, никто из новых переселенцев там не печатается по причине крайней бедности газеты, а бедность происходит от полного равнодушия русской колонии к газете. Уровень ее (и колонии, и газеты) ниже среднего. Немного всколыхнулись там с приездом наших — сужу по тем номерам, которые случайно дошли сюда, из общего количества отправленных. Примерный путь каждого приезжающего, к(а)к я себе это представляю, таков: человек чуть ли не с парохода направляется в Vorwärts со статьей о европейских событиях, статья в большинстве случаев является повторением статей всех ранее приехавших Вишняков. Затем человек объявляет о том, что прочитает публичный доклад. Содержание составляется из сочетания нескольких повторяющихся в каждом докладе тезисов — война, Россия и будущий мир. После лавров от Vorwärts'a и доклада человек начинает хиреть. Впрочем, люди с энергией к(а)к Авксентьев и Александр Федорович¹⁹ расширяют географически рамки деятельности. Из хроники «Н(ового) Р(усского) Слова»²⁰ видно, что Ник(олай) Дм(итриевич)²¹ читает доклады и вне Нью-Йорка. Разнообразит темы — напр(имер) такими: «Земля и Воля» и т. д. Все изучают английский язык и надеются, что после изучения наступит новая жизнь, а пока живут планами. Был план создания новой газеты, но вот Александр Федорович (кот(орый) должен был быть редактором) пишет от 11 марта Коновалову, что этот план рухнул. Теперь у Марка Александровича план (при

поддержке Бахметева) издавать толстый журнал, но это тоже не выходит пока²². Сам Макс пока поместил одну и ту же статью об убийстве Троцкого из пяти подвалов в *Vorwärts*'е, в маленькой американской газете направления партии социалистов *New Leader* и еще в одной шведской. Надеется, что удастся проникнуть в американскую печать, но это очень трудно. Сирина, приехавший раньше всех, зарабатывает рецензиями (беллетристику не печатают) в амер(иканских) газетах около 50 долларов в месяц. Таня очень тоскует, в каждом письме неизменно повторяет, что променяла бы обилие и спокойствие Нью-Йорка на неудобства Ниццы. Макс доволен, ему Америка и американцы нравятся. Он ведет переговоры о переводе его «Начала Конца», но пока еще результатов нет²³. Вот, кажется, и все. Лучше других устроились те, кто поехал по научной линии (Миркин, Гурвич и др.), они получают по 200 долларов в месяц, контракт на 2 года и никаких обязанностей — все факультативно.

Здесь у нас Синодик все увеличивается. Скончался в Марселе М. М. Брамсон, в Париже — Евграф Ковалевский, Родзянко, кн. Бярятинский (сотрудник «Посл(едних) Нов(остей)»), еще раньше скончался Игорь Кистяковский, Ник. Ник. [1 нрзб.]. Здесь в последнее время выдаю М. Л. Кантора. С Лозинскими переписка к(а)к-то сократилась-прекратилась: трудно вести ее долго на казен(ого) образца откритках.

Лев Моисеевич напишет Борису Львовичу все, что Вы сообщаете. Я же запрошу Льва Соломоновича о В(ашей) квартире и сообщу Вам его ответ. Вышел приказ взять на учет все еврейские квартиры, владельцы которых уехали, и ничего оттуда не вывозить, а вот с квартирой Павла Николаевича хуже — он получил письмо с извещением, что его квартира *est en train d'être vidée*²⁴, увезена его библиотека. Вы, вероятно, знаете, что вместо Ниццы. Пав(ел) Ник(олаевич) переселяется в Aix-les-Bains и, м(ожет), уже переехал²⁵. Он мне писал первоначально, что поедет 10 апреля, но потом отложил на неделю. По совести говорю (так!), я считаю, что переезд в нынешних переполненных вагонах, часто стоя с огромным багажом и пересадками — небезопасен для его жизни. Дай Бог, чтобы все обошлось благополучно.

Мы очень рады за Вас, что Ваши дети с Вами. Кланяйтесь им от нас.

У Розы Гавриловны²⁶ я не был уже недели три, на-днях зайду к ней и передам Ваше поручение. Она очень сдала и здоровье ее неблестяще. Не повезло ей также с душеприказчиками. Один из

них оказался проходимцем и мошенником. Живет она со своей внучкой.

Пишите. Ваш Я. П.

Любовь Александровна Вам с своей стороны, кажется, пишет, что Лялю исключили из Лицея за вещественное оказательство симпатий к соотечественникам Арнольда²⁷. Он поступил теперь в местный католический лицей, кот(орый) является частным учебным заведением, а не правительств(енным).

Передайте, пожалуйста, от нас поклон Ольге Борисовне.

En russe

Written in Russian

18.5.1942

Дорогие Анна Александровна и Борис Исаакович,

Еще в феврале мы получили Ваше письмо от 9 января, но не писали, так к(а)к ничего, кроме всякого рода нерадостных новостей, сообщить не могли. Если же сейчас пишу, то, тоже — чтобы поделиться печальной новостью о кончине Григория Леонидовича. Он скончался 11 мая в госпитале при институте Кюри от редкой и малоизвестной болезни — *mucosis fungoides*, разновидность саркомы. В госпитале он пробыл всего три недели — до этого он проходил курс лечения в Институте Кюри, где поставили ошибочный диагноз. Это неправильное лечение довело его до крайней анемии, так что, когда он поступил в госпиталь, надо было прежде всего восстановить его силы. Ему сделали переливание крови, которое не дало результатов, и через несколько дней он скончался. Правда, лечивший его проф. Абрами, независимо от общего его состояния, не давал никаких надежд на возможность излечения от этой страшной болезни и видел максимум будущего успеха в том, чтобы только продлить его жизнь в состоянии инвалидности. В последний раз, за три дня до кончины, он уже не мог сам писать и под его диктовку мне написала Мария Сергеевна. Ив. Сол.²⁸ писал мне еще во время болезни, что они в тяжелом матер(иальном) положении, и что он сколько может им помогает, но у него самого почти все забрали, и его возможности были так ограничены в этом отношении, что он просил меня раздобыть пособие отсюда. (Меня это даже удивило, т(а)к к(а)к мне казалось, что его beau-frère²⁹, Миллер, человек со средствами.) Мы очень тяжело переживали его кончину — двадцать лет почти мы работали вместе, встречались по несколько раз в неделю, было

столько общих интересов. Так мало теперь порядочных и принципиальных людей, а он был именно таким. Почти до последних дней он тяжело и много работал и еще не так давно сдавал экзамены по финскому языку.

Думаю, что Вы знаете уже о кончине в тяжелых условиях концлагеря Ал(ександра) Мих(айловича) Кулишера. Его кончина очень потрясла Пав(ла) Ник(олаевича) — никто из нас и не предполагал у него столько душевной теплоты и искренней глубокой скорби. Сколько еще людей нашего круга ушло за последние месяцев шесть! И. М. Бикерман, С. Г. Сватиков, Вал(ентин) Булгаков, Петр Пильский, П. Рутенберг (в Палестине), на родине повесилась Марина Цветаева, умер в Нарве Игорь Северянин³⁰... С Василием Алексеевичем тоже неблагоприятно — он поселился там, где раньше жил Борис Львович и где проживают Фундаминский и Альперин³¹. Кстати, Бор(ис) Льв(ович) просит передать, что он, действительно, вполне здоров и даже работает — он администратор убежища на rue de Valize (Левинной, которая уехала в Америку). Отсюда все больше народу разъезжается, и нас остается мало. В ближайшее время уезжают Ал(ександр) Абр(амович) Поляков и И. В. Гессен (по последним сведениям — его отъезду может помешать серьезная сердечная болезнь).

Бор(ис) Льв(ович) просит [1 нрзб.] писать ему подробно. Живут они там же, внучка успешно учится в Лицее, жена здорова, и они бодры.

О Пав(ле) Ник(олаевиче) Вы, по-видимому, все знаете уже от Екат(ерины) Дм(итриевны)³² — она мне писала, что поддерживает связь с Вами. К сожалению, надежды всех друзей Павла Николаевича на то, что он уже оправился от своей болезни (hydrothorax), не оправдались. В самое последнее время снова ему делали прокол в легком и выпустили 1 1/2 литра жидкости. Несмотря на болезнь, на систематическое недоедание, а порою и на форменное голодание, этот удивительный человек сохраняет почти юношескую живость характера и необычайную бодрость духа и всех нас поддерживает и радуется своим убедительным оптимизмом; как всегда, работает и даже делает добавления и поправки к будущему новому изданию Очерков³³. Ек(атерина) Дм(итриевна) раздобыла для них разрешение на въезд в Швейцарию, но теперь сама впала в мучительное сомнение насчет целесообразности переезда их. Тех средств, что Вы для них исхлопотали, для жизни в Шв(ейцарии) недостаточно, а собств(енных) их запасов и некот(орых) добавлений хватило бы на 4—5 месяцев.

Как при таких условиях советовать ему ехать? Да он и сам мне пишет, что финансы и здоровье ставят препятствие к переезду. А между тем по соображениям личного свойства его переезд был бы весьма желателен — то обстоятельство, что он до сих пор был благополучен, не дает оснований думать, что так будет и впредь. Бог знает, какие случайные и ненужные реминисценции могут послужить к изменению положения. Сейчас мы бьемся с Ек(ате-риной) Дм(митриевной) над поисками совета, кот(орый) следо-вало бы дать П(авлу) Н(иколаевич)у и, по совести говоря, не на-ходим. Вероятно, придется примириться с отказом от мысли о переезде.

У нас, слава Богу, существенных перемен пока не произошло. Живем изо дня в день. Ляля готовится к экзаменам (bachot³⁴). Я на-хожу утешение в работе, которую начал еще в Париже (о культ(ур-ных) связях Фр(анции) и России в 18 в.), делаю ее впрок, благо здесь налицо хорошая библиотека. Любовь Ал(ександровна) все свободное от очередей время много читает. Жаль и обидно тратить время на продов(ольственные) заботы, на кот(орые) и у меня ухо-дит часть утра. Но сейчас ведь это общее положение в Европе. Пи-таемся весьма скудно, похудели, что благотворно отражается на здоровье, живем надеждами. Макс продолжает хлопоты о визах, дело наше к(а)к будто даже продвинулось вперед, но практических результатов все еще нет. Яков Алекс(андрович)³⁵ вот уже 6 месяцев лежит в госпитале в Париже, что нас всех и особенно Любовь Ал(ександровну), весьма беспокоит. Фундаминский нашел, након-ец, духовную истину и в условиях лагерной обстановки офици-ально примкнул к православной церкви³⁶ — весьма деликатно и удачно в смысле выбора момента.

Напишите о себе и о Ваших.

Любовь Александровна и Ляля сердечно Вам кланяются.

Ваш Я. Полонский

Надеюсь, что так письмо к Вам дойдет скорее.

6

Written in Russian

Paris, le. 17.12.44

(открытка)

Дорогие Анна Александровна и Борис Исаакович,

Пишу Вам для начала всего несколько строк, чтобы сказать, к(а)к мы тронуты Вашим вниманием. Мы уже месяц в Париже.

Тяжело морально. Вы спрашиваете о Л. С. Поляке. Вероятно, Вы уже знаете, что всех Поляков депортировали, т. е. не только Льва Сол(омоновича), но и Женю, и Лизу, и мать. Остались только дети Жени. Они у Мацнева. Илья Исидор(ович)³⁷ уже давно депортирован, к(а)к и Апостол (жена его скончалась в Drancy³⁸). Всех перечислить трудно. Жить сейчас в Париже нелегко: главное — полное отсутствие отопления. Мы еще в лучшем положении, чем многие другие — у нас есть квартира. Это — самый острый вопрос сейчас. Пока мы пытаемся наладить жизнь. Но с другой стороны у нас идет сейчас усиленная работа по выяснению политических позиций — т. е. позиций нашего, демократического сектора политич(еской) эмиграции в противоположность обывательской группе, возглавляемой Маклаковым. Подробнее напишу через неделю — сейчас буквально нет времени написать больше.

Пишите нам по н(ашему) старому адресу: R. Claude Loggain, XVI. Очень хотим знать все о Вашем сыне (?), о позиции лондонских русских и о Саблине, а также о настроениях эмигр(антов) в Америке. Если могу Вам быть чем-нибудь полезен — охотно сделаю для Вас все, что могу. Ляля после периода увлечения Resistance и военными делами (он был officier de lia(i)son³⁹ между сов(етским) и союзн(ическим) командованием) вернулся к Университету и работает по геологии. Любовь Александровна потеряла своего брата, Якова Алекс(андровича), кот(орый) скончался в госпитале при Drancy за неск(олько) месяцев до освобождения.

Все мы горячо кланяемся и обнимаем Вас.
Ваш Я. П.

7

Written in Russian

31.I.1945

Дорогие Анна Александровна и Борис Исаакович,

Вчера получили Ваше письмо от 17 января. Очень искренно тронуты Вашим дружеским к нам вниманием. Не удивляйтесь, что мы Вам не пишем: у меня буквально нет ни одной свободной минуты. Мы ведь застали после четырехлетнего отсутствия мертвый город, в котором почти никакой деятельности, кроме к(а)к для спекулянтов, нет. О моих прежних занятиях до конца войны (т. е. до восстановления нормальных международных от-

ношений) речи быть не может. Но я получил литературную работу, ограниченную сроком — должен в 4 месяца написать книгу в 200 стр(аниц) по-фр(анцузски) об обработке общественного мнения при режиме Виши. Это — для Centre de Documentation, — недавно возникшей евр(ейской) организации. Нас работает группа в 4 человека — Аминадо, М. Л. Кантор, Ратнер и я. Каждый пишет на определенную тему. Моя тема — пресса. Это связано с очень тяжелыми ФИЗИЧЕСКИМИ переживаниями. Bib(liotheque) Nat(ional), в которой мне приходится работать, не отапливается, и я, напр(имер), вот уже неделю являюсь ЕДИНСТВЕННЫМ посетителем — никто не решается работать в этом холоде; даже персонал всего 3 часа в день является на службу (по очереди), а я провожу в этой обстановке 6 часов! Сейчас я Вам пишу только несколько строк. До 15 февраля я очень буду занят, т(а)к к(а)к к этому сроку должен подготовить (сдать) часть работы и прочитав доклад. После 15.И вздохну свободнее и напишу Вам подробно, в особенности о наших политических делах [(сейчас у нас, т. е. к. д. и РДО⁴⁰, делается попытка сговора с обывательской группой, возглавляемой Маклаковым, — (правое крыло оборонческой эмиграции 1942—44 годов)]. Пришлю Вам также газету, в кот(орой) была напечатана только часть статьи Павла Ник(олаевича). Но разве до Вас не доходил ни разу текст этой статьи?⁴¹ Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Ведь, если до В(ас) он не дошел, то, след(овательно), и наши в Америке с ним не знакомы? Рукопись статьи хранится у меня (первоначал(ьная) редакция), но не здесь, а в католич(ском) монастыре в Ницце; когда мы уезжали с фальшивыми документами, то я там оставил свой архив, а пока еще получить невозможно.

Мы получили Ваше письмо (и Анны Ал(ександровны)) от 8 января, но письма от 10-го не получали. Так что я впервые узнаю о том, что касается Вашей квартиры. Само собой разумеется, что и Любовь Александровна, и я сделаем охотно все необходимое. Любовь Ал(ександровна) посетит сначала Ваш дом и на месте выяснит, что можно, и напишет Вам. [Кстати: когда французы говорят «Bibliothèque» — они подразумевают исключительно мебель т. е. шкаф; в Вашем случае, по-видимому — полки(?)].

Нина Вас(ильевна)⁴² живет в Aix-les-Bains. Пишет нам, жалуется на здоровье и одиночество. Ее адрес: Hotel de la Paix, Rue Lamartine. С вещами (рукописями, дневниками и т. д.) Павла Ник(олаевича) поступлено непростительно глупо. С одной сто-

роны, по полной неопытности и недомыслию Нины Вас(ильевны), а с другой, по врожденной тупости Ступницкого и его угодливости. Но Вы, к(а)к душеприказчик, вероятно, будете осведомлены им и Волковым об их достижениях в этом печальном деле⁴³. Об этом также стоит подробнее написать. Аминадо обещался это сделать (написал ли он Вам?).

Круг людей, кот(орым) можно подать руку (из состава эмигр(антов)), чрезвычайно сузился. Мало кто не скомпрометирован.

Газета здесь пока только одна, еженедельная — «Русский патриот»⁴⁴. Но никто из нас (кроме Ладинского) в ней участия не принимает. Имеется проэкт издания «Русских Новостей» (еженед(ельных)) на развалинах «Посл(едних) Нов(остей)»⁴⁵ [едва ли ктонибудь в нее пойдет из-за близости издателей к Маклакову]и, наконец, наша группа имеет проэкт изд(ания) независим(ой) лит(ературной) газеты⁴⁶ [наша группа — не в смысле РДО и к. д., а в смысле профессиональном].

Живем мы, к(а)к жили в России в худшие годы военного коммунизма. Это письмо пишу Вам одетый в пальто, в перчатках, в шляпе. Вода в квартире замерзает. Измучились мы до полного истощения. После всего, что мы пережили (думаю, что Вера ВАМ передавала содержание моего письма к Максу; если нет, то попросите ее это сделать). Я Вам писал о Поляке — мать, слава Богу, не депортировали.

Получаете ли Вы «Новое Русское Слово»? Напишите нам, не дожидаясь 15 февраля. Напишите о Ваших планах, о Саблине, о позиции и настроениях русских в Лондоне. Не взыщите за сумбурный характер этого письма — сейчас 1 час ночи и я едва держусь на ногах.

Все мы кланяемся сердечно Вашим детям и Вам и очень, очень часто о Вас говорим. Мы особенно озабочены тем — вернетесь ли Вы и все наши друзья. Здесь — пустыня. Видел недавно А. Э. Когана — его жену депортировали.

Ваш Я. П.

Я послал в «Новое Русское Слово» (за отсутствием более серьезной газеты) статью об эмиграции при немцах. Если Вы эту газету получаете, то узнаете подробности. Если нет — напишу в ближ(айшем) письме.

Что касается квартиры и библиотеки Пав(ла) Ник(олаевича) — то их судьба такая же, к(а)к и Вашей квартиры.

Знаете В. А. Миллера? И он был с немцами⁴⁷.

Письма М. А. Алданова Б. И. Элькину

1

30 мая 1940

Дорогие Анна Александровна, Борис Исаакович.

Очень давно не имели известий от Вас и о Вас. Надеемся, что у Вас все благополучно? О наших делах Вы осведомлены. Быть может, мы уедем из Парижа в провинцию, но это еще не известно. Неизвестно также, что будет с газетой. Мой кузен и бофрер, брат Татьяны Марковны, бежал из Брюсселя во Францию и теперь находится в Туре, но мы его еще не видели; с ним же там его жена и Л. М. Зайцев.

Вы мне в свое время предлагали сотрудничать в одном (каком?) Дублинском издании. Теперь, если «Посл(едние) Новости» совсем сведутся на нет (хоть пока еще скрипим), такое сотрудничество было бы для меня особенно ценным, так как и другие мои заработки естественно прекратились, а если мы уедем в провинцию, то отпадет все. Почти наудачу посылаю Вам мою статью о любовном романе Толстого. Посылаю преимущественно потому, что совсем недавно газета «Тан» обратилась ко мне с предложением напечатать ее французский перевод. Я, разумеется, охотно согласился, но сейчас же вслед затем произошло сильное сокращение размера французских газет, — такое же, как в «Посл(едних) Новостях», — и теперь статья, естественно, в «Тан» не появится⁴⁸. Однако из этого я заключил, что статья — не из за меня, конечно, а из за Толстого — может быть интересной иностранцам. Пожалуйста, прочтите ее и скажите Ваше откровенное мнение. Я кое-что выпустил, можно и еще сократить по усмотрению редакции или переводчика и добавить несколько коротеньких пояснительных примечаний для иностр(анных) читателей. Если Вы найдете, что статья заинтересует журнал, превосходно. В противном случае, пожалуйста, верните ее мне. У меня нет другого экземпляра. Быть может, pošлю Вам также наудачу свою статью о Сараевском убийстве. Если в намерениях журнала изменений не произошло, то не напишете ли Вы мне немного конкретнее, что могло бы его заинтересовать. Заранее очень Вас благодарю и прошу извинить беспокойство: сами Вы виноваты, что предложили это мне.

Павел Николаевич по-прежнему в Виши, там теперь еще больше знакомых, чем прежде, но он скучает, хотя и бодр⁴⁹. Мы с ним

обменялись письмами по поводу его статьи о Керенском и мне. Друг друга не убедили. Читали ли Вы эти статьи?

В остальном, кроме общего, у нас все более или менее благополучно: здоровы, живем. Как Ваш сын? Вера Марковна по-прежнему в Борнемусе, ее муж по-прежнему пишет там о балете и об Австралии.

Есть ли в Дублине издательства, выпускающие книги на английском языке? А на ирландском? Я очень невежествен по этой части. Между тем мое «Начало Конца» почти кончено (второй том уже сдается Каплану). Боюсь, что английским издателям, как и французским, теперь предлагать новые дела трудно. Для Америки, я надеюсь, эту книгу приобретет мой издатель Кнопф, но это только надежда. Мой французский издатель Плон временно прекратил выпуск книг. Были переговоры с голландским и датским издательствами, которые в принципе согласились выпустить «Начало Конца», — результат ясен.

Будем Вам весьма благодарны, если напишете о себе. Шлю Вам самый сердечный привет, самые лучшие пожелания. Т(атьяна) М(арковна) к ним присоединяется.

Ваш М. Ландау.

Статьи пошлю отдельно.

2

Russian

319 West, 100 Str.

30 июля 1941

Дорогие Анна Александровна, Борис Исаакович.

Пишем Вам редко потому, что по настоящему теперь в письме ничего не скажешь, а кратко можно только сообщать новости о себе; главные же из них Вам, вероятно, известны от Веры Марковны. Живем мы пока более или менее сносно. Я напечатал здесь в журналах один рассказ (которым согрешил в первый раз в жизни: до сих пор писал только длинные вещи) и несколько статей; это по-английски, т. е. пишу я по-французски, они переводят в изданиях с большим тиражом. Кроме того, «Форвертс» охотно печатает мои статьи по-еврейски (для них пишу по-русски). И, наконец, «Нейе Цюрхер Цайтунг» по телефону приобрела мою «Могила Воина»⁵⁰ и по телеграфу заплатила. Все это дало мне возможность здесь прожить уже почти семь месяцев — очень скромно, но без чужой помощи. Как будет дальше, не знаю: обеспеченного не имею ничего, и денежного

запаса, разумеется, тоже не имею. Мне чрезвычайно хотелось бы издавать здесь русский толстый журнал, деньги мне были обещаны, но от обещания до исполнения очень далеко. Боюсь, что надуют. Так же кормят обещаниями Александра Федоровича, желающего создать ежедневную газету.

Здоровье мое неважно. Впервые в жизни стал в Америке болеть, и чувствую себя чрезвычайно усталым. Нынешние грандиозные события⁵¹ крайне меня волнуют? — читаю по пять газет в день (каждая в два-три раза больше прежнего «Дэйли Телеграф!») — и плохо сплю. Т(атьяна) М(арковна) здорова, но скучает. Особенно ее тревожит положение родных в Ницце. Для Полонских у меня уже было сделано все: аффидэвиты, рекомендации, бумаги, и они должны были в начале июля получить визу сюда, но на беду 1 июля вышел новый закон об иммиграции, все пошло прахом, и все надо было проделать в новых формах, гораздо более трудных. Этим я теперь занят. Надеюсь, что достану, но далеко не уверен. Между тем жить там им трудно во всех отношениях. Сведения оттуда очень тяжелые. Последние привез Вакар, виза которого прошла последней перед новым законом. Павел Николаевич очень исхудал. Мы ему, его друзья, отправили сообща большую посылку в 14 долларов. Еще не имеем подтверждения. Если дойдет, будем посылать дальше. Говорят, что он простаивает часы в очередях, — Нина Васильевна этим не занимается!

Имею к Вам просьбу, дорогой Борис Исаакович. Редакция «Форвертса», очень со мной любезная, просила меня об услуге. Им нужно выписать (с августа нын(ешнего) года) на год «Дэйли Херальд» и получить все брошюры, выпущенные в последний год Лэбур-Парти. Между тем небольшие суммы отсюда в Англию посылать очень трудно. Зная, что у меня есть родные в Англии, они меня просили устроить им это с тем, что они заплатят мне здесь. Я столько раз надоедал Вере Марковне маленькими делами, что не хотелось бы ее об этом просить, да и дамы плохо знают, как это делается. Не могли ли бы Вы послать деньги в редакцию «Дэйли Геральд» (так!) и в магазин партии (помнится, они в одном доме) и написать им просьбу посылать то и другое по адресу: Mr. David Shub, Vorwarts, 173 East Broadway, New York. Если Вы можете, тогда напишите мне, сколько все это стоило, и я либо передам здесь эту сумму Вашему корреспонденту (кажется, у Вас таковой здесь есть?), либо pošлю Вам отсюда шоколад, который, как мне известно, у Вас отсутствует и который доходит в Англию по назначению. Кстати, о посылках. Мы послали немалое число

их в Ниццу, но посылки через американский магазин не дошли; более или менее правильно дошли посылки, посланные через Лиссабон. Это последнее трудно по той же причине: нельзя посылать в Лиссабон небольшие суммы. Нью-йоркские же магазины имеют возможность доставлять пакеты в Англию, но предупреждают, что во Францию посылают без всякой гарантии. Возвращаюсь к моей просьбе. Если она Вас затруднит, пожалуйста, напишите о ней Вере Марковне и попросите ее это сделать. Мне хотелось бы оказать эту услугу «Форвертсу». Заранее сердечно благодарю. Не забудьте указать мне сумму или, еще лучше, пришлите квитанцию, — дабы я мог получить в газете эти деньги: дарить их ей я отнюдь не намерен.

Нью-Йорк город хороший, хотя ни Парижа, ни Петербурга он не заменит. Жарко здесь сейчас до последней степени. Быть может, мы дней на десять уедем к морю, — оно в двух шагах.

Шлю Вам обоим самый сердечный дружеский привет и самые лучшие пожелания, очень кланяемся «детям». Очень ли Вы скучаете?

Ваш М. Ландау.

3

Written in Russian

3 декабря 1942

Дорогой Борис Исакович.

Я сердечно рад был Вашему письму и относительно добрым сведениям о Вас. «Относительно» — потому что Вы пишете: «Анна Александровна все время похварывает». В чем дело? Что именно такое и стало ли лучше? Я тоже похварываю (печень), а, главное, совершенно убит делом Полонских. Они получили визу и билеты полгода тому назад и за пять с лишним месяцев не добились выездной визы. Теперь их положение просто ужасно! У них ведь и денег нет, и послать нельзя: запрещено. Просто подумать страшно, что будет с ними, да и с Анной Григорьевной⁵², и с моим братом.

О смерти Бурцева я узнал из Вашего письма и сообщил. В «Таймсе» был очень теплый некролог⁵³. На днях с оказией получил письмо от Павла Николаевича от июля. Он сообщает, что писал мне по почте, и письма этого я не получил. Насчет Бахметева ему изменила память: Бахметевское предложение сообщил ему я в том же письме, которое до него дошло и на которое он ответил. Письмо с оказией от июля очень милое. Он чувствовал себя то-

гда лучше и много работал. Общества у него никакого нет. Какое его денежное положение, я не знаю. Наши продовольственные посылки до него дошли!

Третья книга «Нового Журнала» давно Вам послана, как будет, разумеется, тотчас послана по выходе и четвертая. Послал я ее (3-ю) и Вере Марковне. П(авел) Н(иколаевич) мне пишет, что он читал только первую книгу. Отзыв любезный, хотя я слышал, что статьей Александра Федоровича он был недоволен⁵⁴. Журнал мне кстати уже смертельно надоел: он отнимает половину моего времени, работаю я бесплатно, а неприятностей, как водится, много. Я очень хочу уступить редакторский пост Карловичу. Тираж у нас растет, но дефицит все-таки неизбежен. С четвертой книги начнет печататься мой новый роман⁵⁵. Химическую работу я закончил. Работа все «для души». Денег не наживаю, но на скромную жизнь хватает.

Татьяна Марковна и я шлем Вам, Анне Алекс(андровне) и А(лександр) Б(орисовичу) с женой самый сердечный наш привет, лучшие пожелания.

Ваш М. Ландау.

4

Written in Russian

19 апреля 1943

Дорогой Борис Исакоич.

На днях утром получил Ваше второе письмо, с великой радостью узнал, что Павлу Николаевичу лучше, затем развернул «Таймс» — и прочел, что он скончался 31 марта! Не могу Вам сказать, как я был расстроен, хотя этого можно было ждать⁵⁶. В обеих здешних руководящих газетах, «Таймс» и «Хералд Трибюн», появились большие статьи о нем (в первой даже две). А как в английских газетах?

Вы, верно, знаете, что я довольно серьезно болен, пролежал 16 дней в больнице, а теперь нахожусь в санатории под Нью-Йорком. Думаем скоро вообще уехать из Нью-Йорка, благо есть деньги. Моя книга «Пятая Печать» (она же по-русски «Начало Конца», но Скрибнер не хотел слишком мрачного заглавия!!) разошлась уже в 303 000 экземпляров⁵⁷ и принесла бы мне уже 35 тысяч долларов, если бы колоссальные налоги не отбирали большей части. Коммунисты ведут настоящую травлю против моей книги, вызвавшую даже передовые статьи в газетах! Почему они так разгневались, я не знаю: я многократно

выступал здесь и в русской, и в американских газетах с призывом оказывать всякую помощь России и с самыми патриотическими заявлениями. Предпослал книге и соответственное, совершенно искреннее предисловие. Из выведенных мною пяти советских людей, по крайней мере, четыре очень привлекательны, да и все лучше, чем не-русские действующие лица. Из рецензий я пока читал только две, в двух главных газетах, обе очень приятные и отметившие то, что я сказал выше.

Я по болезни (и потому, что редакторство мне осточертело) больше не редактирую «Нового Журнала», но я снесся с Цетлиным (он теперь с Карповичем главные редакторы). Как я и думал, они мне сказали, что чрезвычайно рады Вашему участию и предложенной Вами теме (ведь мы не раз Вас звали). Но отчего же Вы прямо не послали статьи?! Ведь пятая книга выходит в мае. Шестая появится в сентябре.

Как себя чувствует Анна Александровна? Как Вы и Ваш сын и невестка? Вера Марковна нам о Вас сообщает и, вероятно, Вам о нас. Когда увидимся? Извините, что пишу редко: и болен, и эти известия о том, что Полонские находятся в Ле-Пюи...

Все попытки Лит(ературного) Фонда снестись с Кусковой в Швейцарии пока ни к чему не привели.

Т(атьяна) М(арковна) и я шлем Вам всем самый сердечный дружеский привет.

Ваш М. Ландау.

5

Written in Russian

21 ноября 194358

Дорогие Анна Александровна, Борис Исаакович.

Мы узнали от Веры Марковны о кончине Вашего кузена. Всей душой Вам сочувствуем, понимаем, как Вам тяжело. Я не знал Вашего кузена и не знал, что у Вас есть в Англии такой близкий человек.

Переписываемся мы с Вами редко, но понимаю и знаю по своему опыту, что теряется охота писать, когда письма идут порою два месяца и не меньше, чем недели три. Когда увидимся? А вот для «Нового Журнала», к которому я продолжаю стоять близко и после ухода от редакторской работы, Вы опять ничего не прислали. Жаль.

На днях выходит шестая книга, в которой будут еще две статьи о Павле Николаевиче, — Карповича и Вакара, обе, по

моему, интересные. Будут, главное, и две главы самого П(авла) Н(иколаевича)ча (к сожалению, Зензинов перевел их тяжело и неуклюже)⁵⁹. Вам известно от Алекс(ея) Александровича⁶⁰, как обстоит дело с его рукописью. После отказа Иэл Юниверсити Пресс мы обратились к Макмиллану и теперь узнали, что первый «ридер» их дал благоприятное заключение, ждут второго. Я все же далеко не уверен, что мы найдем здесь издателя, если Макмиллан откажется⁶¹. Не скрываю, у меня сильные колебания о том, как быть со словами П(авла) Н(иколаевича)ча о процессах и об искренности показаний подсудимых (!!!). Мы не имеем права его «цензурировать», и вместе с тем я уверен, что вся большевистская печать (а я на своем опыте убедился, что это большая сила) поднимет радостный крик: замолчит все остальное и раздует это — непостижимое — место. Только эти несколько строк меня и смущают. Просто не знаю, как нам быть. Эти строки «оправдают» и всех Дэвисов.

Я чувствую себя неважно, хотя болей нет, — есть только необычайная усталость, какой я никогда в жизни не испытывал. Она не мешает мне, правда, работать. Занят больше «Истоками». Боюсь, что это будет самый длинный роман в русской литературе... Знаю, что никому не ужоу им. Ничего не поделаешь! Химическая работа моя кончилась — сделал ее. Изредка пишу статьи (больше в «Нью Лидер», — по моему это лучший в идейном отношении журнал Америки). «Нью-Йорк Таймс» предложил мне дать им небольшую статью о Киеве, вместо письма в редакцию о нем, которое я хотел поместить. Но статьи я не написал, да и поздно было: его заняли, и от него верно ничего не осталось.

Ваш рассказ о встрече Рахманинова с Толстым я слышал от самого Рахманинова, но он серьезно отличался от Вашей версии. Все же я не хотел его использовать в своей заметке в «Новом Журнале» и только упомянул о нем.

Полонские в августе были в Гренобле. О странном и очень тяжело для меня недоразумении с деньгами им Вы, верно, знаете от Веры Марковны. Если нет, попросите ее рассказать. Может быть, Вы что-нибудь придумаете, как дать знать.

Очень жаль Василия Алексеевича⁶². Он так прекрасно себя ведет.

Если Вы видите Саблиных, пожалуйста, передайте им мой искренний привет. Сердечнейший привет и лучшие пожелания Вам обоим. Очень, очень хотелось бы повидать Вас. Есть ли у Вас мысли о том, где поселиться после окончания войны? Во Франции

жить будет очень тяжело из-за неизбежной ксенофобии и из-за обилия людей, с которыми придется прекратить знакомство (если они уцелеют).

Передайте привет Вашему сыну и его жене.
Ваш дружески М. Ландау.

6

Written in Russian

6 октября 194463

Дорогой Борис Исаакович.

Пишу Вам по поручению нашего Комитета помощи русским писателям и ученым. Вчера А. И. Коновалов получил и прочел нам телеграмму от своего сына⁶⁴ об образовании Вашего Комитета из трех лиц и о том, что Вы нам предлагаете принять на себя 50 или 75 посылок (т. е. оплату их). Разумеется, мы с благодарностью ухватились за это предложение и постановили оплачивать ежемесячно, в течение трех месяцев, 75 посылок. Об этом А(лександр) И(ванович) вчера Вам телеграфировал. Теперь сообщаю подробности. Никакого общего комитета русских организаций пока в Нью-Йорке нет. Скоро, вероятно, будет образован Int(ernational) Committee on Russian Refugees при американском Council и есть надежда на получение б о л ь ш и х денег. Но это только надежда, и мы ею не обольщаемся. Исходить мы должны лишь из того, что е с т ь у русских обществ. Есть же у нас немного: тысячи две долларов у нашего Комитета, приблизительно столько же у Толстовского фонда, кое-что у других организаций. Разумеется, мы и своими силами собираем и пополняем наши фонды. О телеграмме С. А. Коновалова мы сообщили А. Л. Толстой, Обществу помощи русским детям (Г. И. Новицкий), Союзу русских евреев (Бруцкус, Я. Г. Фрумкин и др.). Они все хотят и могут участвовать в посылках. Если б Вы нам предоставили не 75 посылок в месяц, а вдвое больше, мы тоже очень легко все распределили бы. Теперь вопрос о деньгах. Как Вы знаете, для отправки денег в Англию нужна «лайсенс», получаемая в Вашингтоне. Мы до сих пор, при отправке сумм Кусковой в Швейцарию, всегда такую «лайсенс» получали. Но 1) суммы эти каждый раз не превышали 500 долларов, 2) длится это обычно две-три недели. Мы (Комитет помощи писателям и ученым) сегодня же посылаем ходатайство в Вашингтон о разрешении высылать Е. В. Саблину по 360 долларов в месяц в течение трех месяцев (из расчета: 30 посылок по 3 фун-

та) и, как только получим разрешение, по телеграфу переведем Евгению Васильевичу деньги. То же сделает для себя Толстовское и другие общества. Не удивляйтесь поэтому, что Вы в октябре получите несколько сумм из разных источников. А. Л. Толстая на днях пошлет Вам точные указания о распределении 45 посылок между разными организациями. Наш Комитет взял на себя тридцать и предоставил сорок пять всем другим. Разумеется, каждая организация хочет указывать своих кандидатов на получение посылок, как Вы нам это и предлагаете.

Возможно, что некоторые имена (Маклаков, Альперин, Бердяев) будут в списках разных организаций. Если б дублировка в отношении кого-либо у нас осталась (мы постараемся ее избежать, но при спешке она возможна), то Вы сами ведь ее исправите.

Нам известны некоторые адреса, но немногие. Быть может, Вы знаете больше. Однако адрес А. С. Альперина нам известен точно. Наш Комитет постановил просить Вас те наши посылки, по которым мы сообщаем только имена получателей без адресов, посылать: с/о Альперина или Маклакова, но, конечно, с ясным указанием к о м у посылка предназначается.

Прилагаю при сем адреса кандидатов Комитета Помощи Писателям и ученым (те что нам известны) и имена всех других⁶⁵.

По поручению Президиума Комитета приношу глубокую благодарность Е. В. Саблину, Б. И. Элькину и С. А. Коновалову. Очень просим обмениваться с нами всякой информацией. Президиум просит письма и телеграммы направлять по адресу его члена Б. И. Николаевского: Boris Nikolaevsky, 20 Boul. Cabrini, New York City.

Шлем Вас самый искренний привет.

Ваш М. Алданов.

7

6.X.44

Дорогой Борис Исаакович.

В дополнение к этому «официальному» письму, копию которого я посылаю Саблину, сообщаю еще кое-что. Коновалов нам телеграфировал о Нансеновских русских⁶⁶. Если это правило соблюдается с т р о г о, то некоторые фамилии в нашем списке отпадают: Ангелина Кривицкая, Шейла Вишняк и Дон-Аминадо французы, а вдова Чхеидзе, Муза Раскольников и Раиса Лебе-

дева, б ы т ь м о ж е т, не нансеновцы (Церетели — нансеновец). Но мы надеемся, что требование соблюдается на строго и что Вы им пошлете посылки.

Только что нам сообщили по телефону, что Толстовский Фонд включает в свой список Маклакова, Мельгунова, Долгополова, Бердяева и Метальникова, а еврейский — Альперина. Только поэтому мы их не включаем в прилагаемый список, а то сочли бы большой для нас честью (об этом, пожалуйста, напишите Маклакову). Просьба же об отправке по адресу А. С. Альперина посылок для лиц, адресов которых мы не знаем, остается в силе. Его адрес: 5 rue Paul Barruel(&), Paris XV.

Две или три посылки в списке оплачивают частные лица (так, я оплачиваю нашему Фонду посылки Полонскому и Анне Григорьевне Зайцевой. Но оба они утверждены Президиумом. Если б Вы что-либо еще могли для них сделать, Вы очень меня обязали бы).

Всего в нашем списке 31 фамилия. Но уж одна-то наверное будет дублирована или отпадет.

Спасибо за Ваши интересные замечания к «Истокам», — из за крайней спешки ни о чем другом не могу написать: весь день уходит на эти посылки!

Т(атьяна) М(арковна) и я шлем самый сердечный привет Анне Александровне, и Вам, и А(лександр) Б(орисовичу).

Ваш М. Ландау.

Тревога моя относительно моих все растет: ничего не знаем!

Итак имена в нашем списке: Бунин, Б. Зайцев, Нина Милюкова, Церетели, Н. Волков, А. Лихошерстов, Полонский, Анна Зайцева, Адамович, Демидов, Вл. Могилевский, Дон-Аминадо, Даманская, Зоя Каплан, Азов, Петрищев, Я. Рубинштейн, Кнорринг, Конст. Давыдов, Раиса Лебедева, Ел. Зензинова, Елена Штром, Фондаминский, А. Мандельштам, Анг. Кривицкая, Я. Кобецкий, М. Раскольников, вдова Чхеидзе, Шейла Вишняк, Юрьевский.

Дорогие Анна Александровна, Борис Исакович.

Простите, что с опозданием отвечаю на Ваше письмо. Вы, верно, знаете от Веры Марковны, что Татьяна Марковна сломала себе левую щиколотку, сходя с автобуса. Ее только сегодня перевезут из больницы домой, с ногой в гипсе. С минуты на мину-

ту жду сиделку, которая будет за ней ходить. К счастью, болей у нее нет.

Вы знаете также, что Полонские все трое уже в Париже (иe Согот, XVI). Анна Григорьевна и Нина почему-то остались в Гренобле (хотя теперь очень трудно сказать, где лучше, где хуже). Мы от Полонских имели только телеграмму, — одну, — хотя мы им телеграфировали три раза с оплаченным ответом. Писем не имеем пока ни от кого. А от Анны Григорьевны не имеем даже телеграммы, хотя и ей телеграфировали. У нее, по-видимому, деньги еще есть. Полонским я уже прямо во Францию послал через банк три раза по сто долларов, — разумеется, по ужасному официальному курсу: 50 франков за доллар. Там все это гроши: они получают ведь одну восьмую настоящей стоимости доллара! Ничего другого я тут сделать не могу.

Из-за невыносимого почерка Василия Алексеевича действительно неприятность: Кривошеин ли депортирован и какой? Игорь? И кто такой «Пи»? Остальные сведения были нам известны. Я (как и другие) тотчас сообщаю информацию в здешнюю русскую газету. О Кривошеине из-за неясности не сообщил.

С посылками из Лиссабона тоже нехорошо. Мы ведь по первым сообщениям думали, что это дело решенное. Оказывается, что, как **ВЫ** и думали, это все вилами на воде писано. Есть очень серьезная надежда, что скоро можно будет отправлять продовольственные посылки прямо отсюда во Францию.

Да, мудреные вопросы Вам задала Анна Александровна. Вероятно, она очень расстроена.

Извините меня, что пишу кратко. Тороплюсь в больницу. Шлю (также за Т(атьяну) М(арковну)) самый сердечный привет и лучшие пожелания Вам, Анне Александровне и А(лександру) Б(орисовичу). Как теперь себя чувствует Анна Александровна? Каковы Ваши планы?

Кланяйтесь, пожалуйста, Саблиным и Гл(ебу) Струве.

Ваш М. Ландау.

9

Written in Russian

13 февраля 1945

Дорогой Борис Исаакович.

Мы оба сердечно благодарим Анну Александровну и Вас за Ваши милые письма. Татьяна Марковна теперь ходит по комнате с палкой, но нога еще при ходьбе болит. Оба врача (и рентгено-

граф) утверждают, что сращение произошло отлично, что скоро пройдет и боль, и ни малейших следов не останется. Но все-таки несчастный случай был уже более двух месяцев тому назад (8 декабря), и пора бы исчезнуть всем следам.

Теперь дела. Я Титову и еще десятку людей написал давным-давно (как только было разрешено) французские открытки (лишь открытки на французском или английском языке тогда и допускались), и ни от кого (включая Полонских, — им я написал семь открыток, кроме того десятка) ответа не получил: очевидно, либо мои открытки, либо их ответы пропали. Известное Вам длинное письмо Полонского (на русском языке!) от ноября было и остается пока е д и н с т в е н н ы м письмом, полученным нами из Парижа. Телеграммы были, писем не было; да и из телеграмм, по крайней мере, моих, некоторые, по-видимому, не дошли. Прихожу к выводу, что писать лучше через Англию, и, вероятно, буду просить Веру Марковну пересылать туда письма. Как будто от Вас можно писать и по-русски? Это мне было бы удобнее, так как у меня есть только русская машина, а я не люблю писать «от руки». — Титов спрашивает, есть ли в моем распоряжении фонды. Вероятно, Вы ему уже ответили, что у меня лично никаких фондов нет, и что возможности здешнего Комитета Помощи Писателям, в президиуме которого я состою, ограничены. У нас было недавно около 4 тысяч долларов. Как только разрешено было посылать отсюда продовольственные посылки во Францию, Комитет отправил 124 именных пос(ылки). Кроме того, на днях мы посылаем, особым порядком и много дешевле, приблизительно на полторы тысячи долларов продовольствия и одежды на имя д-ра Долгополова для распределения между нуждающимися писателями, учеными, политическими деятелями. Отдельно пошлем ему список наших кандидатов. Следовательно, теперь касса очень опустела. Вы, верно, получили телеграмму Николаевского о том, что, ввиду разрешения отправки посылок о т с ю д а, мы просим через Португалию от нас ничего не посылать: наши посылки ведь дешевле и, должно быть, лучше, да и хлопотать о них не надо. Разумеется, если Ваш Комитет Трех уже кое-что от нас отправил, то мы расходы оплатим.

Все это, конечно, капля в море. Я послал множество посылок лично от себя Полонским и Анне Григорьевне, посылаю также Бунину, Бор(ису) Зайцеву, Малярчукам (сестра Полонского). Знаю, что первая моя посылка, отправленная 29 декабря (в самый день их разрешения), Полонскими получена. Вы, верно, слышали от В(еры) М(арковны), что я получил от Полонского те-

леграмму, — он просит больше денег ему не посылать, так как «нашел литературную работу»!!! Теперь, по получении его ноябрьского письма, написанного задолго до телеграммы, я склонен думать (но не уверен), что это работа в том еженедельнике «Русские Новости», о проекте которого он сообщает. Денег я ему до того, т. е. до телеграммы, перевел много, но что это при курсе 50 франков за доллар! Большие выдержки из его письма (кроме всего личного, т. е. кроме сведений о Берберовой, о Кравцове, Дуване) Цвибак помещает в «Новом Русском Слове». Кстати, в виде гонорара они тоже послали ему две посылки.

По поводу газеты — журнала. Я вижу, что Вас многое раздражает в «Нов(ом) Журнале». Кое-что раздражает и меня. Но журнал орган коалиционный и печатает статьи людей разных направлений в пределах, указанных во введении к первой книге: «все, кроме пораженцев и большевиков». Статьи Федотова и Вишняка⁶⁷ мне не слишком приятны, но редакция «отвечает» только за редакционные статьи (М(ихаила) К(арповича), М(ихаила) Ц(етлина) — ?). Идет журнал хорошо: мы теперь печатаем 1200 экземпляров, столько же, сколько печатали «Совр(еменные) Записки». Если бы расходы по типографии остались такими, как были, когда мы начинали журнал, то он уже окупался бы (конечно, при той же бесплатной работе редакторов и секретаря, — чего в «Совр(еменных) Записках» не было). Но, к несчастью, типография повышает цены беспрестанно, и увеличение расходов даже опережает рост поступлений. Поэтому журнал по-прежнему дает убыток. Только что вышла 9-ая книга. Мы с окаянью надеемся послать ее Маклакову и Полонскому. Посылается книга, конечно, и Вам, и Вере Марковне. Она не из наиболее удачных. Кстати, книги, посылаемые в Англию, то доходят, то пропадают. Еще хуже в этом смысле Палестина, где у нас немало подписчиков.

Вижу также, что Вас раздражают действия Лунца. Опять-таки не скрою, они часто раздражают и меня. Но я давно принимаю людей как существующие факты, — пока это возможно.

Что до моих личных дел, то меня губит переводчик, Вреден. Переводит он прекрасно, но чрезвычайно медленно (он вайс-президент огромного издательства Деттон и занят целый день, — остаются только вечера). Поэтому ни одна из купленных у меня Скрибнером книг пока не появилась; не кончена даже небольшая «Могила Воина». «Пятая Печать» продана на несколько иностранных языков (так!) (хотя Гитлер отобрал у меня почти все прежние «рынки», а теперь их отберет другой). Шведское изда-

ние, верно, уже появилось (письмо туда идет четыре месяца). В Англии по условию эта книга выйдет лишь по окончании войны, но я на успех ее у Вас ни мало не рассчитываю. Американские же издатели вообще совершенно не интересуются иностранными «рынками», включая английский: так это незначительно по сравнению с их масштабами.

О жизни в нетопленной Франции в эту зиму страшно подумать, но самое страшное, конечно, позади. Я мог бы туда поехать, как публицист, но один, — мне предлагали. Однако Татьяна Марковна боится остаться одна, а теперь уж я никак не могу ее оставить на неопределенное время. Вдобавок, обещают визу обоим тотчас после войны. Не думаю, однако, чтобы я мог там ж и т ь.

Ну вот все. Еще раз очень Вас благодарю и шлю Вам всем самый сердечный привет.

Ваш М. Ландау.

10

Written in Russian

*109 West 84 St., N. Y. 24
24 марта 1945*

Дорогой Борис Исаакович.

Большое спасибо Вам и Анне Александровне за Ваше внимание и участие. Т(атьяна) М(арковна) сама пишет Анне Александровне о себе. Мы оба очень тронуты.

Письма идут теперь до изумительного разно: от 10 дней до 2 месяцев. Ваше письмо от 29 января шло бесконечно долго. То же самое — и еще в гораздо большей степени — относится ко Франции. Так, я на днях получил от Б. К. Зайцева два письма на расстоянии двух дней, причем первое было от ноября, а второе от конца января!

Со времени моего последнего письма к Вам произошла сенсация: в «Н(овом) Р(усском) Слове» была 7 марта помещена парижская корреспонденция Кобецкого о том, что 14 февраля десять более или менее видных людей, во главе со знаменитым человеком, Маклаковым, посетили полпредство, обменялись речами с Богомоловым, выслушали от него инструкцию о том, что надо относиться сочувственно к «Русскому Патриоту», а затем приняли участие в «завтраке а ля фуршетт». Корреспонденция, разумеется, была написана в самом восторженном тоне. Волнение в русских группах здесь было, как Вы догадываетесь, большое. О самом завтраке Вы, конечно, уже давно знаете, — я

сообщаю Вам только об отношении к нему здесь. На следующий же, кажется, день собралось человек двадцать пять политических людей (не было Керенского, — он в лекционном турне). Негодование среди эс-эров и эс-деков было невероятное и настроение единодушное. Только четыре человека из 25 высказались против резолюции и прочего — до получения более точной информации. К этим четырем принадлежали А. И. Коновалов и я (а потом к нам присоединился и Александр Федорович). Я, в частности, доказывал, что Василий Алексеевич, умнейший человек, н е м о г произнести ту бессмысленную речь, которую ему вложил в уста Кобецкий⁶⁸. Наше выступление вызвало холод, но все-таки резолюция принята не была. Коновалов послал Маклакову телеграмму с запросом⁶⁹ и вчера получил ответ: «Иньоро артикль Кобецки. Кап ву ресеврэ нотр леттр докюмантэ, ву шанжерэ сертэнеман д-эмпрессион. Маклаков, Титов, Альперин, Тер-Погосян»⁷⁰. Будем ждать теперь писем. Вы справедливо скажете, что если бы собрание в 25 человек и приняло резкую резолюцию, то это мирового значения не имело бы. Конечно. Однако, участникам «завтрака а ла фуршетт» было бы, вероятно, тяжело, если бы с ними порвали дружья всей их жизни. А некоторые эс-эры говорили даже об исключении из партии двух участников «завтрака а ла фуршетт» — эс-эров (Тер-Погосяна и Роговского). О том, что послужило причиной странного акта 14 февраля, у нас есть только догадки: вероятно, было сильное давление франц(узского) прав(ительства) (?). Любопытно и то, что подписались под ответной телеграммой Коновалову четыре человека, притом те из десяти, которые нас только и интересовали (Ступницкий или Одинец никому не интересны). Они, очевидно, противопоставляют себя другим. От себя скажу, что если «лэттр докюманте» и не прибавит, т. е. если и не изменит ничего, ничего к статье Кобецкого, то лично я все равно не приму участия ни в каких актах и резолюциях, считая, что каждый человек имеет полное право в любой день признать всю свою жизнь ошибкой и поднять белый флаг. Привлекательного в этом немного, но право совершенно бесспорно. Все это не имеет отношения к переменам в СССР, к победоносной войне и т. д. Я всегда был и остаюсь счастлив, что Россия побеждает, идет от победы к победе. Признаю, что есть немало правды в посмертной статье Милюкова (скажем, 25 процентов). Не стою на «твердокаменной» позиции Вишняка — Федотова — там, мол, все — зло, — и никогда не стоял. Но в основных идеях были правы мы, а не они, — куда бы

жизнь ни пошла. И завтракать а ла фуршетт с тостами в честь одного господина у меня нет ни малейшего желания. Пользы же от этого не видно (м(ожет) б(ыть) письмо В(асилия) Ал(ексеевича) объяснит ее): едва ли господин объявит амнистию и даст конституцию оттого, что у него позавтракало 10 эмигрантов (и некоторые по соображениям чистым и благородным, как Маклаков, Тер-Погосян, Альперин, а некоторые другие по соображениям карьерным). В. Сирин написал Зензинову письмо об этой сенсации, — в очень сильных выражениях, которые не могу повторить (он крайний антибольшевик).

Извините, что пишу об этом бессвязно (очень устал) и что говорю о себе. Напишите, что Вы думаете.

Теперь посылки. Мы (Лит(ературный)Фонд) уже послали во Францию около 150 продовольственных посылок, посылаем и еще. Отправили посылки также другие организации. По слухам, пропадает и расхищается от четверти до трети посылаемого, — как бы не стало еще хуже. Я послал от себя 15 посылок Полонским, 8 — Анне Григорьевне (ей послал еще 4 посылки мой бофрэр Саша). От себя я отправил также по пяти посылок Буниным, Зайцевым, и по одной или две-три разным другим старым знакомым и приятелям. Кроме 150 индивидуальных посылок, Лит(ературный) Фонд получил, в виде исключения, разрешение на отправку одного б о л ь ш о г о груза продовольствия по адресу Долгополова для распределения между нуждающимися интеллигентами. Мы единогласно поставили условием, чтобы ни одна посылка не была дана людям, хоть в отдаленной степени повинным в «сотрудничестве» (их, к несчастью, оказалось гораздо больше, чем думали оптимисты). Кстати, Яков Борисович послал прямо Цвибаку корреспонденцию об этих сотрудниках, которая меня чрезвычайно огорчила и расстроила. Я убеждал Цвибака и А. Полякова не печатать э т у его статью, -- но не убедил, к сожалению. Я считаю, что это не дело печати. Кроме того, очень трудно д о к а з а т ь, что такой-то нажил миллионы на продаже, например, принадлежавших евреям картин⁷¹.

Разумеется, Василий Алексеевич никак не забыт организациями, отправлявшими посылки. Не забыт, кажется, никто. К сожалению, мы не знали адреса Мельгунова. Не посылаем посылок Гиппиус, Шмелеву, Берберовой, Вышеславцеву (?) и многим другим⁷². О них крепко написал Поляков-Литовцев в «Н(овом) Р(усском) Слове».

Послать Маклакову или кому бы то ни было «Новый Журнал» мы до сих пор не могли: не разрешалось отправлять русские

книги во Францию. Несколько дней тому назад разрешение вышло, но установлен предельный вес: 1 фунт. Между тем, «Новый Журнал» весит фунт с четвертью. Очевидно, придется разрезать его на части. Попробуем послать в разрезанном виде Маклакову, Бунину, Зайцеву, Полонскому. Знаю однако, что Вас(илий) Алексеевич читал седьмую книгу журнала, — он об этом упоминает и спрашивает. Он сообщил Коновалову, что написал мне. Я его письма не получил.

Не могу понять, что происходит с номерами, высланными Вам. Цетлина мне сообщила, что последний вернулся! Между тем адрес, по ее словам, был правильный. Девятую книгу я послал Вам собственноручно.

Шлю Вам самый сердечный привет. Просьба к Вам: не согласитесь ли послать Б. К. Зайцеву (B. Zaitsev, 110 rue Thiers, Boulogne s/Seine) прилагаемую копию моего письма Бунину. По моим предположениям, Иван Алексеевич уже находится в Париже. Оригинал письма я отправил ему в Грасс, но, быть может, копия дойдет скорее. Письмо касается и Бориса Константиновича, — с/о не нужно. Заранее очень благодарю.

Целую ручки Анне Александровне. Привет Ал(ександру) Б(орисовичу) и его жене.

Ваш М. Ландау.

Бромбер действительно кладезь знаний, вроде Делевского. Пишет он мало. Примыкает к евразийцам!!!

Думаю, в смысле «игнорируем»: узнать от Кобецкого, что он написал, им было ведь очень легко⁷³.

11

Written in Russian

11 апреля 1945

Дорогой Борис Исаакович.

Сердечно Вас благодарю за Ваше в высшей степени ценное и интересное сообщение о «визите». Получив его позавчера, я тотчас пригласил Керенского, Коновалова, Зензинова, Николаевского, Коварского, Фрумкина, Гольденвейзера, прочел Ваше письмо и мы обменялись мнениями. Это сообщение, конечно, многое поясняет и изменяет в корреспонденции Кобецкого, о которой я Вам подробно написал не так давно. Во-первых, слова Маклакова, бывшие совершенно бессмысленными в нелепой передаче Кобецкого, приняли совершенно иной характер. Во-вторых, в Вашем письме нет ни слова об инструкции о

том, как относиться к «Русскому Патриоту», — эта инструкция (Богом(олова)) всем показалась делом довольно унижительным. В-третьих, о тостах Вы только упоминаете; Кобецкий же прямо написал о тосте в честь маршала⁷⁴. Названные выше лица постановили не высказываться, пока не придет обещанное Коновалову в телеграмме Василия Алексеевича «лэттр докюмантэ». Не скрываю, нас смутили Ваши слова о том, что Вы отчет⁷⁵ передаете «с намеренной неполнотой». Если не секрет, — чем она объясняется? Я думал, что Вы все это знаете прямо от Василия Алексеевича?

Вы спрашиваете, как здесь отнеслись к этому делу. Многое я Вам уже сообщил в предыдущем письме, скрестившемся с Вашим. Сообщаю схематически отношение разных групп и лиц.

Группа Дана—Югова—М. Вернера — отношение к визиту положительное. Вероятно, так же или еще более положительно относятся Слоним, Сухомлин, Сталинский, хотя они пока, кажется, не высказывались.

Поляков—Литовцев и Вакар — отношение восторженное, — «ах, слава Богу!»

«Новое Русское Слово» — отношение индифферентное, — печатают всех, кто желает высказаться.

Все меньшевики (группа Абрамовича—Николаевского, человек 30) — отношение крайне отрицательное и негодующее.

Эс-эры — Чернов, Зензинов, Коварский, Вишняк и все примыкающие (человек 15) — отношение точно такое же, как у меньшевиков: негодование.

Умеренные консерваторы, как Тимашев, — отношение еще более отрицательное, чем у меньшевиков и эс-эров. Их настроение выражает газета «Русская Жизнь» в Сан Франциско, по направлению близкая к «Рулю»⁷⁶.

Керенский, Коновалов, Ваш покорный слуга. — Ждем письма Василия Алексеевича. Меня лично больше всего удивила полная бесцельность визита. Что он даст и для чего он был нужен? То же самое можно было сказать в печати. Если они не хотели помещать свою декларацию в «Русском Патриоте», то могли отпечатать ее отдельно и разослать. Могли прислать для помещения здесь, хотя бы в «Новом Журнале» или «Н(овом) Р(усском) Слове». Тогда было бы без тостов и без поучения начальства. О себе скажу еще раз, что твердо знаю, что Маклаков, Альперин, Тер-Погосян и некоторые другие не могли сделать ничего недостойного. Следовательно, если даже ожидающееся письмо В(асилия) А(лексееви)ча почти ничего не добавит к тому, что

уже известно, то я не приму участия ни в каких коллективных резолюциях протеста и т. п. Если буду писать (не собираюсь) об этом, то напишу без всяких неприятных слов. Пока в печати были чрезвычайно резкие статьи в «Р(усской) Жизни» и одна тоже весьма резкая статья меньшевика Г. Аронсона, — он говорил о «смене вех», о новых Ключниковых и Устряловых, и добавлял, что значительный человек среди них только Маклаков, а все остальные — маленькие люди. Мне тон его статьи (да и существо ее) чрезвычайно не понравились (он, кстати, не такой гигант, чтобы смотреть на других свысока). Его статья появилась в «Н(овом) Р(усском) Слове» — я ее цитирую на память, но, кажется, верно. Были и хвалебные статьи С. Полякова⁷⁷. О себе еще скажу, что я большевикоедством не занимаюсь, признаю огромные заслуги маршала в победоносной войне, но не закрываю глаз и на все другое и никогда в этом визите участия не принял бы, пока положение в России остается таким, каково оно сейчас. Мы ежедневно читаем четыре года «Нью-Йорк Таймс» с его изумительной информацией (и приезжих тоже иногда видим). Думаю поэтому, что мы больше знаем, чем парижане, которые читают нынешние крошечные французские газеты. Кроме того, В(илий) Ал(ексеевич) в своих письмах к Керенскому и Коновалову говорил не то, — под многими его словами в письмах мы трое могли бы подписаться; да и вторая его речь в Вашей передаче нас (Керенского, Коновалова и меня) удовлетворяет⁷⁸. Я получил от Вас(илия) Алекс(еевича) только одну открытку, очень давнюю (декабрь) и чрезвычайно неразборчивую, даже для него. [I предл. нрзб.] Собираюсь ему написать подробно.

Из отдельных лиц еще назову Карповича, Гольденвейзера, Фрумкина (не говоря уже о Федотове), — они отнеслись к визиту чрезвычайно отрицательно. Еврейская «общественность», т. е. занимающаяся исключительно еврейскими делами, относится, насколько мне известно, весьма по-разному. К некоторому моему удивлению, по-разному относятся и разные русские князья и графы, живущие в Нью-Йорке. Кажется, делятся мнения и среди бывших офицеров и духовенства. Насколько мне известно, преобладает негодование.

Мы послали посылки Нине Васильевне. Маклаков должен был получить немало посылок (в том числе и мои личные). Кроме родных, я отправил посылки ему, Бунину, Зайцеву, Мельгунову, Альперину, Могилевскому, Адамовичу, Тэффи, Волкову и некоторым другим, — кому по одной, кому по 4—5. Полонским от-

правил девятнадцать посылок, Анне Григорьевне — девять (ей послал четыре еще ее сын).

Лит(ературный) Фонд твердо и единогласно постановил и н к о м у из бывших «сотрудников» никакой помощи не оказывать. Коновалов писал об этом Долгополову.

Т(атьяна) М(арковна) все по прежнему: ведет уже прежний образ жизни, т. е. работает, ходит на спектакли и в клуб, — но ногу еще слегка волочит, и это чрезвычайно нас обоих расстраивает.

Получили ли Вы «Новый Журнал?» 10-ая книга выходит в июне.

Шлем Вам и Анне Александровне самый сердечный дружеский привет. Очень кланяемся Ал(ександру) Бор(исовичу) и его жене.

Ваш М. Ландау.

12

Written in Russian

109 West 84 Str.

30 мая 1945

Дорогой Борис Исаакович.

Наши письма оба раза скрестились. А так как второе мое письмо, наверное, давно Вами полученное, очень подробно излагало отношение здешних политических группировок к знаменитому парижскому визиту, то я хотел подождать с ответом на Ваше второе: не будет ли новых материалов, не придет ли два раза (Маклаковым и Альпериным) по телеграфу обещанное письмо из Парижа, разъясняющее причины, цели и результаты визита?⁷⁹ Это письмо так и не пришло: вероятно, пропало в цензуре или на почте. Что до новых материалов, то, действительно, Ваше письмо с более подробным и более верным изображением визита всем было чрезвычайно интересно, — оно теперь известно, кажется, всей политической эмиграции Нью-Йорка. Лично от себя скажу, что вторая речь Василия Алексеевича меня с многим в его визите мирит. Керенский, Коновалов, Тимашев тоже были очень обрадованы этой второй речью Маклакова (в передаче Вашего корреспондента). Тем не менее, мы здесь сходимся на том, что визит был совершенно не нужен, ничего решительно не дал и заключал в себе слова и факты далеко не прекрасные, вроде тоста. С той поры пришли от третьих лиц, не участвовавших в визите, письма, рисующие визит в комическом виде и утверждающие, что сами участники визита уже по-

нимают, как они ошиблись. Вам известно, что они основали «Общество изучения сов(етской) России» (или что-то в этом роде)⁸⁰. Таких обществ всегда было множество, и для этого ездить на рю Гренелль⁸¹ не стоило. Все это (с поправкой на стилизацию в упомянутых письмах от р а з н ы х лиц) имело последствием то, что и после Вашего сообщения отношение к визиту нисколько в Нью-Йорке не изменилось. Почти общее теперь мнение: даром унижались, гора родила мышь, и никого из эмигрантов или почти никого в Россию не пустят. Да и ничего в политике Москвы не изменилось. Теперь торжествуют те, кто смешивали с первого дня участников визита с грязью (на мой взгляд, несправедливо совершенно, — в большинстве ведь они очень порядочные люди). Чрезвычайно ругали их в Америке разные люди: и «непримиримые» социалисты типа Вишняка («Форвертс» изругал участников визита тоже весьма крепко), и консерваторы направления покойного «Руля» (в русской Сан-Францискской газете этого направления их сравнивали с ген. Слащевым!), и очень многие другие. Я очень рад, что, как и Керенский, и Коновалов, ни в какой мере в этой кампании участия не принимал. Вообще же события идут так быстро (куда?!), что кризис произошел и в американском общественном мнении, которое русскими маленькими эмигрантскими делами не интересуется.

В(ера) М(арковна) прислала мне несколько рецензий об английском издании моей «Фифс Сил». Для меня было неожиданностью, что Кэп выпустил это издание, — я надеялся, что он меня хоть заблаговременно оповестит. Между тем он мне даже не послал ни единого экземпляра! Скрибнер английским изданием совершенно не интересуется — «маленький масштаб». Я тоже никак не думаю, чтобы этот роман мог иметь сносный тираж в Англии, где и книги ходких английских авторов расходятся в 3—10 тысячах экземпляров из-за отсутствия бумаги. Удивляюсь даже, что вообще появляются рецензии, при размере газет в 4—6 страниц. В Америке «Нью-Йорк Таймс» (без малейшего сомнения, первая газета в мире) по воскресеньям дает страниц двести. Информация этой газеты совершенно вне конкурса.

Хотя мне и совестно Вас утруждать, но я прошу Вас переслать прилагаемое письмо Б. К. Зайцеву (110 rue Thiers, Boulogne s/Seine). Отсюда письма по воздушной почте пока не принимаются. С 1 июня можно будет посылать во Францию вещевые посылки в 11 фунтов. Мы пошлем родным и друзьям белье и

пр. С оказией я могу только пока послать костюм Ляле. Продолжительных посылок я отправил Полонским 31 (по 4,4 фунта, — до сих пор это был предельный вес). Большое спасибо за пересылку писем.

Т(атьяна) М(арковна) уже ходит п о ч т и как до несчастного случая, но только почти. Хлопочем о визе во Францию, но я поеду, только если получу право на возвращение (это теперь чрезвычайно трудно). Как Вы живете? Что делаете? Как здоровье Анны Александровны? Сердечный привет Вам всем от нас обоих
Ваш М. Ландау.

13

15 июля 1945

Дорогой Борис Исакович.

Я несколько задержал ответ на Ваше письмо, так как ждал ответа Толстовского фонда — и жду его по сей день. Еще за неделю до Вашего письма от 3 июля я получил из Иэля письмо от С. В. Паниной: она тоже от Кусковой узнала об их бедственном положении и просила меня сделать что возможно в Литературном Фонде. Мы тотчас собрали Президиум и единогласно ассигновали Екатерине Дмитриевне нашу максимальную ссуду: двести долларов, которая и переводится ей в два приема: Швейцария выплачивает не более ста долларов в месяц. При всем самом горячем и общем нашем желании помочь Прокоповичам, мы ежемесячной субсидии назначить не можем: в кассе у нас сейчас не более тысячи долларов, и поступлений до осени не ожидается никаких; да и осенью больших сумм не ожидается: ведь наш бюджет совершенно случайный и скромный. Кроме того, не скрою от Вас, и во Франции есть люди очень заслуженные, которые находятся в таком же положении, как Кускова (например, Мельгунов или Бор(ис) Зайцев). Мы постановили просить Керенского переговорить о Прокоповичах с Бахметевым. Но я знаю, что Бахметев и без того посылает им небольшую субсидию. Может быть, он немного ее увеличит? Ал(ександр) Фед(орович) еще мне этого не сообщил. Я сказал Паниной, что надо получить максимальную сумму и от Толстовского Фонда. С Александрой Львовной⁸² я в самых добрых отношениях, но мне казалось, что Панина добьется лучшего результата. И вот она мне еще не дала ответа о своих переговорах. Толстовский Фонд ненамного богаче нашего, и я не думаю,

чтобы постоянную субсидию мог назначить и он. Если у Лит(ературного) Фонда осенью будут деньги, я постараюсь выхлопотать еще немного (первые сто долларов были посланы тотчас, а вторые будут посланы в начале августа). Если бы Прокоповичи были хоть немного моложе, я посоветовал бы им переехать в С(оединенные) Штаты: все-таки Карнеги Фаундэшен мог бы им устроить визу, а здесь они не пропали бы. Но как же им пускаться в такое путешествие в их возрасте и при болезни С(ергея) Н(иколаевича)! Переехать во Францию? Я знаю, что Е(катерине) Д(митриевне) предлагали работу в «Р(усских) Новостях», — но уж это ей виднее. Сообщите, что Вы сделали(?) в Англии (Кульман⁸³).

Перехожу к политическому Вашему письму. Я получил длинное письмо от Василия Алексеевича о «визите», но оно скрестилось с моим, и на мои доводы он, таким образом, не отвечает. Не могу сказать, чтобы его письмо меня убедило. Да, сам В(асилий) Ал(ексеевич) не капитулировал, но его «группа» (о которой, скажу Вам по секрету, он пишет довольно пренебрежительно) бесспорно капитулировала. Что сказать, например, о докладе Альперина?!⁸⁴ А их «официоз», по-видимому, ничем не отличается от «Сов(етского) Патриота» — по крайней мере в передовых⁸⁵. Первая передовая и ответ Маклакову были именно «чего изволите». Вас(илий) Алексеевич пишет и Коновалову, и мне, что его первая статья в этой газете была, вероятно, и последней⁸⁶. По письмам П. А. Берлина видно, что и некоторые визитеры (как Тер-Погосян) бьют отбой (у них Катценяммер⁸⁷ — пишет Берлин). Я продолжаю считать визит большой ошибкой, хотя, как Вы знаете, не причисляю себя к «непримиримым», не понимая, что это значит. Статьи Вишняка и Федотова, особенно в «За Свободу», чрезвычайно меня раздражают. «Н(овый) Журнал» этих статей не поместил бы при всей своей «коалиционности». Я писал Титову, что если б Сталин дал амнистию, то мы приветствовали бы э т о (а не его), и добавил: не являясь с визитом в посольство. Так же мы приветствовали и победы русской армии. Думаю, следовательно, что Вы тут находите у меня противоречие напрасно. Мои письма и к Вам, и в Париж были построены на том, что ошибкой были в и з и т, и т о с т. Если бы они то же самое сказали в газете или в брошюре, как покойный Павел Николаевич, то это развала политической эмиграции за собой не повлекло бы. Абрам Самойлович⁸⁸ с довольно странной, чтобы не выразиться сильнее, шутливостью сообщает нам (для «петит истуар»), что икра, рябиновка и портвейн

были превосходные. Я очень этому рад, но боюсь, что хуже едят и пьют миллионы ни в чем не повинных людей, сидящих в ужасных лагерях по воле человека, за которого пили портвейн и рябиновку на рю Гренелль («молчаливо», — сообщает Вас(илий) Алексеевич, — но он ничего не слышит: может быть, кое-кто и не совсем молчаливо). Я писал, что «эмиграция его величества» есть нечто совершенно бессмысленное, и остаюсь при этом мнении. Нельзя призывать к возвращению — и сидеть в «Биотерапии»⁸⁹. Нельзя говорить «мы ни от чего не отказывались» и издавать лакейскую газету — или называть ее «нашим официозом». Думаю, что Макалков — не знаю насчет других — относится к первой передовой газеты и к ответу редакции на его статью точно так же, как я (а относительно Вася и не сомневался в этом). Вас(илий) Алексеевич пишет, что предложения вернуться не принял, так как капитан корабля покидает его последним⁹⁰. Как он, при своем редком уме, не почувствовал маленькой доли комического элемента в этих словах: при крушении капитан сходит в лодку последним потому, что оставаться на корабле очень опасно, а быть на лодке менее опасно. Здесь же дело обстоит как раз наоборот: оставаться в Париже совершенно безопасно, тогда как вернуться значит идти на авантюру (напомню хотя бы о Святополке-Мирском). Все же остальные, от Титова до Ступницкого, ни о каком возвращении никогда и не думали, — они рекомендуют это другим. А если вернувшихся постигнут там позже какие-либо неприятности, ну, что ж делать, очень жаль.

Грошу Вас ничего из сказанного в этом моем письме в Париж не сообщать. Теперь дело. Отчего бы Вам не ответить на анкету «Нового Журнала»?⁹¹ Прочтите десятую книгу и пришлите нам ответ (но не позднее конца июля⁹²). Кстати, Вас(илий) Ал(ексеевич) в письме ко мне не отказывается от сотрудничества в «Новом Журнале». Повторяю, он и по независимости характера занимает в группе визитеров совершенно особое место: не боится печататься в оппозиционном журнале!!!⁹³ Надо ли говорить, что Ступницкий никогда не осмелился бы, — если бы мы к нему обратились, чего мы, конечно, не сделаем.

Рады известию о Станкевиче. Нине Васильевне в этом месяце посланы три посылки.

Шлем Вам и Анне Александровне наш самый сердечный привет.

Ваш М. Ландау.

Примечания

¹ Написано по-русски (*англ.*). Указание языка, на котором написано письмо, являлось обязательным цензурным требованием в годы оккупации.

² Пропуск (*фр.*).

³ М. А. Алданов и его жена Татьяна Марковна (урожд. Зайцева).

⁴ Сообщение (*фр.*).

⁵ Милюкову.

⁶ Милюков переехал 7 августа 1940 г. из Виши в Монпелье, откуда через некоторое время перебрался в Экс-ле-Бэн.

⁷ «Последние новости» — крупнейшая в эмиграции русская газета демократического направления (1920—1940, Париж, ред. П. Н. Милюков). Последний номер газеты вышел 11 июня 1940 г., за несколько дней до вступления немецкой армии в Париж. Подробнее о газете см.: Бирман М. В одной редакции: (О тех, кто создавал газету «Последние новости») // ЕКРЗ. Иерусалим, 1994. Вып. 3.

⁸ Жена Полонского Л. А. Полонская (урожд. Ландау, сестра Алданова), и его сын Александр.

⁹ Написано по-русски (*фр.*).

¹⁰ Письма Милюкова к Полонскому см.: *Время и мы*. 1980. № 51, 52.

¹¹ О судьбе «Последних новостей» см. письма Милюкова Эльяшевым; публ. М. Раева (*Новый журнал*. 1997. № 208).

¹² Неустановленное лицо.

¹³ Ср. письмо Вишняка Элькину от 25 ноября 1940 г.: «Вывравшиеся сюда, конечно, должны почитать себя счастливыми. Но устроиться здесь пока что никому не удалось. Всем кое-что обещают. Многое затрудняется незнанием языка. Но и знающие язык тоже без дела. Никто еще не отчаивается и не унывает, но настроение у всех понизилось» (Bodleian Library. Department of Western Manuscripts. Elkin).

¹⁴ См. письма Милюкова Эльяшевым в указ. изд. и М. А. Осоргину 1940—1942 гг.; публ. Т. Осоргиной-Бакуниной (*Новый журнал*. 1988. № 172/173).

¹⁵ О. О. Грузенберг.

¹⁶ Мемуары Грузенберга «Вчера» были изданы в 1938 г. (Париж); в 1944 г. в Нью-Йорке вышел в свет посмертно изданный сборник «Статьи и речи».

¹⁷ В. В. Руднев скончался 19 ноября 1940 г. после операции по поводу рака желудка; Вишняк в цитир. письме указывает дату 16 ноября.

¹⁸ Сестра Татьяны Марковны, жены Алданова.

¹⁹ А. Ф. Керенский.

²⁰ «Новое русское слово» — русская газета в Нью-Йорке; о ней см.: Цынова О. «Новое русское слово» — феномен долголетия // ЕКРЗ. Иерусалим, 1996. Вып. 5.

²¹ Н. Д. Авксентьев.

²² Речь идет об издании «Нового журнала»; см. письма Алданова Элькину в наст. публ.

²³ См. письма Алданова Элькину.

²⁴ Должна быть освобождена, готовится к освобождению (*фр.*).

²⁵ См. указ. публ. писем Милюкова Осоргину и Эльяшевым.

²⁶ Вдова О. О. Грузенберга (урожд. Голосовкер, 1867—1941).

²⁷ Неясно, о чем идет речь.

²⁸ Неустановленное лицо.

²⁹ Зять, муж сестры (фр.).

³⁰ М. И. Цветаева ушла из жизни 31 августа 1941 г., Игорь Северянин (И. В. Лотарев) скончался 20 декабря 1941 г.

³¹ Речь идет о В. А. Маклакове, арестованном нацистами; об арестах в русской диаспоре см.: *Носик Б.* «Конец прекрасной эпохи»: (Война, Холокост и конец Первой русской эмиграции в Париже) // ЕКРЗ. Иерусалим, 1994. Вып. 3; *Мальшева С.* Автографы Компьенского концлагеря // Там же. Иерусалим, 1996. Вып. 5.

³² Е. Д. Кусковой; значительный корпус ее писем хранится в архивном собрании Элькина, в частности, письма с подробным описанием болезни и последних дней жизни Милюкова..

³³ Речь идет об «Очерках истории русской культуры» Милюкова; о дополнительных и переработанных главах о начале культуры на территории будущей России, вышедших в свет как первая часть первого тома лишь в 1964 (*Милюков П. Н.* Очерки истории русской культуры. Т. 1, ч. 1 / Посмертное изд. под ред. Н. Е. Андреева. Гаага: Мутон и Со); Элькин участвовал в подготовке к печати второй части.

³⁴ Экзамен на степень бакалавра (фр.).

³⁵ См. след. письмо.

³⁶ Незадолго до гибели Фондаминский принял в лагере крещение.

³⁷ И. И. Фондаминский.

³⁸ Концентрационный лагерь.

³⁹ Связной, агент связи (фр.).

⁴⁰ РДО — Республиканско-демократическое объединение, созданное Милюковым на базе расколовшейся кадетской партии; платформа РДО — отказ от свержения советской власти вооруженным путем при «моральном неприятии большевизма».

⁴¹ Возможно, речь идет о так называемых тезисах Милюкова о войне, в которых определяется отношение РДО к текущим событиям и дается оценка роли СССР. Написанные в марте 1940, тезисы были опубликованы лишь после освобождения Франции от гитлеровцев. Полностью текст тезисов см. в указ. публ. писем Милюкова Эльяшевым.

⁴² Нина Васильевна Лаврова, вторая жена Милюкова (с 1935).

⁴³ Как душеприказчик Милюкова, Элькин выступал адвокатом в разбирательстве по вопросу о наследстве между вдовой и сыном Милюкова.

⁴⁴ «Русский патриот» (затем «Советский патриот»): орган Союза русских патриотов во Франции (1943—1945, 1945—1948, Париж) — после освобождения — просоветское эмигрантское издание.

⁴⁵ «Русские новости» — просоветская газета (1945—1970; Париж).

⁴⁶ Этот проект осуществлен не был.

⁴⁷ Документальных подтверждений этому найти не удалось.

⁴⁸ О положении дел в редакциях парижских газет см.: Вакар Н. П. Дневник: (1938—1940) / Публ. О. Демидовой // Минувшее. Вып. 24. СПб., 1998. С. 582—587, 598, 600, 603—605 и далее.

⁴⁹ См. указ. публ. писем Милюкова к Осоргину.

⁵⁰ «Сказка о мудрости» «Могила воина», посвященная описанию греческой эпопеи Дж. Г. Байрона, была впервые опубликована в журнале «Русские записки» (1939. № 13, 15, 16).

⁵¹ Вероятно, речь идет о нападении Гитлера на СССР и о поражениях, которые терпела Красная армия в первые месяцы войны.

⁵² А. Г. Зайцевой, тещей Алданова.

⁵³ См. также некролог в «Новом журнале» (№ 4), написанный В. М. Зензиновым.

⁵⁴ Речь идет о статье Керенского «Передышка» (Новый журнал. № 1). См. также письмо Милокова Эльяшеву от 9 июня 1942 г.: «Если Вы читаете „Новый журнал“, не думайте, что мы довольны Александром Федоровичем и Федотовым. Мы только удивляемся Марку Александровичу за такой выбор сотрудников» (Новый журнал. № 208. С. 155). Кроме статьи Керенского, недовольство Милокова вызвала статья Федотова «Новое на старую тему: (К современной постановке еврейского вопроса)».

⁵⁵ «Истоки»; роман печатался в №№ 4, 6—13.

⁵⁶ В пятом номере «Нового журнала» были опубликованы некрологи «П. Н. Милоков» Керенского и «Памяти П. Н. Милокова» Алданова.

⁵⁷ Работу над романом, посвященным гражданской войне в Испании, Алданов начал в канун второй мировой войны; роман публиковался в «Современных записках» (Т. 1—1936. № 62; 1937. № 63, 65; 1938. № 66; отд. изд.: Париж, 1939; Т. 2—1939. № 68—69; 1940. № 70, не оконч.) и «Новом журнале» (Т. 2—1942. № 2, 3).

⁵⁸ Письмо от 2 июля 1942 см.: ЕКРЗ. Вып. 5. С. 233—234.

⁵⁹ Речь идет о статьях «П. Н. Милоков как историк» и Вакара «П. Н. Милоков в изгнании» и статье Милокова «Положение накануне войны» (Новый журнал. № 6).

⁶⁰ А. А. Гольденвейзера.

⁶¹ Вероятно, речь идет о возможности издать «Воспоминания (1859—1917)» Милокова, над которыми он работал в последние годы жизни; книга была подготовлена к изданию Элькиным и Карповичем и вышла в свет в 1955 г. (Нью-Йорк).

⁶² В. А. Маклаков был арестован и несколько месяцев провел в тюрьме на ул. Шерш-Миди..

⁶³ Обширные выдержки из письма от 27 июня 1944 г. см.: ЕКРЗ. Вып. 5. С. 236.

⁶⁴ С. А. Коновалова, в указанное время профессора русского языка и литературы в университете Бирмингема.

⁶⁵ Имена, вошедшие в список: «Иван Бунин, Борис Зайцев, Нина Милокова, Николай Волков, Иракий Церетели, Александр Лихошерстов, Яков Полонский, Анна Зайцева, Георгий Адамович, Игорь Демидов, Владимир Могилевский, Аминат Шполянский (Дон-Аминадо), Августа Даманская, Зоя Каплан, Владимир Азов, Афанасий Петрищев, Яков Рубинштейн, Павел Переверзев, Николай Долгополов (оба вычеркнуты, приписка — оба включены в Tolstoy Foundation. — О. Д.), Николай Кнорринг, Константин Давыдов, Раиса Лебедева, Елизавета Зензинова, Елена Штром, Илья Фондаминский, Андрей Манделъштам, Ангелина Кривицкая, Яков Кобецкий, Муза Раскольников, вдова Чхеидзе, Юрьевский (из «Дней») — Nicolas Volsky; Шейла Вишняк (вычеркнута. — О. Д.); приписка рукой Элькина — «Camille Schumet».

⁶⁶ Т. е. о русских, имеющих так называемые нансеновские паспорта — временные удостоверения личности, введенные Лигой Наций для апатридов и беженцев по инициативе Ф. Нансена; выдавались в 1920-х гг. на основании специальных Женевских соглашений 1922.

⁶⁷ Вероятно, речь идет о статьях Вишняка «О «советской цивилизации» и Федотова «Рождение свободы» (Новый журнал. № 8).

⁶⁸ См. отзывы Маклакова о статье Кобецкого в письмах А. И. Конозалову («Никакого Кобецкого не знал и не видал. Друзья узнали, кто он такой. Стали догадываться и поняли, по крайней мере думаем, что пожар загорелся из-за его сообщения о свидании с Б(огомолowym). Что он сообщал, можно судить только по его словам. Я плохо верю в порядочность человека, который писал в Америку обо мне, не считав нужным проверить у меня, правду ли он пишет с чужих слов. К сожалению, давно убедился, что профессия журналиста такие приёмы воспитывает. Потому не знаю, что он Вам написал. (...) Он, может быть, даже не лгал, по крайней мере сознательно. Достаточно не передавать все целиком, а выхватывать отдельные фразы, чтобы придать [1 нрзб.] любой смысл и характер» — 19 марта 1945 г.; «После этого от него приходило просить у меня интервью. Но зная, что он написал, и не веря в порядочность профессионального журналиста, я к его посредству прибегать не хотел» — 23 апреля 1945 г.), Элькину («В статье Кобецкого все было гнусно искажено и так, что меня самого от моей речи стошнило» — 15 мая 1945 г.) и Николаевскому («Не говоря о корреспонденции Кобецкого, где все сознательно наврано, в интересах «Советского патриота», но даже в статье Абрамовича дело представлено не совсем точно: не делегация ЯВИЛАСЬ к Богомолову, а он ее ПРИГЛАСИЛ» — 22 мая 1945 г.) (Bodleian Library, Department of Western Manuscripts. Mss Russian. Kononov, Elkin. Машинопись, письмо к Николаевскому — копия).

⁶⁹ См. письмо Конозалова Маклакову от 16 июня 1945 г.: «Усилия М. А. Алданова и мои в частности (к сожалению, Александр Ф(едорович) К(еренский) был в этот момент в отсутствии, совершал свое турне по Америке) во всех доступных для нас кругах были направлены к тому, чтобы отложить все суждению по взволновавшему всех вопросу до получения соответствующих разъяснений и информации из первоисточника и ни в коем случае не основываться исключительно на рапортерской (так!) статье Кобецкого из Парижа. Факт посылки мною Вам от имени наших друзей телеграммы, с просьбой о присылке необходимых сообщений и разъяснений, стал известен в различных кругах эмиграции. Обсуждения затихли; созывы совещаний прекратились» (Mss Kononov. Машинопись, копия).

⁷⁰ «Игнорируйте статью Кобецкого. Когда получите наше документальное письмо, наверняка измените свое мнение» (*фр*). См. письмо Маклакова Конозалову от 23 апреля 1945 г.: «Ваша телеграмма все-таки обнаружила такое коренное разномыслие, или вернее такую разницу настроений, которая важнее конкретных поступков. Здесь во Франции тяга к советам так велика, что бороться с ней можно только, уступая во многом, бросая балласт. Возможно, и даже вероятно, позже она ослабеет; но пока мы в медовом месяце. И для того, кто переживал здесь владычество немцев и перспективу их полной победы, для тех ясно, что мы все ближе к Сталину, чем к Гитлеру и Жеребкову. Это одно. А другое (...) Что в России нестерпимые порядки, гнет над человеком, мы не отрицаем; но что улучшения будут проходить медленно, в рамках существующего строя, не революцией, а эволюцией, это вообще достаточно вероятно. А главное даже не в этом. Что может эмиграция делать и как может она содействовать делу теперь? Мы на это отвечаем очень скромной фразой: стараться друг друга узнать. Дальше этого мы не идем. Наш контакт был вызван этим» (Mss Kononov. Машинопись).

⁷¹ Подобное обвинение предъявлялось второму мужу Н. Берберовой Н. В. Макееву; см., напр., письмо Маклакова Элькину от 9 апреля 1945 г.: «Вчера был у меня муж Берберовой.(...). Пришел жаловаться и просить со-

ветов по поводу распространения некими Кобяковым и Полонским ложных и клеветнических слухов о их прошлых сношениях с немцами. Я советовал плюнуть, ибо кроме слухов о распускаемых слухах да нелепых намеков в газете («Честный слон») у него нет ничего. Я лично не слышал ничего про их германофильство» (Mss Elkin. Машинопись). «Честный слон» — литературно-сатирическая газета группы русских участников Сопrotивления (1945—?, Париж, ред. Д. Кобяков).

⁷² Т. е. тем, кого справедливо или несправедливо подозревали в коллаборантстве.

⁷³ См. примеч. 54.

⁷⁴ См. письмо Маклакова Коновалову от 19 марта 1945 г.: «Возьмите хотя бы то, что в здешних сплетнях имело наибольший эффект: говорили, что мы обменялись тостами, в том числе за Сталина. А что действительно происходило. Беседа началась в 12 ч. и продолжалась без перерыва до 2 ч. $\frac{1}{2}$. От голода голова заболела; надо было червячка заморить. Прислуга внесла поднос с рюмками порто и сэндвичами и всех обнесла. Многие, я в том числе, тотчас съели и выпили. Но когда очередной говоривший кончил, Богомолов поднял свою рюмку со словами: „За Советский народ, за Красную Армию и маршала Сталина“. Никто не чокался, все на местах молча выпили. Только Кедров сказал: „за хозяина“. А потом уже в конце после всех речей, когда он всем ответил — он опять встал и сказал: „за гостей“ и со мной чокнулся. Должны ли мы были протестовать, в какой момент и как. От того, чтобы не протестовать в этих условиях до обмена тостами — есть дистанция» (Mss Kononov. Машинопись).

⁷⁵ Неясно, о каком отчете идет речь; машинописную копию протокола свидания 12 февраля Элькин получил от Маклакова только в мае 1945 г. (см. надпись на первой странице рукой Элькина: «Получено от В. А. Маклакова. 1945. Май. Б. Элькин»).

⁷⁶ «Русская жизнь» — ежедневная газета, издается в Сан-Франциско с 1921 г.; «Руль» — ежедневная газета кадетской партии, издавалась в Берлине в 1920—1931 гг. «при ближайшем участии И. В. Гессена, А. И. Каминки, В. Д. Набокова».

⁷⁷ См. письмо Маклакова Коновалову от 17 мая 1945 г. («Обходным путем через Лондон до меня дошли сведения о статье в нашу защиту Полякова-Литовцева. Я ее не видал, не знаю, откуда Поляков мог получить текст наших речей; мы их сегодня послали впервые в Америку. Поскольку из Лондона верно передано содержание его статьи, я с ним согласен. Но эта аргументация не исчерпывает вопроса; чтобы не писать одного и того же два раза, посылаю Вам выдержку моего письма Элькину»), а также письмо Элькину от 15 мая 1945 г., о выдержке из которого, вероятно, пишет Маклаков («С Поляковской аргументацией я совершенно согласен. Это — главное. Мы понимали и чувствовали, что „советская власть“ нас спасает, что ее крушение — наша гибель. И заранее были готовы все ей простить, если она устоит. Но это эмоциональное соображение не все. Поляков не видал другого. Он не переживал с нами поведения наших русских германофилов, холопства перед Гитлером и Германией, антисемитских воплей, которых мы в старой России не слыхивали, и все это во имя непризнания „советской власти“. Быть с ними в этот момент, говорить с ними на одном языке и ругать Советы, даже за то, что в них можно ругать, было бы то же, что во время „погрома“ разбирать подлинные недостатки евреев. Мы могли говорить и думать, как ни гнусны большевики, наци много хуже. Такие переживания обязывают»

(Mss Konovalov, Elkin. Машинопись). Отзыв Маклакова о статье Абрамовича см. в примеч. 65.

⁷⁸ Вероятно, ответная речь Маклакова на приеме, в которой он говорил о русском патриотизме в противоположность патриотизму советскому.

⁷⁹ Судя по письмам Маклакова Коновалову от 17 мая и 6 июня 1945 г., письма с протоколом свидания 12 февраля были посланы из Парижа в Нью-Йорк в середине мая и начале июня 1945 г.

⁸⁰ Алданов неточен, правильное название — «Объединение русской эмиграции для сближения с Советской Россией»; см. «Доклад», сделанный А. С. Альпериним в учредительном собрании членов объединения 24 марта 1945 г. На первой странице — запись рукой Элькина: «Получено от В. А. Маклакова. 1945. Май. Б. Элькин».

⁸¹ Т. е. в советское посольство.

⁸² А. Л. Толстой, главой Толстовского фонда.

⁸³ Далее обрыв текста.

⁸⁴ См. примеч. 77.

⁸⁵ Речь идет о газете «Русские новости».

⁸⁶ Статья Маклакова «Советская власть и эмиграция» была опубликована во втором номере «Русских новостей» от 25 мая 1945 г. с обширными редакционными замечаниями и перепечатана в «Новом русском слове» 10 июня 1945 г. с редакционным вступлением, в котором, в частности, говорилось, что «статья и редакционные к ней замечания позволяют русскому читателю ознакомиться с настроениями, которые господствуют в значительной части русской эмиграции и которые привели к нашумевшему посещению группой эмигрантских деятелей во главе с В. А. Маклаковым советского посольства в Париже».

См. также письмо Маклакова Коновалову от 6 июня 1945 г.: «Одновременно посылаю относящийся к тому же вопросу номер новой газеты, где помещена была моя статья. По многим причинам думаю, что она первая, но и последняя. Хотя редакция сочла нужным от нее отмежеваться после того, как я по ее желанию многое в ней смягчил, но она соответствует той общей идеологии, которая привела к нашему визиту (...)» (Mss Konovalov. Машинопись).

⁸⁷ От нем. Katzenjammer — похмелье.

⁸⁸ Альперин.

⁸⁹ В помещении института Биотерапии происходили собрания эмигрантов и Маклаковской группы.

⁹⁰ См. письмо Маклакова Коновалову от 17 мая 1945 г.: «На вопрос о том, хотел ли бы я в Россию поехать, я ему отвечал, что очень хотел бы, но что этот вопрос поставлю себе только тогда, когда все желающие смогут поехать, что сторваться от эмиграции: я не могу по своему положению (...) я как капитан корабля сажусь на шлюпку последний, а не раньше других (...)» (Mss Konovalov. Машинопись).

⁹¹ В № 10—11 «Нового журнала» под общим заголовком «Эмиграция и советская власть» была опубликована подборка мнений видных деятелей эмиграции по поводу визита 12 февраля. Ответы на анкету дали Вишняк, Вакар, Денике, Соловейчик (до получения разъяснительного письма Маклакова), Коновалов, Мельгунов (после получения письма); публикация предварялась редакционным предисловием и завершалась редакционным обобщением.

⁹² Далее обрыв текста.

⁹³ В «Новом журнале» были опубликованы фрагменты воспоминаний Маклакова «Перед второй Думой» (№ 12), «Канун революции» (№ 14), «Ф. И. Родичев и А. Р. Ледницкий» (№ 16) и статья «Еретические мысли» (№ 19—20). В № 50 была помещена некрологическая статья М. Новикова «Памяти В. А. Маклакова».

Список имен

Абрамович Рафаил Абрамович (наст. фам. Рейн; 1880—1963) — общественно-политический деятель, бундовец, меньшевик, журналист, основатель (совместно с Ю. Мартовым) журнала «Социалистический вестник» (1921).

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878—1943) — общественно-политический деятель, публицист, мемуарист; соредактор журнала «Современные записки» (1920—1940), сборника «П. Н. Миллюков: Сборник материалов» (1930). О нем см.: Вишняк М. В. «Современные записки»: Воспоминания редактора. СПб.; Дюссельдорф, 1993.

Азов — см. Ашкенази

Альперин Абрам Самойлович — общественно-политический деятель, деятель сионистского движения; один из основателей Объединения русских евреев (1933, Париж).

Апостол Павел Николаевич (1872—1942) — служащий российской торговой палаты при царском посольстве в Париже; журналист. В эмиграции сотрудник «Последних новостей», «Временника друзей русской книги», «Звезда» (Париж). Подробнее о нем см.: Телицын В. Они погибли тогда... // Русское еврейство в зарубежье. Иерусалим, 1998. Вып. 1(6).

Аронсон Григорий Яковлевич (1887—1968) — общественно-политический деятель, меньшевик; журналист, публицист, мемуарист. Член ЦК Бунда (1922—1951), сотрудник редакции газеты «Новое русское слово» (1944—1957, Нью-Йорк). О нем см.: *Серман И.* Григорий Яковлевич Аронсон // ЕКРЗ. Иерусалим, 1995. Вып. 4.

Ашкенази Владимир Александрович (1873—1941) — журналист, фельетонист, переводчик; сотрудник «Сатирикона» (1931, Париж).

Барятинский Владимир Владимирович, князь (1874—1941) — драматург, журналист; сотрудник «Современных записок».

Бахметев (Бахметьев) Борис Александрович (1880—1951) — ученый, общественно-политический деятель, последний посол России в США (1917—1922), с 1931 г. профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк), один из членов-учредителей Американского национального фонда научных исследований.

Бенедиктов — см. Берхин

Берлин Павел Абрамович (1877—1962) — историк, журналист, публицист.

Берхин Михаил Уриевич (Юрьевич; 1885—1952) — журналист, сотрудник «Последних новостей», сионистского еженедельника «Рассвет» и других изданий эмиграции. О нем см.: *Седых А.* Русские евреи в эмигрантской литературе // Книга о русском еврействе: 1917—1967. Нью-Йорк, 1968.

Бикерман Иосиф Манасиевич (Менассиевич; 1867—1942) — журналист, публицист, литературный критик.

Брамсон Леонтий Моисеевич (1869—1941) — публицист, адвокат.

Бруцкус Борис (Бэр) Давидович (1878—1938) — экономист, агроном. О нем см.: Каган В. Борис Бруцкус: ученый и правозащитник // ЕКРЗ. Иеру-

салим, 1992. Вып. 1; Роголина Н. Читая письма Бориса Бруцкуса: (письма экономические, политические, домашние) // ЕКРЗ. Иерусалим, 1996. Вып. 5.

Булгаков Валентин Федорович (1886—1966) — библиограф, мемуарист. Секретарь Л. Н. Толстого (1910). Автор «Словаря русских зарубежных писателей» (Нью-Йорк, 1993). В 1923—1948 г. жил в Праге; в 1941 г. арестован гестапо, три месяца содержался в тюрьме; в 1943—1945 г. находился в лагере для интернированных советских граждан (Бавария); после возвращения в СССР служил хранителем Дома-музея Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. О нем см.: Ванечкова Г. Личность Валентина Федоровича Булгакова // Булгаков В. Словарь русских зарубежных писателей. Нью-Йорк, 1993.

Бурцев Владимир Львович (1862—1942) — историк, публицист, издатель, мемуарист. Издатель и редактор газеты «Общее дело» (1909—1910, 1917, Петербург-Петроград; 1918—1922, 1928—1933, Париж), соредaktor журнала «Борьба за Россию» (1926—1931), сборника «Былое» (1933). Один из организаторов Русского национального комитета в Париже.

Вакар Николай Платонович (1893—1970) — журналист, сотрудник «Последних новостей»; один из организаторов «Общества изучения народов России» (1938—1939). О нем см.: Вакар Н. П. Дневник: (1938—1940) / Публ. О. Демидовой // Минувшее. Вып. 24. СПб., 1998.

Вишняк Марк Вениаминович (1883—1975) — общественно-политический деятель, адвокат, публицист, журналист, мемуарист. Соредaktor журнала «Современные записки» (1920—1940), секретарь редакции журнала «Русские записки» (1937—1939). См. его воспоминания: Вишняк М. В. «Современные записки»: Воспоминания редактора. СПб.; Дюссельдорф, 1993.

Волков Николай Константинович — коммерческий директор «Последних новостей».

Вреден Николай Романович — переводчик, издательский деятель.

Вышеславцев Борис Петрович (1877—1954) — философ, литературный критик, публицист, мемуарист. Соучредитель Религиозно-философской академии, сотрудник Русского научного института в Берлине, деятель РСХД, редактор издательства ИМКА-пресс.

Гессен Иосиф (Осип) Владимирович (1865—1943) — общественно-политический деятель, юрист, публицист, мемуарист. Соредaktor берлинской газеты «Руль» (1920—1931), председатель берлинского Союза русских писателей и журналистов (1920-е), издатель «Архива русской революции» (1921—1937). О нем см.: Гессен В. Ю. Иосиф Гессен: юрист, политик и журналист // ЕКРЗ. Иерусалим, 1992. Вып. 2; Он же. Жизнь и деятельность И. В. Гессена — юриста, публициста и политика. СПб.: Сударыня, 2000. См. также его мемуары: Гессен И. В. Годы изгнания: Жизненный отчет. Париж, 1979.

Гольденвейзер Алексей Александрович (1890—1979) — юрист, общественный деятель, публицист, один из руководителей Общества друзей «Нового журнала». О нем см.: Рогачевский А. Борис Элькин и его оксфордский архив // ЕКРЗ. Иерусалим, 1996. Вып. 5.

Грузенберг Оскар Осипович (1866—1940) — адвокат, участник процесса М. Бэйлиса, защитник многих российских писателей и общественных деятелей, мемуарист.

Гурвич Георгий Давидович (1894—1965) — социолог, экономист.

Даманская Августа Филипповна (1875—1959) — прозаик, переводчица, журналистка, мемуаристка. О ней см.: Даманская А. На экране моей памяти / Публ. О. Демидовой // Лица. Вып. 7. СПб., 1996; Новый журнал. 1995. № 198/199; 201 (публ. О. Демидовой); 1996. № 202 (публ. М. Раева).

Дан Федор Ильич (наст. фам. Гурвич; 1871—1947) — социал-демократ, меньшевик; соредaktor журнала «Социалистический вестник» (1922—1940), глава Заграничной делегации партии с.-д. меньшевиков (1923—1940).

Делевский — см. Юделевский.

Демидов Игорь Платонович (1873—1946) — общественно-политический деятель, кадет; журналист; внук В. Даля. Заместитель редактора «Последних новостей».

Долгополов Николай Саввич — общественно-политический деятель, кадет, участник земского движения; по образованию врач.

Зайцев Леон Моисеевич (?) (? — 1946) — юрист.

Зайцева Анна Григорьевна — мать жены М. А. Алданова

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953) — общественно-политический деятель, эсер, прозаик, публицист, мемуарист. Соредaktor газеты «Pour la Russie» (1920), газеты, затем журнала «Воля России» (1920—1922), член редакционной коллегии журнала «Современные записки» (1920—1940).

Извольская Елена Александровна (1896—1975) — прозаик, переводчица, деятельница экуменического движения; дочь последнего императорского посла во Франции А. П. Извольского. О ней см.: The Third Hour. Helen Izvolsky Memorial Volume. N.-Y., 1976.

Каннегисер Елизавета Иоакимовна (? — 1942/43) — дочь Р. Л. Каннегисер, сестра Л. И. Каннегисера; в начале оккупации депортирована в Германию, погибла в концлагере.

Каннегисер Роза Львовна (урожд. Сакер; 1863—1946) — мать Л. И. Каннегисера (1896—1918).

Кантор Михаил Львович (1884—1970) — поэт, литературный критик, юрист. Секретарь редакции газеты «Звено» (1923—1926, Париж), соредaktor журнала «Встречи» (1934), составитель (совместно с Г. Адамовичем) антологий эмигрантской поэзии «Якорь» (Париж, 1936). О нем см.: Коросталев С. Парижское «Звено» (1923—1928) и его создатели // Русское еврейство в зарубежье. Иерусалим, 1998. Вып. 1 (6). Приложение.

Карпович Михаил Михайлович (1888—1959) — историк, публицист, мемуарист. С 1943 г. соредaktor, в 1945—1959 гг. главный редактор «Нового журнала».

Кистяковский Игорь Александрович (1876—1940) — юрист; в 1918 г. бежал на Украину, входил в гетманское правительство, занимал посты генерального судьи, державного секретаря, министра внутренних дел.

Ключников Юрий Вениаминович (1888—1938) — общественно-политический деятель, кадет; правовед, драматург. Участник политической группы «Смена вех» (с февраля 1921), редактор журнала «Смена вех» (1921—1922, Париж). В августе 1923 г. вернулся в Россию, во второй половине 1930-х гг. арестован, погиб в заключении.

Кнорринг Николай Николаевич (1880—1967) — историк, журналист; отец поэтессы И. Н. Кнорринг; сотрудник «Последних новостей», член правления Тургеневской библиотеки.

Кобецкий Я. Я. — журналист, ведущий отдела биржевой хроники в «Последних новостях».

Ковалевский Евграф Петрович (1866—1941) — общественный деятель, деятель образования; церковный деятель; в эмиграции товарищ председателя Русского национального комитета, один из организаторов Делового объединения русской эмиграции, член Епархиального совета, Приходского совета Александро-Невской лавры (Париж).

Коварский И. Н. — общественный деятель; врач.

Коган Александр Эдуардович — издатель. О нем см.: *Левитан И.* Русские издательства в 1920-х гг. в Берлине // Книга о русском еврействе: 1917—1967. Нью-Йорк, 1968.

Коновалов Александр Иванович (1875—1948) — общественно-политический деятель, председатель Союза общественных организаций, председатель правления «Последних новостей».

Коновалов Сергей Александрович (1899—1982) — славист, профессор русского языка и литературы Бирмингемского (1929—1945), затем Оксфордского университетов; сын А. И. Коновалова. О нем см.: *Казнина О.* Русские в Англии: Русская эмиграция в контексте русско-английских литературных связей в первой половине XX века. М., 1997 (по оглавл.).

Кривошеин Игорь Александрович (? — 1987) — общественно-политический деятель, сын царского министра земледелия А. В. Кривошеина; возвращенец, реэмигрант. Председатель Содружества русских добровольцев, партизан и участников Сопrotивления (1945), председатель на учредительном съезде Союза советских граждан (15 августа 1947); в ноябре 1947 г. выслан в советскую зону Германии, в феврале 1948 — в СССР, репрессирован, реабилитирован. В 1974 г. вернулся в Париж. См. воспоминания его жены: *Кривошеина Н. А.* Четыре трети нашей жизни. Париж, 1984.

Кулишер Александр Михайлович (1890—1942) — историк, социолог, правовед; журналист; кадет. Сотрудник «Последних новостей». В годы оккупации арестован нацистами, погиб в концлагере. О нем см.: *Телицын В.* Они погибли тогда...

Кускова Екатерина Дмитриевна (ур. Есипова; 1869—1958) — общественно-политический деятель, социолог, публицист, издательница, мемуаристка; в третьем браке жена С. Н. Прокоповича.

Ладинский Антонин Петрович (1896—1961) — поэт, прозаик, переводчик, журналист, мемуарист. Сотрудник «Последних новостей». С 1944 г. член Союза русских патриотов, сотрудник газеты «Советский патриот»; в марте 1955 г. вернулся в СССР.

Лозинский Григорий Леонидович (1889—1942) — литературовед и историк; брат М. Л. Лозинского. Сотрудник «Последних новостей» и «Звена».

Лукин А. П. — отставной капитан, сотрудник «Последних новостей».

Луиц Григорий Максимович — букинист, книготорговец, друг М. М. Карповича, знакомый М. А. Алданова.

Марков Александр Порфирьевич — сотрудник «Последних новостей».

Мельгунов Сергей Петрович (1879/80—1956) — общественно-политический деятель, историк, публицист, издатель, мемуарист. Соредатор журналов «Голос минувшего на чужой стороне» (1926—1928, Париж), «Борьба за Россию» (1926—1931, Париж), редактор журналов «Свободный голос» (1946—1957, Париж), «Возрождение» (1949—1954, Париж). Председатель Союза борьбы за свободу России (1946—1956).

Метальников Сергей Иванович (1870—1946) — биолог, основоположник психонейроиммунологии. Товарищ председателя правления Русского народного университета (1922—1923, Париж), участник 1-го съезда Русских академических организаций (1921, Прага), член избирательной комиссии 1-го съезда Русского национального объединения (1921, Париж).

Миллер Владимир Анатольевич (1885—1958) — муж Е. Л. Миллер, сестры М. Л. и Г. Л. Лозинских.

Милюкова Нина Васильевна (урожд. Лаврова) — вторая жена П. Н. Милюкова.

Миркин-Гецевич Борис Сергеевич (Б. Мирский) — журналист, сотрудник «Последних новостей».

Михельсон А. А. — экономист; сотрудник «Последних новостей».

Могилевский Владимир Андреевич — главный бухгалтер, кассир, заведующий конторой «Последних новостей».

Неманов Лев Моисеевич — женевский корреспондент «Последних новостей».

Нессельроде Карл Васильевич, граф (1780—1862) — министр иностранных дел (1816—1856), канцлер.

Николаевский Борис Иванович (1887—1967) — общественно-политический деятель, меньшевик; историк революционного движения, публицист, архивист; представитель Института Маркса и Энгельса за границей (1924—1931), директор парижского отделения Международного института социальной истории (Амстердам).

Одинец Дмитрий Михайлович (1883—1950) — историк права, профессор Сорбонны и Русского народного университета в Париже, глава Тургеневской библиотеки (1925—1940); возвращенец. После Второй мировой войны один из руководителей, затем глава Союза русских патриотов. В марте 1948 г. депортирован в советскую зону Германии, в 1948—1950 гг. жил в Казани, преподавал в Казанском университете.

Панина Софья Владимировна, графиня (1871—1957) — общественная деятельница, член партии кадетов, падчерица И. И. Петрункевича. Организатор «Русского очага» в Праге, сотрудница Комитета помощи русским эмигрантам в США (Толстовского фонда).

Петрищев А. Б. — журналист, сотрудник «Дней» А. Ф. Керенского, «Последних новостей».

Пильский Петр Мосеевич (1879—1941) — журналист, литературный критик, прозаик, публицист, мемуарист. Сотрудник газеты «Последние известия» (1922—1926, Таллин), глава литературного отдела газеты «Сегодня» (1926—1940, Рига), редактор журнала «Литература и жизнь» (1928, Рига). О нем см.: *Абызов Ю.* Рижская газета «Сегодня» — кто ее делал, кто в ней печатался и кто ее читал // ЕКРЗ. Иерусалим, 1992. Вып. 2.

Поляк Лев Соломонович — общественный деятель

Поляков Александр Абрамович (1879—1971) — журналист, секретарь редакции, затем заместитель главного редактора «Последних новостей» (сер. 1920-х — 1940). О нем см.: *Бирман М.* В одной редакции : (О тех, кто создавал газету «Последние новости») // ЕКРЗ. Иерусалим, 1994. Вып. 3.

Поляков Сергей Георгиевич (1900—1969) — художник.

Поляков-Литовцев — см. *Поляков С. Л.*

Поляков Соломон Львович (1875—1945) — журналист, публицист, прозаик, поэт, драматург, переводчик, мемуарист.

Прокопович Сергей Николаевич (1871—1955) — общественно-политический деятель, кадет, экономист, публицист; муж Е. Д. Кусковой. Организатор и руководитель Русского экономического кабинета (1922—1924, Берлин, с 1924 Прага), один из организаторов Русского научного института в Берлине, организатор Института по изучению народного хозяйства СССР (1928, Прага). Редактор «Бюллетеня Экономического кабинета» (1924—1938, Прага), «Русского экономического сборника» (1925—1928, Прага).

Ратнер Евсей Владимирович (1905—1970) — сотрудник «Последних новостей».

Роговский Евгений Францевич (1888 — ?) — директор Русского дома для престарелых в Жуан-ле-Пэн (1940-е).

Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924) — общественно-политический деятель, октябрист; в дни Февральской революции председатель Временного комитета Государственной думы.

Рубинштейн Яков Львович — председатель юридической комиссии при Земгоре по правовому положению русских беженцев, бывший член правления Нансеновского офиса при Лиге Наций.

Руднев Вадим Викторович (1879—1940) — общественно-политический деятель, эсер; журналист, издатель; один из основателей и соредактор «Современных записок» (1920—1940).

Руднева Вера Ивановна (1897—1952) — общественно-политический деятель, эсерка; жена В. В. Руднева.

Рутенберг Петр (Пинхус) Моисеевич (1878—1942) — общественно-политический деятель, эсер; деятель сионистского движения; по образованию инженер. Организовал казнь Г. А. Гапона в 1906. Организатор «Еврейского социалистического комитета» (1915, Нью-Йорк), после 1917 уехал в Палестину.

Саблин Евгений Васильевич (1875—1949) — общественно-политический деятель, публицист; официальный представитель русской эмигрантской общины в Великобритании.

Сватиков Сергей Григорьевич (1880—1942) — общественно-политический деятель, историк, журналист. Сотрудник газеты «Общее дело», журналов «Родимый край», «Донская летопись» (Вена), «Казачьего журнала». Парижский представитель Русского заграничного архива в Праге, член правления Тургеневской библиотеки.

Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (наст. фам. Мирский; 1890—1939?1946?1952?) — литературный критик, историк литературы, публицист; в эмиграции с лета 1920 г. (Афины), с осени 1922 г. в Великобритании, преподавал русскую литературу в Лондонском университете; один из редакторов журнала «Версты»; в 1931 г. вступил в коммунистическую партию Великобритании, в 1932 г. получил советский паспорт и уехал в СССР; в 1937 г. арестован, погиб в концлагере

Слащев Яков Александрович (1885/86—1929) — военный деятель, генерал-лейтенант (1920). В Гражданскую войну командовал корпусом в армиях А. И. Деникина и П. Н. Врангеля, эмигрировал в Турцию; в 1921 г. вернулся в Россию, служил в Красной Армии.

Слоним Марк Львович (1894—1976) — общественно-политический деятель, эсер; литературный критик, историк литературы, публицист, мемуарист; племянник Ю. И. Айхенвальда. Редактор журнала «Новости литературы» (1922, Прага), соредактор журналов «Воля России» (1922—1932, Прага), «Социалист-революционер» (1927—1932, Париж). Организатор, затем председатель литературной группы «Кочевье» (1928, Париж). После Второй мировой войны лидер просоветской группы «утвержденных». О нем см.: *Малевиц О.* Три жизни и три любви Марка Слонима // ЕКРЗ. Иерусалим, 1994. Вып. 3.

Соловейчик Самсон Моисеевич (1889—?) — журналист, общественно-политический деятель; эсер; в эмиграции после октября 1917 г. (Одесса—Вена—Берлин—Париж), ближайший помощник Керенского по редактирова-

нию газеты «Дни» и журнала «Новая Россия» (1936—1940); с начала 1940-х гг. в США, с 1946 г. профессор Канзасского университета

Сталинский Евсей Александрович (1880—1953) — общественно-политический деятель, эсер; публицист, прозаик, литературный критик. Член Административного центра Внепартийно-демократического объединения (1920—1922). Соредатор журналов «Воля России» (1924—1932, Прага), «Социалист-революционер» (1927—1932, Париж).

Струве Глеб Петрович (1898—1985) — литературовед, литературный критик, публицист, поэт, переводчик, мемуарист; автор книги «Русская литература в изгнании» (Нью-Йорк, 1956). О нем см.: *Лаппо-Данилевский К. Ю.* Глеб Струве — историк литературы // Струве Г. П. Русская литература в изгнании. 3-е изд., испр. и доп. Париж; М., 1996.

Ступницкий Арсений Федорович (1893—1951) — юрист, журналист, сотрудник «Последних новостей», после Второй мировой войны близок к движению советских патриотов, редактор просоветской газеты «Русские новости».

Сухомлин Василий Васильевич (1885—1963) — общественно-политический деятель, эсер; публицист, переводчик. Соредатор журнала «Воля России» (1922, Прага); в 1947 г. принял советское подданство, в 1954 г. возвратился в СССР.

Тер-Погосян Михаил Матвеевич (1890—1967) — общественный деятель; юрист. Близкий сотрудник В. А. Маклакова, председатель общества «Быстрая помощь» (Париж).

Тимашев Николай Сергеевич (1886—1970) — общественно-политический деятель, социолог, правовед, основоположник социологии права. Сотрудник газеты «Возрождение» (1928—1932, Париж), профессор Пражского университета, Славянского института при Сорбонне и Франко-русского института, Фордэмского университета (США) и многих других. О нем см.: Гольденвейзер А. А. Русский юрист в эмиграции: Речь на чествовании пятидесятилетия научной деятельности Н. С. Тимашева // Новый журнал. 1966. № 84.

Толстая Александра Львовна (1884—1979) — общественный деятель, публицист, мемуаристка; дочь Л. Н. Толстого; основатель Толстовского фонда.

Устрялов Николай Васильевич (1890—1937) — общественно-политический деятель, кадет; правовед, публицист, мемуарист. Профессор государственного права юридического института Харбина (1920—1934), соредатор альманаха «Русская жизнь» (1922—1923, Харбин). Один из идеологов сменовеховского движения; летом 1925 г. посетил СССР, в 1935 г. вернулся в СССР. В июне 1937 г. арестован, расстрелян.

Федотов Георгий Петрович (1886—1951) — философ, богослов, историк, литературный критик, публицист. Активный деятель РСХД (с лета 1927), соредатор журналов «Вестник РСХД» (1930—1931), «Новый град» (1931—1939, Париж); участник «Лиги православной культуры» (с 1930), объединения «Православное дело» (с 1935), литературного объединения «Круг». О нем. См.: *Яновский В. С.* Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк, 1983 (по указат. имен).

Фрумкин Я. Г. (? — 1971) — общественно-политический деятель, народный социалист, деятель сионистского движения, с 1957 председатель исполнительного бюро Союза русских евреев (Нью-Йорк); адвокат, мемуарист.

Фрумсон А. А. — общественный деятель, сотрудник Русского научного института (Берлин).

Фундаминский (Фондаминский) Илья Исидорович (псевд. Бунаков; 1880—1942) общественно-политический деятель, эсер; публицист, издатель. Соредактор журналов «Современные записки» (1920—1940), «Новый град» (1931—1939); организатор объединения «Круг» (1935—1939, Париж), один из организаторов «Лиги православной культуры»; деятель РСХД, участник объединения «Православное дело». В 1941 г. арестован нацистами, погиб в концлагере. О нем см.: *Вишняк М. В.* «Современные записки»: Воспоминания редактора. Гл. 3; *Кузнецова Г.* Грасский дневник. М., 1995. С. 70, 80, 144—145, 152—153, 185, 236, 239, 251, 253, 279; *Яновский В. С.* Поля Елисейские... (по указат. имен).

Цвибак Яков Моисеевич (1902—1994) — журналист, писатель, литературный критик, мемуарист. В 1933 г. сопровождал И. А. Бунина в Стокгольм для получения Нобелевской премии. Сотрудник «Последних новостей» (Париж), «Сегодня» (Рига), с 1942 г. сотрудник, затем (с начала 1970-х) главный редактор «Нового русского слова» (Нью-Йорк). О нем см.: *Цыпкина О.* «Новое русское слово» — феномен долголетия // ЕКРЗ. Иерусалим, 1996. Вып. 5; *Глэд Д.* Беседы в изгнании: Русское литературное зарубежье. М., 1991. См. также его мемуары «Далекие, близкие...» (Нью-Йорк, 1962).

Церетели Ираклий Георгиевич (1881—1959) — общественно-политический деятель, меньшевик; публицист, мемуарист. Один из организаторов Грузинской демократической республики (май 1918), член Учредительного собрания Грузии, один из руководителей грузинской делегации на Парижской мирной конференции (январь 1919). Представитель грузинской социал-демократической партии в Международном социалистическом бюро и исполкоме Социнтерна.

Чернов Виктор Михайлович (1883—1952) — общественно-политический деятель, эсер; социолог, публицист, мемуарист. Председатель Учредительного собрания (январь 1918, Петроград), соиздатель журнала «Революционная Россия» (1920—1931). Участник французского Сопротивления. Один из организаторов «Лиги борьбы за народную свободу» (1949, Нью-Йорк).

Чхеидзе Николай Семенович (1864—1926) — общественно-политический деятель, один из лидеров меньшевиков; публицист. Председатель Закавказского сейма, Учредительного собрания Грузии; покончил жизнь самоубийством (Париж).

Штром Елена Николаевна (? — 1962) — машинистка редакции «Последних новостей».

Шуб Давид Натанович (1888—1973) — общественно-политический деятель, меньшевик; деятель еврейско-американского рабочего движения, журналист. См. о нем: Раев М. К истории русской иммиграции в США в первой половине XX века // ЕКРЗ. Иерусалим, 1995. Вып. 4.

Югов — см. *Фрумсон*

Юрьевская Екатерина Михайловна, светлейшая княгиня (ур. княжна Долгорукова; 1849—1922) — морганатическая жена имп. Александра II (с 19 июля 1880).

СУДЬБЫ ФИЛОЛОГОВ

ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ ЭТКИНД (1918—1999)

«...Вернувшему нам надежду»

*Предисловие, подготовка текста и общая редакция
П. Л. Вахтиной и М. Д. Яснова (С.-Петербург)*

Настоящая подборка продолжает серию публикаций, посвященных жизни, научной и литературной деятельности Ефима Григорьевича Эткинда (1918—1999). В последнее время увидели свет некоторые его прежде неопубликованные произведения, а также появился ряд статей мемуарного и исследовательского характера (Иностранная литература. 2000. № 6; Звезда. 2000. № 6; Всемирное слово. 2000. № 13). Кроме того, вышли две книги Е. Г. Эткинда, подготовленные им еще при жизни: «Записки незаговорщика. Барселонская проза» (СПб., 2001) и «Проза о стихах» (СПб., 2001). Нынешняя публикация представляет жанровое разнообразие творчества Ефима Григорьевича, расширяет хронологию и географию биографических материалов и является прологом к большой книге мемуаров и последующих изданий его литературного наследия.

В первом разделе предлагаемой публикации собраны воспоминания об Эткинде; открывается этот раздел записью разговора с ним, которую в апреле 1992 г. сделал в Барселоне преподаватель Барселонского университета Рикардо Сан Бисенте — философ, филолог и переводчик русской литературы. Он принимал участие в организации известной встречи советских демократов с диссидентами в Барселоне в 1988 г., но особенно сблизился с Ефимом Григорьевичем во время приездов последнего в Испанию в начале 1990-х гг. Запись охватывает значительную часть жизни Е. Г. Эткинда; основной пафос этого разговора — взаимоотношение интеллигенции и советского режима в разных его проявлениях, отношение интеллигенции и власти на протяжении фактически последних шестидесяти лет, вплоть до «бесструктурного существования», по словам самого Эткинда, в первой половине 1990-х гг.

Эта эпоха охватывает и те отдельные эпизоды и периоды, которым посвящены другие публикуемые нами воспоминания. Профессор Илья Захарович Серман вспоминает в основном 1930-е гг., пору совместной учебы на филологическом факультете Ленинградского университета, когда формировались литературные пристрастия и политические взгляды Ефима Григорьевича. И. З. Серман подчеркивает, что Эткинд «не был диссидентом, но вся его многогранная переводческая и исследовательская многолетняя деятельность своим содержанием противоречила официальной политике унификации культуры. Тому, что в свое время Щедрин назвал «введением обязательного единомыслия».

Частному случаю (но далеко не с частными последствиями) борьбы Е. Г. Эткинда с «обязательным единомыслием» посвящены воспоминания историка Михаила Рувимовича Хейфеца о политическом деле, связанном с машинописным собранием сочинений И. Бродского. Это дело (вкуче с дружеским участием Эткинда в судьбе А. И. Солженицына) сыграло, как известно, решающую роль в высылке Ефима Григорьевича из страны.

Наконец, профессор Борис Федорович Егоров вспоминает о наиболее трагическом эпизоде «предотъездской» жизни Е. Г. Эткинда — увольнении его из Герценовского института и исключении из Союза писателей. Вся эта история (описанная самим Эткиндом в «Записках незаговорщика») рассказана с точки зрения друга и коллеги, непосредственно вовлеченного в те памятные события. Она подводит итог «советскому» периоду жизни Ефима Григорьевича и открывает страницы последних двадцати пяти лет его не менее интенсивной и значительной научной и литературной деятельности на Западе.

«Французскую тему» в творчестве Эткинда раскрывают собранные во втором разделе несколько его так называемых «Парижских писем», эссе, первоначально подготовленных для русской службы «Би-би-си» и звучавших по радио в 1980-е гг. Это был взгляд из Европы — на саму Европу, прежде всего на Францию, и на Россию. В круг зрения попадали злободневные события из общественной и культурной жизни, премьеры фильмов и выставки, выход новых книг и присуждение литературных премий, юбилеи и прощания с друзьями. Собственно, это был разговор, который Ефим Григорьевич вел изо дня в день в своей прежней жизни, — только там этот разговор был скорее камерным, как пошелось в советском быту, — «на кухне»; теперь он стал достойным широкой аудитории и не раз приобретал острое политическое звучание. И все же это был разговор прежде всего литературный и о литературе — как те два эссе, которые вошли в настоящую публикацию. Они посвящены памяти выдающихся деятелей французской — и мировой — культуры: Франсуа Трюффо и Жана Ануя.

Третий раздел отдан внушительному корпусу переписки Е. Г. Эткинда с Натальей Александровной Роскиной, — эта переписка охватывает десятилетие, с 1977 по 1987 г., и является существенной частью литературного наследия обоих адресатов. Н. А. Роскина (1927—1989), литера-

туровед, специалист по русской литературе, принимала участие в изданиях произведений Тургенева, Герцена, Чехова, а также была автором воспоминаний о своих современниках. Частично эти воспоминания (об А. Ахматовой, Н. Заболоцком, В. Гроссмани и Н. Берковском) вышли в 1980 г. в Париже под названием «Четыре главы». С Н. Роскиной Е. Эткинда связывали не только профессиональные интересы, но и глубокая дружба. Публикуемая переписка дает характерный срез того особого дружества, которым отличались представители советской интеллигенции 1960—1980-х гг. ушедшего века в своем противостоянии власти и официальной культуре и которое было более чем важным в судьбе самого Е. Г. Эткинда.

В одном из первых писем к Н. А. Роскиной Ефим Григорьевич рассказал о готовящемся издании французского Пушкина, ради чего он собрал коллектив «самоотверженных и талантливых» переводчиков. Завершается это письмо словами: «Один из моих переводчиков сегодня прислал мне книжку своих стихов, а в надписи сказано: „(Такому-то)... вернувшему нам надежду“. Вот что я хотел бы за собой сохранить — такое название». Публикуемые ныне материалы свидетельствуют о том, что «такое название» сохранено, они возвращают и нам надежду на то, что общение с Ефимом Григорьевичем Эткиндом продолжается и будет еще долго длиться.

I

Воспоминания

*Рикардо Сан Висенте
Барселона*

Разговор с Ефимом Григорьевичем Эткиндом (Барселона, апрель 1992 г.)

Я познакомился с Ефимом Григорьевичем в середине 80-х годов в Мадриде. В марте 1988 года мы встретились в Дании на первой встрече советских интеллигентов с так называемыми диссидентами. Потом он приехал на похожий симпозиум в Барселону, в котором участвовали писатели и публицисты из СССР и зарубежья. Но только в 1990-е годы мне посчастливилось познакомиться с ним поближе и пообщаться в более спокойной обстановке в Барселоне и в Париже.

Мало что нового могу я рассказать об этом действительно великом человеке. Помню, конечно, его офицерскую осанку, его всегда спокойные, обстоятельные ответы — наше общение состояло в основном из его ответов на мои постоянные вопросы, будь то о войне, о Державине или о Чехове, — его всегда любезные и иногда каверзные вопросы: «Скажи-

те, пожалуйста, Рикардо, а почему...», его эффектность при чтении, сценические приемы, лирические тирады и многозначительные паузы настоящего рассказчика. Вспоминаю, что даже вино он пил как-то обстоятельно.

Есть два качества этого удивительного человека, одаренного литературоведа и мастера перевода, которые я всегда вспоминаю, — артистичность и обстоятельность, т. е. дар донести идею, исчерпывающую глубину его рассуждений кратко, ясно и образно, будь то рассказ о канадском медведе или комментарий к поэме «Бог» Державина.

В апреле 1992 года я наконец уговорил Ефима Григорьевича записать наш разговор на магнитофонные кассеты. Предлагаемый вниманию читателей текст является записью двух таких встреч. Через год я предложил продолжить наш разговор: я хотел знать больше о его жизни. Он мне ответил: «Знаете, я сейчас об этом пишу». Так, мне кажется, родилась «Барселонская проза».

Рикардо Сан Висенте, Барселона, май 2000 г.

— Ефим Григорьевич, давайте начнем наш разговор с Вашего детства. Вы родились в восемнадцатом году?

— Да.

— Какие у Вас сохранились воспоминания о семье? Вы рассказывали, что Ваша мать была певица. На каких языках Вы говорили дома? Каковы ваши первые воспоминания?

— Мой отец был коммерсантом. А мать действительно певица, которая мало в то время работала, потому что отец этого очень не любил.

— Кажется, Вы говорили, что он запрещал ей петь?

— Он ей запрещал профессионально заниматься. Один раз в год она давала концерт, и на афишах так и было написано: ежегодный концерт Полины Спевской (ее девичья фамилия была Спивак, а Спевская — сценическим псевдонимом). И потом, когда его арестовали и когда его уже не было в живых, ей пришлось не только стать певицей, но даже работать как чернорабочая. Она пела каждый вечер три-четыре концерта. Ездил с маленьким чемоданчиком по рабочим клубам и выступала. И это было очень мучительно. Так что от такой необыкновенно избалованной дамы она пришла к совершенно противоположному. А мое детство было действительно очень обеспеченным — тогда отец был богат. И богат он был, по-моему, до двадцать седьмого или до двадцать восьмого года. Во время нэпа он арендовал старую-старую, никуда не годную бумажную фабрику, где установил машину, смонтированную из железного лома, и машина эта выпускала обер-

точную бумагу. Это было недалеко от Ленинграда — я очень хорошо помню эту фабрику. Я там жывал довольно часто. Фабрика отца была патриархальным заведением.

— Семейным?

— Да. Там было всего несколько работников: отец, его брат Марк Исакович, который был как бы коммерческим директором, и два еврея по фамилии Кац. Один был старый Кац, другой молодой. Старому Кацу, отцу, было лет восемьдесят, молодому, сыну, — шестьдесят. Они были управляющими. И больше никого не было, кроме нескольких рабочих, которые выпускали эту оберточную бумагу. Я хорошо помню, как привозили на фабрику огромные возы с макулатурой.

— Вы рассказывали, что разбирали эти груды и находили...

— Да, да, там я находил книжки. А потом, примерно в двадцать седьмом году, отца начали разорять. Тогда это делали очень простым способом: облагали невероятным, фантастическим налогом. Даже если бы он работал двадцать лет: все равно не мог бы уплатить. Поэтому делали так: приходили, описывали все имущество и продавали с аукциона все. Так было несколько раз: все продавали, мы спали на полу, но потом проходило некоторое время, отец покупал новые кровати, новые кресла. Потом опять приходили, описывали все имущество, поскольку уплатить налог было невозможно. Все делалось для того, чтобы заставить отца отказаться от своей фабрики. Такова была тогда политика в отношении нэпа. А следствие этой политики — теперь очень мало кто верит в возможность стать предпринимателем.

— Конечно.

— Мало того, что всех разорили, разорили все хозяйство, потому что в результате оберточной бумаги не стало. Сначала все отбирали, а потом еще и арестовывали. Так что нужно теперь найти либо совсем ничего не знающих людей, либо совершенных идиотов, чтобы они согласились рисковать собой.

— А Вы это время вспоминаете как что-то темное? Вы очень переживали?

— Мне тогда было смешно все это, очень.

— А отцу?

— Отцу было совсем не смешно. Мне было смешно спать на полу: вдруг в один прекрасный день квартира совершенно пустая — ничего нет, все продано. Потом мне было очень смешно и интересно, когда отец решил вдруг перехитрить их и снял не квартиру, а совершенно пустой зал в старом доме, который нужно бы-

ло восстановить — он был полуразрушенным. В этом зале он построил перегородки и сделал квартиру из пяти комнат. А вся мебель была в стенах. Поэтому, когда пришли в очередной раз описывать имущество, оказалось, что описывать нечего, потому что даже кровать и та в стене: она на ночь опускалась, а на день поднималась. Они долго хохотали, те, которые пришли. Сказали, что еврей их перехитрил. Но они ничего не могли сделать. Я тоже очень хохотал. А потом, поскольку описывать уже было нечего и фабрику у него уже конфисковали, то его и арестовали. Некоторое время он сидел, потом его выпустили и отправили в ссылку в Архангельск. Я к нему приезжал, это я хорошо помню. Там он был почему-то директором пивоваренного завода. Так что уже в моем раннем детстве начались политические переживания, политические преследования. И когда отца отправили в ссылку, когда его посадили, описали имущество, — вот тут мама стала деятельной певицей.

— Ваша семья была русскоязычная или двуязычная?

— Семья была русскоязычная. Но иногда говорили на идиш, когда хотели скрыть что-нибудь. Но я все больше начинал понимать на идиш: чем меньше взрослые хотят, чтобы ребенок понимал, тем лучше он понимает. Но вообще говорили по-русски, и все друзья в семье были русские. Это была не совсем ассимилированная семья, потому что отец — мать-то была ассимилированная — отец сохранил свое, он был убежден, что не надо смешиваться с Россией, что надо оставаться евреями.

— И тем не менее он говорил по-русски?

— Он говорил по-русски и был, конечно, на самом деле ассимилированным.

— Он был верующим?

— Он был не то что бы верующий, он был, скорее, национальным приверженцем. Ему важно было сохранить национальный характер. «Все-таки еврейство существовало две тысячи лет, — говорил он. — Почему же оно на нас должно остановиться?» И поэтому, когда я хотел жениться на будущей моей жене, на Екатерине Федоровне, тогда Кате, он, конечно, был в большом огорчении. Она была русская, из старинной дворянской русской семьи. Ее фамилия Зворыкина. Это был очень известный род. Так что мне туго пришлось, когда я на ней женился. Это был тридцать восьмой год. Ее отца арестовали. И ее судьба была совершенно ясна: мать выслали из Ленинграда, и ее бы выслали. Единственное, что могло ее спасти, это выйти замуж за студента. Когда это произошло, ей сразу оформили необходимые бумаги,

и она оставалась в Ленинграде. Но так как отцу было невыносимо сознание того, что сын женился на русской женщине, мы через три дня развелись. А потом через полтора года поженились еще раз. Так что я был два раза женат на одной и той же девочке. Но потом уже мы прожили всю жизнь вместе.

— В это время Вы уже понимали, что из себя представляет Советский Союз?

— Я, конечно, многое понимал, но в то же время у меня было отчетливое представление о том, что все происходившее в Советской стране в высшей степени справедливо. Ну, например, я гораздо больше был согласен с идеей интернационализма, чем с идеями моего отца.

— У Вас были споры с отцом?

— Споры с отцом были постоянные.

— Причины ваших споров проистекали из того, что у Вас была своя семейная жизнь и советская школа за плечами?

— Нет. Главной причиной была женитьба, когда оказалось, что он против этого. Наши споры были очень даже ожесточенные. И до сих пор я стою на той же позиции, на какой я стоял тогда, потому что уже тогда для меня не имела ни малейшего значения национальность того или другого человека. Мне было совершенно все равно, русская ли Катя или любой другой национальности. Для моего отца это было очень важно, а я считал, что это проявление дикости, варварства. Впрочем, как и сейчас считаю. Я жил в Израиле и видел израильское отношение к нации — определение человека по его происхождению. Мне до сих пор такая позиция отвратительна. Поэтому я никогда и не мог бы жить в Израиле. Не мог бы жить в стране, которая основана на расовом принципе. Это, между прочим, одна из любопытных особенностей (и я всегда об этом думал) моего отношения к советскому режиму, потому что это одна из сторон довоенного советского режима. После войны все изменилось.

— Какой период характеризуется интернационализмом?

— В довоенный период был выдвинут лозунг интернационализма, который действительно осуществлялся. Это не было демагогией, так действительно было. Это испытало все мое поколение, учившееся тогда в школе, в университете. Мы никогда не наблюдали преследований по национальной линии. То, что стало происходить после войны под влиянием, по-видимому, гитлеровского режима, было для нас просто поразительно. И неправдоподобно. А началось ведь это очень рано. Об этом, в сущности, написано в романе Гроссмана «Жизнь и судьба».

Как, победив под Сталинградом, русская армия оказалась побежденной.

— Победитель принял меч побежденного.

— Да, да. И это поразительно. Это был сорок второй год, и, действительно, с сорок второго года началось совершенно противоположное движение.

— О том же самом во вступительной статье к книге Бабея пишет Шимон Маркиш: как не только евреи, но и их дети — полуассимилированные — включились в движение интернационализма.

— Да, да. Все началось на моих глазах, и я хорошо помню начало этого поворота. Он мотивировался тем, что нельзя евреям быть дипломатами, потому что нельзя оправдывать то, что говорит гитлеровская пропаганда.

— Вы имеете в виду снятие Литвинова?

— Да. Гитлеровская пропаганда утверждала, что даже Сталин — еврей. Правда, не по рождению, а — они говорили — еврей по собственному выбору. И у нас стали пытаться как-то опровергнуть гитлеровскую пропаганду, а потом, в конце войны и в начале послевоенного времени, это стало центральным элементом советской идеологической политики. Вы вспомнили борьбу с космополитизмом, 1948—1951 годы, тогда это приняло совершенно кошмарный характер. И в это время уже, конечно, нельзя было говорить о какой бы то ни было солидарности с режимом.

— И тем не менее Вы в школе учили русскую литературу как собственную литературу.

— Для меня она всегда оставалась собственной литературой.

— Вы закончили школу и поступили в университет, стали студентом?

— Сначала я учился не в русской школе. Я учился в немецкой школе. Была такая в Ленинграде. И это тоже интересно говорит о характере времени. Была такая школа, которая называлась «Комбинат национальных школ». В одной школе было четыре школы: польская, немецкая, еврейская и русская. Все эти школы существовали отдельно, но образовывали одну школу. Каждый день мы дрались после уроков, причем мы, немцы (я был в немецкой школе), вместе с русскими дрались против поляков и евреев, скажем, в понедельник. А во вторник была другая комбинация. Это совершенно было все равно, потому что мы просто дрались.

— Просто дрались?

— Ну, конечно, дрались, но никаких идей при этом, национальных идей, не было. Просто драться надо было обязательно. Как-то разделяться на лагеря. Ну мы и разделялись, но национальных идей при этом не было. А то, что могла существовать такая школа, которая была как бы живым воплощением интернационализма, — это само по себе замечательно. После войны нельзя было даже подумать, что такая школа возможна. Тем более уж еврейская школа. Была разгромлена вся еврейская культура. Все еврейские писатели были уничтожены, расстреляны. Так что я учился в этой немецкой школе до восьмого класса, потом из восьмого класса меня выгнали (меня много раз выгоняли из школы: я вообще был не очень покорный, не знаю почему). И я перешел в другую, в обыкновенную нормальную русскую школу, которую и кончил через два года. И там вот я встретился с моей будущей женой. Мы учились в одном классе. Теперь Вы говорите, что я из школы пошел в университет. Я хотел из школы пойти в университет. Это был тридцать шестой год, тридцать пятый даже. Но меня не принимали, потому что я был сыном лишенца. Знаете, кто это такой?

— Да, да.

— Это человек, лишенный избирательных прав, то есть бывший нэпман.

— Или дворянин, или какой-нибудь враг советского общества?

— Вот именно. Меня не принимали и даже не допускали к экзаменам в университет. Тогда я поехал, я помню, в Москву хлопотать, чтобы все-таки меня допустили к экзаменам в университет, и пришел я... Единственный, к кому я придумал пойти, — это был редактор газеты «Известия». Тогда редактором «Известий» был Бухарин. Я понимал, кто такой Бухарин. Я его читал. Я знал, что он очень интеллигентный человек. Он произвел на меня громадное впечатление, когда делал доклад о поэзии на Первом Съезде писателей в тридцать четвертом году и назвал Пастернака самым крупным русским поэтом. Словом, я знал, к кому иду. Я пришел в газету «Известия», шел по коридору, и в конце концов увидел в коридоре надпись: «Главный (или „ответственный“, как это тогда называлось) редактор газеты „Известия“ Николай Иванович Бухарин». А рядом был другой кабинет, и там было написано «Карл Бернгардович Радек». Но к Радеку я не пошел, а пошел к Бухарину. Там сидела секретарша, такая пожилая дама. Она спросила, кто я такой. Я объяснил, и она сказала, что сейчас Николая Ивановича нет, он уехал, вернется послезавтра. «Рас-

скажите мне, о чем Вы хотели бы с ним поговорить». И я ей рассказал. Она мне сказала: «Мальчик, я не имею права не пустить Вас к Николаю Ивановичу, но я Вас очень прошу — не ходите к нему». Я спросил — почему. Она сказала: «Николай Иванович все сделает, чтобы Вам помочь, но у него ничего не получится. У него никаких сейчас нет возможностей это сделать. И чем больше он будет стараться что-то сделать, тем меньше шансов, что это получится. И он будет страшно огорчаться. Не надо идти». И я больше не пошел. Как раз в это время Сталин произнес очередную свою демагогическую фразу «сын за отца не отвечает». Я вернулся в Ленинград и на основании этой фразы добился того, что меня допустили к приемным экзаменам в университет. Я поступил на филологический факультет. Так что вдруг произошел такой поворот, маленький, но все-таки поворот. Тогда действительно стали как-то более либерально относиться к детям «лишенцев». В университете я проучился с тридцать шестого по сорок первый год. Это, наверно, самое страшное время в истории Советского Союза: тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый. Годы «большого террора», так это теперь называется. Тогда мы не знали, что их так назовут.

— Да, конечно.

— Мы только понимали, что сажают. Мы не знали масштабов, но время от времени вокруг нас исчезали разные люди: и в университете, и среди студентов, и кое-кто из профессоров. Но несмотря на то, что это были годы великого террора, я думаю, что это были звездные часы русского университета и даже, может быть, мирового университета. Такого блеска, такого созвездия замечательнейших профессоров, какие были у нас вот в эти годы — с тридцать шестого по сорок первый год, — даже представить себе невозможно. Кафедрой западной литературы заведовал Жирмунский, и это действительно был крупнейший в мире ученый в своей области. Кафедрой русской литературы тогда заведовал Григорий Александрович Гуковский, и лучшего тоже нельзя было себе представить. Он был молодой — всего тридцать три, тридцать четыре года — он девятьсот второго года рождения. Притом — мы тогда говорили, что у каждого поколения есть свой Моцарт, — это был Моцарт нашего поколения. Это был необыкновенно блестящий, талантливый, живой, демократичный, брызжащий новыми идеями человек. Но, кроме того, у нас преподавали Эйхенбаум, Томашевский, Реизов, который был очень хорошим профессором по западной литературе; Макульский, историк театра и тоже необыкновенно блестящий ученый

и очень хороший лектор. Читал у нас историю немецкого романтизма Наум Берковский, тоже замечательнейший ученый, в своем роде гениальный. Немецкую новейшую литературу читал Владимир Григорьевич Адмони, тоже очень крупный ученый. У нас преподавал Пропп. Проппу тогда не разрешено было преподавать фольклор, и он учил нас немецкому языку.

— Немецкому языку?

— Действительно странно, но все-таки это был Пропп. И я не знаю другого преподавателя, который бы научил нас такому количеству вещей, как Пропп. Хотя преподавал он, конечно, совсем не то, что он должен был преподавать. Историю западной литературы (Средние века и Возрождение) читал тоже человек необыкновенно блестящий — Александр Александрович Смирнов — один из лучших шекспироведов XX века и совершенно замечательный знаток кельтской культуры. И, кроме всего прочего, — блестящий переводчик и руководитель семинара переводчиков при Доме писателя. Я был совсем еще маленьким, когда начал заниматься у Смирнова в студии перевода в Доме писателя. Я пришел к нему, когда мне было тринадцать лет, я еще был в школе, — но вместе со всеми работал, и, когда поступал в университет, поступал к Смирнову, потому что он уже был моим учителем в течение шести или семи лет.

— Перевод с английского, с немецкого?

— Нет, Смирнов руководил семинаром переводов с французского. Мы тогда переводили рассказы Мопассана, рассказы Вилье де Лиль-Адана. Это было очень интересно, очень хорошо был устроен семинар.

— А Вилье де Лиль-Адана в те годы еще можно было читать?

— Как видите! Вообще это было время, когда сочетался террор и довольно большая свобода.

— Может быть, это было только в университете?

— Особенно в университете. В университете, в общем, не ощущалось давления, потому что вообще не было такого мертвящего давления. Был террор — это совсем другое. То есть людей арестовывали и уничтожали. Мы этого не знали. Ну, знали, что исчезают люди. Во-первых, мы не знали, что они гибнут. Тогда же не говорили о том, что людей расстреливают. Отца моей будущей жены посадили в тридцать восьмом году. Он был преподавателем английского языка. И мы ничего не знали. Мы знали, что его арестовали, а потом сообщили его жене, что он приговорен к десяти годам без права переписки. Это называлось — 10 лет без права переписки. Потом, гораздо позже, мы узнали, что

такая формулировка означала, что его тут же расстреляли. Тогда нам это в голову не приходило. Ну, арестовали, значит, потом освободят. Кроме того, мы вообще не знали, что это носит характер абсурда: а может быть, и в самом деле есть какие-то заговоры, черт его знает. Потом мы узнали, в чем обвиняли, например, Федора Анатольевича, моего тестя. Он выпустил учебник английского языка (он работал в Лесотехнической академии), и, как оказалось, его обвиняли в том, что в упражнения по английскому языку он ввел какой-то код, служивший для того, чтобы оповещать англичан и американцев о каких-то военных секретах Советского Союза. Вы ведь знаете, упражнения действительно носят характер всегда очень странный.

— Мне тоже так кажется.

— Можно что угодно сказать про упражнения, найти любой код. Оказывается, его арестовали, обвинили в этом страшном преступлении и тут же расстреляли. Но, повторяю, университет в то время был совершенно фантастическим. В эти годы, конечно, разворачивались уже разные кампании, они сменяли друг друга. Была кампания против формализма, и наши учителя выступали и частично каялись в том, что они были формалистами и что это нехорошо. Это касалось даже Гуковского, который был, так сказать, младший формалист.

— Да, и Пропп написал свою «Морфологию» в двадцатые годы.

— И Пропп каялся, и каялся Томашевский, Эйхенбаум. Это все у нас было, на наших глазах. Потом началась другая кампания. Против вульгарной социологии. И теперь другие каялись. Потом, после войны, уже началась кампания против Веселовского и космополитизма.

— То, что называлось низкопоклонство перед Западом?

— Да, низкопоклонство. Это, наверное, была самая абсурдная кампания, потому что в кампании против формализма был хотя бы какой-то элементарный смысл. Дело в том, что формалисты ведь действительно заявляли о том, что надо изучать текст совершенно независимо от его содержания, от его идеологии. На них и нападали: «Как же так, у нас есть господствующая идеология, а вы хотите быть вне идеологии!» Борьба с вульгарной социологией тоже имела какой-то смысл. Почему нужно было считать, что Пушкин был лишь представителем эксплуататорского класса? А в кампании против космополитов уже просто совсем не было никакого смысла. Тем более, потом оказалось, что Жданов перепутал двух Веселовских. Был Александр Веселовский, ве-

ликий ученый, и был Алексей Веселовский, его брат, который написал книгу о западном влиянии в русской литературе. Но так как Жданову было совершенно все равно, кто какой Веселовский, то стали топтать всех учеников великого Веселовского, Александра.

Но важно то, что университет, в котором я учился, был университетом необыкновенно высокого уровня, и я с тех пор никогда (а я видел очень много университетов, мне ведь за последние пятнадцать лет пришлось преподавать во множестве стран, во множестве университетов) не видел такого уровня, — даже нельзя себе представить, чтобы одно поколение студентов обучалось у таких совершенно блестящих преподавателей, которые все к тому же были разными. Они были разными по методологии, по типу мышления, по характеру мышления. Кроме того, они были разного возраста. Были очень старые люди, им уже было лет по пятьдесят. Для нас тогда они казались старыми людьми. Таким старым человеком был Лев Владимирович Щерба, знаменитый лингвист. Он действительно был старый — ему было лет семьдесят пять. А молодым был Гуковский, ему было тридцать с небольшим. Лекции по немецкой литературе новейшего времени читал у нас Михаил Наумович Гутнер — ему тогда было лет двадцать шесть — это был ослепительный молодой человек, совершенно ослепительный. Такое было время, когда молодых допускали к преподаванию наравне со знаменитыми академиками. И я помню, каким был тогда Пушкинский Дом. Это тоже ведь поразительно! Сейчас это жалкое учреждение, со всеми этими людьми, которые попали туда из-за партийного билета или каких-то карьерных махинаций. А тогда в Пушкинском Доме работали и Гуковский, и Эйхенбаум, и Берковский, и Реизов. Все те, которых я назвал, вписаны в историю. В Пушкинском Доме работал и Марк Константинович Азадовский. Директором в то время был Александр Сергеевич Орлов — толстый старый человек, действительно крупнейший академик, специалист по древнерусской литературе.

— У него ничего нет общего с Орловым, который писал о Блоке?

— Нет, ничего общего. Но блоковед Орлов тоже работал в Пушкинском Доме. Он был тогда молодой. А этот Орлов был специалист по древнерусской литературе, он предшественник и один из учителей Дмитрия Сергеевича Лихачева. В отличие от Лихачева, он был пьяница и сквернослов, но очень хороший ученый. А заместителем директора Пушкинского Дома был тоже замечательный ученый и человек, Юлиан Григорьевич Оксман. Так вот,

Оксмана тогда арестовали. Вообще арестованных в этом кругу было не так много. Время от времени кого-то сажали и потом даже выпускали. Жирмунского сажали, потом выпустили. А Оксмана посадили, и он долго сидел.

— А отец Ваш все еще жил в Архангельске или он вернулся?

— Отец вернулся и работал на каких-то второстепенных должностях в Ленинграде. Ну а потом, во время блокады, в срок втором году, он умер от голода.

— А Вы были все время на фронте?

— Я кончил университет, уехал по распределению в город Киров, Вятку. И там, в Педагогическом институте, преподавал немецкий язык и отчасти — немножко — литературу. А потом я очень, изо всех сил, старался попасть в армию. Уже началась война. Я уехал в Вятку в начале войны. У меня был белый билет, из-за плохого зрения меня не брали в армию. Я сделал все, что можно было сделать, для того чтобы преодолеть это препятствие. Наконец мне это удалось. У меня были близкие друзья на Карельском фронте, и они добились того, что меня туда вызвали. Я приехал в качестве переводчика в седьмой отдел Политуправления Карельского фронта. Этот отдел занимался пропагандой среди войск противника. Наша задача заключалась в том, чтобы публиковать листовки для немцев и газету. Мы печатали еженедельно три номера — сначала два, потом три номера — газеты, которая называлась «Der Front Soldat» — «Фронт-товик». Потом эти газеты и листовки распространялись, бросались с самолетов для немецких войск. А так как у нас война была стоячая, позиционная, то мы, в общем, очень хорошо знали, что происходит у немцев, а они хорошо знали, что у нас происходит. Мы года полтора стояли неподвижно друг против друга. Так что наша идеологическая война была очень интересная. Помимо того, что мы друг другу слали листовки, писали газеты, мы даже издавали ежемесячный юмористический журнал с карикатурами. У нас были хорошие художники. Я писал юмористические немецкие стихи для немецких солдат. Они пользовались успехом.

— Даже был какой-то диалог?

— А как же! Диалог носил интересный характер. Например, немцы однажды выпустили, — нет, мы сначала выпустили, это мой друг Игорь Михайлович Дьяконов, и тогда уже известный востоковед, а потом и очень знаменитый ассириолог, и я — придумали листовку, которую составили при помощи наших фронтовых врачей. Листовка была о том, как можно самому себе на-

нести какие-то повреждения или симулировать заболевание, чтобы освободиться от действующей армии: впрыскивать в вену керосин, например, или заваривать особый чай, чтобы вызывать сердцечбиение. Ну, словом, там было пунктов двадцать пять, очень-очень опасных пунктов, потому что это действительно были советы для симуляции. Эта листовка пользовалась очень большим успехом у немцев — они стали прибегать к этим способам. А проверить-то нельзя. Так что сделали немцы? Они перевели ее на русский язык и стали распространять среди наших войск. Это фактически была наша листовка, которую они нам вернули. Только подписали «военврач 2-го ранга Раппопорт». Так что у нас и такой вот был диалог, очень любопытный.

— Вы прошли всю войну?

— Да. Я воевал сначала на Карельском фронте. Нельзя сказать, чтобы это была такая уж тыловая война, потому что, когда мы сидели и писали наши листовки и газеты, мы были в сравнительной безопасности. Но время от времени мы выезжали на фронт и в рупор кричали противнику, что «ваше положение безнадежное, сдавайтесь», хотя прекрасно понимали, что безнадежное положение в то время было наше. Они кидали в нас мины, на голос. И было совсем невесело, так же, как невесело было летать на самолете над немецкими позициями и сбрасывать листовки.

— А Вы это тоже делали?

— Ну а как же? Обязательно. И в нас стреляли.

— Вы сами сочиняли и сами сбрасывали?

— Да, у нас все было демократично, все делали все. Мы — нас была небольшая группа — сочиняли листовки, мы же часто их и набирали. Тогда ведь не было компьютеров и надо было набирать свинцовыми буквами, знаете как?

— Да, когда я был в армии, мы тоже набирали.

— Так вот мы набирали, потом сами печатали на станке, который назывался «американка», потом сами паковали, сами сбрасывали. Мы всем занимались. Это было очень, в общем, справедливо. Справедливо, что не было привилегированных лиц, которые бы сидели в тылу.

Так я служил первые два года войны, а потом меня уволили и отправили с фронта вниз, в дивизию. Уволили меня по любопытной причине. Однажды во время одной поездки в город Полярное — далеко на Баренцевом море — я встретил одного моряка, который был командиром подводной лодки. И, узнав, что я работаю в Беломорске в штабе фронта и что мой начальник — пол-

ковник Суомалайнен, он сказал мне: «Приходи ко мне завтра, я покажу тебе мою подводную лодку и кое-что тебе расскажу». Я пришел, и он мне, выпивая со мной водку на подводной лодке, рассказал, что у него была любовница. Он хотел от нее избавиться и все никак не мог: она от него не хотела уходить. Однажды он увидел, что она пишет любовное письмо кому-то. Он ужасно обрадовался, что теперь у него есть причина ее прогнать. А она ему сказала — это не любовное письмо, это кодовое письмо, шифрованное. «Кому же ты пишешь?» Она сказала: «Суомалайнену» — и объяснила ему, что она связана с Суомалайненом по подпольной деятельности. В общем, как он понял из ее рассказа, они составляли группу, которая была на службе у финнов. И тогда он написал на нее донос в военную полицию, и ее арестовали. Но потом отпустили, и она, встретив его, сказала: «Я знаю, что это ты на меня написал донос и что я из-за тебя была арестована, но я все тебе соврала, никакого шифра не было, мы не работали на финнов». Он просил меня пересказать это Суомалайнену — в какой связи его имя упоминалось. Но когда я приехал к себе и рассказал обо всем моим друзьям, они пришли в ужас, потому что у них тоже были подозрения, что Суомалайнен работает на финнов. Он мог работать на финнов, потому что, во-первых, сам был финн, во-вторых, он редактировал газету для финских войск.

— Которую никто не понимал.

— Да, и он для каждого номера газеты писал передовую статью, где мог что угодно написать противнику, что угодно — кодом. А кроме того, к нему каждую ночь ходила Нина Иванова, и дежурный наш хорошо знал, что Нина Иванова приходит к нему.

— Это и есть эта любовница капитана?

— Да нет, это секретарша Суомалайнена. Ну какое нам дело! Ну спит с ним Нина Иванова. Но однажды — это было как раз незадолго до того, как я моим друзьям это рассказал, — в штабе была врачебная комиссия, которая, между прочим, с некоторым удивлением констатировала, что Нина Иванова — девственница.

— Этим тоже занимались комиссии?

— Да, это их почему-то очень интересовало. Если она девственница, так что она с ним там делает? Поэтому друзья мне сказали: «Наверное они вместе шифруют». Тогда все понятно. И потребовали, чтобы я пошел в особый отдел армии и об этом рассказал. Это же страшно опасно, это же может стоить нам тысячи, сотни тысяч жизней. И я пошел и рассказал. В штабе меня слушали с необычайным интересом и вниманием. Потом попроси-

ли, чтобы я все написал. Я написал, а через две недели меня вызвали в управление — главное политическое управление — и отправили в армию, вниз. Я не знал почему, только потом узнал. Я был в отчаянии, потому что тут у меня были друзья, тут у меня была профессия. Ведь то, что я тогда делал, — занимался военным переводом, — это же была профессия. Очень интересное дело было. И почему я должен оттуда уйти? Что случилось? Об этом я потом узнал, в конце войны. Оказывается, Суомалайнен был двойным агентом, он действительно шифровал с Ниной Ивановой, но он занимался не информированием финнов, а дезинформацией, понимаете? А финны считали, что он их агент.

— Он играл финского агента?

— Совершенно верно: он играл финского агента, а я узнал про это. Это была колоссальная военная гайна.

— Это грозило провалом всей операции?

— Вот именно. Кто мне это рассказал? Сам Суомалайнен. Но это было уже после войны.

— После войны?

— Он мне сказал: «Тебе повезло. Тебя могли тогда убить, потому что ты оказался носителем военной тайны». Так вот меня тогда стправили вниз. Был фронт, а этажом ниже — армия. Но по дороге я заехал к моим друзьям в армии. Они знали, что я хороший переводчик, я был тогда известный переводчик на фронте, — они это доложили командующему армией. Это был редкий случай интеллигентного генерала. Лев Соломонович Свирский. Генерал Свирский меня вызвал к себе и сказал: «Останешься при мне». И взял своим личным переводчиком. Я у него остался примерно на полгода личным переводчиком, а потом стал переводчиком в разведотделе армии. Это была гораздо более важная работа, чем просто в политотделе. И уже до самого конца войны я служил в разведывательном отделе переводчиком. Фактически не просто переводчиком, а разведчиком, штабным разведчиком высокого ранга.

— Какое у Вас было звание?

— Тогда я был старший лейтенант.

— Так и кончили войну?

— Так и кончил войну. Это было интересно, в высшей степени нужно. И допросы пленных, которые я проводил, и изучение трофейных документов. В общем, все это было очень важно. Эту последнюю часть войны я провел за границей. Наша армия перешла из Карелии на юг. Вместе с Третьим Украинским фронтом я прошел Венгрию, Болгарию, Румынию и кончил войну в

Австрии. Так что впервые я побывал на Западе в качестве офицера армии.

— Вы мне рассказывали, что знали о существовании Льва Зиновьевича Копелева в Пскове, где он воевал.

— Да, конечно, знал. Он был тоже в седьмом отделе. На Волховском фронте. Это был соседний с нами фронт. Так что мы знали друг о друге.

— Он мне рассказывал, как впервые встретился на войне с испанцем из «Голубой дивизии». Вы кончили войну и вернулись в Ленинград. Тогда Вы узнали, что Ваш отец умер? Много друзей умерло во время войны?

— Да, конечно. Ленинград. Блокада.

— Жена была в эвакуации?

— Жена была там же, где я, во фронтовом городе. В Беломорске, где был штаб фронта. Она служила медсестрой в госпитале. Она работала, и мы встречались раз в неделю. У нас в Беломорске был один знакомый, гражданский, писатель Геннадий Фиш. Точнее, он тоже был военный, но считался гражданским.

— Вы мне о нем говорили, но я никогда о нем раньше не слышал.

— Это был интересный писатель. Он был корреспондентом нескольких московских газет. И, как у всех корреспондентов, у него было несколько шпал: две или три. Он, кажется, был подполковником. Тогда это называлось — интендант второго ранга. У него в Беломорске была квартира. Вот в этой квартире мы и встречались раз в неделю. Туда приходила Катя, и я приходил со своими друзьями. Обычно приходил мой приятель Давид Прицкер, ленинградский историк, который работал в разведотделе вместе со своей женой, Мусей Рит, необычайно красивой женщиной. И еще туда всегда приходил молодой человек по имени Юра, который был смертельно влюблен в Мусю. Поэтому он еле открывал рот и почти никогда не говорил: смотрел на нее влюбленными глазами. Интеллигентный молодой человек, симпатичный. Он принимал участие в наших разговорах (он немного говорил, потому что очень ее боялся, но в наших разговорах все-таки участвовал), и мы к нему относились хорошо. В очках, близорукий, довольно высокого роста. И мы почти каждую неделю с ним встречались. Потом оказалось, что это был Юрий Владимирович Андропов. Об этом я узнал недавно, мне написала в Париж одна моя знакомая из Америки. Андропов был тогда генеральным секретарем. Написала: «Помните ли Вы того Юру, с которым Вы встречались в доме Фишей в сорок втором году? Так

вот он теперь стал генеральным секретарем». Она узнала об этом от жены Фиша. А я не знал, понятия не имел. Вот так мы жили в Беломорске.

— Вы уже тогда занимались литературной деятельностью? Вы знали ленинградских поэтов, писателей?

— Я мало кого знал. Я был студентом, потом сразу уехал преподавать в Киров, потом попал в армию. Так что познакомиться я тогда ни с кем не успел. Но кое-кого знал: ведь я ходил в семинар по переводу при Доме писателей, который вел Смирнов. Был еще второй семинар по переводу, у Андрея Венедиктовича Федорова. Я ходил в эти оба семинара. Так что я хорошо знал переводчиков. Лозинского хорошо знал. А писателей знал очень мало. Знал Заболоцкого. До того как его арестовали, я с ним несколько раз встречался. Но вообще к литературному миру я тогда имел отношения мало. Познакомился кое с кем на Карельском фронте. Туда иногда приезжал Симонов, который был как бы королем репортеров. И он нам очень нравился своей действительно необыкновенной храбростью. Он никогда не уклонялся от поездки на фронт, на передний край, ходил по самым опасным местам. И ходил очень гордо. Мы это видели, и нам это очень нравилось. Он действительно был красавец мужчина. Когда я говорю красавец, я имею в виду не только то, что он был красив, но и то, что он вел себя красиво.

— Рыцарь какой-то.

— Рыцарь. Действительно, был рыцарь. И когда потом, после войны, я видел Симонова в роли холуя и человека, производившего фальшивые, лживые — он сам понимал, — лживые речи о космополитах, очень было стыдно. Тогда же я познакомился еще с одним поэтом, Павлом Шубиным. Он тоже бывал у нас. Но в общем, я был далек от этого мира.

— Вы вернулись в Ленинград или в Киров?

— Нет-нет, я вернулся в Ленинград, и вернулся я военным. Меня долго не демобилизовывали.

— Вы продолжали работать переводчиком?

— Я уже тогда работал не переводчиком, а преподавателем военного перевода в институте, куда меня взяли работать. В Институте иностранных языков в Ленинграде была кафедра, она называлась кафедрой военного перевода. Это уже было никому не нужно, война кончилась, но кафедра оставалась, и студентов учили военному переводу. Такая обычная советская косность. Военный перевод — довольно интересная вещь, очень специфическая. Это скорее обучение военному делу и терминологии. Но чтобы

была терминология понятна, нужно знать сущность военных вещей. Вот я и обучал студентов военному переводу с немецкого. Это продолжалось три года. И свою диссертацию в университете я защищал в военном мундире в сорок седьмом году.

— А диссертация о чем была?

— Она называлась «Романы Золя 1860-х гг. и проблемы реализма».

— Вы ее помните?

— Я помню мою диссертацию и до сих пор считаю, что это была хорошая работа. И если бы у меня был экземпляр, я бы даже ее опубликовал, потому что я до сих пор ничего не читал, что бы ее перекрывало, а там было много важного.

— А разве она не существует?

— У меня ее конфисковали вместе с большей частью моего архива, когда я уезжал.

— Эта проблема так и остается нерешенной? Вы ничего не знаете об этом архиве?

— Я знаю только про ту часть архива, которую забрала к себе Публичная библиотека в Ленинграде.

— Которую Вы отдали?

— Нет, совсем другая. Это лишь часть того, что я оставил. А другая часть пропала, я не знаю, где она. Наверное, лежит где-нибудь в КГБ в Ленинграде. Это теперь уже можно выяснить. Я постараюсь узнать. Моя работа о Золя — все-таки два больших тома. Это работа по стилистике, и именно поэтому она несколько не устарела. В основном меня интересовало то, что и сейчас интересует. Несобственно прямая речь — *discours indirect* у Золя, как это связано с характером повествования.

— Так что Вы уже знали и немецкий, и французский?

— Да.

— Вы их учили в школе?

— Немецкий я знал со школы. Кроме того, во время войны я беседовал с таким количеством немецких пленных, что было бы странным, если бы я не знал язык очень хорошо. Читал несметное количество документов.

— А Вы никогда случайно не встречались с пленными или с кем-то, кто читал Ваши листовки? В Германии или где-нибудь?

— Конечно, встречался.

— Когда Вы были уже на Западе?

— Да. Однажды я даже обедал с одним из них. Меня принесли в Австрии, по-моему, в городе Зальцбурге, и рядом со мной сидел помощник бургомистра Зальцбурга, немолодой человек,

который мне рассказал, что он был солдатом на Карельском фронте. Я его спросил, слышал ли он передачи по радио или в рупор. И он ответил: «Конечно, я очень хорошо помню, как кричали в рупор — „Hitler hat den krieg begonnen; Hitler Sturz wird ihn beenden“ — я помню хорошо эти голоса». Оказалось, что это он меня слышал.

— Давайте вернемся к Вашей диссертации. Вы защищали ее после войны, когда началась новая кампания против космополитов?

— Нет. Это было в сорок седьмом году. Уже прошла тогда другая жуткая кампания, ждановская, против Зощенко и Ахматовой, в августе сорок шестого года. И примерно через полгода после ее начала я защищал свою диссертацию, но это была тоже довольно ограниченная кампания: она распространялась на часть писателей.

— На музыку немножко?

— Да. Потом были постановления о музыке, о кино, об опере Мурадели «Великая дружба», о театре. Но университета это не касалось.

— Значит, можно сказать, что до сих пор Вы были обыкновенным советским человеком? Но Вы знали, что происходило, слышали о чем-то, знали, что люди исчезали?

— Да, уже тогда мы все понимали.

— Но Вы об этом с кем-то разговаривали?

— Конечно. Мы об этом много друг с другом разговаривали. Уже тогда мы понимали, что надо разговаривать где-нибудь в саду, а не дома.

— Это то, что произошло с Солженицыным и его другом?

— Да, но это же было во время войны. Потом они переписывались.

— У Вас были представления о том, что такое Сталин?

— Да, знаете, можно сказать, что мы питали иллюзии до августа сорок шестого года, до начала ждановщины. Когда начались постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и всем прочем — это был конец всех иллюзий. Об этом я написал главу в истории литературы, она называется «1946 год, или утраченные иллюзии». Я написал о том, что мы все переживали, что переживала интеллигенция. Я считаю, что вообще это переломный момент в отношении интеллигенции к партии, к режиму.

— Ведь и с Пастернаком происходит то же самое: после сорок шестого наступает окончательный крах надежд.

— Я думаю, что это переломный момент в отношении интеллигенции, потому что до августа 1946 года все считали, что война солидаризовала интеллигенцию и партию, недаром так много людей вступало в то время в партию: партия выиграла войну, и интеллигенция вся была на ее стороне. И это мы очень хорошо понимали.

— Вы были членом партии?

— Нет, я-то не был членом партии, и большинство моих друзей не были, но очень многие из людей вокруг меня были членами партии, вступили во время войны. А во время войны вступить в партию было возможно и даже естественно, потому что была солидарность. А кроме того, война была такая: мы ведь воевали в союзе с Францией, Англией и Америкой, значит, на нашей стороне была вся демократия мира, и мы одержали победу над фашизмом. Мы были уверены, что страна теперь будет развиваться по демократическому пути. И если бы тогда режим не пошел по пути террора, если бы во главе партии были не Сталин, Жданов, а различные умные люди, очень возможно, что уже в сорок шестом году Советский Союз мог развиваться в направлении мировой демократии. Америка необыкновенно солидарно относилась к нам, во Франции был просто культ Советского Союза, до сих пор посреди Парижа есть Плас Сталинград — это ведь с послевоенных пор. Коммунистические партии тогда вели себя так, что до сих пор их авторитет держится на том, что они тогда делали. Это был поворотный момент. Скажем, если в тот момент во главе партии был бы человек типа Хрущева — все развитие пошло бы по-другому.

— Но так, по-видимому, не могло быть.

— Потому что то, что они тогда сделали, в сорок шестом году, — это был демонстративный разрыв с интеллигенцией и начало нового террора. Первое, что возникло, — это вот этот разрыв с писателями. Зощенко же был советский писатель, не то что там какой-нибудь Булгаков. Понимаете, Булгаков действительно был человек, настроенный против советского режима, может быть, потому что он был очень умен. Он уже тогда все понимал. А Зощенко был на стороне советского режима, и даже Ахматова во время войны поддерживала режим.

— Вы думаете?

— Я не думаю, я знаю.

— Может быть, она обращается к народу? Эти ее выступления по радио ведь обращены к согражданам, а не властям?

— Она была настроена патриотично. Нужно было большие усилия сделать, чтобы все это порвать и начать всех сажать. Нуж-

но было начать чудовищный, нелепый, идиотский разгром литературы, который прошел под знаком постановления ЦК и всей ждановщины, но, когда это началось, мы поняли: вот это и есть прямое продолжение того, что было в тридцать седьмом — тридцать девятом годах, и что никакого движения в сторону солидарности, которое нам казалось естественным, не может быть. Наоборот, они ужасно боялись. Они боялись потому именно, почему мы надеялись. Потому что была близкая связь между армиями, потому что советская армия была в контакте с американской, потому что советские солдаты и — главное — офицеры побывали на западе, и в общем, нужно было все это уничтожить. Тогда они все уничтожили. И после этого начался уже такой террор, по сравнению с которым тридцать седьмой — тридцать восьмой годы стали казаться идиллическими временами, потому что тогда убивали молча, понимаете, а в сорок восьмом — пятьдесят первом, пятьдесят втором начали убивать не молча — со страшными криками: вот кампания против низкопоклонства, абсолютно идиотская кампания по приоритету русской науки, русской литературы — все это носило характер карикатурный, гротескный. Конечно, мы все это понимали.

— Это тогда, когда Гроссман начал писать сталинградскую эпопею?

— Да, он великолепно это понял. И это видно и в романе «За правое дело», и в особенности в «Жизни и судьбе», который он начал писать в пятидесятом году.

— Продолжение первой части эпопеи — «За правое дело»?

— Это продолжение, оно было написано с очень радикальных позиций. В романе «За правое дело» есть еще надежда на то, что можно двигаться по демократическому пути.

— Это не выходит из рамок литературы о войне.

— Я думаю, что выходит, я думаю, что это и глубже, и интереснее, и лучше, но все равно идеологически там есть надежда на возможность заштопать и починить этот режим, а «Жизнь и судьба» — это приговор режиму, уже оказывается, что фашизма два.

— Вы продолжали заниматься французской литературой?

— Ну что значит продолжал?! В сорок девятом году, вскоре после демобилизации, меня уволили из института, где я работал, по обвинению в том, что я космополит. Мою диссертацию пересматривали в университете и хотели снять с меня степень, потому что в моей работе нашли какие-то космополитические тенденции, а космополитические тенденции, например, заключались в том, что я где-то написал, что Горький читал романы Золя и Бюна-

под влиянием этих романов. Как же наш русский Горький мог быть под влиянием ихнего французского Золя?! Это и есть космополитизм. А я еще где-то сказал, что Борис Полевой в «Повести о настоящем человеке» находился под влиянием Джека Лондона. Ну уж хуже нельзя было сказать! В общем, меня уволили тогда из моего Института иностранных языков, и я некоторое время был без работы, как многие мои коллеги, и тогда я занимался тем, чем занимались некоторые из моих друзей: я писал диссертации за других.

— Работал негром?

— Работал негром. Самое трудное было писать диссертации на одну тему, потому что я писал главным образом для защищавших по истории партии. Мне пришлось взять две диссертации на тему «Критика и самокритика как движущая сила советского общества». Один раз написать это было легко, два раза написать одно и то же — это очень трудно. Платили за это неплохо. Я потом встречал моих клиентов.

— Соавторов!

— В общем, меня уволили, я некоторое время занимался такой негритянской работой, а потом уехал. Я знал, что есть место в Туле, и я приехал в Тулу, пришел к директору института, который некоторое время со мной поговорил и сказал: «Я вас беру». Он был человек храбрый и решил составить себе хороший профессорско-преподавательский состав из людей, уволенных в других местах. Ему Тульский обком делал выговоры, что он берет не тех, кого надо, а он на них плевал и брал. У него было много евреев, которые все были космополиты. Вот Каждан тогда у него работал, нынешний знаменитый византиновед Александр Петрович Каждан. Он сейчас в Вашингтоне. Самый крупный русский византиновед.

— У Вас уже были дочери?

— А у меня уже были дочки.

— И Вы переехали в Тулу?

— И я переехал в Тулу. Ездил время от времени в Ленинград и Москву. Тула ведь рядом с Москвой. В Москве я довольно часто бывал, в Ленинград приезжал проводить семью.

— А семья жила в Ленинграде?

— Она жила в Ленинграде. Иногда они приезжали ко мне в гости.

— За линию оседлости?

— Да-да. А в пятьдесят втором году по непонятной даже мне причине меня взяли в институт Герцена. Там заведовал тогда ка-

федрой человек, который относился ко мне с уважением и интересом, Раймонд Пиотровский, крупный лингвист и потом специалист по машинному переводу и семиотике. Он меня пригласил, и каким-то образом удалось тогда это оформить, хотя был еще пятьдесят второй год. И с пятьдесят второго года я работал в Герценовском институте. Там я преподавал литературу: и французскую, и немецкую, и теорию перевода.

— Вы одновременно работали и над французской литературой, и над немецкой?

— Я и университет так кончал: романо-германское отделение. У меня было две дипломных работы: одна по немецкой части, другая — по французской. Так что я все время работал в двух направлениях. И уже тогда я много переводил.

— Переводили с французского и немецкого?

— И с испанского. Я переводил Лопе де Вега.

— А как Вы учили испанский? Зантересовались литературой? Познакомились с испанцами?

— Нет, испанским языком я начал заниматься в тридцать седьмом году в университете, когда многих моих соучеников отправляли в Испанию во время гражданской войны переводчиками. Тогда многие занимались испанским языком. Нас всех обучала Васильева-Шведе, хороший знаток испанского языка и хорошая учительница, и я с ней довольно долго занимался. Тогда язык я знал, а потом забыл. Знал достаточно, чтобы читать текст. И «*Alcove del colegio*», которую я переводил для шеститомного издания Лопе де Веги в Гослитиздате, я без особого труда читал. Надо сказать, что Лопе ведь нетрудный.

— Нет. Вы его стихами переводили?

— А как же! Сонеты — сонетами! Это настоящий рифмованный стих, так, как у Лопе. Но понимать это нетрудно: очень живой и даже не очень устаревший язык. Я пытался читать Кальдерона, но его гораздо труднее читать, гораздо.

— Уже не говоря о Гонгоре.

— Ну, Гонгора! Сервантеса я читать не мог почти, мне было ужасно трудно. Теперь, если я вернусь к испанскому языку, я довольно быстро восстановлю его, благодаря своим прежним знаниям.

— До какого времени Вы работали в институте Герцена более или менее спокойно?

— Меня никто особенно не трогал до шестьдесят второго года, шестьдесят третьего. До дела Бродского. То, что произошло во время дела Бродского, Вы себе представляете. Тогда впервые

хотели с меня снять все степени, уволить и даже исключить из Союза писателей. А потом вдруг оказалось, что мы победили. И не только меня не исключили из Союза писателей, а даже выбрали в правление. Вот тогда Гранин оказался победителем, и нас — я был тогда не один защитник Бродского — нас всех тогда как бы возвысили, и в институте поэтому меня уже больше не трогали до шестьдесят восьмого года. А в шестьдесят восьмом году произошла история с двухтомником «Мастера перевода». И опять меня хотели отовсюду выгнать, и тоже у них ничего не получилось.

— А почему они, собственно, хотели Вас выгнать? Человек ведь издал то, что есть!

— Видите ли, тогда книга уже была издана и тираж был напечатан, — по-моему, двадцать пять тысяч. И вдруг кто-то обнаружил фразу, где было сказано, что русский стихотворный перевод достиг очень высокого уровня, и объясняется это, в частности, тем, что русские поэты, которые в определенное время не могли выражать себя до конца в оригинальном творчестве, говорили о том, что они думали, через Шекспира, Гюго, Байрона. И меня обвинили в том, что я клеветшу. Я как бы клеветал на политику партии.

— Какое отношение имело это к Солженицыну? Вы уже были с ним знакомы?

— С Солженицыным я познакомился в шестьдесят втором году. Знакомство произошло потому, что моя жена написала ему письмо, после того как она прочитала «Матренин двор». И письмо это произвело на него очень сильное впечатление: он тогда получал сотни писем — и это письмо как-то ему очень понравилось.

— Вы были знакомы через Льва Зиновьевича?

— Он спросил Копелевых, знают ли они такого. И Копелевы сказали: «Конечно, это наши друзья». И тогда, приехав в Ленинград, он нам позвонил и сказал, что хочет к нам прийти. И пришел со своей женой. Это было в конце шестьдесят второго года. Он пришел, провел у нас целый вечер. Мы очень удивились, потому что он оказался веселым, разговорчивым, легким, остроумным, таким просто блестящим собеседником, главное, веселым. После того, что мы читали — «Иван Денисович», «Матрину» — мы представляли его мрачным. А потом — мы провели два вечера вместе — во второй раз, когда он пришел, он увидел у меня на стене афишу. Это была афиша спектакля «Карьера Артуро Уи» Брехта в моем переводе, и премьера должна была быть через два дня у Товстоногова. Ставил пьесу польский режиссер, и Солженицын посмотрел на эту афишу и сказал: «Знаете, я никогда в

театр не хожу, но я хотел бы пойти. Меня интересует Брехт, мне интересен ваш перевод». Я говорю: «Хорошо, я Вам достану билеты». И я пошел на другой день в театр Товстоногова, знаменитый Большой драматический театр. Зашел к заведующей литературной частью и сказал, что мне нужно два билета на премьеру. Она говорит: «Вы что, с ума сошли? Где я возьму два билета, у меня для самой себя нету ни одного билета». Я говорю: «Я Вам скажу для кого, может, Вы все-таки найдете». «Нет такого человека», — сказала она. И я сказал: «Мне надо для Солженицына». Она помолчала, достала из кармана два билета, и таким образом он побывал на спектакле, страшно меня испугав, потому что меня Товстоногов взял к себе в ложу наверх — я оттуда смотрел, — а ему надо было сидеть во втором ряду со своей женой. Но он пересел в первый ряд. А в первом ряду сидел Толстик — знаете Толстикова? — секретарь обкома, гнусный такой тип, и еще секретарь горкома Лавриков. И Исаич оказался рядом с Лавриковым и Толстиком. Он все время комментировал то, что происходило на сцене (понятно, что мой текст содержал разные аллюзии), поворачиваясь к своей жене и к моей жене, и очень хохотал. Он не знал, кто с ним рядом сидит. А я жутко боялся, что запретят спектакль. Достаточно было из-за чего. Там был такой эпизод, когда Геббельс — по пьесе он иначе зовется — произносит речь, и вдруг один из торговцев, слушающих его, говорит: «А выйти можно? Тот говорит: «Можно». Торговец выходит — раздастся выстрел. Понятно, что его убили, и Геббельс, обращаясь к другим, говорит: «Теперь вы можете свободно выбирать». Солженицын громко начал хохотать и комментировать.

— Выяснить этот скрытый смысл!

— Одним словом, спектакль все-таки не запретили тогда, но только потому, что был польский режиссер. Если бы был советский режиссер, спектакль, конечно, запретили бы. Вот с этого началось наше знакомство, которое вскоре перешло в дружбу. И мы фактически не расставались, я бы сказал, лет десять-двенадцать. Он об этом теперь подробно рассказал.

— Я не читал.

— В одиннадцатом-двенадцатом номерах «Нового мира» об этом подробно рассказано. Я не думал, что он об этом расскажет, потому что последние годы он вел себя совсем иначе. Там осталось то, что он думал в семьдесят четвертом году. Если бы он теперь написал... Есть некоторые его примечания, позднее написанные, и они совсем в другом тоне.

— А каково Ваше отношение к «Архипелагу»?

— К «Архипелагу» у меня всегда было одинаковое отношение — это одна из самых главных книг эпохи.

— Но Вы имели какое-то прямое отношение к нелегальному «Архипелагу»?

— Конечно, я имел к этому прямое отношение: я знакомил Солженицына с разными людьми, принимал участие в его разговорах с ними. Например, я его познакомил с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, их разговоры происходили при мне. Лихачев ему рассказывал про Соловки и вспоминал многое другое. И потом рукопись «Архипелага» лежала у меня, и я ее позже закопал на своем участке на даче. Она и до сих пор там лежит.

— И когда Вы прочитали вступление, Вы поняли, что он великий писатель?

— Ну, я не знал, что он великий писатель, но у меня создалось впечатление, что это очень хороший писатель. Я и сейчас считаю, что он был очень хорошим писателем. Я не думаю, что он великий писатель, я думаю — он очень крупная личность. Но я считаю, что его писательская жизнь окончилась. Трудно сказать: он жив, и он человек большого таланта, и, может быть, еще напишет что-нибудь равное тому, что писал раньше. Но то, что он написал за последние пятнадцать лет, например, «Красное колесо», обладает всеми достоинствами, кроме литературного. Это ведь нельзя читать. Я не знаю ни одного человека, который бы это прочел. Читали некоторые части, а читать целиком это нельзя. Он не нашел жанра: это не исторический роман, не документальное повествование, это нечто среднее, перегруженное, и даже в известном смысле чудовищное. Персонажи не живые, я не вижу во всех этих томах ни одного живого персонажа. Ленин у него просто автобиографичен, поэтому он живет других, но он написан с такой ненавистью к самому себе, что это тоже очень странно: психологически это странно, когда человек ненавидит самого себя.

— Вы сказали, что рукопись «Архипелага», может быть, еще лежит на Вашем участке.

— Не может быть, а наверняка лежит. Я просто забыл где.

— Забыли? А участок там же находится, где и был, или?..

— Он такой же, как и был. Но нельзя же его весь раскопать.

— Это почти археологические раскопки.

— Для музея.

— Может быть, предложить Институту археологии?

— Может быть, мои внуки найдут.

— Когда, Вы думаете, и почему так изменился Солженицын? Или, может быть, он никогда не менялся? В какой степени режим заставил его встать на такие позиции, скажем, более ожесточенные и нетерпимые?

— Я могу Вам повторить то, что мне сказал про него Лихачев, который старше и мудрее. Он мне сказал про двух писателей, что их несчастье сводится к тому, что им недостает культуры, мировой культуры. Второй — это Распутин. Лихачев считает, что два писателя погибли у него на глазах из-за отсутствия культуры. И я думаю, что это совершенно правильно. Я не знаю, каким был Томас Манн, но его трудно было бы поймать на каких-то ничтожных идеях и догмах. Ведь что с ним, с Солженицыным, случилось? Он оказался под властью неподвижных идей. Знаете, вряд ли вообще можно предполагать, что возникнет крупное художественное произведение у писателя, который заранее знает, что он хочет написать. Если заранее точно знать, для чего ты пишешь и чем это кончится, то нет никакого смысла писать. Ведь Толстой же говорил, что если бы он мог выразить смысл «Анны Карениной» очень коротко и ясно, то он бы и не стал писать роман «Анна Каренина». Вот мне все время кажется, когда я читаю «Красное колесо», что незачем было это писать. Для чего? Он и так знает, что он хочет. Это совершенно ясно: он хочет сказать, что все русские либералы и так называемые демократы, которых он предпочитает называть дерьмократы, что все они — розовые, а тем более красные — довели Россию до гибели, потому что спровоцировали революцию. Поэтому какой-нибудь Милюков ничуть не лучше Ленина, и Гучков, и все эти русские кадеты. Кто такие кадеты? Они слева, а раз они слева — они сволочи. Если бы он это коротко сказал, а писал бы в это время совсем другие сочинения, было бы гораздо лучше. Но говорить на восьми тысячах страниц — какой смысл?! Чтобы опубликовать те документы, те стенограммы, которые он выкопал? Это еще имело какой-то интерес, когда все было запрещено, когда он начал писать, — в семьдесят четвертом году. А уже начиная с семьдесят пятого стенограммы Государственной Думы печатаются спокойно. Так уж лучше читать стенограммы, чем читать роман Солженицына с его кусками стенограмм. На что мне его извлечения?

— Избранные места из стенограмм.

— Вот именно. Когда была цензура, это имело смысл. А монтаж газетных статей, речей депутатов Государственной Думы! И это единственное, что там по-настоящему интересно, потому что все, что делает полковник Воротынцев, — особенно когда он

вступает в сексуальные отношения с дамой со странным именем Ольда, — ну это же читать нельзя. Это все фальшиво! Это так же фальшиво, как женское имя Ольда.

— Ни Гольда, ни Ольга.

— Вот именно. Это Ольда. Это он придумал, так же как он придумал героя, которого зовут Саня Ложеницын, а не Солженицын. Ну что это такое?! Видно, что все это муляж. Нет, это неинтересно. И вообще нельзя, чтобы писателя называли великим из-за объема его творчества. Сейчас действительно двадцать томов. Ну и что? Хороший — один том.

— Какой, по Вашему мнению?

— Конечно, «Иван Денисович», «Матренин двор». Рассказы. Замечательные рассказы. Хороший роман «В круге первом»: хуже рассказов, но очень хороший. И, конечно, прекрасный — «Ракочный корпус». Все это кончается «Архипелагом ГУЛАГ», после которого начинается уже графомания. Графомания — это вполне почтенное дело, но это графомания.

— Вы в какой-то степени вынуждены были уехать из Советского Союза из-за Солженицына?

— Конечно.

— Независимо от Вашего отношения к творчеству и даже к идеологии Солженицына? То есть Ваша позиция исходит из понятия свободы писателя?

— Я считаю, что он имеет право писать, что хочет. Но я имею право читать, что хочу.

— Я хотел бы вернуться к истории Ваших отношений с Солженицыным. Можно ли сказать, что Вы в семидесятые годы, защищая Солженицына, защищали права писателя?

— Конечно. Другое дело, что, когда он мне и моей жене рассказывал (мы сидели у костра на территории бывшей Восточной Пруссии) свой будущий роман, который он потом назвал «Красное колесо», как он будет построен, как он будет соединен — документы и персонажи, — и я, и она, мы хотели только одного: удержать его от этого. Потому что мы понимали, что это будет либо неудача, либо катастрофа. Я ему тогда говорил: «Вы неподражаемы, у вас нет конкурентов, когда вы пишете о чем-то, что вы своими глазами видели, это у вас совсем иначе получается, чем когда вы придумываете. Такие писатели бывают. Достоевский был таким. Достоевский не умел выдумывать, поэтому он и не написал ни одного исторического романа. Он писал о людях, которых он видел, он их соединял, он их строил, но не было ни одного пейзажа, который бы он придумал, ни одной лестницы, которую

бы он сочинил». «Так что я не писатель, по-вашему?» — говорил Солженицын обиженно. И я, и жена, мы тогда объясняли, что по этому поводу думаем.

— Вы понимали, какая это будет неудача?

— Но я не думал, что она будет такая страшная. Многолетняя неудача. Я читал статью одного немецкого — теперь умершего — писателя, Хорстбинека. Очень хороший писатель, которого я любил и который всегда писал о Солженицыне в газете «Ди Цайт» необычайно восторженные статьи. И вдруг я прочел его статью после того, как в Германии вышел второй том «Красного колеса». Она называлась «Катастрофа». Мне кажется, что Солженицын и сам это понял. Он человек странный. Такое странное сочетание почти гениального дарования с абсолютной бездарностью. Вы знаете, это удивительно! Назвать эпопеей «Красное колесо»! Название и то очень безвкусно. Что значит красное колесо? Во-первых, в этом уже есть какая-то тенденция: колесо, красное, катится. Дьявольщина какая-то.

— Апокалипсис.

— Кошмар. Зачем? Уже есть пример Льва Николаевича, который назвал роман «Война и мир». Есть другой пример: «Жизнь и судьба». Но не надо называть — плохая война и хороший мир, великая война и ничтожный мир.

— А Ваши разногласия с ним уже были, когда Вы уезжали, когда Вас вынудили уехать, сняли с Вас все степени? А конкретное обвинение Вам предъявлялось?

— С его стороны?

— Нет, я говорю об обвинении со стороны властей. Были какие-нибудь конкретные обвинения?

— Я все это написал в книжке «Записки незаговорщика» — это Вы знаете.

— Да.

— И там даже есть документы из КГБ, в которых содержится обвинительное заключение. Обвиняли меня в связи с Солженицыным, и в связи с этим — в разных других преступлениях. Но другие преступления возникли в этих документах только в связи с Солженицыным.

— Как Вы думаете, история с «Мастерами перевода» может иметь к этому отношение?

— Не может. Потому что это было в шестьдесят восьмом году, и они тогда не приставали ко мне по поводу Солженицына. Тогда они были недовольны моим выступлением в защиту Бродского. Но с Солженицыным это не связано.

— После Вашего отъезда разногласия с Солженицыным были уже чисто письменные, или у Вас были какие-то контакты, встречи с ним на Западе?

— У нас было на Западе несколько встреч. Разногласия тогда не очень точно определились, разногласия определились позже, когда он прочитал интервью, которое я дал в Германии. Это было давно. Я уже не помню, семьдесят шестой год, что ли (см. ниже, примеч. 226 к публикации переписки Е. Г. Эткинда с Н. А. Роскиной. — *Ред.*). Я думаю, что он само интервью даже не читал: по-немецки он не читает, по-русски его не было.

— Кто-то пересказал?

— Ему пересказали, а кроме того, он понял заголовок, а заголовок был такой: «Солженицын хочет аятоллу». Там даже не было сказано, что он сам аятолла. Там было сказано, что он хочет аятоллу. Если бы он прочитал, он бы не так обиделся, потому что я ничего особенно обидного про него не сказал. Я его сравнил с аятоллой. Там было сказано вот что. Идея Вольтера была в том, чтобы рядом с монархом, с тронем был философ. Тогда все будет в порядке. Монарх будет свое дело делать, а философ будет давать ему советы. Но еще лучше, если монарх и философ соединены в одном лице, тогда получается Екатерина II. Так казалось Вольтеру. Почему он так обожал Екатерину? Он думал, что она и есть монарх и философ. Сначала ему казалось, что Фридрих II монарх и философ. Потом, когда он поссорился с Фридрихом, он понял, что Фридрих II вовсе никакой не философ.

— Просто сумасшедший.

— Просто сумасшедший. Что же касается Солженицына, написал я, то ему очень хочется, чтобы рядом с монархом или тем, кто исполняет его обязанности, скажем, генеральным секретарем, сидел, по возможности, священник, который бы его направлял в смысле нравственности, в смысле понимания, где добро, где зло.

— Сильвестр.

— Но еще лучше, если, как и для Вольтера, этот условный монарх и сам будет священником. А что это такое? Это аятолла. Это скорее даже была шутка, чем всерьез. Так как он не читал, он очень обиделся. Но внешне никак не реагировал. А в один прекрасный день Екатерина Федоровна, которая была с ним очень тесно связана (даже больше, чем я, потому что она гораздо внимательнее читала его тексты и делала больше замечаний. А он слушал — было время, когда он слушал. Она вообще была замечательный читатель), прочитала «Август 14» и вдруг напала там на такую фразу: «Он пошевелил нижней рукой». Она сказала, когда

он к нам пришел: «Александр Исаевич, вы же написали специально для пародии. Нижняя рука называется нога». Он посмотрел на нее очень обиженно и сказал: «Как нога? Он спал на боку. Если он спал на боку, одна рука нижняя, другая верхняя». Она ответила, что если так рассуждает крупнейший сегодня писатель, то она тогда уже вообще ничего не понимает в русском языке. Он это изменил. Вот ее он слушал. И я довольно много ему тоже говорил, и он слушал. Например, я отредактировал в свое время — и этим очень гордился — его письмо Съезду писателей. Он мне его дал почитать. Я ему сказал на другой день: «Александр Исаевич! Письмо ваше состоит из двух частей. В одной части вы пишете о том, что цензура, что преследование, а в другой части вы пишете о том, что вас не печатают. И та, и другая часть совершенно правильны. Но уберите из первой части слова типа *жандармы*, *жандармская травля*, потому что, если вы пишете, что вас не печатают жандармы, что русскую литературу преследуют жандармы, понятно, что вас не печатают. Напишите то же самое без ругательных слов». И он это убрал. На него подействовала эта очень простая логика, понимаете? Он послушался. А потом — мы уже были во Франции — Екатерина Федоровна была очень обижена его поведением. И она написала ему.

— Он был уже в США?

— Да, он был уже в США. Она написала: «Александр Исаевич! Наша близкая подруга, которую вы тоже знали, Фрида Абрамовна Вигдорова говорила: „Не надо никогда влачить цепь неистинных отношений“. И я пишу вам это письмо, чтобы вам это сказать. Мы иногда еще повторяем по привычке слово *дружба* и говорим друг о друге — друзья, а дружбы уже нету. И вы это очень хорошо знаете. Ну и не будем врать друг другу и считать, что мы друзья». Он страшно рассердился, и рассердился он на то, что это не его инициатива.

— Испытание, которое он не выдержал.

— Вот именно. Этого он не может никогда терпеть, чтобы что-то исходило не от него. И тогда он написал нам письмо. Оно где-то должно быть. Оно начиналось так: «Дорогая Екатерина Федоровна и Ефим Григорьевич» — и дальше он писал, что, конечно, вы правы: никакой дружбы давно нет, и какая же дружба может быть с человеком, который обозвал меня аятоллой. Какая может быть дружба с человеком, который напечатал свою статью под одной обложкой с моим врагом Лакшиным из «Нового мира»? И было еще два-три таких...

— Таких врагов?

— Лакшин был тот критик, который первый сказал о нем, что он крупнейший писатель современности. А потом Лакшин написал статью о книге «Бодался теленок с дубом».

— Да-да, которая вышла во Франции.

— По поводу того, что Твардовский был вовсе не таким, каким написал о нем Солженицын, а гораздо более крупная личность. И умный человек понял бы, зачем это написал Лакшин. Для Лакшина, действительно, Твардовский был светлой личностью. А тут из этой светлой личности была сделана какая-то карикатурная фигура. И ему это было очень больно... Одним словом, было несколько таких обвинений в этом письме, и это было письмо, положившее конец нашим отношениям. Хотя на самом деле не это письмо положило конец, а письмо жены. Вот это было, наверное, в семьдесят седьмом-восьмом году. С тех пор он порвал и с Копелевым, и со всеми. Особенно с евреями.

— Хотя он постоянно говорит, что у него нет никаких антиеврейских, антисемитских побуждений.

— Во-первых, есть, а во-вторых, прочтите в одиннадцатом или двенадцатом номере «Нового мира»: он рассказывает историю о том, как Прицкер, мой друг, водил его по Таврическому дворцу. Я договорился с Прицкером, привез к нему Солженицына, и Прицкер, профессор Высшей партийной школы в Таврическом дворце, показал ему Таврический дворец. Это Солженицыну было нужно для романа, потому что там происходило заседание Государственной Думы. И пишет он так: «Не удивительно ли, что русский писатель, который пишет о русской истории, должен был пользоваться помощью двух евреев!?»

— Почему-то некоторые писатели в определенный момент начинают подчеркивать национальность своих героев, говоря, например, *еврейчата* или цитируя настоящую фамилию.

— Ну вот, я все это прочел, и, Вы знаете, ничего худого тут не сказано. Действительно, русский писатель, действительно, два еврея... Но я, оказывается, был для него евреем! Он для меня никогда не был русским. Он был для меня моим другом Александром Солженицыным и писателем. Ну, конечно, русским писателем, потому что он писал по-русски. А почему вдруг я оказался для него евреем? Потому что у меня бабушка еврейка? Почему? Я ведь тоже русский писатель или русский литератор. Это ж поразительно! С таким же успехом, если так смотреть на вещи, можно сказать про Пушкина, что он эфиопский писатель, или про Лермонтова, что он шотландский. Значит, это вопрос крови. Или вопрос звучания фамилий. Это поразительно! При этом, пони-

маете, даже неважно, антисемитское ли это высказывание. Не антисемитское — оно расистское. Вот же в чем дело!

— Кстати, Жорж Нива говорит, что Александр не Исаевич, а Исакиевич. Он все время пытается доказать нам, что Солженицын совсем не антисемит, что это выдумки. Солженицын в начале своей биографии пишет, что отца его звали Исаак, а он почему-то изменил свое отчество.

— Я думаю, что не Исаак, а Исаакий.

— Исаакий?

— В святцах есть такое имя.

— Может быть, закончим разговор об этом?

— Да-да.

— Не могли бы Вы вкратце рассказать про свои семнадцать лет в Европе? Было трудно приспособиться или Вы всегда считали себя гражданином мира?

— Нет-нет. Очень трудно.

— Очень трудно?

— Очень. Да и не могло быть легко. Я не знаю ни одного человека, который бы занимался гуманитарными делами и которому было бы легко. Если он не живет в изоляции от мира.

— Да, конечно.

— Андрею Донатовичу Синявскому легче, потому что он вообще не замечает, что он во Франции. Он с французами не встречается.

— А если и встречается, то их не видит.

— Да, на их языке он разговаривать не умеет, встречается он с русскими, лекции он читает так, в воздух, — его не очень интересуют те, кто там сидит. Но, в общем, ему тоже было нелегко. Но легче. Ему было легче, я думаю потому, что он в России никогда не жил по-настоящему, понимаете? Он же вел двойную жизнь. Он печатался на западе, а в России вел какую-то шизофреническую жизнь. Одна его половина жила там, а Абрам Терц жил на Западе. А у меня было иначе. Я был там очень активен. Я преподавал, у меня было очень отчетливое понимание, чему я учу и зачем. Я издавал книжки типа «Разговор о стихах», я знал, зачем я их издаю. И какими я хочу, чтобы они стали, эти молодые читатели, понимаете? В Доме писателей — я был очень активен в Союзе писателей — у меня был альманах, который назывался «Впервые на русском языке». Он собирал человек пятьсот каждые две-три недели или раз в месяц. Это была активная деятельность.

— Бурная.

— Бурная. И я там жил. Я не то чтобы прикидывался, я там жил. И вдруг мне пришлось все это прервать и начать с нуля. Впервые, я совершенно не мог понять, чему мне учить молодых людей в Нантере. Зачем я им нужен? И что бы я им ни говорил, им это было ни к чему. Если я их учил методологии литературного анализа, им это было совершенно неинтересно, потому что их интересовало получить диплом. Методология — зачем? Ну, словом, все шло иначе. Мои общественные устремления и интересы все падали в воду, ну как рукой по каше. И первые два года я был почти что болен.

— Несмотря на то, что у Вас сразу была работа?

— У меня была работа, я читал лекции, я писал, но все равно было состояние депрессии.

— А жена? Домочадцы как?

— Екатерине Федоровне было очень интересно, но она очень тосковала. У нее все там остались: сестра со своей семьей, мать, много подруг. Все были там. Здесь, во Франции, она была чужой.

— А дочки?

— Дочкам легче. Маша хорошо знала английский, и она довольно скоро уехала от нас в Канаду к мужу, она как-то очень быстро устроилась. У нее тех трудностей, которые были у меня, не было.

— Сейчас, в последние годы, Вы не думаете о возвращении? Не собираетесь вернуться?

— Туда?

— В Союз. В Россию.

— Вы знаете, я буду возвращаться, но я не вернусь. И я Вам скажу — я не лгу, — я не могу выносить бесструктурного существования. В том, что сейчас там происходит, самое ужасное для меня — это отсутствие структур, всяких. Университеты — не университеты, издательства — не издательства, газеты — не газеты, журналы — не журналы. Все распадается. Конечно, благородная позиция была бы приехать туда и помогать создавать эти структуры. Но, может быть, я буду продолжать мое дело здесь. У меня много дел появилось за то время, что я здесь живу. Появилась необходимость делать то, что я делаю с изданием русских поэтов на Западе. Все-таки я издал многих поэтов во Франции и многих в Германии. И во Франции, и в Германии я что-то сделал. Сдвинуть с мертвой точки их невежество я не могу, но все-таки, все-таки. Вот я приехал на конгресс переводчиков, и все-таки человек десять знали мою книгу и говорили о том, как они эту книгу рекомендовали своим студентам и как они на своих занятиях делают фотокопии отдельных глав. Это важно и интересно.

Человек тридцатых годов, или Четверо в черных шляпах

Мне трудно отделить свои отношения с Ефимом Григорьевичем от самого себя, от того, чем всегда заполняется долгая жизнь и глубокая взаимная привязанность.

Мне кажется, что новым поколениям его слушателей и читателей может быть интересно, как он определялся в жизни и в литературе, где корни масштабности его образованности и мысли.

Вот почему я решил вспомнить нашу молодость, наши тридцатые годы. При этом позволю называть Ефима Григорьевича так, как я его всегда называл, то есть по имени — Фима.

Легко писать воспоминания, когда дружеские отношения не прерываются надолго и в сознании и в памяти годами откладываются какие-то события и разговоры.

Наша непрерывная дружба подвергалась трудным временным испытаниям. Сначала нас разделила война — Фима был на Карельском фронте, потом в Венгрии. Я сначала, как нестроевой, оставался в блокадном Ленинграде, потом на Волховском фронте, потом в госпитале и т. п.

В 1941 г., еще до войны Фима получил назначение в Педагогический институт в городе Яранске, тогда Кировской, то есть Вятской, области. Он оттуда мне написал, что очень скучает и удивляется обилию гусей в этом городе. Благодаря этому письму у меня в памяти остался его яранский адрес.

В 1942 г. летом я после контузии попал в госпиталь в Череповце. И после безуспешных попыток связаться с мамой в Ленинграде написал Фиме в Яранск.

Он мне ответил и сообщил, что мама и отчим благополучно эвакуировались в Ташкент, куда он написал, что я жив и относительно здоров. Так я «нашелся», — как писала подруга моей будущей жене.

Вновь мы оказались с 1946 г. в Ленинграде, из которого меня не по своей воле занесло в 1950 г. на Колыму, а Фиму — в Тулу, поскольку в Ленинграде для него, как для еврея, уже не было рабочего места.

Оттепель 1954 года позволила мне в августе вернуться в Ленинград. Вскоре приехали из Эстонии Катя и Фима и привезли мне в подарок вошедший тогда в моду синий плащ, понимая, что

его у меня нет. Вскоре я прочитал в «Огоньке» очерк «Тысяча в синих плащах» и очень развеселился.

Начавшееся тогда сравнительное благополучное двадцатилетие оборвалось вынужденным отъездом Фимы в Париж в 1974 г. и моим в Израиль в 1976-м.

На просторах свободного мира мы встречались несколько раз в году, то в Париже, то в Америке. Фима целый семестр проработал у нас в Еврейском университете в Иерусалиме. В Америке мы сменяли друг друга то в Юджине (Орегон), то в Колумбусе (Огайо). А в Нориче (Вермонт), где Фима периодически возглавлял симпозиумы по разным литературным эпохам, мы регулярно съезжались. Я уже не считаю наших частых наездов в Париж, где мы, как правило, встречались и жили на его квартирах, часто и в отсутствие хозяев.

География, которая в Советском Союзе обходилась с нами сурово, в свободном мире перестала быть препятствием к встречам и обмену мыслями.

Благодаря Фиме я стал участником многотомной «Истории русской литературы», издаваемой Файярдом, которая только сейчас близится к завершению.

Мы начинали над ней работать в то время, когда привлечь авторов из Советского Союза было (до 1989 г.) невозможно. Приходилось искать авторов на Западе или писать самим. За последнее обстоятельство нам досталось от молодых рецензентов, у которых политическая наивность превосходила даже их самонадеянность.

Критики не заметили, что это первая большая история русской литературы, где даны писатели без различия места их жительства — метрополии и эмиграции. Это первая история русской литературы, где преодолены разграничительные линии, созданные историей. Фима написал для этой «Истории» десятка два статей. Некоторые из них появятся уже в траурных рамках. А он так любил это наше общее детище! Ничего подобного этой истории литературы нет, и в том, что она все эти годы продолжалась и, надеюсь, завершится в ближайшее время, — огромная заслуга Фимы — редакторская и авторская.

Многое из написанного Фимой я узнал задолго до литературного оформления. В одном случае я получил возможность прочитать работу, которая как бы завершала широкий круг его наблюдений и размышлений над русской классической литературой. Теперь это всем известная книга «„Внутренний человек“ и внешняя речь» (1998). Мы жили тогда у Фимы в Пюто (пригород

Парижа), он уезжал в Бретань и оставил мне машинописный экземпляр будущей книги. Это было жаркое лето 1996 г., август. На одиннадцатом этаже было сравнительно прохладно, и я читал попеременно «Историю Франции» одного из самых стилистически совершенных французских историков Мишле и «Внутреннего человека». Это произошло непреднамеренно, мне в голову не могло прийти сравнить этих двух авторов. Но так получилось. И скажу, положа руку на сердце, что наш друг ни в чем не уступал знаменитому когда-то французскому автору.

Я, конечно, прочел внимательно и сделал несколько замечаний по старой привычке редактировать рукописи, если они попадают мне на глаза. Поэтому я был удивлен и тронут надписью, которую Фима сделал мне на этой книге. И теперь эта надпись, когда я ее прочитываю, напоминает о том внутреннем человеке, который эту книгу писал. И почему-то при виде этой книги, которой я немного облегчил появление на свет, мне вспоминается осень 1946 года. Мы с Фимой идем в больницу Эрисмана, чтобы принять его жену Катю с новорожденной Машей. Фима не решается брать на руки свою первую дочь, а я, как опытный отец двух детей, смело беру младенца Машу на руки и несу ее в их квартиру на Кировском... Я написал «квартира» по привычке. Это действительно была квартира, и большая. В ней было одиннадцать комнат, в каждой жила семья. Фиме с Катей принадлежала одна комната, которая вся была поделена книжными полками. Соседи были терпимы. Некоторое неудобство всем жильцам причинял любитель попугаев, который разводил их в своей комнате в значительных количествах на продажу..

Я отвлекся, а хотел писать о том времени, когда нас свели коридоры филологического факультета в 1936/37 учебном году. А, — скажет совсем молодой читатель, — знаем, о чем пойдет речь, о сталинских репрессиях. И не угадает. Хочу вспомнить о другом.

Человек живет в истории, а не только в домашнем кругу или в служебных отношениях. И чем он значительнее, чем важнее и знаменательнее то, что он делает, тем больше история участвует в нем, в его делах и поступках. Вот почему я хочу напомнить о наших университетских годах, то есть о тридцатых, когда во многом сложилось наше мировосприятие.

Две цепи фактов, казалось бы, очень далеких от нашей ежедневности, подспудно влияли на наше мировосприятие. С 1934 г. это была угроза общемировой опасности — германский фашизм, а с лета 1936 г. — гражданская война в Испании. В течение двух лет радио утром ежедневно сообщало — Мадрид держится. И

сколько надежд было связано с этим городом и его упорством! Двое из французской группы, Давид Франкфурт и Леля Кревер, поехали в Испанию переводчиками. Вернулись они целыми и невредимыми, а Додик Франкфурт позволил себе сделать там, в Испании, то, что строжайше запрещалось: он вел дневник, сумел его спрятать и привести. Однажды у Фимы он нам этот дневник читал. В 1941 г. Давид погиб на войне, а его дневник, наверное, пропал.

Фашистская угроза и участие Советского Союза на стороне республиканской Испании было первопричиной того, что мы мирились с «процессами» и «репрессиями». Ведь тогда Советский Союз открыто заявлял себя врагом фашизма. А мы все были евреи, считали, что Советский Союз это сила, которая может фашизму противостоять. Напомню, что тогда еще антисемитизм не стал официальной государственной доктриной и повседневной административной практикой.

А «процессы» и «репрессии» мы воспринимали как жестокую и отвратительную форму борьбы за власть внутри правящей партии. И только. Не могли же мы всерьез поверить в то, что Радек или Троцкий служили одновременно не то двум, не то трем иностранным разведкам... Но главный наш интерес тех лет (1937—1941) формально никакого отношения к политической современности не имел. Во всяком случае, так нам тогда казалось.

Как отразились на нас, студентах 1936—1939 гг., эти события? Только косвенно. Ибо мы оказались зрителями. И даже не статистами в той драме китайского типа, которая перед нами разыгрывалась. «Китайского» не в смысле современного Китая, так любезного сердцу европейских левых, а по аналогии с пьесами традиционного китайского театра, представление которых могло продолжаться две или три недели. Мы были зрителями, когда один за другим исчезали профессора и доценты философского факультета, пока не остался один довольно местечкового вида молодой еврей по фамилии Розенштейн, которого тут же прозвали «последний философ Ленинграда», и факультет пришлось закрыть, а студентов перевести на другие факультеты, благодаря чему судьба свела нас с Ахиллом Левинтоном, которому, кажется, и принадлежало это «мо» о Розенштейне.

На нашем филологическом факультете из примерно тысячи человек студентов было взято около ста. И в проскрипциях просматривалась система и последовательность. Исчезали целые отделения: финно-угорское, корейское, молдавское. Было совершенно ясно, что всем им инкриминировался шпионаж в пользу

тех стран, к которым они национально близки или с которыми граничили. Исчезали отдельные профессора, иногда — с тем, чтобы вернуться. Так, после 16 месяцев следствия, вернулся совсем поседевший П. Н. Берков, которого застал в тюрьме приход Берии, как известно, отмеченный прекращением нескольких десятков дел и освобождением немногих уцелевших счастливицов.

И все же самое странное впечатление эпохи чисток опять-таки чисто зрительское: это Невский проспект, куда я попал в конце августа 1937 г. после того, как недели две или три прожил безвыездно с родителями на даче в г. Пушкине.

Я не сразу самому себе сумел объяснить, что особенного случилось. Что изменилось? Невский был такой, как всегда, может быть, чуть погрязнее, чем в 1976 г., когда я видел его в последний раз перед отъездом, не было выходов из подземных переходов, совершенно изуродовавших перекресток Садовой и Невского, но было, как всегда в солнечный день, движение по тротуарам особой толпы, которой нет ни на одной другой улице любого русского города. Это заметил даже такой нелюбитель русского севера, как Гоголь!

Был поток людей, был солнечный и теплый августовский день, но было что-то новое, непривычное, непонятное. И только приглядевшись, я понял: с Невского исчезли красивые и нарядные женщины. Их не стало. Улица потускнела и отцвела, отцвела надолго. Так до самой войны она не вернула себе прежней формы. Секрет этой перемены мне стал ясен довольно скоро. Именно в это время стали брать не только мужчин — «врагов народа», и появилась новая категория на тюремно-лагерном языке — ЧСИР — член семьи изменника Родины.

Что происходило с изменниками Родины, тогда нам точно известно не было, довольствовались предположениями и догадками, а членов их семей (жен и детей) отправляли в особые лагеря на 5 или 8 лет.

И вот на этом двойном фоне эпохи в коридоре филфака где-то в 1936/37 учебном году сошлись четверо студентов этого факультета Ленинградского университета.

Как и когда произошла эта встреча — не помню. Не помню, что именно нас потянуло друг к другу. Но сначала — кто были эти «мы» — по алфавиту: Ахилл Левинтон, Владимир Шор, Илья Серман и Ефим (Фима) Эткинд. Впредь разрешу себе называть всех по именам, как это, естественно, и происходило. Ахилл был одесит, кончил в Одессе химический техникум, поступил на философский факультет университета в 1935 г., а в 1936 г. этот факуль-

тет был закрыт, студенты могли выбирать, куда им переходить. Ахилл выбрал романо-германское отделение, его германскую группу. Я до университета проработал три года слесарем на ленинградском заводе «Знамя труда» № 1 и учился на русском отделении уже третий год. Володя и Фима пришли в 1935 г. после десятилеток. Это не значит, что у недавних школьников не было серьезного жизненного опыта. Отец Фимы был нэпман, за что и пострадал, хотя и не очень. Во всяком случае, когда я стал бывать у Фимы дома, то отец был на месте и где-то служил по торговой части.

Когда я попал впервые к Фиме на Песочную, где жили Эткинды, меня поразило то, что у него была своя комнатуха, часть разделенной большой комнаты, но все-таки отдельная комната. Удивило, пока я добирался до его комнатухи, в передней и в коридоре нагромождение каких-то ваз, статуй и предметов непонятного происхождения.

На мой вопрос — зачем все это? — Фима сказал, что привезено с прежней квартиры.

Несколько позднее я познакомился с родителями и братьями. Отец произвел на меня впечатление коммерческого человека, тип мне малознакомый.

Но до сих пор я не могу забыть Полину Михайловну, мать, и не столько ее внешность, интересную и выразительную, сколько ее голос, сильное и прекрасное контральто. Она была профессиональной певицей (сценическая фамилия Спевская), и в ее исполнении песня «Дороги» звучит для меня и сейчас.

Не тогда и не сразу, но постепенно у меня сложилось впечатление, что в характере Фимы как-то сложно и интересно переплелись отцовская деловитость и артистизм матери.

Кто мы были — диссиденты или конформисты? Никто из нас тогда, в тридцатые годы, не был ни диссидентом, ни правозащитником. Их вообще не было, как не было и этих понятий. Тем более не были мы «заговорщиками». Много позже, уже после войны, нам стало понятно, что эта власть нам враг, а не союзник. А тогда даже Ахилл, уроженец скептической Одессы, не был законченным врагом режима и властей.

Нам многое казалось варварским и неоправданно жестоким, но воспринималось, особенно репрессии 1936—1939 гг., как стихийное бедствие, как ураган или наводнение.

Помню, как однажды мы были с Фимой у Г. А. Гуковского дома, и, кажется, я позволил себе резкое замечание политического содержания. Г. А. Гуковский закричал: «Вы не жили при капита-

лизме!». И мы по тогдашнему уровню нашего мироотношения, пропитанного марксизмом в его гегельянском изводе, не нашли возражений...

Насколько мы были политически или практически наивны — видно по истории с «Радугой». Еще до того, как сложилась наша четверка, Фима на первом курсе создал, конечно, неофициально, кружок из семи человек, почему он и был назван «Радугой». Собрания «Радуги» происходили на дому у Фимы.

Итак, «Радуга» собиралась: читали стихи, обсуждали литературные новости. Секрета из ее существования никто не делал. О ней стало известно факультетской «общественности», ее комсомольской организации. Делом «Радуги» занялись кому следует, но парторг факультета Евгений Иванович Наумов его приглушил. Он благоразумно не дал возможности желающим раздуть дело до политических масштабов. Фима, как и другие «Радуги», не был комсомольцем, и потому отделались они легким испугом.

«Радуга» прекратила свое незаконное существование, и никто о ней не вспоминал до 1945 г. Прошло почти десять лет. Давно все окончили университет. Пришла война. Фима вместе со всем Карельским фронтом, где он воевал с 1941 г., попал в Венгрию в 1944 г. Тогда там шли очень серьезные и трудные бои. Как многие участники войны, как Виктор Некрасов и Юрий Лотман, Фима решил вступить в ряды ВКП(б) — тогда это воспринималось как естественно патриотически искреннее решение. Его не приняли. Помешала та самая «Радуга», о которой он, конечно, забыл... Оказалось, что она так и шла за ним — в его личном деле.

У Юрия Олеши есть почти забытая пьеса «Список благодеяний» (1931). Ее героиня, актриса, составляет для себя список благодеяний и преступлений советской власти. Тогда подобная мятущаяся героиня еще допускалась в литературу.

Так вот, к числу немногих благодеяний советской власти можно отнести официальный возврат в 1930-е гг. к прагматической истории. Это была своего рода идеологическая революция сверху. Именно тогда на истфаке стал читать Тарле, на чьи лекции сбегалось пол-университета. Его курс назывался «Международные отношения в эпоху империализма». Из них мы узнавали много интересного и удивительного. О монархах и премьер-министрах Европы Тарле говорил как о хороших знакомых. Так, о германском императоре Вильгельме II, которого Тарле не любил, он отзывался иронически. Тот норовил — говорил

профессор, — побывать на всех свадьбах, крестинах и похоронах. И абстрактная фигура вдруг превращалась в живого человека, пусть и смешного.

Вскоре вышла книга Тарле «Наполеон», и почти одновременно в двух главных газетах страны, в «Правде» и в «Известиях», появились разгромные рецензии. Казалось, что ученому пришел конец, а ведь он совсем недавно был возвращен из ссылки... И вдруг в тех же газетах в отделе «Хроника» появилась коротенькая заметка. В ней говорилось, что профессор Тарле *не* марксист и потому нельзя к нему предъявлять требования, каким должен отвечать историк-марксист.

Напомню, что марксизм был официальной, непререкаемой и обязательной идеологической основой всех наук. И все, кого могла интересовать судьба Тарле, поняли, что разрешить ему быть не марксистом мог только один человек в стране, демиург и корифей всех наук.

Нас эта космическая по своему эффекту история так поразила, что мы в своих разговорах часто к ней возвращались.

Может быть, этот комический по своему сюжету эпизод объяснит, в какой атмосфере приходилось дышать.

И все же кое-что переменялось к лучшему. Произошла перемена и с историей России, с ее царями и полководцами. Вместо классов было воскрешено любимое славянофилами и демократами XIX века понятие — «народ». Все это позволило возродить университеты, и гуманитарное образование в них приблизилось к реальному содержанию литературы, истории, лингвистики и даже философии.

Университет нашего времени, не вмешиваясь по возможности в современную политику, открыл для нас историю в непрерывности ее движения, историю, определявшую самовластно судьбы и участь народов и людей. Университетская наука странно переплеталась с наукой жизни.

И было нечто общее у наших университетских учителей, общее, что объединяло таких разных по своему идеологическому происхождению людей как Г. А. Гуковский, А. С. Долинин, Н. Я. Берковский и Б. Г. Реизов. Все они, несмотря на различие внутренних философских убеждений и литературных вкусов, считали себя людьми одной, общей европейской культуры. И в таком духе каждый из них читал свои курсы: был ли это русский XVIII век у Гуковского или французский романтизм у Реизова.

Задумываясь над судьбами моих давно ушедших друзей в годы после переезда в Израиль, я пришел к выводу, что все мы бы-

ли, а что касается Фимы и меня — остались людьми своего поколения — тридцатых годов, которые воспитывали нас и сформировали. Позволю себе несобходимое отступление. Понимаю, что деление поколений по десятилетиям дело очень условное и произвольное. И все же, мне кажется, что можно выделить в нашей истории XX века людей тридцатых годов, а потом уже «пятидесятников» и «шестидесятников». Людей сороковых годов не было, хотя послевоенное время и произвело на свет энергичную категорию «деятелей». Их отличала уверенность, что можно прожить любой исторический отрезок, довольствуясь комбинированием из уже давно отлитых идеологических шлакоблоков. Лысенко — вот символ сороковых годов; он совместил в себе «ученого», который самым искренним образом не верил в возможность какой-либо науки, и «деятеля», который с серьезным видом подводил идеологический фундамент под биологические явления, не смущаясь тем, что отрицание внутривидовой борьбы противоречило не только здравому смыслу, но и тысячелетнему опыту всей человеческой цивилизации. С середины сороковых годов стали утверждать, что все уже понято, никакие новые науки не нужны, остается молиться и уповать. Чудо стало основным идеологическим принципом, а сомнение в нем равнялось оскорблению Главы Правительства. Люди тридцатых годов еще искали, тогда как люди сороковых годов твердо знали, что все уже найдено и понято. А мыслящие люди тридцатых годов хотели понять и добросовестно искали истину, хотя результат их поисков оказался совсем не тот, какого можно было ожидать, судя по началу, настойчивости и энтузиазму искателей.

Наше содружество было единством интересов, а не убеждений. Фима и я были сторонниками Гуковского, Володя — не менее убежденным учеником Б. Г. Реизова, а Ахилл как германист колебался между Жирмунским и Берковским. Ему же, кстати, принадлежит деление университетской науки на литературоведение лысое (Жирмунский, А. Смирнов) и литературоведение волосатое (Гуковский и Берковский).

Споры внутри нашей четверки шли непрерывно и всегда. То втроем мы нападали на Володю за его ползучий эмпиризм (модный тогда термин!), то на Ахилла за его увлеченность эффектными схемами Берковского.

Мы не были, конечно, организованной группой, но ходили на доклады друзей. И помню наш общий восторг, когда, защищая положения своего доклада о Гофмане, Ахилл привел цитату из его письма, которого не знал или забыл *сам* Жирмунский.

Местом наших самых горячих споров была пивная. Она находилась на канале Грибоедова напротив Дома книги. Вместо стульев там стояли приспособленные для сидения бочки.

Там не бывало очень людно, а наши разговоры по терминологии и мелькавших в них именах, видимо, не привлекали нежелательных слушателей.

Теперь я с удивлением вспоминаю, с какой самонадеянностью каждый судил о работе другого. Ахилла мы дружно упрекали за его склонность видеть в Гофмане, вслед за Берковским, почти реалиста бальзаковского типа. Фима занимался поэтическим творчеством Марселины Деборд-Вальмор. Забытая в первой половине XIX века, она была открыта в символистскую эпоху Верленом. Нам же, по нашей тогдашней малообразованности, казалось, что заниматься ею исследовательски это значило терять время. О чем мы и заявляли Фиме неоднократно.

Володя работал над забытым основательно романом забытого или полузабытого, а когда-то самого популярного литератора и журналиста Франции Жюль Жанена «Барнав».

К Володе у нас были «теоретические», как мы тогда считали, претензии, в основном направленные на его руководителя Б. Г. Реизова.

Нам очень хотелось понять смысл того, чему нас учат в университете, смысл литературы, а может быть, смысл, в конечном счете, и самой Жизни с большой буквы.

Наши университетские профессора, каждый по-своему, вносили очень существенный элемент в наше самосознание, в нашу способность рефлексировать, то есть, говоря проще, — думать самостоятельно. Даже такая, казалось бы, абстрактная головоломка, как семинар по политэкономии, тоже служил общему освежению мозгов.

Конечно, главным была литература, которую нам преподносил каждый профессор как свою систему оценок и предпочтений, именно свою, а не спущенную директивно сверху, от начальства.

И хотя литературу XX века нам читали не самые квалифицированные преподаватели, важно было то, что на ней еще не было никаких политических ярлыков, которые появились после 1946 г. Исследовать ее еще не было противозаконным и опасным занятием. Поэтому не могу не рассказать, как я нечаянно толкнул Фиму углубиться в эпоху начала века.

Он, конечно, как и все мы, хорошо знал Блока, Гумилева, хуже — Ахматову, но тут появилась неожиданная возможность заработка. Доцент университета Орест Цехновицер, читавший нам

курс западной литературы XX века, по предложению Учпедгиза должен был написать вузовский учебник по русской литературе XX века. Кто-то посоветовал ему обратиться ко мне с предложением помогать ему в собирании материалов по литературе этой, тогда еще очень неисследованной, хотя и близкой, эпохи.

Я тогда писал дипломную работу о Батюшкове, был очень ею увлечен, острой необходимости в заработке у меня не было, поэтому я сказал Фиме, что продаю его в рабство, и рекомендовал Цехновицеру как уже готового специалиста по эпохе.

Так Фима погрузился в журналы и поэтические сборники, собирал материалы, предъявлял их заказчику и регулярно получал от него плату.

Он к этому времени женился на Кате Зворыкиной, и ему деньги были очень нужны, поскольку кроме студенческих стипендий у молодой четы не было никаких других доходов.

Правда, иногда неожиданное вспомоществование приходило из далекого прошлого. Однажды Фима зачем-то раскрыл старый диван, который был главным украшением комнаты молодых супругов. В диване оказалась пачка старых французских писем. Оказалось, что это не просто осколок какой-то дореволюционной переписки, а письма самого Ивана Сергеевича Тургенева к Наталье Николаевне Рашет. По моему совету Фима отнес их в Рукописное отделение Пушкинского Дома. Ксения Дмитриевна Муратова, которая возглавляла Рукописное отделение, охотно взяла эти письма. Фима получил за них 200 рублей (сумма по тому времени порядочная!), а диван с тех пор стал называться тургеневским.

Началась в 1941 г. война, Цехновицер погиб во время перехода флота из Таллина в Кронштадт, учебник не был написан, но то, что Фима извлек из своей работы, думаю, ему позднее очень и очень пригодилось.

Что удивительно, в университете не было интересных поэтов, а если и были претенденты на это звание, то их беспомощность и бездарность были настолько очевидны, что мы на них никакого внимания не обращали. Не было в Ленинграде официальном, то есть в обоих журналах («Звезде» и «Литературном современнике») стихов, заслуживающих нашего внимания. Разве что иногда появлялся Заболоцкий. И только. На фоне беспомощных университетских стихотворцев ошеломляющее впечатление произвели стихи неизвестно откуда появившегося Алика Ривина. Он приходил к нам и читал свои стихи. Их, конечно, никто не думал печатать, ни автор, ни мы, его восторженные слушатели. Чаще всего он приходил домой к Вове, от-

части потому, что его там кормили. Чем он жил, мы толком не знали. Говорили, что он ловит бродячих кошек и сдает их в какие-то лаборатории. Так это было или нет — не знаю, но руки у него были всегда сильно исцарапаны...

Любовь к поэзии бывших членов «Радуги» вдохновляла их на создание поэтических мистификаций и шуток. Так, Фима вместе с Лелей Кревером «открыли» французского поэта XVI века, забытого даже французскими историками литературы. Сорок минут на занятии французской группы Фима докладывал о маркизе де Ля Пюнезе, цитировал его стихи до тех пор, пока после последнего прочитанного опуса мистификаторы все не объяснили. Шутка была обставлена вполне академично и очень понравилась, особенно, когда слушатели осознали, что фамилия неизвестного поэта, да еще маркиза, по-французски значит — клоп.

Мы все знали случайно доходившие стихи Олейникова. К этому времени уже отцвела слава Сельвинского, но к Маяковскому сохранялось еще подлинное уважение. И все же себя, своих чувств и настроений мы не находили даже у Пастернака. Хотя мы, конечно, хорошо знали «Второе рождение» и восхищались им. Но тот космический оптимизм, с каким Пастернак радовался новому, складывающемуся совершенному миру, нас не воодушевлял. Это были прекрасные стихи и прекрасная душа поэта. Эпоха после 1936 г. не гармонировала с этим поэтическим прекраснодушием.

Отклик на свои сомнения и горестные заметы мы нашли в переписанных от руки стихах другого поэта. Фима получил году в 1938 г. клетчатую общую тетрадку в коленкоровом переплете, в которой были переписаны стихи Мандельштама. Сюда вошли немногие журнальные публикации тридцатых годов («Петербург, я еще не хочу умирать», «Ламарк»), но самое удивительное в этой тетрадке были стихи из «Воронежа», в том числе «Волкодав».

Это было озарение, нам открылся совсем другой, новый поэт, он писал о самом главном, о себе, обо мне, о всех нас. На фоне знаменитых процессов тридцатых годов «Волкодав» воспринимался как нечто безусловное и наше, из нашего нутра извлеченное. О его пророческом смысле я догадался только в начале 1949 г., когда мы стали ждать ареста... и дождались.

Тогда, в 1938 г., мы не всегда понимали смысл этих стихов, но было ощущение огромности и живого нерва. Это было особенно удивительно потому, что Мандельштама я хорошо знал и ранее, у меня был «Камень» и «Стихотворения» (1928), в которых каждая строчка была читана и перечитана, но здесь он гово-

рил нечто другое, чего я не мог и не пытался тогда определить. Я даже не уверен в том, что переписал эти стихи, и не из страха, а потому, что они вошли в меня, и мне было ясно, что уже не уйдут никогда.

Уже в «Радуге» много говорилось о поэтических переводах. Тогда очень всех поразила сборник переводов французских поэтов Бенедикта Лившица.

Из этой эпохи своей жизни, из университетских лет все трое «западников» — в отличие от меня, «русиста», вынесли серьезный интерес к поэтическому переводу. И позднее переводческая работа стала делом жизни. Ахилл, вернувшись в 1954 г. из исправительно-трудового лагеря, переводил труднейших немецких авторов, таких как Гердер, а Володя, всю жизнь преподававший английский язык в Горном институте в Ленинграде, много и превосходно переводил французских поэтов. Перевод, его проблемы, его трудности и противоречия (я имею в виду поэтический перевод) стал для Фимы не только любимой работой, но предметом плодотворных размышлений и поводом для международных и внутрироссийских конфликтов.

Сначала о том, как такое, казалось бы, неополитическое дело, как перевод, может стать причиной скандала. Фима уже в послевоенную эпоху, в 1968 г. во вступительной статье к двухтомной антологии русского переводческого искусства написал: «В известный период, в особенности между XVII и XX съездами, русские поэты, лишенные возможности выразить себя до конца в оригинальном творчестве, разговаривали с читателем языком Гете, Орбелиани, Шекспира и Гюго». Какой разразился скандал! Прогнали с работы главного редактора «Библиотеки поэта» В. Н. Орлова, прогнали редактора Ирину Исакович, политическая репутация Фимы была основательно испорчена в глазах начальства и умеренных либералов.

Был ли Фима *диссидентом* в том смысле, как стали понимать это слово в 1960—1980-х гг.? Конечно, нет, хотя участвовал в борьбе за Бродского и хранил рукописи Солженицына.

Судьба и призвание непрерывно приводили его к частным конфликтам вроде того, что произошло с «Библиотекой поэта» или случая со стихотворением Пушкина «Полководец». Об этом конфликте, кроме меня, пожалуй, никто не помнит. В 1974 г., когда антисемитизм для властей Советского Союза и некоторой части российского общества стал только слегка завуалированной общегосударственной идеей, Фима сделал в Пушкинском Доме доклад о стихотворении Пушкина «Полководец». Докладывал он на

Секторе взаимосвязей, и председательствовал академик М. П. Алексеев. Сейчас, после недавнего Пушкинского юбилея, может быть, и не надо пересказывать это стихотворение. Но все же напомню, что в нем речь идет о Барклае де Толли, одном из самых даровитых полководцев войны 1812—1815 гг.

Смысл доклада стал понятен слушателем тогда, когда от анализа форм александрийского стиха Фима перешел к установлению причин личной трагедии Барклая. Он показал, что Барклай был отвергнут не Александром I, не властями, а народом: «...трагизм Барклая в том, что он отвергнут народом, не понимающим его». И ориентируясь на пушкинскую строку «И в имени твоём звук чуждый невзлюбя», Фима утверждал, что причина враждебности «черни дикой», народа, «указана только одна — звук его имени».

Напоминаю, что это был 1974 г., и не понять аллюзионность доклада, его прямую направленность на тогдашнюю антисемитскую ситуацию, было невозможно. Академик Алексеев это, конечно, понял, был испуган, рассержен и постарался общими словами и комплиментами скрыть свое раздражение, а может быть, испуг? Повторяю, Фима не был диссидентом, а тем более не был заговорщиком, о чем он сам хорошо написал.

Фима не был диссидентом, но вся его многогранная переводческая и исследовательская многолетняя деятельность своим содержанием противоречила официальной политике унификации культуры. Тому, что в свое время Щедрин назвал введением обязательного единомыслия. И огромную переводческую деятельность самого Фимы, и его переводческий семинар в Ленинграде, и собравшийся вокруг него в Париже круг талантливых переводчиков с русского на французский — все это лучше всего определить термином Андрея Дмитриевича Сахарова: конвергенция. Помню, как поразило нас это слово, когда появились его статьи и меморандумы в российском «самиздате». Теперь, когда хочется понять, во имя чего всю жизнь так плодотворно и неустанно действовал Фима, ко мне приходит только это сахаровское слово.

Полученная в университетские годы установка, никем из наших профессоров не сформулированная, но пронизывавшая все, о чем они говорили и писали — представление о единстве культуры европейского человечества — было нами усвоено и никогда сомнению не подвергалось.

Для Фимы служение этому единству культур стало делом жизни, и не только в советский период, но и во Франции, куда ему пришлось не по своей воле уехать.

Верный своим принципам переводческого искусства, он, вопреки возражениям и несогласию своих французских коллег, сплотил вокруг себя группу молодых и преданных делу переводчиков. Вопреки многовековой французской традиции переводить стихи прозой или, в лучшем случае, нерифмованным стихом, поскольку с середины прошлого столетия европейская поэзия откачалась от рифмы и перешла на верлибр, Фима убедил своих сотрудников в том, что классическую русскую поэзию надо переводить, сохраняя и в переводе ее структуру.

И в конце концов появились великолепно переведенные на французский в адекватной форме Пушкин, Лермонтов, Алексей Константинович Толстой.

Когда я пишу, передо мной лежит последняя работа Фимы — изящно изданный Пушкин в переводах на французский, где каждое произведение дано по-русски и по-французски.

На книге его надпись — «этот итог многих лет моей жизни». Неужели итог! А ведь совсем недавно виделись мы в Париже на Пушкинском симпозиуме в начале октября. Фима был всегда заряжен энергией и планами, был, каким всегда.

И когда Жорж Нива позвонил мне, что Фима опасно болен и ложится на операцию, мы еще надеялись на благополучный исход. И сейчас, когда я вспоминаю, то мне все время хочется позвонить, спросить, свериться: а ты помнишь...

Чтобы не кончать на сплошном миноре, расскажу о черных шляпах. В наши университетские годы шляпа уже вытеснила кепку как главный головной убор. Вот почему наша четверка решила в 1938 г. обзавестись черными шляпами. Они заменяли нам униформу и подчеркивали принадлежность к дружескому союзу.

В том же духе невинного эпатажа был провозглашен, вопреки тогдашним гонениям на формализм, наш лозунг: «Русскому языку нас учил Виктор Шкловский». Правда была в том, что мы его любили и даже восхищались. Об этом лозунге я вспомнил, когда жил у Фимы в Дефансе (под Парижем), нас там настигло известие о смерти В. Б. Шкловского, и я предложил Арине Гинзбург, что напишу для «Русской мысли» некролог — тогда «Русская мысль» меня охотно печатала.

Статья-некролог была быстро написана, и Катя самоотверженно предложила ее отпечатать на машинке. Так появился этот некролог под взятым у Шкловского названием — «Энергия заблуждения».

Иерусалим. Февраль 2000 г.

Мой комментарий к «Запискам незаговорщика»

На титуле экземпляра «Записок незаговорщика», подаренных мне автором, есть надпись: «Дорогому и всегда с нежностью и восхищением вспоминаемому Мише Хейфецу с надеждой на скорую встречу — теперь уже реальную. Е. Эткинд. 24 мая 1980 г. (в день 40-летия И. Бродского, сыгравшего в Вашей жизни такую роль)».

Неловко мне писать о Ефиме (так в нашем кругу его звали. Иногда «Машкин отец»). Слишком мало мы были знакомы. Например, до того, как получить от него книгу с надписью, я за мои почти полсотни тогдашних лет разговаривал с профессором Эткиндром два раза. Надо ж получить, что именно мне, почти незнакомому с ним человеку, довелось сыграть роковую роль в его судьбе! Впрочем, утешаю себя, Ефим все равно был обречен гехухой, а Хейфец или кто другой используется для его изничтожения в Питере — это вопрос оперативной техники...

Конечно, я частенько его встречал — сдавал кандидатский минимум как раз в институте им. Герцена, где Ефим работал, и постоянно видел его в институтском дворе. Не обратить внимания на такого яркого — на любой улице! — человека было невозможно. Но, заметив, не знал, кто сей такой, и помню, через много лет, при личном знакомстве был удивлен, поняв, что давно примеченный господин и есть тот самый «знаменитый Эткинд». Кто ж в литературных питерских кругах не слышал про первого знатока поэзии в городе, выступавшего свидетелем защиты на процессе Иосифа Бродского!

Личное знакомство возникло сравнительно поздно (я всю жизнь был болезненно самолюбивым человеком, избегая приближаться к сколько-нибудь известным людям, — чудилось, что у них при появлении нового лица неизбежно возникает вопрос: что «знакомцу» от меня нужно? А поскольку мне ничего ни от кого не было нужно, я предпочитал отсиживаться от «имен» в стороне, разве что кто-то сам меня позовет.) Но в 1972 г. мы купили квартиру в новом жилкооперативе Союза писателей на Новороссийской улице, где самих-то писателей жило сравнительно немного, а в основном приобретались квартиры для их детей. Моя семья сдружилась с молодежным кружком, который крутился в доме вокруг Вахтиных (семьи сына лидера тогдаш-

ней ленинградской «молодой прозы», основателя группы «Горожане» Б. Б. Вахтина) и Маши Эткинд, дочери Ефима.

Примерно через год, весной 1973 г., в пустой гостиной Дома писателей (бывшего Шереметевского дворца) я встретил Владимира Марамзина, тоже одного из лидеров ленинградской «молодой прозы» и участника «Горожан». Наверно, здесь место сразу оговорить наши неформальные отношения с Володей. В тогдашнем СССР действовала стихийно сложившаяся сеть распространителей «самиздата». Марамзин, видимо, был одним из ее ленинградских «резидентов» (так или не так — до сих пор не знаю). Во всяком случае, от него я регулярно получал десятки документов «самиздата»: рассказы, романы, документы, статьи. От кого получал их сам Марамзин — представления до сих пор не имею, но по прочтении аккуратно все получаемое должен был ему возвращать. Но и Марамзин не знал, что все получаемое от него я относил к надежной машинистке (Людмиле Эйзенгардт) и распечатывал в пяти экземплярах. Четыре продавал знакомым, каждая копия за 20 процентов от общей стоимости (все листы перемешивались, чтоб качество каждой копии оказалось одинаковым, себе же за «организаторскую работу» в виде гонорара я брал первый экземпляр). Сеть была неуловимой: ведь Марамзин ничего не знал о моих «клиентах», я, в свою очередь, не поручусь, что кто-то из моего «кооператива» тоже не распечатывал со своего экземпляра еще пяток копий — уже для своего круга.

Итак, я встретил Володю в Союзписе (видимо, отдавал ему очередную порцию «прокатных» документов или получал новую — не упомню). Он поделился новостями: «Пришло письмо из Штатов. Иосиф Бродский стал большим человеком». И показал письмо, где рассказывалось об американских успехах Бродского, причем закрывал подпись рукой (нравились Марамзину конспиративные игры! Позднее, лучась от удовольствия, майор КГБ Рябчук сообщал мне: «Это было письмо от Киселева! Киселева!»).

Потом Володя сказал:

— Собираю сейчас все, написанное Иосифом. Он уехал без единого листка. Мы решили, пока стихи не потерялись, все собрать — у баб, родных, друзей, приятелей. Сделать собрание сочинений. Как положено: комментарии, датировки, расшифровки посвящений. Иосиф оказался жутко плодовитым автором! Три тома мы уже собрали. Еще два добираю — стихи на случай, в подарок, детские, записи разные. Ерунда, но для полного собрания

и это необходимо. Но вот трудность — никто не берется писать предисловие. Не потому, что боятся кого-то, а боятся — ответственности.

(Я не знаю даже сейчас, кто входил в марамзинское «мы». Точно наличествовал литератор Михаил Мильчик: уже позже, сразу после обысков у меня и Марамзина, Миша пришел ко мне в дом и рассказал о своем участии в «проекте» — разумеется, рассказывал не в квартире, а на лестничной площадке, у лифта. От него я впервые услышал, что все пять томов Бродского «уже там, там!». А недавно довелось читать, что публикации всех «российских» стихов Бродского опираются на так называемое «марамзинское собрание»).

К тому времени в моей писательской судьбе уже несколько лет сложилась парадоксальная ситуация: примерно с конца 1970 г. я никак не мог пробиться в печать и, пробуя вырваться из-непонятно-мистической ситуации (мне и в голову не приходило, что мной интересуется КГБ!), пробовал себя в новых и разных жанрах, — например, вместо прозы и публицистики стал писать сценарии и внутренние рецензии. Марамзин про мои «пробы пера» знал, и в его реплике, мол, «никто не берется писать», конечно, таился косвенный вызов в мой адрес. Я так это и понял и сам предложил ему сделать нужную для собрания вступительную статью.

Летом 1973 г. Марамзин прислал мне на дом требуемое для работы «сырье» — три тома лирики Бродского. «Самиздат», как выяснилось, работал хорошо, мне пришлось осмысливать уже давно знакомые литературные «объекты».

Сегодня я знаю, что к тому времени о Бродском немало мастеров писало на Западе, включая великого англоязычного поэта Одена. Но тогда в Союзе мы не подозревали об этом. Питерцами Бродский смотрелся как наш, «самиздатский» поэт, то есть стихотворец, существующий вне нормального литературного процесса. И вот — прочувствуйте мою задачу, ту, что отпугнула прочих «кандидатов»: мне виделось, что я окажусь первым в истории исследователем творчества великого поэта Бродского! (Помню, с какой дрожью — не в переносном, в буквальном смысле слова — я решил снабдить в той статье Иосифа этим эпитетом. Ощущалось жуткой, хотя и неизбежной, дерзостью — присваивать такое звание современнику). Возможно, я действительно оказался первым исследователем Бродского в России? Статья, все экземпляры которой хранятся в архиве ЛенУКГБ, даст профессиональным исследователям поэтики адекватный слепок того, как вос-

принимались его ранние стихи неким «Голосом из хора» шестидесятников.

Конечно, начинающему критику сделать профессиональный разбор поэтики Бродского был «не по чину» — я сам это быстро понял. Но — как отказаться от задания? Подвести Марамзина, сорвать выход пятитомника, спасовать? Нет. Надо было нащупать, в каком же качестве литератор М. Хейфец мог показаться читателю интересным в качестве автора вступления к первому собранию сочинений великого поэта.

И я решил, что единственно возможный путь — не углубляться в профессиональный анализ стихов, а рассказать читателю, как исторически возник в Питере феномен поэзии Бродского. Почему в блестящем созвездии питерской школы (С. Кулле, Г. Горбовский, А. Городницкий, Е. Рейн, А. Кушнер, Л. Лосев, В. Уфлянд, В. Бриганишский, В. Лейкин, Т. Галушко — называю первые всплывшие в памяти имена) Иосиф считался бесспорно номером Первым.

Нет смысла излагать содержание написанной тогда статьи: перескажу лишь общую идею. Суть сводилась вот к чему. Иосиф Бродский — поэт не политический, не антисоветский, и исторически преходящие феномены, вроде советской власти, его не интересуют принципиально. Но любой поэт живет в своей эпохе, среди современников. Хотя он считает себя орудием Языка, но ведь Язык есть творение народа, и Ленин был прав: «Жить в обществе и быть свободным от общества — нельзя». Никакой башней, отгораживающей Творца от суетности и пошлости мира, нельзя оборвать его связи с людьми — через тот же Язык. Допустимо, например, что поэта Бродского в 1969—1970-х гг. действительно увлекала специфическая творческая задача — сымитировать «Римский цикл» Марциала или Катюлла без каких-либо политических аллюзий. Но почему в глубинах его подсознания возникла именно эта творческая идея и именно в то время? Ход моих рассуждений был таков: после оккупации Чехословакии в окружавшем Бродского обществе рухнула, вернее, растворилась стержневая, коммунистическая идеология (в различных ее, в том числе оппозиционных советскому режиму, вариантах). В этой идеологии имела своя внутренняя логика и этика, свойственная именно коммунистам. Оккупация коммунистической малой страны коммунистической империей оказалась феноменом, не укладывавшимся в сию логику и сию этику. Акцию такого сорта коммунистическая идеология вынести, не сломавшись, не могла! После 1968 г. в СССР осталась жить лишь голая имперская

идея захвата и покорения народов — в ее незамутненно державном виде. Бродскому, естественно, дела не было ни до коммунизма, ни до имперIALности, но поэт не мог не чувствовать глубокий сдвиг в мироощущении общества, в коем жил Орган мира сего. В «Римском цикле» невольно и для самого создателя отразилась грядущая гибель ленивой, пошлой, сгнивавшей от бездуховности и потери моторных идей империи.

Естественно, тезис доказывался цитатами и сравнительным анализом стихов — «до» и «после». Именно фрагмент, посвященный Чехословакии, мне позднее инкриминировался — во всяком случае, по словам следователя В. Карабанова (сам я «следственный» анализ моей статьи никогда не видел, но нет оснований и сегодня отвергать его правильность: статья была несомненно антисоветской). Поэтому, когда она оказалась в руках заказчика (Марамзина), Володя испугался: «Мища, нас всех посадят, и культурное начинание будет погублено». Я мог, конечно, рисковать — но собой же, а не им и всей компанией, поэтому согласился переделать ее — «деполитизировать», как впоследствии деликатно выразился мой следователь. Но усилия что-то сделать, что-то изменить кончились пшиком: то ли не в моих силах оказалось писать чисто литературоведческую статью, то ли просто неинтересно было переделывать. И я совершил неосторожный поступок: стал показывать рукопись знакомым литературоведам и писателям, которые могли бы дать совет насчет «переработки». Сколько-нибудь полезную идею не подсказал никто, но информатор органов среди них нашелся.

Дал я читать рукопись и Маше Эткинд. Не без задней мысли, лгать не буду, — если статья ей понравится, возможно, покажет своему прославленному отцу. Ефим Григорьевич считался в тогдашнем Питере лучшим знатоком поэзии вообще, поэзии Бродского в частности. Мой расчет сработал — однажды Маша прибежала к нам в квартиру: «Приехал папа, хочет с вами поговорить».

Так мы встретились с Ефимом в первый раз.

Профессору статья понравилась, причем настолько серьезно (интересно бы перечитать — что в ней такое было?), что он не ограничился устной похвалой, а приложил к моему тексту исписанный с двух сторон листок — собственную рецензию. Однако в этой рецензии имелось существенное возражение, собственно, это мы и обсуждали. Эткинд писал, что, со слов самого Бродского, знает: имперскую сущность коммунистической державы поэт осознал не в 1968 г., а в 1956 г., после венгерского похода.

При всем уважении к мнению Эткинда я исправлений в свой текст вносить не стал. Ибо даже если принять как факт, что Бродский нечто подобное Эткинду говорил (наверно), я-то анализировал тексты, а не устные мнения поэта о себе самом. И мной явно ощущался сдвиг в мироощущении поэта после 1968 г., а не ранее того.

Еще деталь. Я позвонил Марамзину и сказал: «Сочинение читал Машкин отец, и оно ему понравилось». Все мы, человеки, слабы: захотелось, конечно, как-то компенсировать его отказ от моей рукописи! Но телефон Марамзина, несомненно, был уже «на кнопке», и я невольно дал ЛенУКГБ несколько битов информации.

Через некоторое время я узнал от одного из читателей рукописи, врача В. Загребы, что Марамзин заказал новое предисловие к Бродскому и уже получил его (помнится, Загреба назвал и автора второго предисловия — поэта Игоря Бурихина). Теперь я мог не биться над исправлением текста, который изначально изготовлялся именно таким, как я мог и хотел это сделать. Другой человек исполнил за меня необходимую общественную работу — и слава Богу! Я спрятал текст статьи, все три отпечатанных экземпляра, в архивный ящик письменного стола и забыл о нем.

Утром 1 апреля 1974 г. будит жена:

— Мишка, к тебе пришли.

Возле подушки стоял высокий, крепкий мужик. Мы к вам из КГБ, Михаил Рувимович, — и сует под нос книжечку: «старший лейтенант КГБ Егерев». С ним был лейтенант КГБ Никандров, кто-то еще и, как бы это выразиться, их понятые.

Странно сегодня мне самому, но не удивился. Все смотрелось как в кино.

— Райка, кинь трусы, — с этого возгласа началась моя лагерная карьера. Практически в тот момент я начисто забыл про давнюю статью о Бродском. Ну, лежит что-то в архиве. Во-первых, не принята заказчиком, следовательно, документ личного писательского архива. По меркам того времени — неподсудный феномен. И вообще я забыл, о чем писал полгода назад! Работал много, успел написать куда более опасную рукопись. Настолько опасную, что ее, единственную, все-таки замаскировал в столе. Только ее обнаружения и боялся! Но гебист Никандров подержал ее в руках (в «маске») и отложил в сторону. Так началась моя удивительная «везуха» по части обыгрывания КГБ в конспиративных иг-

рах (ее естественным завершением стало появление трех книг, написанных в зонах и ссылке).

Когда гебисты извлекли из брюха моего письменного стола «Бродского», я, правду сказать, беспокоился не о себе, а об Эткинде. Вот — замешал постороннего человека в мое дело. Гебисты были обрадованы находкой, но и как-то тихо растеряны. Меня после обыска не арестовали, хотя по канонам должны были вроде! Из этого был сделан вывод, что меня вовсе не арестуют. Как выяснилось — вывод ложный: неожиданно увели в следственный изолятор через три недели, в день рождения В. И. Ленина.

В этом трехнедельном промежутке мы и встретились с Эткиндром во второй раз. Он приехал к нам на Новороссийскую и увел меня погулять в парк Лесотехнической академии, находившийся напротив дома. Обсуждалась некая юридическая тонкость. Я изложил ему тактику, уже избранную мной на допросах (меня несколько раз допрашивали в Большом доме «как свидетеля»): мол, ходил советоваться со специалистами, как «деполитизировать» статью (термин, который впоследствии я услышал от моего старшего лейтенанта В. П. Карабанова), следовательно, с точки зрения закона правонарушений я не совершал — не распространял сочинение, а напротив, хотел его обезвредить. Эткинд, соответственно, тоже ни в чем не может считаться виноватым: когда ему дали статью, не знал ее содержания, читал как консультант по поэтике, а когда прочел — указал мне на ошибки. Но вот позиция «посредницы», Маши Эткинд, была юридически уязвима: она-то статью не просто читала, а еще дала читать отцу, то есть совершила чистый криминал «распространения с целью подрыва и ослабления». Поэтому договорились с Ефимом, что не будем вовсе упоминать про участие Маши в этом деле: сохрем, что отдал я ему статью напрямую.

Я не понимал серьезности собственного положения, тем более — ситуации Эткинда. Ну, прочитал он мою статью, так что из того?

— Понимаете, — объяснял в парке опытный собеседник, — они не в состоянии понять, что мы действуем как свободные люди — каждый сам по себе. У них существует издательство «Советский писатель», и у нас должен быть «Антисоветский писатель»! У них есть их авторы, вы — наш автор, у них составители, Марамзин — наш составитель, у них главный редактор Лесючевский, у нас я — главный редактор.

Сейчас, глядя из будущего, полагаю, что мой арест явился следствием ошибки, просчета ЛенУКГБ. Там знали о подготовке пятитомника Бродского, получили через одного моего знакомого черновик-предисловие, имели информацию, что все пять томов «уже там, там», — и, как им виделось, обладали несомненным фактажом для привлечения меня к суду. Обнаружили не некое домашнее вольномыслие, дозволявшееся по тем временам либеральничавшими властями, а несомненный контакт с заграничными «центрами»! Изъятие из архива всех экземпляров моей статьи явилось поэтому большим разочарованием для следотдела ЛенУКГБ. Из-за чего меня, наверно, и оставили какое-то время на свободе... Но информацию перепроверили, и, когда подтвердилось, что предисловие «там», «за кордоном», — решили брать! Роковым для расчетов начальства оказалось неизвестное ему поначалу обстоятельство, что переправленное в Париж предисловие было не моим — а бурихинским.

Конечно, по стандартам тех времен моя статья была несомненно антисоветской — в этом пункте я с органами не спорил, не оспариваю мнение и сегодня. В конце концов, я не был ребенком и понимал, на что иду («Посадят тебя, Мишка», — сказала жена, прочитав статью о Бродском. «Пусть посадят», — ответил я и точно помню, что вполне сознательно принимал такой вариант судьбы). Тем не менее, согласно самими же властями придуманным правилам юридических игр, некое «домашнее вольномыслие», не выходящее за рамки личного круга знакомых, не подлежало наказанию по суду — об этой их позиции объявил самолично генсек Брежнев. И еще, по их же, советскому, закону, если человек сам отказался от преступного намерения — до того, как о его правонарушении узнали власти, — он наказанию по суду тоже не подлежал. Вот по этим, предложенным ими самими правилам игры я и вел партию со следствием — не без успеха, признаюсь. Первое: я сумел скрыть свое участие в распространении «самиздата» (изобразил, будто являлся пассивным покупателем обнаруженных рукописей на «свободном рынке»). Скрыл свой «самиздатский кооператив» (они о нем не узнали). Второе: статью изобразил черновиком (каким она фактически и оказалась), который под влиянием советов Эткинда и Марамзина я лично забраковал. Потому она нигде не напечатана.

Важной ошибкой следствия я до сих пор считаю нечаянную проговорку старшего лейтенанта Карабанова, в принципе юриста тонкого и умного: пытаюсь убедить меня рассказать правду о том, как статья попала в руки к Ефиму, он заявил: «Остальные

свидетели не так интересны, но про Эткинда и Марамзина мы должны выяснить все точно». И тут я понял, кого намечено ввести мне в «подельники» и, соответственно, как строить общую линию защиты.

Вторую ошибку допустил другой следователь майор Рябчук: «Эткинд — ваш интеллектуальный соавтор», — заявил мне на допросе. Так вот, значит, на каком основании и в каком качестве Ефима собираются привлечь к суду? Значит, можно было уже планировать контригру. Третьей ошибкой ГБ было помещение меня в одиночную камеру почти на все время следствия (за исключением краткого срока, когда ко мне посадили «наседку»). Впрочем, роль сокамерника я осознал еще до того, как его вообще увидел, но это — ненужный финт в сторону от «эткиндовского» сюжета). В одиночке у меня нашлись время и возможности мысленно проработать все оттенки следовательских вопросов, выявить их последовательную систему и, таким образом, предугадывая их последующие шаги, подкидывать им свои, якобы откровенные ответы.

Признаю, в КГБ работали умные, талантливые юристы, но в избранном мной дебютном варианте они при правильной игре обречены были на поражение. Я ведь объяснял, что, да, мол, написал антисоветскую статью, но под влиянием советов, в первую очередь Марамзина и Эткинда, от преступного замысла сам и отказался. Эткинд указывал мне на фактическую ошибку? Указывал! Конечно, профессор критиковал меня не так, как это сделали бы в райкоме КПСС, но — критиковал! Исправить статью, согласно его критике, я не сумел — потому сам, добровольно, отказался от публикации. И Эткинд куда как в этой ситуации хорош, и я тоже.

И тут я убедился, что даже умные, талантливые люди в этой системе играют по системе Остапа Бендера. То есть когда партию можно выиграть, они проведут миттельшпиль по правилам и с блеском. Но когда приходится проигрывать (а всегда выигрывать никому не дано — во всяком случае, никому из людей), они в эндшпиле украдут с доски ладью или просто вломят оппоненту доской по глупой голове. Честно признаюсь, я был поражен их наглым, бесстыжим «беспределом» (этот термин узнал позднее, в зоне) — и мое презрительное возмущение к игрокам с другой стороны отразилось в ехидном «посвящении» моей первой лагерной книги — «Места и времени».

Сидя первые недели в следственном изоляторе, я понятия не имел, что тогда творилось на воле: прочитал об этом только

через шесть лет — у Эткинда. Признаюсь, *post factum* я был восхищен контекстом, в который заочно мое имя вставляли. Вот навскидку две цитаты. Юрий Вячеславович Кожухов, профессор истории СССР, член-корреспондент Академии педагогических наук, проректор ЛГПИ по научной работе: «Вопросы Эткинду я бы задавать не стал. Двойственности тут нет — это тактика врага. Он на своей позиции стоит давно и твердо, начиная с 1949 г. и кончая 70-ми годами, когда эволюция неизбежно столкнула его с такими подонками, как Солженицын, Хейфец, Бродский и др.» Исаак Станиславович Эвентов, профессор кафедры истории советской литературы: «Я почти не соприкасался с Эткиндром. Он стал духовным отцом для проходимцев, молодых антисоветчиков, распространителей Самиздата. Эти энергичные, но молодые подпольщики — Хейфец, Марамзин — смотрели на Эткинда. Он был в известной степени знаменем какой-то части молодых людей, которых т. Брежнев называл сорняками» («Записки незаговорщика». Лондон, 1977. С. 64—65). Пикантность ситуации усугублялась для меня тем, что если Ефима я практически не знал и даже единственным советом, который он мне дал, пренебрег, то как раз с Кожуховым и Эвентовым был знаком неплохо: у первого и дома бывал, второй считался в аспирантуре моим научным руководителем — так что чисто формально именно он и должен был прославляться как мой «духовный наставник».

Следствие проходило по следующей методе. Сначала я отказывался говорить — а следователь осторожными вопросами «наводил» меня на того или иного свидетеля. «М. Р., — говорил он, — вы же видите, что про имярек мы все равно знаем все нужное. Так что для свидетеля нет особой разницы, назовете вы его или нет: я все равно буду обязан его вызвать. Но если у меня не имеется на руках ваших показаний, то он, конечно, откажется — „знать, мол, ничего не знаю“. Для вас разницы нет: у нас имеется письменная рецензия Эткинда, у нас есть пометки Марамзина на рукописях, этого вполне хватит прокуратуре, чтоб обвинить вас: два свидетеля — достаточная норма. Но для самих свидетелей разница немалая: я ведь могу сообщить на их места работы, что они — недобросовестные свидетели. Они — люди творческого труда, живущие на доходы от договоров. Вы думаете, после такого сигнала с ними будут заключать договоры? Почему я должен этих людей жалеть? У них своя работа, у меня — своя. Я не прошу их давать ложные показания, наоборот, вы видите, я заинтересован, чтоб они подтвердили только

то, что происходило на самом деле! Но они своей ложью мешают мне исполнять мою работу. Почему же я не имею права мешать им в их делах?»

Логика «паразитирования на нашей порядочности» (выражение, услышанное позже, в зоне, от украинского поэта В. Стуса) действовала на меня. После освобождения мне приходилось слышать всякие легенды о «пытках» и всем таком прочем. Думаю, что с точки зрения профессиональной морали пытки в ГБ могли бы существовать («зачем подследственный мешает нам работать?»), но как раз в общении со мной это был бы для Управления совершенно излишний инструментарий. Ибо я действительно понимал: засудят они меня или нет, это не зависит от показаний никаких свидетелей, гебистов показания вообще интересовали чисто технически — свидетели должны были «озвучить» (как сейчас говорят) оперативную информацию (ее в суд поставлять не положено). Если на следствии кто-то что-то ляпнет лишнее, этим воспользуются, почему ж нет, но на практике только оперативная информация почиталась достоверной — почти как языческий идол! (Впоследствии я много раз пользовал это заблуждение чекистов, чтоб выигрывать у них партии). После того как узнал, что в подельники мне намечено оформить лишь двоих людей (Эткинда и Марамзина), а для остальных судебные кары не предусмотрены, я считал для себя важным вывести из-под внесудебных ударов людей, подвергавшихся сейчас опасности из-за моего бывшего легкомыслия. Вариант, предлагаемый следователем, смотрелся выгодным для меня по многим параметрам. Первое: он позволял оставить за пределами внимания КГБ тех друзей, кто читал рукопись, но почему-либо не попал в поле зрения оперативного надзора (тех же Вахтиных или соседей по дому — Коробовых, и врача А. Ланского, моего соавтора Ю. Гурвича и его жену и многих других). Второе (и главное в тактике): признав «причастность» тех, кого следователи будут «припирать» моими показаниями, я этим вынуждал ГБ показывать им текст моих показаний. Но коли следователю не требуется людей «садить», то ему безразлично само содержание текста, но только наличие — чтоб им «расколоть» и «закрыть оперданнные». Поэтому я неизменно излагал, как тот или иной свидетель «давал мне отпор», «призывал отказаться от замысла» и пр. Следствию это по-своему тоже было выгодно, давало возможность демонстрировать в суде, какая у нас все-таки хорошая советская публика и какой я отщепенец, если не внял предостережениям стольких хороших людей.

Разумеется, всегда выигрывать у человека — не получается. Где-то я «прокололся», назвал кого-то, про кого следователь, оказывается, не знал (например, писательницу Марию Рольни-кайте). А где-то «прокололись» и профессионалы. Но в целом, мне видится, следствие я выиграл: их удалось убедить, что с показаниями, которые есть против Эткинда или Марамзина, тащить обоих в суд — явно невыгодно для властей. Санкция на возбуждение дела против фигуры с такой международной известностью, как Эткинд (Ефим был не только мэтром в сфере поэтики, но крупнейшим в Союзе знатоком французской культуры, соответственно, весьма популярным во Франции), была выдана Ленинграду Лубянкой, конечно, с условием, что дело будет основательным и юридически чистым. Судить и сажать такого деятеля без серьезных улик представлялось даже Андропову нежелательным. Потому я уверен, что жуткая, возмутительная кампания, развязанная против него в Союзе писателей и на Ученых советах, должна была по плану завершиться не высылкой в Париж (пустили шуку в реку, называется), а командировкой в секретные места Мордовии или Пермской области. Но с набранным в итоге следственным материалом думать о суде было невозможно — и пришлось тогда трубить отбой! Заменять Явас Парижем.

Ход следствия, однако, тормозился одной технической проблемой. Оперативный отдел, видимо, давно уже вел наблюдение за Эткиндом. Вот пример: кто-то им донес, что Эткинд дал мою рукопись артисту Сергею Юрскому, который как раз тогда подготовил программу из стихов Бродского. Майор Рябчук мне уверенно про это рассказывал и, признаюсь, я был здорово польщен! Какое же наступило разочарование много лет спустя, когда Юрский приехал на гастроли в Израиль, я пошел к нему за кулисы, чтоб спросить, правду ли мне говорил в семьдесят четвертом году Виталий Николаевич Рябчук, и артист твердо ответил: нет, ничего этого не было, ничего он не читал, они его тогда же вызвали на допрос, «я им так прямо и ответил». Может, у Эткинда мелькнула некая мысль, может, он высказал ее дома, при включенных микрофонах, да тут же и забыл, — мало ли что приходит в голову, а идея была зафиксирована в оперативно-наблюдательном деле как свершившийся факт! Поскольку «припереть» Юрского моими показаниями они никак не могли, он так и остался в ситуации «недобросовестного свидетеля», и первого артиста тогдашнего Питера на пять лет перестали выпускать на сцену БДТ.. Любопытный психологический фе-

помен: Юрский в Иерусалиме отказался поверить мне, когда я объяснял ему всю эту механику. Так мне понятно: человек может смириться с наказанием, даже суровым, когда действительно виновен, но не может впустить в голову мысль, что сам, как говорится, «ни сном, ни духом», ничего не совершал, а его по «неисповедимой в нашей стране силе тайного доноса» (А. Солженицын) выкидывают ни за что, по ошибке, из театра на многие годы. И намекал же ему главреж Товстоногов: «Пойдите в Большой дом, спросите, что они имеют против вас» — а Юрский все равно не мог в такую абсурдную чушь поверить.

Но среди оперативных сведений, которые они собрали в квартире Эткинда, была довольно точная информация о том, кто передал профессору мою рукопись. Маша! Следовательно для «зачистки» дела требовалось информацию «закрыть» свидетельскими показаниями. А я, конечно, уперся: как мы договорились с Эткиндом, так я и долбил свое, — мол, все из рук в руки профессору отдавал.

На одном из последних допросов Карабанов меня «расколол».

— М. Р., я искренно не понимаю вашей позиции. Вы видите, что я ничего не придумываю, — я не предполагаю, я точно знаю, что вашу статью Эткиндр получил из рук Марии Ефимовны. В остальных случаях, когда вы понимали, что имеется информация, которой я точно владею, вы соглашались сотрудничать со следствием. Почему же именно в случае Марии Ефимовны этот вариант не работает? Вот что меня заботит. Что вы такое особое в этом случае можете от нас скрывать?

— Ладно, Валерий Павлович, постараюсь объяснить. Давайте чисто гипотетически предположим, что вы правы. Вывод? Мы с Эткиндр сидим в прежней позиции, но Маша несомненно будет обвинена в «распространении». Зачем же мне такие показания?

— А, понял. Что ж, по-своему это логично. Но поймите вы и мою логику. Мы не заинтересованы в аресте Марии Ефимовны. Только этого не хватает: на скамью подсудимых рядом с вами посадить молодую женщину с грудным ребенком. Никому это в органах не нужно. Но и невозможно закрыть дело, пока имеется явное расхождение оперативных данных со свидетельскими показаниями. Есть еще обстоятельство, не известное вам пока что. Уже принято решение разрешить семье профессора Эткиндр выехать в Париж. Пока дело не закрыто, они будут сидеть на чемоданах в Ленинграде, но как только суд кончится, Эткиндр выезжают во Францию, это точно. Вы не против им в этом немного помочь?

— Я хочу им помочь, это правда. Но не могу, Валерий Павлович. Над Марией Ефимовной в случае, если я приму как данность вашу гипотезу, все равно может повиснуть обвинение по «семидесятке». Нет!

— А если предположить, скажем, что она не прочла вашу статью? Зачем, на самом деле, ей ее было читать? И, не знакомясь с содержанием, а только узнав из заголовка, что это статья о поэзии, о Бродском, она и отдала ее отцу как чисто литературоведческое сочинение — и все. Тогда никакой ответственности не подлежит.

— Пожалуй, вашу версию можно обдумать..

Через некоторое время мне дали очную ставку с Машей. Какая оказалась редкая умница — мгновенно схватила суть новой ситуации, хотя и не понимала, зачем я изменил намеченный заранее с Ефимом план действий. «Мишину статью читала? Зачем? Это поэзия, а у меня грудной ребенок». Врала с настоящей женской естественностью, так легко и быстро, что мне казалось — даже следователь ей начал верить, как будто не он сам всю эту историю придумал.

Но вот наши показания согласованы, следователь разрешил «поговорить о бытовых делах», пока он сидит за пишмашинкой — оформляет протокол очной ставки, глубоко погружившись в текст. А сам, конечно, ушки наострил — вдруг да эти интеллигентные простачки проговорятся о чем-то важном, думая, что он их не слушает.

— Как дела в доме? — спрашиваю.

— Все по прежнему.

— Как (называется чье-то имя)?

— Нормально.

— Как В.?

— В Париж уехал.

— Гонорар получил?

— Да.

Ничего интересного, правда? И следователь ничего интересного не слышит. И УСЛЫШАТЬ не может — потому что при словах «гонорар получил?» я яростно тычу в грудь рукой. Машка поняла! Это была самая важная для меня в то время информация — сообщить на волю, кто в доме стукач. Пусть не поверят (не поверила, как выяснилось позже, и моя жена) — но уж психологию писателей я знал хорошо: больше при В. откровенничать никто не будет. Береженого Бог бережет.

В третий раз я увидел Эткинда уже в Израиле: в начале восьмидесятых он приезжал в Иерусалим на короткое время — чи-

тал в университете лекцию о «Реквиеме» Ахматовой. Блестящее было исследование, но оно, конечно, без меня известно любителям поэзии. Тогда я впервые увидел Ефима в роли мэтра, в роли специалиста. К сожалению, мой идиотский характер, боязнь навязывать себя кому-то с годами не прошла — я слишком мало общался с ним, слишком редко писал, тем более боялся обременить его своим визитом в Париж. Но в 1986 г. до нас дошла весть, что умерла жена его, Екатерина Зворыкина, мы послали ему письмо. В ответ пришла такая открытка:

31 августа 1986 г.

Дорогие друзья, Миша и Рая!

Ваши сердечные слова согрели нас, спасибо. В такие трудные минуты слова дружбы дороже всего. Мы всегда помним дни, когда было весело, и другие, когда было бесконечно тревожно, и Вы, Миша, выдержали с честью испытания, сломавшие многих. Мне хочется то же самое сказать Рае.

Обнимаю вас всех четырех от нашей осиротевшей семьи

Е. Эткинд

В девяностом году он снова приехал в Иерусалим и читал цикл лекций, который я аккуратно посещал и вполне оценил блеск его преподавательской мощи. Он проработал тогда рукопись моей новой книги «Цареубийство в 1918 г.» и фактически явился ее первым редактором. Побывал у меня в гостях на Пасхальном седере со своей юной и поразительно красивой подругой — Марией.

25 июня 1990 г.

Дорогой Миша,

Вот уже десять дней, как я вернулся во Францию, — время мчится без оглядки, и я уже тоскую по иерусалимским встречам. Привет Вам и Рае от Марии, которая тоже вспоминает недавние дни в Израиле с грустью.

Но иерусалимские сюжеты — другая история, о которой, может быть, когда-нибудь тоже напишу.

Люди, нелюди и полулюди

Ефиму Григорьевичу Эткинду (далее я буду употреблять сокращенное «Е. Г.») не был присущ тяжелый характер, но писать о его судьбе тяжело. И потому тяжело, что жизнь его не была легкой, и из-за непрекращающейся еще душевной скорби по поводу его неожиданной кончины. Но писать нужно. История должна знать, что российский XX век вытворял со своими гражданами. Особенно вытворял, если они обладали живой, талантливой, активной, честной, открытой, во все вникающей натурой. Такая натура полностью противоположна характеру, который очень удобен для любого деспотического строя и который можно определить инфинитивами «не возникать» и «не высываться». Жизнь и деятельность Е. Г. часто напоминала судьбу хорошо мне знакомого эстонского поэта и литературоведа Вальмара Адамса, любившего повторять: «Я прожил при девяти режимах, и при всех мне было плохо»; при трех режимах (эстонском, немецко-фашистском, советском) он сидел в тюрьмах и лагерях. Человек с совершенно другой, чем Е. Г., идеологией и психологией, он очень схож с ним по абсолютному неприятию принципа «не возникать».

На первом крупном «высовывании» Е. Г. я с ним и познакомился. В 1960-х гг. я имел честь быть по совместительству с основной преподавательской работой заместителем редактора «Библиотеки поэта» В. Н. Орлова. Знающий, любящий поэзию, эстетствующий в душе Владимир Николаевич был достаточно циничным советским чиновником, готовым на компромиссы и на печатное очернение деятелей Серебряного века ради противопоставления им и публикации произведений обожаемого А. Блока. На волне хрущевской оттепели ему удалось сделать много полезного: ведь в «Библиотеке поэта» тогда были изданы тома Цветаевой, Пастернака, Заболоцкого.

Е. Г. в 1968 г. подготовил для нашей серии двухтомник «Мастера русского стихотворного перевода», куда впервые за много лет умалчивания были включены Гумилев и Ходасевич. А во вступительной статье Е. Г. написал ставшую потом криминальной фразу о причинах расцвета советского перевода в 1930--1950-х гг.: «лишенные возможности до конца высказать себя в оригинальном творчестве, русские поэты» стали плодотворно трудиться в

переводческой области. В свете решений XX съезда КПСС и тогдашней чуть ли не банальной мысли о вреде идеологической цензуры в сталинские годы эта идея никому не показалась опасной, книга прошла редакторские и цензурные инстанции, и типография напечатала весь тираж, 25 тысяч экземпляров. Но нашелся какой-то добровольный доносчик, «стукнувший» в высшие партийные инстанции, сообщив и о «фразе», и о Гумилеве с Ходасевичем. И тогда завертелись партийные колеса, издание было приостановлено, весь тираж обоих томов, то есть 50 тысяч экземпляров книг, пошел под нож, статья Е. Г. была исправлена, сомнительные поэты изъяты, тираж заново напечатан. В. Н. Орлов получил такой мощный идеологически-административный удар, что не помогли ни его связи, ни заслуги, через несколько месяцев он был тихо отстранен от должности, хотя в истории с книгой Е. Г. он отделался испугом, как будто бы не пострадал и остался на плаву. Реально тогда пострадал только я — был снят с должности заместителя главного редактора; на это место был снова назначен прежний зам, привлечший в 1962 г. меня на свое место, — почтенный И. Г. Ямпольский.

А идеологически «проработать» Е. Г. обкомом партии было поручено коллективу ЛГПИ им. А. И. Герцена, где профессор Эткинд служил на факультете иностранных языков. 28 ноября 1968 г. эта проработка состоялась на совместном заседании двух Ученых советов — Е. Г. подробно рассказал о нем в своей документальной книге «Записки незаговорщика» (Лондон, 1977).

Мне там тоже пришлось выступать — и как заведующему кафедрой русской литературы, и как сотруднику «Библиотеки поэта». Я избрал метод, заимствованный у Г. П. Макогоненко: когда в 1949 г. при погромах «космополитов» его заставили выступить против учителя — Г. А. Гуковского, то ученик построил речь не в заклеянии достойного профессора, а в подробном разное идей Жан-Жака Руссо; я же бранил не Е. Г., а себя вместе с редколлекцией и редакцией «Библиотеки поэта»: плохо осуществляем коллективное руководство, лениво читаем рукописи, допускаем ошибки; необходимо усилить ответственность редакции и т. д.

Проработка на том этапе закончилась относительно благополучно, никаких юридических «оргвыводов» сделано не было, Е. Г. остался на месте. Очевидно, высокое начальство на уровне 1968 г. еще не распоясалось, оно лишь начинало новые погромы, и поэтому приказания «уволить» пока не поступало. Я же тогда относительно близко познакомился со своим коллегой; мы начали обмениваться своими трудами при встречах — обмениваться впечат-

лениями; обнаружилась полная социально-политическая, научная, психологическая солидарность.

А над Е. Г. все мощнее гсушались тучи. За ним числились и более ранние грехи: помимо «Библиотеки поэта» в кругах обкома и КГБ было костью в горле активное защитительное участие Е. Г. в судах над И. Бродским в 1963—1964 гг.; но сейчас, в начале 1970-х гг., всплыли гораздо более опасные связи Е. Г. с Солженицыным, помощь в хранении рукописей будущей книги «Архипелаг ГУЛАГ». За ученым была установлена постоянная слежка, «органы» смогли привлечь на службу даже близких к Е. Г. людей. Незадолго до кончины Е. Г. рассказал, что стукачами оказались чуть ли не закадычные друзья (имен он не назвал). Была какая-то доверительная вечерняя беседа, в которой участвовали, кроме супругов Эткиндов, вот эта семейная пара друзей и известный артист Сергей Юрский, которого потом стали вызывать в Большой дом и расспрашивать о беседе — ее содержание стало известно. Эткинды позвали «друзей» и стали выяснять отношения. Дама в начале этого шекотливого разговора вынула из сумочки пудреницу, которую после коротенького использования оставила перед собой на столе. В конце разговора она протянула к ней руку, но следивший за ней Е. Г. мгновенно накрыл пудреницу ладонью. Так были разоблачены эти, казалось бы, близкие люди.

Но органы, ясно, накопили достаточно «улик» насчет «антисоветскости» — в центре была дружба с Солженицыным. А теперь, при длительных брежневских «заморозках», начальство стало куда более смелым и уверенным в своей безнаказанности, и ректору ЛГПИ им. А. И. Герцена было прямо приказано: выгнать с работы!

25 апреля 1974 г. состоялось заседание Совета института, на котором тайным голосованием Е. Г. был уволен из сотрудников и одновременно лишен профессорского звания. Е. Г. был потрясен единодушием членов Совета (все 57 присутствовавших проголосовали «за») и постарался в своих «Записках незаговорщика» объяснить психологически этот результат: представил, как дрожащий от возможных репрессий ректор вызывает каждого члена Совета и находит индивидуальный способ его обработать. Е. Г. это вычислил логически и литературно, хорошо понимая психологию советского человека. Я же расскажу, как это было на самом деле.

Да, Боборыкин всех вызывал по одному, но, похоже, никаких индивидуальных приемов не применял. Я никогда не видел ректора таким напуганным и душевно перекорезанным: даже когда ему однажды угрожали снятием с работы за «оплошность» (я

провел на своем факультете решение выдвинуть сомнительного для партийных кругов Г. П. Макогоненко в члены-корреспонденты АН СССР) и единственным спасением было срочное решение об отмене того решения, даже тогда Боборыкин был просто напуганным. А тут возник целый клубок чувств и перспектив: угроза и сейчас была не меньшей, а палачом субъективно доброжелательному человеку ой как не хотелось быть; уверенности в нужном результате тайного голосования не было никакой. И Боборыкин применил ко всем, кого знаю: один простой присем: «Эткинда все равно уволят, найдут способ. Но если Совет не проголосует за увольнение, то немедленно уволят меня и поставят бурбона, от которого всем вам будет плохо». Мы были поставлены перед выбором: этот привычный и, в общем, полезный для института ректор или какой-нибудь подонок, — конечно, лучше Боборыкин! И я, боясь неприятных перемен, с болью и дрожью проголосовал за снятие Е. Г. с работы... Действительно, опасался, что коллеги по факультету иностранных языков, ценя Е. Г., проголосуют против жестокого решения, и мой голос тоже попал бы в этот непокорный круг и доказал бы «несоветский» подбор кадров в институте, способствовал не только удалению ректора, но и разгрому гуманитарных факультетов.

Наверное, так же думали и те мои коллеги, которые в другом случае решительно бы отказались соучаствовать в подлой акции. Потом я чуть не застонал, услышав «единогласно», — если бы я знал, что так, то обязательно проголосовал бы против, пусть хоть один голос противостоял бы потоку.

Потому я при следующем мрачном голосовании — 8 мая на срочно собранном гуманитарном совете института, лишившем Е. Г. степеней доктора и даже кандидата наук, — проголосовал против. Это был единственный голос! Я рассказал потом Е. Г. об этом «черняке», но он, видимо, или забыл, или не хотел наводить волков на овчарню и в «В записках незаговорщика» туманно, без цифр, сказал о «единогласном решении» и на этом Совете.

Бывшего профессора Эткинда не выдворяли насильно из страны, подобно Солженицыну, но, лишив его возможности где-либо устроиться на работу, фактически заставили уехать. Было невыносимо стыдно и тяжело прощаться: ведь я чувствовал себя ответственным за случившееся. Е. Г. как всегда был на высоте, его боль и тяжелое настроение не выражали не только озлобления, но даже раздражения. Один эпизод скрасил расставание — у моей жены Софии Александровны возникла замечательная идея собрать для Е. Г. на память несколько желудей от красивых огром-

ных дубов, растущих во дворе герценовского института. Что я и сделал, при прощании подарил спичечный коробок с желудями, Е. Г. с грустной улыбкой принял его. И что оказалось: он сберег подарок; когда купил в Бретани «дачу», участок близ моря-океана, то посадил желуди, и выросли великолепные дубы! Когда в 1989 г. мы впервые, после 15-летнего перерыва, встретились, то одним из первых сюжетов было сообщение Е. Г. об этих деревьях: «Вы не представляете, как они согревали мне душу вдали от России!» До чего радостно было это слышать! И не менее радостно было чувствовать, что нет у Е. Г. ни злобы, ни обиды. Он подарил мне тогда «Записки незаговорщика» с надписью: которую мне неловко воспроизводить, но все же решусь ради этой истории с дубами: «Одному из последних рыцарей нашего времени Борису Федоровичу Егорову от автора, никогда не забывшего пакетик с семенами. 22 июня 1989, Ленинград. Е. Эткинд».

А после его отъезда в 1974 г. развернулись события, инициатором которых был сам Е. Г. Как мы узнали потом, наиболее ценные научные материалы: диссертации, рукописи, черновики будущих трудов — ему удалось переправить на Запад с помощью знакомых сотрудников посольств и консульств (кажется, не только французских). Книги он, как большинство уезжавших, посылал бандеролями. Но у него оставалось еще два очень больших чемодана писем, анкет-биографий переводчиков (задумал такой словарь), разных рукописей — такое могли не пропустить на таможне. И Е. Г. решил пойти честным путем: по договоренности с ректором попросил знакомых принести в кагебешный, так называемый первый отдел Герценовского института эти неподъемные чемоданы на предмет официальной апробации и пересылки ему в Париж. Ректор назначил комиссию по изучению сданных документов; председателем избрал почему-то меня, а «комиссаром» — проректора по науке Ю. В. Кожухова, посредственного ученого, но верного советского служаку, с оттенком цинизма и прагматизма. Заправлял процессом проверки не я, а он; всюду совал нос, отобрал какие-то, по-моему, совершенно невинные письма разных корреспондентов и оставил их для хранения в первом отделе. Остальное через несколько дней работы было одобрено к пересылке, мы отнесли чемоданы в почтовую экспедицию института, сотрудницы которой обещали в тот же день переправить их в соответствующий отдел международного почтамта. Пересылка должна была осуществиться то ли за счет института, то ли за будущую оплату получателем, я не понял. Да, видимо, и сами сотрудницы не знали, хотя они явно чуяли, что все это пахнет липой, что чемоданы уплывут

не на почтамт, а в другие учреждения. Е. Г. никаких своих бумаг не получил. Он писал мне через полгода из Парижа: «глубокоуважаемый г-н Егоров...» и т. д., официально требуя от председателя комиссии узнать, где же его бумаги?

Я ходил в экспедицию, где мне показали грессбух, где стояла роспись об отправке на почтамт, я просил помощи у ректора, но никаких концов не нашел. Даже сам Е. Г., с 1989 г. постоянно приезжавший в Питер и обращавшийся в КГБ, не смог ничего узнать о судьбе своих бумаг — они куда-то канули... Может быть, и найдутся в XXI веке. А Е. Г. не дожил до него. И умер вдали от родины. Но как хорошо, что дочери похоронили его урну на сельском кладбище в Бретани рядом с прахом верной жены Екатерины Федоровны Зворыкиной, в том краю, где растут герценовские дубы, где окрестные крестьяне хотели избрать Е. Г. своим мэром... Ох, и хочется посмотреть на это место!..

II

Е. Г. Эткинд

Из «Парижских писем»

Памяти Франсуа Трюффо

Французское киноискусство понесло большую потерю: в расцвете сил и таланта умер Франсуа Трюффо, едва достигнув 42 лет. За свою короткую жизнь Трюффо успел неправдоподобно много: в 1955 году он громко заявил о себе как кинокритик в «Кайе дю синема» («Тетради кино») и «Ар-Спектакль», критик резкий и непримиримый, принесший в прессу отчетливую художественную программу. Эта программа получила выражение, до конца оформленное и боевое, в манифесте, озаглавленном: «Определенная тенденция во французском кинематографе» — он был опубликован в январском номере «Кайе дю синема» за 1959 год, — это и есть дата, когда родилась т(ак) наз(ываемая) «Новая волна» во французском кино; Франсуа Трюффо — ему в ту пору было 27 лет — сразу стал идеологом движения «Новая волна», его соратниками оказались такие впоследствии видные кинодеятели, как Жан-Люк Годар и Ален Ренэ. Вскоре после появления своего манифеста Трюффо прославился и как постановщик — его первый фильм «400 ударов» по-

лучил премию за режиссуру на Каннском фестивале 1959 года и в краткий срок обошел весь мир.

С тех пор за четверть века — с 1959 по 1984 год — Франсуа Трюффо снял 21 фильм — почти по фильму в год: это огромная продуктивность. Если при этом учесть, что Трюффо отличался редкой скромностью, никого не поучал и в кинозвезды не стремился, то его плодовитость кажется еще более удивительной.

К этим двум сторонам деятельности Франсуа Трюффо — боевого критика и режиссера-новатора — добавим и третью: он много и неумолимо писал о тех предшественниках, в которых видел классиков киноискусства и своих учителей; к ним относятся Жан Ренуар, Росселини (у которого он два года работал ассистентом), Орсон Уэллс, Любич, Кокто, Саша Гитри, Хичкок, — последнему он посвятил книгу. Франсуа Трюффо как критик и основатель «Новой волны» был резок, иногда даже скандален — в своем отрицании утвердившегося в 50-е годы французского «буржуазно-академического» (кино). В то же время он отличался благодарной преданностью; может быть, ни один из его современников не написал столько статей и предисловий, содержащих стремление увековечить художественные открытия тех, кого Трюффо считал учителями.

Чего же хотел Франсуа Трюффо? Надо предоставить слово ему самому, причем не тому задиристому юнцу, который в «Кайе дю синема» утверждал «Новую волну», а зрелому, умудренному жизнью режиссеру, за спиной которого уже 15 лет работы. В 1974 году он говорил Тэю Гарнетту, отвечая на вопросы для книги «Сто лет кино»: «Я никогда не искал идеи для фильма, — каждый раз избирая тот или иной сюжет, я отвергаю два-три других... Жизнь так коротка... Слишком коротка... Делая выбор, я отвергаю чистую комедию, потому что жизнь не так уж смешна; отвергаю чистую драму, потому что жизнь не так уж трагична; отвергаю гангстерские истории, потому что не люблю этих людей, отвергаю сюжеты с полицейскими и политиками, потому что не люблю ни тех, ни других. Я стараюсь не снимать ни корабли, ни лошадей, потому что они нагоняют на меня скуку, ни людей в военной форме, потому что я их боюсь. Я никогда не показываю пловцов, лыжников или танцоров, потому что я не умею ни плавать, ни кататься на лыжах, ни танцевать. Таким образом, отбирая свои сюжеты, я действую путем исключения и работаю с тем, что остается: на мою долю остаются истории любовные и детские. Если позволительно кинорежиссеру сравнить себя с капитаном, чье судно терпит кораблекру-

шение, я охотно воспользуюсь известным возгласом такого капитана: „Сначала — женщины и дети!“»

Эта автохарактеристика Трюффо-режиссера точна и глубока. С его точки зрения, правдивое воспроизведение жизни невозможно ни в смешной, ни в трагической форме, ибо реальность многообразна, в ней сосуществуют слезы и смех, находки и утраты, — в ней также соединены в неразделимое целое общественно-политическое бытие человека и его семейно-домашняя жизнь, героическое и повседневное, возвышенное и бытовое. Жизнь мужчины меньше привлекала Трюффо именно потому, что она представлялась ему более сознательной, более сделанной, находящейся в большей зависимости от навязанных людям теорий и идеологий, нежели гораздо более близкая к природе жизнь детей и женщин. С этой точкой зрения можно спорить, но таков Франсуа Трюффо. Он обогатил французское, да и мировое киноискусство фильмами о детях — такими, как «400 ударов» (1959), «Маленький дикарь» (1969) и «Карманные деньги» (1975), и, может быть, главное в них сводится к тому, что к детским драмам и чувствам нельзя относиться со снисходительной усмешкой или показывать их, сентиментально сюсюкая, — дети страдают, любят, оскорбляют, мстят едва ли не с большей интенсивностью, чем взрослые.

Другие фильмы Трюффо посвящены сложным, безвыходным отношениям между любящими, которые не находят пути друг к другу или по рационально необъяснимым причинам друг друга теряют. Язык этих лент казался иногда непонятным зрителю, привыкшему к динамике внешних событий, тогда как действие у Трюффо подчас разыгрывается во внутреннем пространстве его героев — такова «Зеленая комната» (1977). Наибольший успех последнего времени выпал на долю «Последнего метро», увенчанного всеми «Цезарями»: за лучшую режиссуру, мужскую роль, женскую, вторые роли, музыку... — но это фильм, втянувший в себя немало внешних происшествий периода оккупации Франции. Трюффо работал над сценарием, который мог стать продолжением «Последнего метро», — «Маленькая воровка», о девочке-подростке в оккупированном Париже. Увы, этого фильма мы не увидим.

Искусство Франсуа Трюффо было неустанным стремлением отстоять кино в эпоху, когда его губят и бурное развитие зрелищной техники, с одной стороны, и необходимость завоевывать массового зрителя простейшими средствами, эскалацией эротики и насилия — с другой. У Трюффо нет ни вакханалии обезумевших красок, ни душе- и ушераздирающей музыки, ни вызывающих со-

дрогание лохмотьев человеческой плоти, ни оглушающей порнографии. Он совершил, казалось бы, немислимое: его тихий голос перекрыл истерический вой других, его благородная сдержанность привлекала больше зрителей, чем бесстыдные постельные эпизоды или сцены насилия, которые все больше теряют популярность, — в частности, благодаря тому, что им противостоят фильмы Трюффо о женщинах и детях. Трюффо не зря заговорил о кораблекрушении и о том, что надо спасать пассажиров: в нынешнем кино это очень ясно видно. Газета «Ле Монд», отмечая смерть Франсуа Трюффо, цитирует монолог героя фильма «Зеленая комната» Жюльена Давена, которого играл сам Трюффо; эти слова обращены к мужу, только что потерявшему свою жену:

«Не думайте, что вы потеряли ее; думайте о том, что теперь вы больше не сможете ее потерять. Посвятите ей все ваши мысли, ваши поступки, вашу любовь. Вы увидите, что мертвые нам принадлежат и что мы соглашаемся принадлежать им. Поверьте мне, Жерар, наши мертвые могут продолжать жить».

Нация должна питать особенную любовь к художнику, чтобы проститься с ним на газетной странице такими словами.

22.X.1984

Герой чести

Памяти Жана Ануя

Лишившись Жана Ануя, Франция потеряла самого крупного драматурга, которого имела после XVII века, то есть, в сущности, после Расина и Мольера. Французы прошлого столетия гордились Виктором Гюго, Сарду и Эдмоном Ростаном, но театральная деятельность даже этих троих не идет в сравнение с творчеством Ануя; в течение полувека его имя не сходило с афиш — ему принадлежит около шестидесяти пьес различного типа, от трагедий до ярмарочных фарсов. Сегодня, когда французская литература не может похвалиться именами всемирного значения — разве что прозой Сименона, стихами Рене Шара и драмами Беккета и Ионеско, — потеря Жана Ануя особенно чувствительна. 5 октября в парижском театре Пале-Рояль игрался спектакль «Hurluberlu» («Сумасброд») — эта пьеса Ануя, впервые поставленная в феврале 1959 года, почти 30 лет назад, с тех пор не сходила со сцены; она кончается такой репликой: «Человек — животное безутешное и веселое». Так вот, главную роль здесь исполнял популярный актер

Мишель Галабрю; после спектакля и многочисленных вызовов Галабрю вышел на авансцену: «Мы утром узнали о смерти Жана Ануя, — сказал он. — Может быть, в начале спектакля мы были не в форме. Сегодня мы не испытывали той радости, которая охватывает артистов перед выходом на сцену. Нас покинул крупнейший классический писатель, гений театра. Великих людей смерть возвышает. Немало говорилось о недобром начале в драматургии Жана Ануя, о его жестокости. Мы, актеры, не забудем, что этот человек был, работая с нами, воплощением нежности и великодушия. Сегодня мы разделяем с вами бесконечную печаль...»

Так простились с Жаном Ануем актеры. Мишель Галабрю напоминал о том, что критика не раз говорила о жестокости Ануя, о его озлобленности против рода человеческого. Так ли это? Можно ли, в самом деле, считать, что автор «Путешественника без багажа» и «Антигоны» — писатель злой, исполненный ненависти к человеку? Напомню пьесу «Путешественник без багажа» (1936), первую, создавшую Ануя громкое имя; в театре «Les Mathurins» ее сыграли более двухсот раз при неизменно полном зале. Герой этой пьесы — Гастон, молодой человек, во время войны потерявший память; находится, однако, семья, которая узнает в нем сына — сына госпожи Рено. Гастону рассказывают о его детстве. Он узнает, что был злым мальчишкой, садистом, больше всего любившим убивать птиц из рогатки и мучить животных; он узнает, что был любовником жены собственного брата, Жоржа Рено, и в то же время жил с молоденькой горничной Жюльеттой... Гастон надеется, что у него был в юности друг, и что друг поможет все вспомнить, — но ему не отвечают. Почему? «Вы поссорились», — говорит ему предполагаемый брат, Жорж. А потом госпожа Рено разъясняет: «Вы разругались из-за какой-то мелочи, подрались, как все мальчишки в этом возрасте... Ты, сам того не желая, сделал резкое движение... Очень неловкое движение. Ты столкнул его с лестницы. Падая, он повредил себе позвоночник. С тех пор он калека. Теперь ты понимаешь, что было бы трудно, мучительно трудно повстречаться с ним — даже для тебя».

Гастон пытается расспрашивать о деталях, мать избегает об этом говорить. Гастон настаивает: «Прошлое, — говорит он, — не продается в розницу». Он ведет расследование по поводу собственного детства и своей предполагаемой семьи, как вел бы следователь. О том, как он столкнул с лестницы друга, ему рассказывает горничная Жюльетта, та самая, которую он растлил, когда ей было 15, а ему 17 лет. Оказывается, мальчишки подрались из-за нее, Жюльетты, и она видела, как Гастон (Жак) столкнул

Марселя ногой с лестницы, крича: «Вот тебе, негодяй, будешь знать, как лезть с поцелуями к чужим девчонкам!» Брат Жорж рассказывает Гастону, как он, в ту пору Жак, мошенническим путем выманил у знакомой старухи 500 тысяч франков и прокутил их в ресторанах и борделах.

Нет, Гастону не нужно такое прошлое: он полон ужаса и омерзения, он не узнает себя в распутном, злобном, бесчеловечном Жаке. И все же узнать себя ему приходится: Валентина, жена брата, когда-то нанесла ему рану под левой лопаткой; она просит его посмотреть — да, под левой лопаткой есть шрам. Гастон понимает: это он, этот садист, мошенник, насильник, изувер, это он был Жаком. И все же делает все, что может, чтобы от этого прошлого, от этой семьи, от этих любовниц, от этих своих жертв отказаться.

«Путешественник без багажа» содержит модель художественного мира Ануя. Как истолковать эту пьесу? Можно сказать, как писали в шестидесятых годах советские критики: Жан Ануй ненавидит буржуазию, богатых, власть имущих; он — на стороне простых людей, против господствующего класса. Так писали у нас, думая подобными доводами спасти Ануя для советских читателей и зрителей; в самом деле, издательство «Искусство» в 1969 году выпустило прекрасно оформленный и переведенный двухтомник его театра. Пьесы Ануя сопровождает отлично написанная, блестящая статья-послесловие ныне покойной Ленины Зониной; вот последняя фраза этой статьи: «Каковы бы ни были политические убеждения Ануя, за кого бы он ни голосовал на выборах, — его театр, страдающий человеку, доведенному буржуазными отношениями до низжайшей степени падения, возбуждает в зрителе презрение и ненависть к этим отношениям, а следовательно, и желание их изменить». Мы понимаем благие намерения Ленины Зониной, однако надо понимать и ее неправоту. Уже в пьесе-притче «Путешественник без багажа» видна философия Ануя: человек хорош только тогда, когда он изолирован от других, предоставлен самому себе. Общество — всякое общество — губительно для него и в основе своей отвратительно. Внутренний мир человека способен к усовершенствованию и возвышению, социальная же действительность чревата гнуснейшими пороками и преступлениями. В этом смысле Жан Ануй родственен тому писателю, который ему ближе других, — к Ф. М. Достоевскому. Та же Ленина Зонина одной из первых заговорила об этом, сопоставляя раннюю пьесу Ануя «Горноста́й» («L'Hermine», 1932) с «Преступлением и наказанием»: герой Ануя Франц «убивает старуху, на его взгляд совершенно бесполезную, существо

злое и эгоистичное...», и он же, Франц, спокойно относится к тому, что за его преступление отвечает другой — выживший из ума старый лакей, признавшийся в убийстве, подобно Миколке у Достоевского. Дело, однако, не только в сходстве сюжетном. Дело еще и во взгляде на отношения человека и общества: подобно Достоевскому, Ануй склонен видеть в человеке источник добра, а в социальном мире — любом, не только буржуазном, — средоточие зла. Отсюда его монархизм: в обществе, которым правит самодержец, злые инстинкты не так разнузданы. К тому же, с точки зрения Ануй, в демократическом государстве на смену одному старику приходит другой старик, тогда как в монархиях старому государю наследует его молодой сын. Впрочем, Ануй мыслит здраво, он не поддается легкому самообману: чаще всего монархи не отвечают необходимым требованиям; в пьесе «Жаворонок» (1952), посвященной Жанне д'Арк, король Карл — ничтожный дебил, который появляется в обществе супруги и любовницы, играя в бильбоке. И все-таки для Ануй монархия лучше республики — она ограничивает разгул социальных страстей, то есть губительных эгоизмов. Демократия, с его точки зрения, чревата тиранией. Битос, герой одноименной пьесы «Бедный Битос» (1956), играет роль Робеспьера в самодеятельном спектакле, и вот что он, этот весьма достоверный Робеспьер, говорит своему соратнику — Камиллу Демулену: «Произвол королей преступен! Произвол народов или его представителей — священен». К нему обращается Люсиль, жена Демулена; она умоляет: «Вы ведь не потребуете казни Камилла, Робеспьер!» — а Робеспьер отвечает: «Я страдаю, Люсиль. Я страдаю не меньше вас. Но я должен. Если бы надо было, я казнил бы самого себя. Величие — оно обходится дорого».

Л ю с и л ь: Что это такое — величие?

Р о б е с п ь е р: Безжалостное исполнение долга.

Л ю с и л ь: А что такое — ваш долг?

Р о б е с п ь е р: Держаться прямого пути, чего бы это ни стоило, до той просеки, где мы, наконец, сможем отдохнуть все вместе, мертвые и те, кто еще жив. Это та дальняя лесная просека, где Революция, наконец, будет завершена.

Л ю с и л ь: А если Революция никогда не будет завершена, если ее вечно придется завершать? Если эта просека, как в сказках, будет удаляться по мере нашего приближения к ней?

Р о б е с п ь е р: Будем продолжать борьбу.

Л ю с и л ь: Бесконечно?

Р о б е с п ь е р: Бесконечно.

Л ю с и л ь: Не обращая внимания на людей?

Р о б е с ь е р: Не обращая внимания на людей.

Л ю с и л ь: (*все так же тихо*): Но ведь эту Революцию вы хотите делать во имя людей?

Р о б е с ь е р (*резким движением отгоняя от себя что-то невидимое*): Во имя других людей, лишенных лица...

Этот поразительный диалог написан в 1956 году, в пору XX съезда. Скорее всего, Ануй думал России и русской революции, когда создавал «Бедного Битоса», который за ужином с друзьями играет роль Робеспьера.

Что же, понятно, почему коммунистическая газета «Юмани-те» опубликовала странный некролог Жана Ануя, подписанный Жаном-Пьером Леонардини, — здесь говорится о «своеобразной серой славе» Ануя и еще вот что: «...Короче говоря, „Фигаро-магазин“ потерял своего крупнейшего драматурга века». Какая пакость! Жан Ануй никогда не принадлежал к кругу правого журнала «Фигаро-магазин» хотя бы потому, что с точки зрения этого журнала быть богатым — не только мечта каждого француза, но и единственное почетное положение в обществе; для Ануя же богатство злокачественно — оно еще уродливее бедности, которая тоже отвратительна. Что и говорить, Ануй не демократ, у него свои счёты с массами. Его отношение к массам проявилось в следующем высказывании о телевидении: «Говорят, что телезрителей от 14 до 16 миллионов. Да, но каких зрителей? Какого рода эти зрители? Мамаша, которая включает телевизор, а потом раздает шлепки своим обалдуям? Папаша, который ворчит на окружающих? Я предпочитаю иметь 500 зрителей, заплативших за свои места. Вот это — публика!»

И все же, хотя Ануй и пугался демократии, он всю жизнь отстаивал справедливость и красоту отношений. Он воспевал светлую любовь между современными Орфеем и Евридикой — любовь, способную победить мешан и тиранов, которые кажутся в нашем мире всемогущими. Он был человеком долга. В одной из статей о нем после его смерти было сказано: «Почестям Жан Ануй неизменно предпочитал честь».

Выше всего на свете Жан Ануй ценил детство. В конце трагедии «Антигона» (1942), одной из центральных пьес Ануя, царь Креонт говорит мальчику-пажу: «Тебе не терпится вырасти и стать взрослым?» «О, да!» — отвечает мальчик. «Ты сумасшедший! — говорит Креонт. — Надо было бы никогда не становиться взрослым». Ануй любил детство за то, что оно — внесоциальная пора человеческой жизни, а значит — святое время.

III

Из переписки Е. Г. Эткинда с Н. А. Роскиной

Комментарии

И. В. Роскиной (Иерусалим) и А. А. Раскиной (Лос-Анджелес)

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

9 ноября 1977 г.*

Дорогой Ефим Григорьевич!

Я послала Вам два письма обычной почтой, не знаю, дошли ли они. А 3 декабря в Москву летит мой близкий друг, американский славист Том Виннер¹; будьте добры, напишите ему, пусть он как хочет, или попробует привезти письмо, или же прочитает и запомнит суть. Человек он прекрасный, главное — сам в свое время бежал от немцев из Праги, а родители его там погибли, ну и сразу иное понимание вещей. Он хорошо понимает по-русски, также и по-французски и по-немецки, конечно. Я вынуждена затруднить Вас: приготовила ряд довольно важных для меня поправок², и очень прошу Вас, внесите их, пожалуйста. Тут, кстати, у Вас такая репутация, что если Вы курируете рукопись, то уж она выходит в свет культурно, без жутких опечаток и прочих ляпов, и что мне очень повезло, что она попала к Вам. На случай, если мои письма (одного и того же содержания) не дошли, — я в них иносказательно писала, что «Новый журнал» мне стал значительно менее привлекателен, после того, как они напечатали Анну Герц³, не знаю прямо, что их угрозило. И вообще, как ни странно, этот журнал у нас мало популярен. Я вот читала все «Континенты», а «Нового журнала» не видела два года.

А на «Континент» у меня тоже обида большая, что они так нехорошо поступили с романом Гроссмана⁴, ведь по их публикации даже вообще нельзя понять, что и почему произошло, за что роман арестовали, да и главы выбраны безо всякого смысла, словно впервые на свете делается журнальный вариант. Кустарщина. А хорош Женя Терновский⁵, который же в Москве читал мою рукопись, дико хвалил — и вот, значит, ничего даже и не запомнил! Также и Саша⁶, ну, ему я могу все простить, да он и не издатель. И не брался. Вообще с романом Гроссмана —

* Все письма Н. Роскиной отправлены из Москвы, поэтому место их написания специально не оговаривается

трагедия, которую мы все переживаем, с самыми разными людьми я это обсуждала, и все одного мнения, — второй арест. Если мой очерк привлечет к нему заново внимание, то ради одного этого мне стоит пойти на риск. Конечно, мне бы больше всего хотелось, чтобы именно вышла отдельная книжечка, мне кажется, что она получилась цельная, и лучшего издателя, чем человек, который сам так обаятельно написал об Ахматовой⁷, мне не найти. Поэтому с волнением жду Вашего письма, ответ, наверно, уже есть, просто я его еще не знаю. Если Струве не понравится, то — быть может, фонд Герцена в Амстердаме? Там, вероятно, мое имя что-то значит по моему участию в герценовских томах «Литературного наследства». Или это им все равно? А впрочем, я так мало ориентируюсь во всех этих делах, ведь так мало нам удастся узнать... И куча самых противоречивых сведений, вот Некрасов⁸ пишет о жизни в Париже так идиллически — гуляет, мол, вещи на столе лежат, а другие воют и задыхаются, и не знаешь, чему же верить, что случится с тобой, если ты в этот Париж попадешь. И не просто, а — «в слезах, с отчаяньем в груди, о сжался над своей тоской, свое блаженство пощади...»⁹. И при этом — ваше пребывание там, ваш труд, все это придает совершенно иное значение нашей жизни здесь, все окрашено тем, что вот есть это совершенно правдивое слово, требования к настоящему невероятно возрастают. Но эта жизнь не вливается в официальную и не сливается с нею, а просто как-то сосуществуют, и это, видно, может продолжаться еще сто лет. Но если цитировать дальше то же стихотворение, то — «и рад ли ты, или не рад, не спросит он...». Я — человек, совсем не приспособленный к тому, чтобы меня «мело из града в град», но — может и придется. К сожалению, моя Ира¹⁰ очень много хворает, это меня очень лимитирует во всех планах на будущее. Кстати, привет от нее и меня Галичам, Ира побывала этой осенью и у Галины Александровны, и у Фанни Борисовны¹¹. Старенькие обе и печальные, но все же держатся, пока еще на ногах. Жаль их безмерно...

Ну, еще раз спасибо Вам — за все, не только за себя. За что-то общее, важное нам всем. Уверены, что Вы сделали все правильно!

Все время ощущаю себя в каком-то разговоре с Вами, от этого перечитала Вашу статью о «Прощании с друзьями»¹² — блестящая!

Недавно иду мимо Академкниги, на лотке (видно, было невыполнение плана) лежит несколько книг, это теперь редчайшее

явление, среди них старый сборник «Мастерство перевода»¹³, и продавец кричит: «Берите, тут Эткинд!» Бывает же!

Сердечный привет Вам и Кате¹⁴.

Ваша,

Н. Р.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

30 ноября 1977 г.

Дорогие!

Письмо получила, спасибо за письмо и за все. Как раз сегодня получила и письма от ленинградских друзей, Григ(ория) Абр(амовича)¹⁵ и Бориса Яковлевича¹⁶. Последний много хворает и пал духом — лежал в глазной клинике, совсем почти не видит, однако все время продолжает работать (с секретарем) и много написал. С печатанием хуже. Григ(орий) Абр(амович) тоже прихварывает, но гораздо бодрее, и они мне пишут всегда такие веселые, милые письма, — Ирина молодец¹⁷, это, видно, от нее зависит. У них одна тайная тревога, которой они не делятся, но я ее знаю — страх, что Григ(орию) Абр(амовичу) придется уйти на пенсию, вот же Максимову¹⁸ пришлось, и он это ужасно тяжело переживал, хотя он гораздо больше печатается, чем Г(ригорий) А(брамович) и не имеет такой большой семьи. Этим во многом корректируется их поведение. Что же касается Сашеньки¹⁹, то она, по-моему, просто — эпистола-не-потентна, так что проблема написать письмо у нее растягивается часто на годик-другой. Она как раз сегодня утром у нас была, — позвонила, что хочет притти взвеситься на наших весах. Мы думали, что это какой-то предлог для чего-то другого, но оказалось, что именно это ей нужно — она уже, видите ли, десять дней, целых десять дней не ела хлеба и вермишели. Сколько было на весах, я не скажу вам, — боюсь распугать французов. А вечером пришло письмо... Так что видите, у меня сегодня день насыщенный все одними с вами впечатлениями, и дай бог еще много таких дней...

Читали ли Вы сборник воспоминаний о Заболоцком, вышедший в «Советском писателе»?²⁰ Ира меня умоляет быть тактичной и не высказываться о нем... Но все же и я признаю, что там есть кое-что симпатичное, правдивое и даже талантливое, в частности неплохо написал Никита²¹ (если не считать конца — про свое детство он написал хорошо), Николай Корнеевич²² (и мне очень понравилось его стихотворение Заболоцкому), хорошая

страничка есть в воспоминаниях Липкина²³ — как Твардовский возмущался строчкой Заболоцкого «Животное, полное грез»²⁴. Кстати, Екатерина Васильевна²⁵ была настолько деликатна, что предложила мне тоже написать что-то для этого сборника, но я хорошо сделала, что отказалась — дико даже и думать, что я могла там оказаться. Когда она мне звонила — это было довольно давно уже, не помню, сколько лет назад, то все же мне этот сборник и тогда уже казался малоинтересным, однако еще другим, чем то, что в результате получилось. И то чуть не сорвалось...

Григ(орию) Абр(амовичу) насчет Льва²⁶ написала. Мне не кажется, что из этого что-то выйдет, но этого я ему не написала. Пока что они не приехали и неясно, когда приедут — лечатся. Ирина мучается с зубами, а Г(ригорий) А(брамович) — с рукой, которая болит от какой-то причины, определяемой разными врачами совершенно противоположно.

Ну что еще рассказать Вам. Сашки²⁷ купили пианино, поставили в холл и учат Анюту играть. Все более или менее благополучно, но обилие родственных обязанностей и весьма расширительное понимание этих обязанностей делает Сашкину жизнь трудной до чрезвычайности. Когда она, уходя, рассказывает, сколько чего ей предстоит сделать для всех этих родственников за день, и мы кричим ей: «Уникум!» — она отвечает, что мы уникамы, если считаем ее уникамом. Мы кричим: «Правы мы!»

Лев малый²⁸ более или менее благополучен, тоже уже болит то одно, то другое, но в общем ничего, сохраняет хемингуевский вид. «Старик и море». Аля Яковлевна²⁹ расплакалась, когда я забежала к ней (мы в одном подъезде) с рассказиком о прерванном проводе³⁰. Она всегда говорила мне именно это, только другими словами. Да, проблема слышимости — это одна из самых серьезных, но вряд ли Вы правы, сводя ее к телефонной слышимости, то есть к слышимости мгновения. Важно, однако, не как вообще, — а как Вам сегодня кажется, потому она так разволновалась...

Всего, всего доброго вам всем.

НР.

Хотела я достать и послать Вам сборник воспоминаний о Заболоцком, но у меня не получилось. Один экземпляр мне достали за десятку, а уж второго не достали. Надеюсь, что за свою валютушку книги-то можно купить в этом провинциальном Париже?

Ваша,

НР.

Саше³¹ привет!

Е. Г. Эткинд — Н. А. Роскиной

27 февраля 1978 г.

Милая Наташа,

На днях беседовал с моим старым знакомым, занимающимся дружественной Вам семьей и разыскивающим для нее жилье³². Кажется, квартиру ей (семье) предоставляют, и даже не слишком затягивая — вроде бы месяца через 3—4. Я настаивал на отсутствии соседей³³, это мне решительно обещали. Ну, вот это я и хотел, чтобы Вы знали. О дальнейшем буду аккуратно держать Вас в курсе.

Все, что Вы (хоть и редко) пишете о Г(ригории) А(брамовиче) и Б(орисе) Я(ковлевиче), мне необыкновенно дорого — это и есть мое. И про Сашек пишете, раз сами они молчат. Увы, сборник о Заб(лоцком) я так и не достал, тут не было — может еще и появится. Он мне интересен весьма, хотя надо бы к нему добавить нечто, не поместившееся — места не было. О Львах³⁴ давно не слышал. Как говорится, «хочу все знать».

Вскоре кончу огромную работу, которую затеял самонадеянно и даже — нагло: французский — в хороших и звонких стихах — Пушкин. Я сколотил прекрасный коллектив из людей самоотверженных (за переводы здесь не платят) и талантливых, и вот мы подходим к концу. Заодно опровергнуты все предрассудки: будто бы французский язык беден и слишком рационален, и стих — сух и негибок. Все получается, и все звучит всеми голосами. Вот что более всего меня радует в здешней жизни моей — а сами французы удивлены. Один из моих переводчиков сегодня прислал мне книжку своих стихов, а в надписи сказано: «(Такому-то)... вернувшему нам надежду». Вот что я хотел бы за собой сохранить — такое название.

Обнимаю Вас.

Преданный Вам,

Е. Эткинд.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

23 марта 1978 г.

Дорогие, спасибо за милое и теплое письмо. Как я люблю их получать и как тяжело, что уже от кого-то не получу их никогда... Это декабрьское горе³⁵ омрачило нашу жизнь. Я читала, что Вы

написали львам, они давали. Все очень и очень печально. Вообще со всех сторон наступает разнообразное плохое, и Вы, конечно, правы, что защищаетесь только искусством, от которого ничего плохого ждать не приходится. Возможность создать целую новую переводческую школу на другом языке — эта задача огромного масштаба, и вот, оказывается, она по плечу.

Вообще, ситуация, в которую Вы попали, мобилизует, заставляет искать средства и совершенно новые формы общения с жизнью, вызывает энергию — а что мне пишут наши общие и обожаемые друзья? Г(ригорий) А(брамович) с помощью Ирины, которая указывает ему наиболее интересные места, читает скучнейшую книгу Томаса Вульфа и радуется, что ему из Ташкента привезли свежие огурцы и какие-то грандиозные, с голову, груши, из Венгрии же копченые свиные ножки, зовут покушать; а Б(орис) Я(ковлевич), человек менее гедонический, описывает свои прогулки по парку с приبلудной собачкой, которую он страстно полюбил... А стоят за этим всякие весьма печальные вещи: у Г(ригория) А(брамовича) обнаружена глаукома, Б(орис) Я(ковлевич) тоже совсем теряет и зрение и слух, ну, а уж прочие впечатления... Сашки тоже ужасно сдали. В последнее время у них непрекращающиеся беды: тяжело болен брат Сашки-мальчика, Миша³⁶, лежит в госпитале уже несколько месяцев, Кот³⁷ болен астмой, тоже лежал в больнице, но вынужден был срочно выпиться из-за начавшегося там губительного для Кота клопоморства, однако воспаление легких, по-видимому, стало хроническим, характер же мрачным и все отвергающим. Сашка-девочка, как мне кажется, огорчается, что в результате из ее способностей выходит не так много, диссертация не защищена и давление груза семейных и рабочих обязательств постепенно сказалось, переутомлена она явно. Анюта стала очаровательно играть на рояле — за три месяца сделала поразительные успехи, сочиняет музыку сама, играет мазурки и старофранцузские песенки, так что когда говоришь по телефону, в трубку доносятся милые мне звуки детской учебной музыки, что связывает для меня два века.

Читаете ли «Вопросы литературы»? Там была небезынтесная публикация дневников П. Лукницкого³⁸ про начало пушкинской работы Ахматовой. Вообще по всем подходам ясно, что биография Ахматовой будет изучаться по канонам, по которым делаются биографии классиков, пока, разумеется, достаточно однобоко это выходит, но потом даст свои плоды. Сборник воспоминаний о Заболоцком я очень стараюсь достать, мне ужасно хотелось послать Вам в подарок, но я так и не достала, хотя пред-

лагала спекулянту любые деньги. Говорит, что единственный экземпляр у него был, который он мне и отдал. Ну, а послать его все же не решаюсь, хочется и самой владеть. Этот сборник вышел тиражом 10 000, этого же тиража вообще никто не видит. Странно — в свое время таким тиражом выходил четырехтомник Пруста, и он есть «у всех». А Заболоцкого, не самого, а только сборника воспоминаний, «нет ни у кого».

Французский я немножко знаю, недостаточно, конечно, но все же. Мне не казалось, что он недостаточно богат, мне казалось, что в нем нет той чисто русской щемящей ноты, что нечем передать именно ее, что скорее ее найдешь в немецком. Впрочем, мои рассуждения на эту тему не могут быть сколько-то серьезными, мне только ясно, что если Пушкина родила европейская культура, то он должен рано или поздно в нее вернуться. Ну, вот, надо подумать, как сказать одним словом по-латыни — вселяющий надежду, и это и будет Ваше, достаточно пышное, имя.

Из Вашего письма я не вполне поняла, получили ли Вы справку о том, что стихотворение девочки³⁹ напечатано Велимиром Хлебниковым в «Садке» (о чем я прочитала у Бенедикта Лифшица, когда стала перечитывать забытого «Полутороглазого стрельца») и еще несколько аналогичных справок. Надеюсь, что получили, если нет — срочно пошлю еще раз. Это для семьи моих друзей⁴⁰. Не нужны ли для них фотографии⁴¹ — портреты, книги с надписью? Напишите, пожалуйста. Я вообще не думала, что они устроятся так быстро, я поняла Ваше слово «нескоро» как года два-три, три-четыре. По примеру других. Мы пригласили к себе ужинать Алю Яковлевну, Ира приготовила очень вкусное мясо и, к нашему с А. Я. удивлению, вынула бутылку вина, — а посреди ужина вдруг пошла вниз за почтой и принесла Ваше письмо, ну, так и получилось, что вино было в честь наших общих друзей. Выпили и за них, и за вас, и за нас, за всеобщее благополучие.

Львы сейчас в Переделкине, поехали на несколько дней, я их еще не видела. Их бестелефонная жизнь нервная, каждый день приносит что-то, но в общем так, на круг, все еще, можно сказать, терпимо. Рая болела тяжелым гриппом, но уже поправилась, ожила. Они энергичны, всюду бывают, всем интересуются, совсем не скисли.

Ну, спасибо еще раз. Пишите!

Обнимаю.

Ваша,

ИР.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

Апрель 1978 г.

Дорогой Ефим Григорьевич, спасибо Вам еще и еще раз! Как бы хотелось получить от Вас письмо, более откровенное и длинное, чем это возможно по почте! Как хотелось бы присутствовать при Вашей беседе с Никитой⁴² — ведь это он был, да? Все это — как автору интересны такие дела и разговоры — очень симпатично и увлекательно описано как раз в одной известной книге под названием «Записки...»⁴³, которую сейчас все с увлечением и глубоким сочувствием читают. Можете себе представить, в частности, каково нам с Ирой было читать Ваше описание того, как Вы с портфелем уходите вечером из дому, не зная, когда и при каких обстоятельствах сможете вернуться. Дорогой Ефим Григорьевич, помните ли Вы, что мы по-прежнему живем с предчувствием и в ожидании такого вечера? Да, я знаю, что Вы помните... Чем мы можем ответить Вам, кроме как внимательным чтением и вниканием в Вашу судьбу. Ну, теперь Вы сделали свое дело, то есть свои выводы.

Вчера, уютное утро (хотя и ленинский субботник, но мы с Ирой не пошли на него), пьем кофе (пока у нас есть еще маленький запасик — вообще же все здесь последнее, все кончается, будь то какое-то простейшее лекарство вроде аллохола, или чайник для заварки, или нитки — не говоря уж о книгах и бумаге, разумеется) — и вдруг открываем «Неделю» и читаем очередную статью про Сашу Галича; огромную, полторы полосы, чудовищную по нагромождению лжи и оскорблений. И — субботний день уже перекорежен. Но что делать? Уезжать неохота безумно, Вы правы, абсолютно правы в том, что уезжать можно лишь при угрозе (но когда решить, что угроза уже реальна?). И кроме уничтожения физического разве не грозит нам уничтожение психическое, разве не изнашиваешься день за днем, живя во всем этом, не имея возможности голос поднять? Вот у львов беда — отключили телефон⁴⁴ нашей общей приятельницы Инны Варламовой, которая живет в одном с ними подъезде, по-видимому, за то, что ей называли Профферы⁴⁵ и львы тоже говорили от нее, они убиты, так как Инна больна тяжелой стенокардией, и им совестно. Вот это типично московская новость.

Вот, простите меня ради бога, еще маленькая поправка к «Четырем главам»: стр. 44, строчка 14 снизу: вместо «Я помню только» — надо «Помню однако». И ниже, после слов «и эта те-

ма, и эта девушка» — вставить: «Были и другие иностранцы, с которыми она подружилась и которые стали ей близки». Надеюсь, что все другие поправки Вы получили, особенно мне хочется поправить насчет стишка (стр. 76) девочки (что он из хлебниковского «Садка») и насчет каталогов изд(ательст)ва им. Чехова (стр. 91). Может быть, это вообще были не каталоги изд(ательст)ва, а списки книг на русском яз(ыке), имеющихся в магазине Камкина? Очень не хотелось бы тут наврать, наклепать зря на кого-то. Как Вы думаете, удастся корректуру прислать или не надеяться на это? Ну, прочтя Вашу книгу, я еще раз убедилась, что Вам все и в этой части понятно и ведомо, и верю, что я в хороших руках.

Радость и страх смешиваются, страшно и вообще выйти на общий суд с своими личными делами, страшно и того, что может последовать, в общем, все Вам ясно... Но — радость от того, что надо же когда-то сделать свое, тебе назначенное, ибо 250 миллионов хотят сначала дождаться гарантированной безопасности, а потом уж высказаться. У других друзей все пока в порядке, все по-прежнему. Бялые звонки по телефону⁴⁶. У Г(ригория) А(брамовича) таки глаукома, но в нетяжелой форме.

Ну, всего всем вам доброго...

С любовью,

НР.

«Немецкая волна» рассказала о разных спорах внутри и вне «Континента», еще раз испытала удовлетворение, что буду — отдельно. Понять, кто прав и кто не прав, отсюда невозможно, да и тут некоторые ужасно бранят «Кон», а некоторые безудержно восхищаются. Во всяком случае одно могу сказать: эмиграция, ее заботы и проблемы — постоянная, до одури, тема местных разговоров.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

25 апреля 1978 г.

Дорогие! Вчера получила Ваше письмо, которое шло двенадцать дней. Очень обрадовалась. Письмо бодрое и энергичное, а если человек то воет, то гуляет, то гуляет, то воет⁴⁷, то это и есть настоящий человек. «Тот, кто постоянно воет, тот, по-моему, просто глуп»⁴⁸. Вообще я много думала о том, что получить точные сведения о чем-либо совершенно невозможно. Помнится, когда в мой дом впервые вошел американец⁴⁹ (1958 год). я,

к слову, спросила, есть ли в Америке сметана, и он заверил меня, что они там и не слыхивали о такой, «сметана — это чисто русское». Потом я решила проверить это у другого американца, который был ужасно удивлен, сказал, что он узнает у того американца, почему он это так сказал, что, разумеется, сметаны в Америке сколько хочешь. И эта чушь помнилась мне много лет, пока я наконец не познакомилась с одной очень степенной женщиной, женой пожилого заграничника, которая мне толково объяснила: сметана, конечно, не входит в традиционное англо-американское меню, но купить ее в Америке, конечно, можно. Теза, антитеза, синтез. Вот и Вы тут в роли последнего и самого правдоподобного — то гуляю, то вою.

Насчет того, что некому Вас читать? — это Вы, простите, бросьте. Да и вообще, кто об этом думает? Как писал В. В. Розанов⁵⁰, Гутенберг пришел «потом». А у нас литература так слилась с печатью, что мы совсем забываем, что она была до печати и в сущности не для опубликования. Литература родилась «про себя» (молча) и для себя. Печатание же — дело техники. «А для чего иметь „друга читателя“? Пишу ли я „для читателя“? Нет, пишешь для себя. Зачем же печатаете? — Деньги дают... Субъективное совпало с внешним обстоятельством. Так происходит литература. И только».

Кстати, сегодня как раз мне «деньги дают» в «ЛГ»⁵¹, вот сейчас поеду получать, посмотрим, сколько, — и никак уж не думала я, что до денег отклик из Парижа получу. Вообще откликов я получила невероятно много, у меня никогда в жизни такого случая не было, чтобы мне незнакомые люди звонили, узнав по справочному мой телефон. Популярность этой статьи для меня невероятна. Однако, я заметила, что популярна она только среди грамотных. Половина дела сделана, грамотные согласились. Неграмотные же не каются, не клянутся, что станут грамотными, не вопят, что им стало стыдно, — как я призывала. Моя Ира заметила, что «ЛГ» вообще мастерица варить именно такую кашу — неразрешимую. Но дают людям поговорить на ту тему, которая их волнует, отвести душу. Иначе и вообще будут разговаривать только на одну тему — воют или гуляют?

Жилищный кризис, трудности с жильем в Париже и других капстранах вполне понятны. Но я очень рада, что решение отказываться от коммуналок не кажется Вам блажью и капризами. Уж начать жить, так по-человечески. Да и какая срочность?⁵²

Когда-то А(нна) А(ндреевна) была восхищена фразой из сочинения моей дочери: «От поэзии всегда ждешь невозможного, а

Пушкин дает нам это невозможное» и велела Ире записать эту фразу ее пером, в ее тетрадь. (Я пишу об этом⁵³.) Сохранилась (в архиве) эта тетрадь, эта запись, стоит подпись «Ира Бориневич⁵⁴». Но кроме этого есть и еще одна тетрадь, где эта фраза отнюдь не стоит эпиграфом, как Анна Андреевна посулила Ире, а идет прямо в тексте, от нее самой. Прелесть, правда? «Мемуарабельно» обокрала ребенка! Когда опубликуются эти тетради, все сойдется. Вышла у нас книга работ Жирмунского⁵⁵, но нам пока не удалось ее достать. Вышел Клюев⁵⁶, это уж и вовсе необходимо достать, умоляем знакомых купить в «Березка-шоп»⁵⁷, но и там он раскупается мгновенно. То ли в самом деле иностранцы так полюбили русскую поэзию, то ли читающий народ успел настропалить их на нужное дело, но всюду стихи исчезают. Купили нам дубликат Ахматовой (второе издание в Большой серии)⁵⁸, которую мы теперь должны менять на Клюева. Состав редколлегии «Библиотеки» порадовал нас своей весомостью, компетентностью, значительностью. Хотя третий том словаря Даля начинается словами «П — любимая согласная русских», но на «П» есть только один Перцов, на «Б» же пять человек: Бажан, Базанов, Болдырев, Бровка, Бушмин. Другие буквы распределены равномернее, на Г — Грибачев, на С — Сурков, Т — Тихонов и Турсунзаде. Но дело, конечно, не в букве, а в духе, люди хорошие, любящие поэзию, да и сами поэты.

Ну, прощаюсь с Вами — кроме гонорара, хочу еще сегодня попытаться договориться с фотографом, чтобы переснял для Вас фотографию Наума Яковлевича⁵⁹ и еще несколько. Вы мило пишете, что меня приятно читать, вот я и расписалась, но Вас тоже очень, очень приятно читать, поэтому надеюсь, что Вы тоже напишете подлиннее (вечные и никогда не оправдывавшиеся надежды тех, кто пишет длинные письма).

Ваша,
НР.

Е. Г. Эткинд — Н. А. Роскиной

9 мая 1978 г.

Милая Наташа,

поздравляю Вас с днем Победы — утром он ознаменовался Вашей голубенькой аэрограммой. Спасибо. Все Ваши поправки собрались вместе, и все будут учтены. Только теперь уж когда доставить мне картинки⁶⁰, и окончательно — как Вы назвали ребенка⁶¹? Помню, что Вы колебались, хватит уж — решитесь. Вы

спрашиваете, ждате ли Вам чего-нибудь⁶² до его рождения; нет, не ждите. Положитесь уж на меня, раз я — за папашу. Правда, мой ребенок весь в родимых пятнах⁶³, но о Вашем я позабочусь тщательнее. Видно, к осени он и родится. А Вы пока живите мирно и держитесь. Вы написали «уничтож(ение) психич(еское)»⁶⁴; да, и в другом месте⁶⁵ — тем более. В большей и худшей степени. Явление всеобщее, убийственно-неизбежное. Само собою происходит. В каждом отдельном случае — свои искажения, свое уродство. Но всегда — уродство. Наш общий друг Н(аум) Я(ковлевич) понимал это, да и я не спорил. Его могу взять из «Немецкого романтизма»⁶⁶ — лучшего нет. Надо бы, впрочем, варианты, — Н(аум)Я(ковлевич) у меня во многих вариантах, но молодого В(асилия) С(еменовича)⁶⁷ нет почти что совсем. Пишу на бегу, только бегло-поздравительное письмо, хотел бы долго и подробно побеседовать с Вами о З(анисках) н(езаговорщика), земляки тут прохладны, а у тех⁶⁸ влияние непропорционально большое. Привет Ирочке.

Ваш,
Е. Э.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

11 мая 1978 г.
Москва

Дорогие!

Пишу Вам, чтобы рассказать приятную новость. Гослитиздат заключает со мной договор на переиздание дневника А. С. Суворина⁶⁹! Ровно десять лет назад я сверяла в архиве выборочно (то, что относится к писателям, преимущественно к Чехову), этот дневник, изданный всего один раз, в 1923 году петербургским журналистом Кричевским⁷⁰, выявила фантастические ошибки, написала об этом статейку в «Вопросах литературы» и подала заявку в мемуарную серию Гослита. Зав. Редакцией сказала мне, чтобы я пришла через пять лет. Я пришла через пять лет, и она (она же! Она несменяема!) сказала мне, чтобы я пришла еще через пять лет. Вот и они прошли, и вдруг сегодня она позвонила мне, чтобы пригласить для заключения договора. Я в полном ошеломлении, так как теперь, как это всегда бывает, мне дается всего один год на все про все, книга поставлена в план выпуска 1980 года. Все другие свои книги, без исключения, я, конечно, должна отложить, ибо это, можно сказать, эпохальное дело, бо-

лее серьезной работы у меня еще не было, и, видимо, не будет. Ну, да это не беда, два года пройдут очень быстро. С парижскими друзьями тоже не увижусь в ближайшее время. Они, впрочем, медлили и сами, но теперь уж пусть и дальше помедлят⁷¹. Надеюсь, что не обидятся, когда Вы им это скажете. Фотографии я уже подготовила, в частности, есть чудные надписи А(нны) А(ндре-евны), позднее непременно пошлю. Очень надеюсь, что именно Вы-то меня поймете как никто, — какая это радость работать по своей специальности. Не просто работать. А что-то ценное делать, что останется.

Вчера мне позвонили из Литфонда и с обычной литфондовской деликатностью велели ехать в Малеевку без промедления. Просила я на март, но вот только теперь они раскачались. Если бы они позвонили сегодня, я бы отказалась, но Ира за вчерашний день оформила отпуск и завтра мы выезжаем. Если бы не это, я бы уже сегодня не вылезала из архива и никуда не поехала бы, пока не кончила бы читать этот каторжный текст, каторжный почерк. Весь остаток дня, после звонка из Гослита, я занималась тем, что отпихивала от себя разные другие работы и разные другие мысли. (Вы не можете себе представить, какой это трудный почерк и как легко его перевернуть!) Вот и письмо Вам пишу. Итак — лелейте моих друзей, но не давайте им пересезжать от Вас!

А вообще-то, конечно — бог его знает, что к лучшему, что к худшему.. Человек предполагает, а бог располагает.. И много еще можно такого же умного сказать!

Обнимаю Вас, простите меня, но ведь ничего страшного? Да? Ведь все равно — штиль?

Сегодня перед Малеевкой сидела в нашей парикмахерской, в соседнем кресле сидел Кот. Бывало, Сашу⁷² очень смешила эта любовь Кота к парикмахерской. Чуть что, а Кот уже в бигудях. Выглядел хорошо, по крайней мере, после сушки. Сашки сняли дачу в Удельном, словив протесты тети Дуси⁷³. Машину не отремонтировали (забыла, писала ли я Вам, что какой-то завстоловой побил им зад), ибо внерегулярные контакты для Сашки невероятно сложны, и он не управляется с механиками и прочими авторами ремонта. В общем, все неплохо. Из-за Малеевки не будем на дне рождения 16 мая⁷⁴.

Надюсь собрать себя после болезней и горестей этой тяжелой зимы. Работа потребует от меня напряжения, которое десять лет назад я вынесла бы много лучше. Хочется, чтобы уж хоть эти два года меня ничем не выводили бы из равновесия — я не имею в виду обычные житейские обстоятельства, необычные тоже.

Пишите. Хотелось бы про всех вас знать поподробнее, вспоминаются девочки⁷⁵ в этой самой Малеевке, мама Симонова за столом⁷⁶, примерка шлемиков из голубого мохера⁷⁷ в уборной — перед столовой, ваш автомобильчик и прочее.

Ваша,
НР

Е. Г. Эткинд — Н. А. Роскиной

27 мая (1978 г.)

Милая Наташа,

Я здорово разрездился в последние недели, вот и не ответил. Сейчас не пишу делового — лишь для подтверждения: дескать приехал. Суворин мне всегда интересен, и дружба Чехова с ним факт феноменальный, — ведь Чехов дружить с кем попало не умел. Для книги очень рекомендую снять неведомую никому (всем?) могилу Суворина в Александро-Невской лавре: интересный памятник, да и вообще пригодится. Она у самого собора, только сзади, в сторону Невы. Конечно, книга его воспоминаний стоит дорого: Вы правы, — на тысячу процентов. Как поется в песне: «Помирать нам рановато», — еще выйдет продолжение⁷⁸.

Продается ли в Париже Клюев — не знаю, еще не был в «Globe» (здесь этот магазин — не без остроумия — читают как написано: Жлоб). На днях схожу и если куплю, то и для Вас. Однако преувеличивать достоинства здешней (франко-советской) книготорговли не надо. Срочности нет? Вот и я так считаю, не опоздаем. Конец мая, Париж «в золотых тельцах...»⁷⁹ и бешено, в 12 баллов цветут каштаны. А сирень! Немножко уже вянет, но сколько ее, и как пахнет! «Разгневанно цветут каштаны» — это слово точное, оно относится ко всему, и это следствие бессилия, но может быть каштаны испытаны на устойчивость, как сказано, «Бывали хуже времена...»⁸⁰

Всегда Ваш,
Е. Э.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

6 декабря 1978 г.

Дорогие! Очень давно не писала Вам, отчасти потому, что последнее Ваше письмо было такое, что мол, пишу в спешке, толь-

ко чтобы сообщить о получении письма, и я ждала чего-то более подробного; отчасти потому, что все не было никакого материала для нового письма! С Сувориным получилась форменная бредятина. Я включилась в работу как сумасшедшая, между тем уже через две недели стало ясно, что работать далеко не обязательно, так как директор исключил книгу из плана выпуска 1980 года. Парадокс в том, что она осталась в плане редакционной подготовки 79 года, поэтому я все время ощущала себя на короткой привязи, все время шли какие-то неопределенные разговоры с редакцией и все плыло в тумане, а ясными были только страницы дневника, которые стояли перед глазами и постепенно расшифровывались и все легче и легче читались. Живу я недалеко от ЦГА-ЛИ, ехать всего 20—25 минут до метро «Водный стадион», и вот я уезжала каждый день туда — и до закрытия архива. Так я прожила полгода, нашла невероятно много нового, нашла совершенно неизвестные тетради дневника с записями о Толстом, Островском, безумно интересные политические записи, раскрыла историю самого дневника, который оказался разрозненным, нашла завешание и разные документы вскрытия сейфа Суворина, из которых выяснилась история писем Суворина к Чехову (которые считались им уничтоженными, а он их вовсе не уничтожил, а хранил вместе с драгоценностями) и т. д. и т. д. С таким же безумным увлечением могла бы часами рассказывать Вам, как я читала то или иное слово, и как оно сначала казалось мне, к примеру, французским, а потом оказывалось русским. «Pasposassio — изумительно» (речь идет о ресторане). Пристаю к Але Яковлевне⁸¹: что это за блюдо. Она не знает, и не говорит, честная, что слышала нечто подобное, но забыла. И через неделю, глядя снова на это чудовищно мелко и неразборчиво написанное место, вижу: «Разрезают изумительно». (Вообще там про Ваш Париж написано довольно интересненько). Она же объяснила мне такие слова как *resage* (места на скачках около раздевалки для жокеев, самые дешевые), знакомые ей потому лишь, что Савич обожал скачки. Полгода я прожила в страшном нервном и умственном напряжении, но вот теперь оно спало, так как сорок листов дневника прочитаны (в архиве переписывала, по ночам подпечатывала, наутро считывала в архиве), осталась только одна тетрадь, которую мне должны прислать в архив из ленинградской Публички — делается это по спецпочте и с кучей спецразрешений, поэтому до сих пор она не дошла, прочее же готово. И вот — в издательстве прежняя неизвестность! Я все уговаривала себя, что комментарии делать не буду, пока не заключат договор, сделаю только

текст, но делать текст было немислимо, не понимая его, поэтому пришлось сделать массу вещей для комментария, сделать указатель имен, чтобы помнить, кто где и в какой связи упомянут и кто он такой, словом, куча работы провернута, с договором же дело на том же месте. Теперь меня (совершенно против правил) заставляют дать текст для чтения заместителю главного редактора Рынкевичу. Не хочется, но ясно, что если не дать, то и ничего, никто не заплачет и это единственный путь к успеху, тоже неверный, но и другого нет.

Были и у Иры за это время надежды перейти на другую работу, но закономерно рухнули. Чувствует она себя, к сожалению, не лучше, а хуже, прибавляются новые болезни, как развитие и следствие старых, но и тут, как с Сувориным, лечиться нечем. Да, по части Суворина знаете, кто меня поддерживает: Вам легко догадаться — догадались? — Палиевский⁸². Он обещал мне сказать директору издательства, что ИМЛИ за меня и поддерживает мою работу. Посмотрим.

Вы, как мои болельщики, наверно читали и дальше дискуссию о грамотности. Были чудовишные статьи, например, академика Педнаук Текучева⁸³, зато ему очень симпатично и умно ответил Илья Фoniaков⁸⁴. А вот сегодня тоже очень любопытный отклик: космонавт пишет о том, что ему очень приятно, что такую живую заинтересованность в русском языке проявляют люди разных национальностей. Я думаю, что он имеет в виду Нору Галь⁸⁵. О национальностях сегодня тоже очень интересно прочитала в очерке Овчаренко в «Новом мире»⁸⁶, прочитайте непременно: у нас национальность не затушевывается, но и не выпячивается, вот еврей Эренбург писал о России и Франции. Вообще очень хорошо сформулировано, толково и дельно, непременно изучите. Кстати, на стр. 245 там упоминается мой американский кузен Александр Рабинович⁸⁷, тоже весьма любопытно, как они нашли с Овчаренко общий язык, что моему дяде не удалось бы, конечно.

В общем, я жила это время очень счастливо, видимо, я нахожусь в том возрасте, когда женщина должна очень много работать, прочее отходит. Творчество, видимо, увлекает тогда, когда на решаемом вопросе решаются все вопросы, волнующие человека. Вот и сейчас так, на Суворине у меня скрестилось множество моих интересов: и интерес к Чехову, и проблемы русской жизни и политики на рубеже веков, и проблемы, интересующие Овчаренко и Палиевского, наших наиболее видных сейчас ученых⁸⁸, имеющих наибольшее влияние на умы. И множество дру-

гих еще, феномен В. В. Розанова⁸⁹, в частности. Никогда я так интенсивно не читала по этой эпохе и жалею о потерянном в этом смысле времени.

Ну, дневник Суворина не пропадет. Если не в Гослите и не в 80 году, то все же его когда-нибудь издадут.

Очень надеюсь получить от Вас письмецо подлиннее, ибо письмо это радость. Однажды я получила письмецо от Берковского, в котором он называл меня змеей. Я послала ему такой ответ:

Что такое есть Берковский?
 Над землей парящий дух,
 Ум чертовский, нюх бесовский,
 Ощущенье, зренья, слух!
 Что такое есть Наташа?
 Ну, Наташа — это я.
 Всем известно, что Наташа
 Есть очковая змея.
 Что такое есть награда
 За стишки ее и mots?
 Похвала из Ленинграда,
 От Берковского письмо!

Обнимаю,
 ИР.

Е. Г. Эткинд — Н. А. Роскиной

31 декабря 1978 г.

Милая Наташа,

Посмотрите на дату. Посмотрели? Бывает ли письмо более высокой ценности? Так вот. Желая Вам в наступающем — довести до конца Вашу интереснейшую работу с дневником Суворина. Все, что Вы написали, — захватывающе. И ваше размышление о Палиевском и В. В. Розанове тем более. Здесь они обладают особым воздействием на умы и инстинкты. Как бы я хотел прочесть расшифрованный Вами дневник! Может, письма к Чехову Вы тоже нашли? И тайна этой дружбы проясняется? Поддержка у Вас могучая, только не забывайте, как опасно обедать с чертом: надо иметь длинную ложку⁹⁰. У меня с этим чертом⁹¹ здесь было столкновение⁹², — слышали? Если нет, спросите у С. Макашина⁹³, он свидетель. Все остановлено⁹⁴ и ждет распоряжений, пока возможности не утрачены, пока — навсегда ли? Что до меня, то я кончаю французского Пушкина, он будет почти полный (поэзия, другие тома вышли раньше) и, как мне кажется, хороший

(во всяком случае — впервые). Вышла «Материя стиха»⁹⁵ — прислать? Могу, коли можно. Принята (после 2-х лет неподвижности) к изданию большая книга о французских переводах поэзии («Un art en crise»), в наступающем — выйдет (надеюсь). Саша наверно знает, как и что — повидались⁹⁶. От меня ей нежный привет, и, конечно, Але Я(ковлевне). И Сашиной семье — всей. Повесть в «Н. М.»⁹⁷ здесь все читали с горячим одобрением и радовались хоть частичному возрождению Н. М. Все, что Вы написали об Ов(чаренко), в высшей степени важно, и через Вашего героя⁹⁸ смотрится. Наверное Вы как никто — сможете установить традиции. Неужели в самом деле О. и П. имеют наибольшее «влияние на умы»? На чьи? И на умы ли? Конечно, С. не пропадет⁹⁹, хоть не тот резонанс будет: здесь к нему приставлен плюс. А нашего брата — инакомыслящих — маловато. Мы везде бьемся как мухи об стекло.

Всегда Ваш, — в 1979 тоже.

(Е. Г. Эткинд).

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

14 января 1979 г.

Милые и дорогие — Е! (по-французски было бы — es)! Много приятных Е! Получила новогоднее письмецо с красивой маркой и вижу, до чего же я расхвасталась в своем письме, — так, что даже создала впечатление, что я уже нашла письма Суворина к Чехову. Если бы я нашла их, то это и в самом деле было бы событием крупного масштаба, но пока я их не нашла, а нашла только доказательства того, что Суворин их не уничтожил, а хранил в своем сейфе в Волжско-Камском банке, и там они и лежали до национализации банков, а куда делись потом — неизвестно. Но и это тоже меняет до известной степени историческую картину, поэтому даже и это открытие довольно значительно, по нашим, конечно, понятиям. Нобелевку, конечно, за такое не дают, но все же можно потешиться. Пока, увы, я только все рассказываю, напечатать пока ничего еще не удалось. Казалось бы, за такой материал все органы литературной печати должны схватиться, но — нет. Вот, кажется, «Наука и жизнь» обещает, но пока еще не ушло в набор. Между прочим суворинские детки — три сына — все умерли в Париже, в течение трех лет, перед войной. Если вдруг что услышите — напишите. Правда, архив одного из них, Михаи-

ла, сейчас у нас, и никаких остатков дневника или же писем отца в нем нет, но все это могло лежать у Алексея, как старшего, а может и у Бориса. Бориса дочь вышла во Франции за какого-то графа — вдруг Вы и познакомитесь неожиданно с графьями.

Рукопись дневника на днях пойдет от меня на рецензию к Макашину. Мне лично ничего он о Вас не рассказывал, может быть потому, что я его забила разговорами о Суворине, но в Литнаследстве и в Гослите он провел беседы о своей поездке, в обеих беседах главную роль играло то внимание, которое наш посол оказал ему и Таисии Михайловне¹⁰⁰, все прочее также было рассказано в соответствующих тонах. Старость не радость, плюс чиновничество у него всегда было чрезвычайно высоко развито. Ну, бог с ним. Что же касается Палиевского, то он сдержал свое обещание, позвонил в Гослитиздат, в дирекцию, и сказал, что во-первых, он от имени института поддерживает издание Суворина, а во-вторых, он им советует заключить договор со мной и на комментарии тоже, что лучше меня они никого не найдут, я давно и серьезно работаю в этой области и проч. Это мне сообщили в Гослитиздате, добавив, что они собираются поступить по его совету и в течение месяца обещают заключить договор. Ну, пока подождем, когда уж договор вернут с подписью директора, тогда и обрадуемся. Во всяком случае это пошла настоящая литературная борьба, которой я раньше никогда не жила и в которую теперь втянулась не без известного азарта. Вам же эта борьба привычна, и если ее приходится вести и теперь, то тренаж, наверное, помогает. Вы спрашиваете, можно ли прислать мне книгу¹⁰¹. Прислать-то можно, да вот получить-то вряд ли удастся! Поэтому не шлите, просто жалко экземпляра, пропадет. Посылочки доходят, а вот с книгами — беда, сколько уж было у нас таких огорчений. Ира нуждается очень в английских книжках, и для удовольствия чтения, и для попытки перевести что-то, и бог знает, сколько пропало.

У меня дурацкая манера писать на машинке, но не оставлять себе копии, поэтому сейчас уже не соображаю, что я писала о влиянии, которое имеют на умы Палиевский и Овчаренко, может быть, я что-то съезопничала неудачно. Палиевский при Сучкове¹⁰² в институте не продвигался, Сучков был человек совершенно другого направления, он скорее готов был лизаться со старыми ортодоксами из Союза писателей, чем дать ход ученому такого рода, как Палиевский. Теперь же он получил невероятное повышение, будучи кандидатом и беспартийным, он фактически возглавил институт. Как же это может не иметь влияния на умы?

Например, в Малеевке осенью я сидела за одним столом с Фридендером¹⁰³, и — за это я благодарна ему — именно он убедил меня обратиться за поддержкой к Палиевскому, говоря, что он давно следит за моей работой и интересуется ею. Когда я побывала у Палиевского (это был акт отчаяния, так как Гослит тянул и все готово было сорваться, Макашин же уже далеко не так авторитетен для Гослита, как это было раньше — опять же при предыдущей дирекции), то сочла вежливым написать Фридендеру, что я воспользовалась его советом и надеюсь на успех. На это Фридендер мне написал, что он счастлив, что я переменяла свое мнение о его друге (хотя о мнении речь не шла), что его друг талантлив безмерно и если кто-то о нем плохо говорит, то все это клевета, идущая от чистой зависти. Ну, разумеется, это я Вам пишу сугубо между нами, ибо компрометировать Фридендера в обмен на его искренний совет не хочу. Палиевский не приспособленец. Он человек с весьма определенными убеждениями, прагматик, но не приспособленец, и эти убеждения для многих привлекательны, они были таковыми начиная еще с пореформенных времен. На Западе, сколько я знаю, это тоже так. Приобретая более или менее благородные формы, доходя в своих крайних формах до жутких вещей, эти убеждения более чем живучи — и все более живучи... есть друзья, которые меня попрекают сейчас, что я бросила одно ради другого, повернулась лицом к Суворину и тем стала мила черту¹⁰⁴. Они советуют мне не держать длинную ложку, а просто не садиться за стол, но что делать? Научные интересы бывают весьма сильны в человеке и часто побеждают другие интересы и желания, заглушают даже нравственные мотивы. Я сознаю это. Но вставая утром, я со страстью мчусь в библиотеку или в архив, меня тяготит любая задержка вроде необходимости убрать постель, — возможно, что эта страсть подхлестнута тем, что ради нее я от чего-то дорогого мне отказалась¹⁰⁵. Увы. Вы пишете — пока. Я оценила значение этого пока. Ну, подождем пока еще хоть немного.

В этом году и у меня тоже кое-что выйдет. Я подготовила том писем Чехова 1899 года целиком — выйдет в академическом издании, получу тысячи три, тоже на дороге не валяются. Еще в томе публицистики выйдет подготовленное мною «Врачебное дело» — рукопись первой, незащищенной диссертации Чехова, тоже кое-что. В общем это все же самостоятельность. Этим не бросаются, как я теперь поняла.

Если Вы следите за «Литературной газетой», то, наверное, увидели, как они со мной поступили. По-хамски. На круглый стол

был приглашен с большим уважением Успенский¹⁰⁶, которого буквально приволокли из Ленинграда, после чего он и помер, и такие умницы, как Шуртаков и Субботин¹⁰⁷, вообще не имеющие отношения ни к чему, кроме русского языка в узком смысле слова. Мои слова «постыдное зло безграмотности» они дали как бы от газеты, то есть Ашукины¹⁰⁸ могли бы вставить меня в «Крылатые слова», меня же они дали с банальной цитатой и то, видимо, вставили меня только потому, что мое негодование до них докатилось. Вот так легко может кончиться с любым делом, если не прибегать к помощи Палиевского, ибо все держится на волоске. Что же касается Овчаренко, то этот тип может быть объединен с Палиевским лишь по признаку «анти»¹⁰⁹, в остальном он все же абсолютно другой типаж. Он феноменальный лгун и хвостун, настоящий Хлестаков. Его, кстати, ИМЛИ выдвигал недавно в член-коры, и единственный человек, выступил против: Бялик¹¹⁰. И решительно выступил, заявил, что никогда не считал его ученым и не может считать. У Овчаренко есть какая-то власть, но, конечно, о влиянии на умы я говорила в шутку. Не имея собственного ума, трудно влиять на чужие умы. У Палиевского же с умом дело обстоит очень хорошо. Это, а также талант, кстати, видно и на его лучшей работе — на «Хаджи-Мурате»¹¹¹, которая, действительно, теоретична в лучшем смысле слова и не несет никаких признаков посторонних делу вещей.

Насчет повести «Кафедра»¹¹² я не согласна с Вами. Я чрезвычайно люблю Кота за необыкновенные душевные качества, но я довольно скромно оцениваю литературные достоинства его сочинений. Ну, в чем признаки хотя бы частичного подъема «Н(ового) м(ира)» применительно к этой вещи? Речь идет об ученых, это нам приятно, допустим, фигурирует семья, о которой мы догадываемся, что это за семья¹¹³, это тоже приятно. Но и все. И более ничего. Когда в Доме Ученых было обсуждение этой вещи, туда рвались толпы народа, казалось, разнесут в клочья и Кота, и администрацию; но далее не было сказано ни единого интересного слова, и обсуждение было чисто снотворное. И это мне вполне понятно. И в повести ничего существенного не сказано, и по поводу нее сказать нечего. Мне кажется, это давно уже пройденный этап литературы, пройденный, скажем, с Верой Пановой¹¹⁴, которую было, конечно, очень приятно читать, но... не более того. Если Вы не согласны со мной и Вам не лень писать, напишите свое мнение поподробнее. Мне интересно это.

На днях был у меня в гостях такой очаровашка как Жданов В. В.¹¹⁵ Завидуете мне? Очень мило и долго болтали. Ира сделала

крем-карамель, который потряс его. Аля Яковлевна дала мне для этого приема килограмм мяса, которое я тушила с моченой брусникой и вином. В общем, удалось. Как хозяйка, я была также удовлетворена тем впечатлением, которое произвела на него моя коллекция старинных фарфоровых и фаянсовых дощечек для сыра, висящая у меня над кафелем в кухне. Есть среди них и современные, одну привез мне когда-то покойный Саша Г. из Таллина. Как вспомнила, так сердце заныло, заныло... Так вот, В. В. рассказывал, что из «Нового мира» уходит Мстислав Козьмин¹¹⁶ и будет главным редактором «Вопросов литературы», Озеров Виталий¹¹⁷ же будет, видимо, в Союзе вместо Маркова¹¹⁸, который будет теперь как раньше Федин был¹¹⁹. «Вопросы литературы», конечно станет совсем другим журналом. Я хорошо знала отца Мстислава — Бориса Павловича¹²⁰, который был крупным историком и крупным человеком. Менее подходящего ему сына трудно себе вообразить.

Рае дали путевку в Дубулты и они слевой туда поехали. В общем, полно парадоксов¹²¹. Я читала, что пишут о Леве¹²², но ему не дала, он ужасно раним, огорчается, тем более, что я не могла бы ему сказать, что они дураки, неправы, а он умный, прав. Увы, он усвоил себе манеру давать интервью по всем вопросам, в частности, по тем, в которых он некомпетентен. Вот кстати, о Палиевском — люди, которые оппонировали Леве, хотя и не приемлемы для Палиевского по другим признакам, однако, в определенном плане это его адепты, и вот они и процветают у Никиты Алексеевича¹²³. Жаль. Это меня огорчило. Компетентность и научная оснащенность высокая, а вот тем не менее правды маловато, крен явный, грубый. Это в московской Руси-то не было ксенофобии?¹²⁴ Полно! Слова такого не было, но сама-то она, матушка, была дай бог еще какая. Другое дело, что и Англия времен Шекспира не очень-то поощряла международные связи, и в Китае не поощряли их... Всюду знали, что пытать и вешать надо в первую очередь иностранца. Ну, да эта тема слишком большая, чтобы ее касаться мне, — не хочу уподобляться Леве и буду говорить только о Чехове и Суворине, плюс Овчаренко и Палиевский. Московской же Руси, говорю откровенно, не знаю.

Обнимаю Вас,

Ваша,

НР.

Новогоднее (от 31-го) письмо пришло в старый Новый год, 13-го.

Е. Г. Эткинд — Н. А. Роскиной

10 февраля 1979 г.

Милая Наташа, Вы меня избаловали необыкновенно интересными письмами — продолжайте, пожалуйста. Ваши суворинские изыскания полны напряженной сюжетности, а когда выйдет том, ничего видно не будет. Ну, лишь бы вышел. Некоторые меры по розыску нужных Вам графят¹²⁵ предприняты, пока — безрезультатно. П. П(алиевский) меня восхищает отношением к Вашей работе, это ему зачтется при судебном разбирательстве, все-таки адвокату будет что сказать в его защиту. С. М(акашин) — ну, что с него, старика, возьмешь? Я его знал, когда он был бодрее: у французов такие называются «га-га»* (по нашему «кххх»). Все, что Вы рассказываете, и страшно («...и любви к нему»¹²⁶), и смешно («... зачем Вы это сделали?»). Вы бы видели, Наташа, как эти трое «га-га» (Зильбер(штейн)], С. М(акашин) и Бурс(ов)¹²⁷) на подгибающихся ногах плелись вслед за П. П(алиевским) на глазах у зала, выражая протест против того, кто зловредно выразил протест¹²⁸ — к выходу, ничуть не стремясь ничего продемонстрировать и стыдясь своего холуйства — в 70-то лет! Квартира ждет, владелец хорошо относится к будущим жильцам¹²⁹, и пока не отказывается от них. Но Вы держите нас в курсе дела. Может быть Вам мой друг позвонит — примите его и побеседуйте, не найдете ли промежуточных решений? Пожалуйста, скажите Але Я(ковлевне), что я ее — как всегда — нежно люблю и память об О. Г. трепетно почитаю. И Сашкам (и Коту) самый-самый привет от нас.

Я продолжаю все те же занятия: к концу февраля совсем кончу Пушкина (19 II будет последний вечер новых переводов стихов и прозы — в Институте славяноведения), и мы — с той же группой — приступим к полному Лермонтову, это опять же дело года на два. Однако в то же время я издам отдельно «Медный всадник» — 4 или 5 переводов с русским текстом слева, статьей, и может быть — приложением — статьей из Н. М. «Два лика»¹³⁰ (помните такую, Дан(иила) Гр(анина)). Не знаю, как на это посмотрит автор — надеюсь положительно¹³¹. Издается еще одна книжка, пишется другая (о манипуляции).

Обнимаю Вас и всегда жду Ваших писем.

Преданный Вам,

Е.

* Французское «gaga» — «выживший из ума».

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

13 октября 1979 г.

Дорогие Е!

Не писала по трем причинам.

1. Мне помнилось, что последним было мое письмо.

2. Слишком много хотелось написать.

3. Писать на машинке мне трудно, да и врач не велит, а «от руки» я отвыкла.

Недавно меня смотрел хирург, который меня оперировал, и сказал, что все идеально, лучше быть не может. Доказательство, что это правда: он отменил то лечение, которое сам сулил начать с осени, отложил и всякие дополнительные исследования (сканирование, рентген и т. д.).

В памяти самым ужасным остались первые минуты. Мне приснился сон — распухшая розовая подмышка (как бы цветной кадр) и мягкий печальный мужской голос, который предостерегающе констатирует: «Это рак груди». Еще полупроснувшись, ощупала себя и легко обнаружила опухоль. Всплыли обрывки медицинских знаний: «Твердая, ограниченная...» и сразу страшная ясность: «Оно». Ясно, что жизнь переворачивается, все планы побоку, больница, операция. Я позвонила Нюне Руниной¹³², кот(орая) дружит с литфондовской онкологиней Бертой Горелик (пишу, думая, что и вы ее знаете — по Коктебелю¹³³), она договорилась с ней. Забежала к Але Як(овлевне) — она тоже пощупала и стала серая. И все же в этот день я поехала в архив и еще сидела над дневником Суворина. А в пять часов уже было подтверждение Берты и начался перезвон — куда ложиться, облучаться до или после, у кого оперироваться и проч. Потом же возникла привычка к болезни и лечению и уже не было (у меня) таких волнений. Сейчас я выписана после 6 мес[ячного] бюллетеня, который благородно оплатил Литературный фонд СССР. (Благородство в том, что вообще оплачивается 4 мес(яца)) У меня был выбит максимум, кот(орый) теперь 10 р(ублей) в день. Так что получила кучу денег, и это меня очень веселило. Первые дни после выписки работать не могла — после 20—30 минут все плыло. Но так как идет корректура моего тома писем Чехова, то делать нечего, надо было заставить себя втянуться. Сейчас уже работаю. Этот том — 1899 год, переговоры с Марксом¹³⁴ и подготовка марксовского издания. Немца бранят на все корки — мало Чехову заплатил. Но ведь на эти деньги построена дача, которую потом и вовсе отобрали, да и авторские вообще пе-

рестали Марии Павловне¹³⁵ платить. Кстати, Дом ученых пригласил меня повторить у них доклад, кот(орый) я делала в чеховском музее. Там я расскажу немножко иначе, о том, что такое вообще чеховский архив — поподробнее. И вот, в частности пример.

Как раз когда я заболела, директор Гослита заявил, что издавать Суворина не будет. Он посоветовался с Бердниковым¹³⁶ и тот его направил: «Этого мерзавца, антисемита, издавать!» Я думаю — ну, все совпало, тут и рак, тут и Суворина не издавать, ладно, ведь все равно работать не могу. В августе была в Малеевке и общалась с умными деловыми мужчинами, обычно находящимися вне моего круга. Они советовали писать, добиваться формы оплаты моего труда. Я написала. А какая есть форма? Только договор. И вот звонят мне из Госкомиздата, что возвращают в план, заключают договор, платят аванс 25 %. Пока еще всего этого своими глазами не видела. Посмотрим. Ну, словом, известные и уже описанные перипетии. Но мне по-прежнему дико хочется работать и опять возникло прежнее ощущение: если за день работа не продвинулась, то к вечеру неудовлетворенность.

Сашки и Кот в порядке, с Котом вместе были в Малеевке, дружили. Сашка возил нас туда и вместе с Котом привез обратно. Теперь покупает нам картошку на рынке. Сашка-девочка поражена моим отношением к раку, ибо там принято все скрывать до упора. Я же бесилась, когда мне пытались пудрить мозги, вообще выступаю против лживости онкологии и мифа рака. Этот миф из начала века, когда лечить вовсе не умели, и когда другие болезни, вроде инфаркта, меньше косили людей. А что теперь — пока я болела, сколько наших близких умерло!

Можете себе представить, как волнуют меня текстологические изыскания¹³⁷, о которых Раиса Дав(ыдовна) мне уже рассказывала. И как я была бы счастлива этой работе отдаться. Но если интересно мое мнение, то вот оно. Текстолог не должен подавлять свой вкус, свое понимание рода писателя, а также его регресса, добровольного или же по принуждению или самопринуждению. Издание — это не приговор окончательный и обжалованию не подлежащий. Всегда можно сделать еще одно издание, где воля автора и соответственно текстологическая интерпретация будут поняты иначе; дурацкий этот термин «канонический текст», по сути дела установление такого текста означает лишь, что наука в этой области остановилась.

Любое серьезное, обоснованное текстологическое решение в какой-то мере правомерно, но я, повторяю, всегда за избрание художественно более сильного варианта. Вот Татьяна Григ(орь-

евна) Цявловская¹³⁸: пол-листа, бывало, накатает, а результат? — докажет, что якобы эти три слова были написаны Пушкиным. позже и поэтому надо печатать их. Хотя с точки зрения вкуса это чудовишно и остается надеяться, что найдется новая рукопись, где эти слова были позже вычеркнуты. Опубликовать лучшую редакцию — можно ли лучше исполнить волю автора? А потом будут еще, будут и новые текстологи, и новые издания. В это я верю. В общем — бред, что я занимаюсь не этим, а Сувориным! Но что делать — жизнь и судьба.

Ира, как ни парадоксально, получила повышение по службе и стала называться «старший» и получать на 70 р(ублей) больше. В общем, материально мы сейчас живем (по московским понятиям) хорошо. Но, оказывается, это не имеет никакого значения! Все тут живут одинаково (во всяком случае на Аэропорте), все ходят в одну поликлинику¹³⁹ и получают одни и те же писательские заказы¹⁴⁰ с венгерской курицей. (Если попадается французская, то она черт знает какая, и где это такую сволочь разводят?) А если в заказе икра, то тоже никто — из-за дороговизны — не отказывается.

У Кота должен в «Совписе» выйти однотомник — «Маленький Гарусов», «Хозяйка», «Кафедра». О «На испытаниях», конечно, думать было нечего.¹⁴¹ Сашка-мальчик скоро будет защищать докторскую (весной он защищал дипломную работу в Университете марксизма-ленинизма). Девочка, видимо, не станет кандидатом для технич(еских) наук — нет рационализации, для физ-маг — слишком техническая; а на филол(огических) наук, — то тогда надо на филфаке, а это и вовсе нереально. Но она не карьеристка. Наташа Киселева¹⁴² завалилась на конкурсе в пед(агогический) ин(ститут) (хотя школа ходатайствовала, т. к. мама погибла при исполнении служебных обязанностей) и работает в школе лаборантом. 70 р(ублей). При этом она вполне довольна (...)

На Олимпиаду¹⁴³ — не приедете ли?

Скорее, скорее обещанное многословное (без негативного оттенка!) письмо!!! Обнимаю.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

22 октября 1979 г.

Дорогие!

Ответила на Ваше письмо, а вчера узнала, что Вам бы уже носить свои вещички самим. Носите!¹⁴⁴ Ведь сколько такие кофты могут лежать, кончается тем, что они уже выходят из моды и ста-

новятся никому не нужны. А это все же обидно... Так что делайте на свой вкус, а уж там что бог даст. Та из них, которая наиболее длинная, по-моему, давно могла бы быть изношена в силу ее нейтральности¹⁴⁵. К тому же подобных вещей становится много, две другие, конечно, более индивидуальные, четвертая вообще, собственно говоря, домашняя курточка¹⁴⁶, но если она вам нравится, то я рада, носите.

Обнимаю.

НР

Е. Г. Эткинд — Н. А. Роскиной

29 октября 1979 г.

Милая Наташа, мы почти одновременно получили оба ваши письма, и — особенно коротенькое нас взволновало. Ну, конечно, Вы правы — одежда стареет и выходит из моды, но ведь жалко Алексея Сергеевича — а то, может быть, и удастся с ним повстречаться¹⁴⁷. Он человек общительный, и здесь к нему относятся (отнесутся) с гораздо большей симпатией, чем к нам. Вчера кончилась конференция о Н. Н. Евреинове¹⁴⁸, на которую не приехали те, кого ждали, но зато была двоичнофамильная дама¹⁴⁹, в суровой речи объяснившая нам, что балабос¹⁵⁰ был добрейшей души человек и что «невнимание к его памяти — преступление». Из чего я многое понял насчет будущего¹⁵¹. Картинки вы любите? Я люблю, у меня их много — целая коллекция¹⁵². Когда-нибудь покажу. Да Вы их увидите и в Москве, я пришлю как-нибудь. Свою текстологическую деятельность¹⁵³ продолжаю, и Вы правы: принцип, усвоенный современной текстологической наукой — руководствоваться лишь последней волей писателя — неприложим, ибо это самая «последняя воля» выражается не всегда прямо. Не знаю, повезет ли большому человеку, он слишком большой и даже длинный¹⁵⁴, тут народ легкий, не терпит двухсерийных вещей — даже... На днях видел я Роберта Юнга¹⁵⁵, беседовал с ним о Резерфорде и его немецких перспективах¹⁵⁶, он просил кланяться по назначению и проявил инициативу содействия. Так что ему (им) и от меня (нас) нежный привет. Але Як(овлевне) тоже. Ну, держитесь, Ваше письмо удивительно мужественное и бодрое, так и следует — тем более, что и случай, как я понимаю, благополучный, да и страшное позади. Да, есть и нейтральное, и домашнее — особенно послед-

няя курточка; но все же берегите дорогого А(лексея) С(ергеевича), хорошо?

Надо ли медикаментов? Все и все в Вашем распоряжении. Если срочно, позвоните. Это проще простого, даже недорого.

Всегда преданный,

Е.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

30 октября 1979 г.

Дорогой Ефим Григорьевич, я уже написала Вам, что даю карт бланш¹⁵⁷. «Время и мы» тут всем нам нравится, это журнал хороший, достойный, в частности, мне очень нравится, как там работает Наташа Рубинштейн¹⁵⁸, передайте ей, пожалуйста, мой привет. Я тогда послала Вам «аттанде» не только в связи с Сувориным, но и в связи с тем, что было ощущение не слишком большой заинтересованности со стороны издателя, ну, думаю, тогда я тоже не буду спешить. А если я нужна, то действуйте. Раньше я также думала, что отдельная книжечка и литературно интереснее, и безопаснее, чем публикация в журнале, ну, а теперь думаю, что Бог его знает, как лучше, всех аспектов не предусмотреть. Посылаю Вам для этого журнала рассказ, автор которого выбрал себе псевдоним Надежда Рабинович. Нам с Котом очень нравится то, что эта женщина пишет, если понравится и в журнале, то при случае пошлем еще¹⁵⁹.

Когда-то я писала Вам, что Женя Терновский мне что-то послал, но я ничего не получила. Дело в том, что перед отъездом он взял у меня 150 рублей, для нас не такая уж маленькая сумма, обещал послать книг или каких-нибудь вещей, но, видимо, просто наврал, что послал: этот вывод я делаю из того, что он, оказывается, так поступает обычно, и о нем ходит масса всяческих рассказиков, все примерно того же направления, что спер книгу, не вернул деньги и пр[очее]. А выступает с богоугодными речами и нравоучениями. Впрочем, я уже слышала, что в Париже с ним никто не встречается, раскусили.

Надеюсь, что Вы имеете возможность прислать мне касающиеся меня номера журнала. Очень надеюсь на то, что и роман Гроссмана мне достанется!

Ваша,

НР.

Е. Г. Эткинд — Н. А. Роскиной

15 ноября 1979 г.

Милая Наташа,

Спасибо за ноты¹⁶⁰, они пригодятся, я уже отдал. Ваше решение для меня важно, и я им воспользуюсь для одной из кофточек (Меркнут знаки...)¹⁶¹. НР привет я охотно передам, но, увы, в той лавке¹⁶² ее нет, ушла и давно — открыла свое дело¹⁶³, и, тоже увы, прогорает. Насчет Ж — что делать, чем богоугоднее, тем жуликоватее, тут многие так. Он уехал в город, где не сказал ни единого слова¹⁶⁴, и там профессорствует. Да-да, и тискает толстые повествования, не отличая дарований, но тут это не слишком важно: кто их разберет, качество вещь загадочная. В текстах я, наконец, окончательно разобрался, это мне стоило многих месяцев, трудная задача, но теперь трудности позади, и хочу думать, что Вы скоро познакомитесь с результатами¹⁶⁵. А ведь и верно — собор¹⁶⁶.

Как Ваше здоровье? Вполне ли Вы отдышались? Отдохнули ли где-нибудь как следует? Пишите, — Вы раньше нам подробнее рассказывали про поиски и находки, теперь перестали. И расскажите, не надо ли каких склянок¹⁶⁷, только свистните — пришлем. Может быть, тете Але что-нибудь? Или Д. Д.? Ноты нам нужны, принимаем. Зря Вы больше не вяжете кофточек, у Вас это хорошо получается, так никто не умеет, они скромные, изящные, но в то же время, нередко — оригинальные. Есть побогаче, подлиннее, а вот таких нет.

Привет Вам и всей Вашей семье.

Е.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

20 ноября 1979 г.

Дорогие!

Спасибо за письмо (якобы многословное). Я-то как раз люблю длинные, двухсерийные. Недавно мы с Ирой говорили о том, что мы вообще любим читать не рассказы, а романы. Говорили в связи с засильем рассказа в мировой литературе. А графоманы, которых я рецензирую¹⁶⁸, еще так любят «этюды», «маленькие рассказы», «короткие новеллы» и т. д. и т. д. И вся новелла

в том, гулял, веточку сорвал, травиночку понюхал, словом, восхищался природой.

Конечно, Алексей Сергеевич¹⁶⁹ нуждается в покое. Это верно. Может быть, стоит оберечь его. Но ведь дело долгое: он в плане редподготовки 1981 года, и чтобы он попал в план выпуска 1982 г., я должна сдать его во время, а будут ли у меня силы, я не знаю, пока их не хватает. Тексты-то у меня почти готовы, а комментарии в зачаточном виде. Договор пока в предварительной форме катается по кабинетам, но, похоже, заключат. Кстати, в Малеевке были Саша Нинов¹⁷⁰ и Лиля Николаева¹⁷¹; они-то меня и надоумили, как добиваться. Вообще проводили с ними время в приятных беседах, вспоминая друзей. Алексей Сергеевич, действительно, стал популярен сверх всякой меры, и Саша Нинов не без остроумия заметил: «А чем он не подходит, кроме либеральных грехов своей молодости?». В частности, неделю назад «Книжное обозрение» опубликовало интервью Виктора Розова¹⁷², где говорится: «Ни один учебник истории, ни одна кинокартина, пьеса или роман не дали мне такого точного воспроизведения жизни русского общества перед революцией, а главное, ощущения необходимости этой революции», — как «Дневник» Суворина. Видали? Все думали, что это я инспирировала, но ничего подобного. Просто он достал у букиниста эту книгу¹⁷³.

Очень интересно мне, что Вы знакомы с Юнгом, он ведь о моем дяде, Юджине Рабиновиче, писал — у нас вышла его книга «Ярче тысячи солнц», которую, впрочем, дядя не слишком одобрил.

Поняли все, кроме двойнофамильной¹⁷⁴, нахваливавшей ба-лабоса; не Розанова-Кругликова¹⁷⁵ же этим занялась? Мы все в недоумении.

Аэропорт живет и благоденствует; только что встретила во дворе львов, Алю Як(овлевну) угощала своими пельменями, к Даниным забежала; у Сашек, к сожалению, огорчение, Маня Вентцель, племянница, упала с дерева, сломала бедро, лежит в Филатовской б(ольни)це, и вся семья этим занята, кроме Сашки, уехавшей в командировку в Ленинград. Бялые пишут, но Григ(орий) Аб(рамович) стал часто жаловаться на недомогания, это грустно.

Спасибо большое за предложение лекарств, но пока, слава богу, мне ничего не велят. А насчет позвонить... увы, это не совсем просто и не только деньгами иногда приходится платить¹⁷⁶. Я бы с радостью послала книг, если б могла их купить! Вышел, например, роскошный Анненский¹⁷⁷ в «Лит(ературных) памятниках»,

все «книги отражений» и избранные письма, чудная книга. Да много хорошего издается, что там говорить, уж это факт, но желающих иметь книги дома стало куда больше, чем читающих и понимающих их. А впрочем — что мы знаем.

Обнимаем,

ИР.

⟨P. S.⟩ Познакомились ли с Наденькой?¹⁷⁸ Хорошенькая? Нам с Котом уж очень она нравилась.

И. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

11 декабря 1979 г.

Москва

Дорогие Е!

Спасибо за заботы и предложения медицинской помощи. Пока необходимости в ней нет, то есть в «склянках». Но на днях мне приснился сон, что мне сделали рентген грудной клетки и голос, который однажды уже предупредил меня, сказал так же мягко: «Надо лечиться»; и врач, которому я это рассказала, советовал сразу же сделать рентген грудной клетки. Но я хочу сделать это уже на новом бюллетене, то есть после Нового года, так как в этом году уже исчерпала свои бюллетенные права по литфонду. Двадцать дней роли не играют. Тогда увидим, быть может, что-то и понадобится.

Ну, все одно к одному. Суворин снова вылетел из плана; и несомненно Вы заметите, что моя жизнь последних двух лет характеризуется повторяемостью всех ситуаций. Был какой-то скандал, подробностей я еще не знаю, да, пожалуй, если и узнаю, то не все, в результате было говорено, что, мол, велели мне оплатить работу, изыскать возможности заплатить, но во-все не заключать договор и не издавать. Я отнеслась к этому совершенно спокойно. Во-первых, Карл Маркс говорил, что трагедия, повторяясь, превращается в фарс. Во-вторых, нет сил доводить работу до конца, то есть делать комментарии, а от этого испытываю некоторое облегчение. В-третьих, надеюсь реализоваться иным путем...¹⁷⁹

Вы сожалеете, что я уже не описываю поиски и находки, не ираклизирую¹⁸⁰ в письмах. Но ведь я почти не бываю в архиве, если бывала, то для того только, чтоб сверить с автографами подготовленный мной том писем Чехова (восьмой том академического издания; 1899 год), то есть для рутинной работы. И

ее делала через силу. Сейчас делаю указатель имен к нему, а потом — ко всему собранию сочинений Чехова, то есть к 18 томам (без писем). Чудовишная, каторжная работа, алфавит надо выверять на пятой букве, к счастью, мне помогает Ира, иначе просто пришлось бы бросить, искать замену. Тоже, как Вы понимаете, находок немного. Если удалось найти, какую картину Верещагина имеет в виду Чехов или откуда он взял цитату из Горация, то уже радость. Не исключаю, однако, что многим в эмиграции такая работа кажется верхом культурности и совершенно недоступна им. Я как бы контролирую сейчас комментаторов всех томов, ищу то, что они не доискали. Не говорит ли Вам что-то (уж кстати!!) начало такого стишка: «Как приятно добрым быть!»? Или вот — откуда: «А старость подходит все ближе и ближе...»? Или «Сияние луны здесь на скамье!»? Ира пересмотрела даже английского Шекспира для этого. Но не нашла. Еще: «Запрягу я тройку борзых...»? Или: «Год новый радостно встречаем...»? Помню, знаю — как бы знаю, но нет, не знаю... И так целыми днями. Может Вам что-то вспомнится. Контекста не даю, так как он тут роли не играет. А вот может кто из французов подскажет, что за куплетец: «Et j'frotte, frotte...»

Я уж увлекаюсь, не могу остановиться. Откуда: «И за деньги прусака немцы офранцузят»? Откуда: «Мы не моргнем в плену сраженья глазом»?¹⁸¹

Вот чем Вы заплатили, спросив меня о моей работе!

Сегодня провела очень приятные два часа, посмотрев в «Иллюзионе»¹⁸² фильм Бергмана «Вечер комедиантов». Ира переводила, так как монтажный лист был на английском языке, и блеснула. Ее очень хвалили за артистизм перевода. А фильм — видели? Чудесный, из него потом выходили «8 1/2» и много еще. Сашек не могли сводить, ибо оба лежат в гриппу, а Кот — с астмой (жуткая влажность воздуха последние две недели).

Но Женька-то каков — профессорствует! Обалдеть. Что же он преподает, руссифицирует или францезифицирует? Я относилась к нему хорошо, но Ира говорит, что если мне кто поцелует ручку, то я уже млею; а потом уж пошли рассказы, что он воровал книги у одних друзей и продавал их другим друзьям. Спасибо за добрые слова о том, как я вязала¹⁸³; спасибо за пожелания и еще погрудиться по туалетной части. Но дело в том, что для вязанья, как Вам известно, нужны хорошие нитки, а с кого, скажите на милость, стричь?

Но попадется барашек¹⁸⁴, так и обстригу, дело такое. Можно и обстричь. Есть у меня один замысел, лоскутное одеяло, то есть длинное вязанье, но состоящее из небольших кусочков. Ни дня

без строчки¹⁸⁵. Мариетта Чудакова¹⁸⁶ о таком стиле написала очень остроумно, что это словно спортсмен подходит и подходит к планке, все попытки и попытки; и уже необязательно становится брать планку. Это, конечно, упадок мастерства, ибо кофта — замысел, а одеяло — отсутствие замысла. Однако, теперешний читатель, тот самый, легкий — он читает Олешу¹⁸⁶, помню, были у меня разговоры с А. Гладковым¹⁸⁷, изумительным ценителем, который говорил, что подобное одеяло именно и будоражит мысль и чувство.

(P. S.)

12 декабря 1979 г.

Еду в Гослит — для переговоров пригласили. Видимо, как я понимаю, хотят дать другую работу, выгодную, заплатить за нее — и так рассчитаться. Придется соглашаться, а потом, скорее всего, пролонгироваться, ибо нет ни сил, ни времени, ни охоты браться за что-то новое.

Ваша,
ИР.

Е. Г. Эткинд — Н. А. Роскиной

21 декабря 1979 г.

Милая Наташа, одно за другим нас порадовали два письма — от 20 XI и 12 XII; второе пришло неправдоподобно быстро — меньше недели. Огорчительно, что А(лексей) С(ергеевич) вылетел из плана, и чем скорее Вам удастся реализоваться (другим путем), тем лучше. Сочувствую Вам — делать указатели невероятно муторно и ничего не остается, кроме обычного удовлетворения от окончания любой работы. Думаете, я испытываю большие радости от ведения бесплодных баталий? М(ожет) б(ыть) Вы уже и видали перебранку¹⁸⁸, она растет, и, в сущности, зря. Поднятые в связи с этим литературоведческие проблемы увлекательней. Например, я, по привычной (Лермонтову и Герцену) традиции не жалею Николая I¹⁸⁹, вроде как все же повинного в гибели Пушкина и Лермонтова, а на меня насакивают со всех сторон: дескать, порочу страну, и не такой уж он был худой. Да, кстати, вот еще одна важная проблема, которой я стал заниматься: поэтика заглавий. Давно собирался написать об этом исследование, да все руки не доходят. Меня интересуют заглавия смысловые и жанровые, или, так сказать, композиционные, вроде, например, «Четыре главы». Вам нравится? В последнее время — поток названий

со строчкой стихотворения. Вышла книга, например, — «У времени в плену»¹⁹⁰, а французский перевод ее же звучит: «Вечности заложник». И таких — просто сотни, так что девальвация. Вот Вам примерная программа моего исследования. Помогите мне, посмотрите разные варианты — это мне будет очень ценно. Но уже мне скоро надо начать, так что не откладывайте. Первый, с кем мы встретимся, будет Н. А., — теперь и он окажется у времени в плену, правда — в кавычках¹⁹¹. Ваши цитаты загадочны¹⁹², — мне в таких случаях неизменно помогали два советника: Д. Г. Бродский¹⁹³ и Б. Я. Бухштаб; второй жив-здоров и в твердой памяти. Двоичнофамильную — Спиридонову-Евстигнееву, знаете? Кажется, ее предсказания исполнились¹⁹⁴. Наденька¹⁹⁵ — прехорошенькая, рад буду встретиться с ней еще, так вот — насчет четырех глав, размышляйте.

Неизменно преданный

Е.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

8 января 1980 г.

Дорогие Е.!

О поэтике заглавия я тоже думала, да и кто не думал? Это же очень заманчивая тема. Ира говорит, что недавно читала какую-то хорошую статью, но не может вспомнить, какую. Была мода, что все названия были с «и» — «Война и мир», «Гордость и предубеждение», «Преступление и наказание». Теперь вот мода на название — строчка стихотворения, вроде «Мед воспоминаний»¹⁹⁶. Конечно, это заманчиво, так как очень легко, поэтично — по сути дела плагиат; я раз поспорила с Татьяной Тэсс¹⁹⁷, можно ли было ей назвать свой рассказ «Дом с мезонином». Название композиционное¹⁹⁸ (Ваш термин) мне нравится, я к нему привыкла, хотя не могла бы объяснить, почему четыре хорошо, а три или пять было бы плохо. Но это, конечно, только для целого. С частями — трудно. До Вас я сто раз задавала себе этот вопрос. Поскольку Вы пишете о сволочизме Николая I (да и Второго совершенно не к чему обелять, это просто смехотворно), я бы сказала: «Я — царь»¹⁹⁹. Но только перемена порядка²⁰⁰ меня немножко огорчает, я не думаю, что это так безболезненно перекладывается, и мотивы мне неясны, ведь это идет движение одной жизни. Не рекламные ли соображения тут руководят? Или есть и еще какая-то композиция и поэтика композиции?

Бухштабу я, конечно, все это (т. е. цитаты) собиралась писать, мне просто стыдно было, что я не поздравила его с семидесятипятилетием и даже с Новым годом, хотя он всегда поздравляет меня. Я его очень, очень люблю. Но корреспондент он эгоистичный — любит получать письма, но отвечает уж так лаконично... А я тогда скисаю.

Знаю ли я Спиридонову-Евстигнееву? Лучше бы Вы спросили меня, знаю ли я украинскую ночь, так как тогда ответили бы сами себе: нет, вы не знаете. Она, кстати, недавно защитила докторскую. Оппоненты: Осьмаков, Перцов, Марк Полянов²⁰¹. Один против, при неявившемся Бяликe (он долго и мужественно протестовал). Она очень дружит с Овчаренко; ее мечта — быть замдиректора ИМЛИ по научной части. Каплер²⁰² говорил так: «Я прекрасно знаю, кто есть ху».

Была у львов, подарила им пирог к Новому году (свой, имеющий, по их словам, международный резонанс: с орехами и изюмом), узнала, что Маша²⁰³ вышла за канадца. Нам бы так! Это какой-то остров сердечности, — Лева.

Вот было бы хороше название для моего случая²⁰⁴: «Женой, так женой»²⁰⁵, — помните? Нет, все хорошие названия уже расхватили классики. Если что-то сойдет, то дальше и вовсе неизвестно как²⁰⁶. Ну, а дальше-то сложить в четыре еще можно будет?

Грешно, конечно, хвастаться своими остротами, но когда в «Литературке» завели «Диалоги», я сказала: «Нарожали собственных Платонов»²⁰⁷. И теперь про всякие полемике скажу: Платонов много, а нас мало...

Сейчас прохожу обследование — все заново просвечивают и т. п. Сегодня делали сканирование печени. Ищут метастазы. Не выйдет, господа! И до сих пор кровь еще не поднялась до тех цифр, что были до облучения... особенно гемоглобин. Мало я была на воздухе, всего месяц в Малеевке.

Читали ли, как про Заболоцкого пишет его сын²⁰⁸ в «Вопросах литературы»? Мемуары его мне очень нравились, но когда он начинает рассуждать о том, чего не понимает (он кончал Тимирязевку²⁰⁹), то становится как две капли похож на Женю Пастернака и Элика Маршака²¹⁰, бросивших свои мужские профессии ради того, чтобы пропагандировать «папочку». (Женя публично так и говорит — папочка.)

Мой ближайший друг Том Виннер должен был приехать к нам в декабре, но заболел радикулитом и отложил. А теперь, боюсь, не приедет, да и вообще неясно, кто и когда приедет. В этой связи пишу Вам об одном лекарстве, в котором я нуждаюсь вообще,

всегда (срочности нет, так как еще один флакон не начатый есть): это кортикостероидный препарат (у меня ведь еще и астма) «параметазон ацетат». Он есть разных фирм, это неважно, есть и по 2 мг и по 1 мг, тоже неважно. Но он у меня должен быть, к сожалению, всегда, я уже несколько лет без него не дышу. Повторяю, это совершенно не срочно. Что же касается рака, то я очень надеюсь, что когда меня посмотрит профессор, который меня оперировал (дней через десять), он меня опять отпустит на волю. Это было бы самое лучшее. Если хотите доставить мне удовольствие, то пришлите мне хорошую ленту для пишущей машинки! А то видите, как противно пишет. Это, кстати, можно сделать просто бандеролькой, опять-таки, разумеется, совершенно не срочно и только заодно, идя на почту.

Еще о заглавиях. Ужасно мучились те люди, которым их нужно было много, как Чехов. Часто они выбирались даже не ими самими, а редакторами, родственниками и проч. (Разумеется, это не исключает возможности обсуждать их с точки зрения поэтики, но с точки зрения самовыражения — нельзя). У Чехова многие названия повторяются — вот это и вовсе интересно проследить. Например, два раза «Ванька». Обнимаю,
НР.

Е. Г. Эткинд — Н. А. Роскиной

27 января 1980 г.

Милая Наташа, в самое ближайшее время мой ученик²¹¹ (славный, но очень уж провинциально-простодушный) привезет Вам параметазон-ацетат — от астмы. И ленту, которая Вам нужна. Пишите, если что надо. Кстати, его мать владеет аптекой, так что его помощь с точки зрения любых случаев может быть очень полезной. Что мне от Ваших рассуждений насчет поэтики заглавий? Будете ли писать диссертацию на эту тему, нет ли, я хотел бы иметь — и безотлагательно — конечные выводы²¹². Пожалуйста, расстарайтесь: все в целом и по отдельности. Да, я читал в Воплях²¹³ статью Заболоцкого об отце — интересно и, местами, неприятно. И еще появилось о том же авторе в последнем номере журнала²¹⁴ — довелось ли Вам прочесть? Насчет строчек из стихотворений — вот самый известный случай. Вышла книга «У времени в плену», а французский ее же перевод назван «Вечности заложник». От этих строчек меня уже

воротит. Так что же «4 главы»? А внутри — по персонажам? Поправки не вошли в предварительный (текст), но в окончательном они, разумеется, все учтены.²¹⁵ Ну а как же поживает Суворин? Очень бы хотелось посидеть с Вами и о нем поговорить. Говорит ли Вам что-нибудь имя Э. Бройде?²¹⁶ Он писал о Чехове под рукой(одством) Г. А. Бялого, я прочел его рукопись — целая огромная книга о Чехове, со злобностью, фанатическим отрицанием всяких утверждений (принципиально не-чеховским!), но довольно интересно. Нет сомнений, что он псих. Но псих способный на мышление. Мне интересно, как он проявил себя дома, и что думаете о нем Вы, если что-то думаете о нем.

Тиграм²¹⁷ я послал огромное письмо от 13 XII — дошло ли? На всякий случай вот что важно: сборник памяти К(ости) Б(огатырева)²¹⁸ не по злой воле, а — непроданная книга, и никто не хочет. Преодолеть я не в силах, даже Генрих²¹⁹ не может мне помочь, хоть и он пытался. Видали ли публикацию из Ж и С.? Лучше ли она, чем прежняя?²²⁰ Надеюсь.

Сердечно Ваши.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

5 февраля 1980 г.

Дорогие!

Последние дни принесли столько волнений, огорчений²²¹, что даже у меня поднялось давление. Но парадокс в том, что мои волнения оплачены бюллетенем Литфонда, а это не у всех так... Посмотрим, что будет дальше.

Пишу Вам, чтобы сказать, что Том²²² прислал мне нужный мне параметазон и даже два флакона, а это мне хватит надолго, поэтому Вам не надо по этому поводу беспокоиться.

Продолжала думать о поэтике названия, вспомнила, в частности, что Чехов, да и другие писатели, называли часто свои вещи так: «Без названия», «Без заглавия», «Рассказ, которому трудно подобрать названия» и пр. и др., словом, честно говорили о своей неспособности придумать что-то дельное. «Я — царь» хорошее название, я не разочаровалась, потому что ведет ассоциацию к Державину²²³, а это вполне уместно. Но дальше²²⁴ — тупик! Может быть, просто сначала фамилия, запятая, имя отчество; или имя, фамилия, запятая и имя отчество?²²⁵ Это во всяком случае неглупо. Некоторые люди, будучи очень образованными, совер-

шенно лишены духовного развития²²⁶. Вот уж поистине пальцем в небо! Но вот видно — кстати о заглавиях — как пристаю, пристаю, добиваются вынуть то, чего человек и не думал говорить, а потом как раз это — в заголовок, в лоб бац — вот так и стравливают, а с какой целью, черт его знает. Вот такой манеры при Щедрине и Достоевском не было, не было вообще этой дешевки интервью. Русская печать вообще очень долго противостояла жанрам желтой прессы, каковым является интервью. Но если перечитать полемику шестидесятых годов — ух, что было! Только держись! Закаляйся, как сталь!

Бухштаб прислал мне очаровательное письмо. Кое-что указал. Например, «Как мать убили у малого птенца» — это ария Вани из «Жизни за царя». «Пташка-тинарейка» — романс Варламова на слова Цыганова. Собственно, все. Кое-что сообразила и Елена Сергеевна, благодаря своему религиозному воспитанию (она, оказывается, девочкой даже жила в монастыре²²⁷. Но, как вы знаете, предпочла потом жить своим умом; видимо, духовно совсем не развита!)

Ну, прощаюсь. Материала для письма по сути дела не было, и хотелось только написать насчет лекарства (если же уже купили, то не огорчайтесь, так как потом оно все равно пригодится мне, я без него не живу). Да еще хотелось насчет второго заглавия высказаться.

Обнимаю.

НР.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

9 февраля 1980 г.

Дорогие! Миленькие! Мучители!

Где ж брать названия-то? Четыре главы нравились сонатной формой, квадратом, не знаю еще чем. Ну, если нет, тогда не обойтись без строчки, но она из молитвы — очень знаменитой молитвы, положенной на музыку Бортнянским: «Тает воск от лица огня». Заболоцкий — Я — царь, Ахматова — рыцарь без страха и упрека (ну, и в скобках имя и фамилия). «Памяти»²²⁸ пусть так и будет, перекликается с концовкой²²⁹. Теперь вот что. Перед последними словами — «Все бы плясать да веселиться» ранее стояло у меня в дательном падеже имя отчество знаменитого русского математика Ковалевской²³⁰. (А возможно также и отчество героини великого романа Горького «Мать»)²³¹. Это было выброшено

неким Авто-Никитенко²³². А между тем фраза в полном виде, оказалась, извините за нескромность, крылатой, ее многие знают и ставят автору в актив, так что портить жалко, надо восстановить. Вообще не поняла, в каком предварительном варианте нет поправок, и как я могла бы об этом узнать?²³³ Что же касается заголовка к Беркуше²³⁴, то тут совсем тупик. «Что подобает розам?»²³⁵ Фривольно, глуповато, да и вообще не нравится, а если Вам нравится, берите себе на здоровье.

Вчера получила письмо, а сегодня пришел аспирант-красавец²³⁶, веселый и всем довольный мужик, которого я хотела кормить до отвала, но он говорил, что совершенно сыт и всем доволен, что всех иностранцев удивляет тут преувеличенное желание кормить и забота об их иностранном желудке. (Это мои выражения, он, разумеется, выражался много изысканней). Огромное спасибо за лекарство, теперь у меня его есть запас, а это для меня очень важно, дает спокойствие. Принимаю я его вообще мало, но иногда бывает период, когда приходится сразу принять много и потом долго постепенно снижать дозу; от этого нельзя рассчитать и приятно иметь запас поосновательней. Лента уже в машинке и пишу, наслаждаюсь.

Ж и С²³⁷ пока не читала, не видела публикации, ну, да уж когда будет все вместе.

Я думаю, что тигры-то получили Ваше письмо, а Вы не получили ответа, — думаю потому, что она²³⁸ мне подробно рассказывала о Ваших lamentациях (Вы, дескать, нелюбимы, осуждаемы, упрекаемы и пр. и пр.) и о том, что она Вам написала от всей души успокоительное письмо²³⁹. Что касается сборника памяти «Кости»²⁴⁰, я не ждала ни минуты, что он может выйти, по ряду причин, в частности из-за малой его (сборника) талантливости и малой известности самого Кости. Но это между нами, конечно.

Бройде я совсем не читала, едва слышала фамилию. То, что Вы пишете о его рукописи, мне не кажется привлекательным. Чехова принято идеализировать больше, чем тех, кто будил кого-то, кто был зеркалом, кто писал «Некуда» или «Бесов»²⁴¹. Но мне-то это не так уж претит. Вот уж кого не жалко идеализировать, так это Чехова. Другое дело, что обычно его банализируют. Я думаю, что общепризнанные истины в советской чеховиане — это правильные истины, не нуждающиеся в своем существовании в пересмотре. Я могла бы, конечно, многое рассказать, что неизвестно или мало известно, но ничего при этом не перевернула. Акцентировала бы, может быть, немножко другие стороны. Интересно, о моем отце он что-нибудь пишет?²⁴²

Чехов и изучение Чехова не создает в моем сознании такого стресса и такого кричащего противоречия, как Толстой и юбилей Толстого. Чехов легче вписывается в нашу структуру, может быть именно в силу того, что он не мыслитель, а просто очень и очень умный человек.

Об идеализации. Вообще не идеализировать предмет своего исследования по-моему невозможно; я слышала однажды лекцию Якобсона²⁴³ и считаю, что он идеализирует творительный падеж и вообще падежи. Если же взять противоположный полюс, не идеализировать, а обличать, то лучше тогда не брать предметом своего исследования другого писателя. Если уж он отпетая сволочь или полная бездарь, то можно написать о нем статью, но книгу? Зачем?

Обнимаю,
НР.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

10 февраля 1980 г.

Я идиотка! Приплела ни к селу ни к городу героиню горьковской матери! Ее звали Ниловна, а не Власьевна, как мне вдруг показалось. А вот Ковалевская — это действительно Софья Васильевна, правильно, но не опоздала я с этим? Вообще я что-то перестала ориентироваться, уже не понимаю, когда же и что выходит с этими кофтами²⁴⁴. Напишите пояснее!

В связи с Ниловной вспомнилась мне старуха Изергиль. Когда один мой знакомый мальчик, сын Инны Варламовой, был маленький, он услышал разговор, в котором упоминалась «Старуха Изергиль», и спросил: «Из куда?» Но это я просто так, чтобы в моем письме было хоть что-то развлекательное, а не просто исправление собственной глупости.

В начале марта в Париж поедет Ирина Ильинишна Эренбург²⁴⁵. Хотите чего-нибудь московского? Если да, то заявляйте свои желания, прошу. Напишите только сразу же, чтобы письма успели обернуться. Я только сию минуту узнала о ее поездке — ее звонок отвлек меня от письма. Я завидую ей. Неужели жизнь так и пройдет, а я не увижу Парижа? Впрочем, теперь у меня есть два противоречивых чувства. Одно — естественное желание человека, который хоть что-то читал и о чем-то думал, увидеть мир. Другое — что жить так приятно, такое счастье зацепиться хоть одной ногой за любую корягу, но только тут, на земле, — и совер-

шенно все равно, где, как, в каких условиях, в каком городе, на каком языке... Это второе чувство подсказывает мне, что я больна серьезно: здоровый человек не помнит, что он живет, как и объяснила Ахматова по поводу «Невесты»²⁴⁶.

Вчера была у Вентцелей, которые и засмеяли меня насчет горьковской матери: уж соваться, так знать. Все понемногу больны, но было весело.

Во втором номере «Нового мира» в романе Гранина «Картина» читаем: «Раз в месяц еду я на кладбище св. Женеьевы, чтобы побыть у своих. (...) Какие есть имена — Бахметьевы, Тимошенко, Ипатьев, Зворыкин²⁴⁷...» Имеете отношение?

Аля Як(овлевна) читает Victor'a²⁴⁸ по-французски. Ей нравится.

Ну, прощаюсь, всего всего хорошего.

Жду! Ваша,

ИР.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

14 февраля 1980 г.

Дорогие!

Я пожалела, что так нахально написала о сборнике памяти Кости, ведь я даже не знаю толком, что именно на данном этапе в него входит, может быть, он и стал более интересным, чем это мне представляется. Вдова²⁴⁹ очень расстроена тем, что он не идет. Однако — что тут сделаешь.

Я не ответила еще на один вопрос в письме — как обстоит дело с Сувориным. Я дала себе зарок, сначала получить деньги, а потом уж думать, как его пристроить. И вот вчера деньги оказались на моем счету в сберкассе. Я тут же начала новые переговоры — с ВААП²⁵⁰. Сидит очень дельный парень, все знает, знает мою фамилию, знает фамилию Суворина (так ведь он же издается в мемуарной серии? Ах, уже не издается?) и проч. Значит, условия такие. Я должна сама найти зарубежного издателя — Имка²⁵¹, разумеется, не годится. Проффер тоже, «он теперь скатился на уровень „Посева“»²⁵², скорее всего — американское университетское издательство. Что же, это как будто и возможно, но дальше: я должна принести бумагу из Гослита или же из ИМЛИ, что хотя издание не будет осуществлено для внутреннего рынка, оно вполне годится для внешнего (кто это станет писать, да просто назло

не станут ни Бердников, ни Осипов²⁵³); я должна обязательно представить комментарий, а не только текст, без комментария нельзя, так как они могут сделать свой, неподходящий; и все это вместе представить в трех экземплярах, не менее. Ксерокс им бы годился, но зато нельзя сделать ксерокс с нелитованной рукописи²⁵⁴, поэтому надо отдавать на машинку. Ну, словом, опупеть, и все равно ничего не получится. Так что нужно думать самой. Я сейчас пишу своей кузине²⁵⁵, жене двоюродного брата, который есть директор восточноевропейского института при Ун(иверсите)те штата Индиана, а жена его работает старшим редактором в издательстве при нем же. Может быть, их это заинтересует, хотя они издают только на инглиш. А это совсем не то, что мне хочется. По-русски бы! В свое время изданный дневник был около 30 листов и теперь у меня около 40. Узнала я также, что в свое время, в 1924 г. он был переведен, в сокращении, на немецкий и на французский, но эти издания так редки, что их вообще нет не только у нас, но даже и в Библиотеке Конгресса лишь один из них²⁵⁶. И с ошибками жуткими.

За это время читала много интересного, читала сборник про Пастернака²⁵⁷ — очень фундаментально, на прекрасном уровне. Автор статьи о переводе «Фауста»²⁵⁸ очень доволен, но я слышала столько отрицательного про этот перевод, что не верю ему. Да и в том же сборнике есть мнение одного общего знакомого²⁵⁹, что всю жизнь Пастернак занимался тем, что по сути дела было ему противопоказано²⁶⁰. Кстати, мой американский дядя²⁶¹ тоже перевел «Фауста». С обворожительной наивностью он ходил по Москве, уговаривая всех, что «перевод хороший, лучше пастернаковского». Теперь я достала его — самая настоящая бредятина! Но все мои знакомые, уважая его борьбу за мир, кадили ему нещадно и у него совсем вскружилась голова. Еще читала полемику про Катаева²⁶² и этот жанр литературы, где и понятно и непонятно, тоже очень здорово. Феномен Максимки²⁶³ вообще чрезвычайно любопытен, ведь это было на моих глазах: как он появился в доме у «Саши»²⁶⁴, как Нюшка²⁶⁵ стала срать, что он куда крупнее Сани²⁶⁶ и что Саня должен бегать ему за пивом; Саша же совершенно подчинился ему с первой минуты и стал посвящать ему стихотворение за стихотворением. Это было логично, так как Саня хамил²⁶⁷, а Максимка уважал и оказывал внимание, но при этом все было до такой степени шито белыми нитками, что даже тошно. И вот вырос такой бандит бандитыч. Вообще картина не радует: хорошо со стороны, а участвовать, видно, тяжело. Правы-то Вы оказались, что надо дома жить!

Дома мороз. Но топят хорошо, поэтому приятно. В «Неделе» напечатали такой стишок:

Ты пришел ко мне в пальто.
Сразу видно, кто есть кто.
Я в дубленке на меху —
Сразу видно, ху есть ху.
Я — в дубленке!

Как раз когда я читала про Пастернака, Ира в «Иллюзионе» переводила англо-итальянский фильм «Ромео и Джульетта», ругала Пастернака ругательски²⁶⁸. Щепкина²⁶⁹ лучше, но очень длинно пишет, в кадр никак не уложишь. А Пастернак, например, так. Похабная тетка, кормилица говорит Джульетте: желаю тебе в придачу к счастливым дням еще и счастливых ночей. А у Пастернака — благих ночей!²⁷⁰

Ира раньше хотела сделать работу о сравнительном анализе поэтического языка на примере переводов с английского на русский. Она пришла к выводам настолько убийственным, что бросила — ясно было, что на фоне прославления классиков и вообще всей переводческой школы ей будет хана. Разрушается вся культура стихотворения, аннигилируется. Разрушается метафора, утекают библейские и мифологические ассоциации; Китса, скажем, нельзя признать за поэта романтизма, так как перед нами один голый Пастернак. И все это примеры лучших переводов, хрестоматийных, и, конечно, не только Пастернака. Поэтому мне было гораздо интереснее читать не про переводы!

Обнимаю,

ИР.

(P. S.) Письмо распечатывала (грубо) я²⁷¹.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

4 марта 1980 г.

Москва

Дорогие! Узнала про сорок восемь²⁷², большое спасибо и спасибо²⁷³, бог с ней, с Ковалевской, может без нее и лучше²⁷⁴. Насчет другой поправки я не поняла. Не поняла, во-первых, какая, во-вторых, когда же была уже верстка? Но это уже не имеет значения. Видела и жену Леонида Ефимовича²⁷⁵, он сейчас чувствует себя хорошо (я, кажется, писала, что мы вместе облучались, у него рак легкого, но об этом не имеет ни малейшего представле-

ния и охотнейшим образом поддавался обману; а тоже не помню, писала ли я, что лаборантка под именем Сольвейг облучала в свое время аятоллу²⁷⁶, ну, они, конечно, очень обрадовались²⁷⁷. У Левы²⁷⁸ сидела Белла²⁷⁹, увидев ее я хотела было сказать что-то вроде: «Дорогая изумительная Беллочка, если Вам попадетсЯ когда-нибудь запечатленное мною высказывание Ахматовой, что от Вас у нее начинался сердечный приступ, ради бога, не огорчитесь, ведь это же шутка или полшутка и т. д.». Но сказать нельзя было, во-первых, потому что она сама непрерывно говорила что-то вроде «дорогая изумительная Беллочка». Все ее любят, обожают, причем это относится ко всем странам мира, даже к тем, где ни слова не понимают по-русски, ко всем людям, даже тем, которые ею сугубо недовольны, ведь в душе они знают, что она хорошая (это дословно), любят и обожают именно ее, об этом речь, потому что о том, как обожают ее стихи, даже и речи нет. При этом Ахматова у нее все время где-то около рта — она-де привыкла, что ее путают с Ахматовой, называют Белла Ахматовна, просто Ахматова и пр. О Болгарии она рассказывала так: «Елизавета Багряна, тамошняя Ахматова»; далее: «Елизавета Багряна, ей 80 лет, это тамошняя Ахматова»; далее: «Елизавета Багряна, ей 80 лет, она вообще уже ничего не понимает, это тамошняя Ахматова». Так что мне нечего было соваться. Я поняла к тому же, что вообще воспоминания интересно писать о молчаливых людях, о людях закрытых. Прочие сами себя не забудут запечатлеть.

Напишите подлиннее. Я всегда удивляюсь, как письмо у Вас аккуратненько укладывается в определенный листок — не длиннее. Понимаю, что дел невпроворот, так что вообще-то не слишком претендую.

Слышала тут о Вас с неожиданной стороны, мне сказали, что даже среди парижан нет человека, который бы так хорошо говорил по-французски. Как была бы счастлива Беллочка, если б это было сказано о ней, как охотно повторяла бы от себя это с добавлениями! Но нет, это не про нее!

Очень серьезно больна Анюта²⁸⁰, но кажется уже пошло на поправку. У нее второй месяц кишечная инфекция. Был очень плохой анализ крови, паника жуткая. Все, естественно, крутились вокруг нее, она была этим довольна и тем, что не ходит в школу. Прочие здравствуют, а Данины даже купили цветной телевизор.

Письмо полно яда, но посылаю его! Жду письма мне лично. Да! А Наденька²⁸¹ где? Или еще неизвестно?

Ваша,
НР.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

31 марта 1980 г.

Дорогой Ефим Григорьевич!

На днях была в одной компании, где познакомилась с Давидом Петровым²⁸². Он просил меня, если будет левая почта, передать, что вот уже четыре месяца как ему перестали передавать письма от Вас и у него начались неприятности. На мой вопрос, какие неприятности, он сказал, что об этом ему неохота говорить. Записал мой телефон и обещал звонить. Но переписку с Вами ему придется прекратить, как, видимо, и мне. У меня никаких неприятностей пока не было, но понимающие люди давно уже говорят мне, что переписка с Вами — это чистое безумие! (А мне она была так приятна!) В частности это говорил мне один человек²⁸³, читавший Вашу критику одних ценных мемуаров²⁸⁴. Даже из одной только зависти, что меня Вы оценили выше, он может стереть меня в порошок! Но, послушайте, какой же Вы молодец, и как мне жаль, что я так мало прочитала из Вашей публицистики. Читала письмо Феликсу²⁸⁵ — прекрасно! Вообще был у меня в руках № 47, так что я узнала о переменах в редколлегии²⁸⁶, а вот № 48, где я, остался мне неведом. Очень надеюсь, что Вам все же удастся прислать. Очень надеюсь также, что Вы и напишете о моей книжке, ибо, видимо, мало кто вообще оценит ряд деталей. Ну вот, скажем, в волюме, посвященном Пастернаку²⁸⁷, речь идет о том, кого имеет в виду Заболоцкий в стихотворении «Любопытно, забавно и тонко» и опять говорится, что оно относится к Пастернаку²⁸⁸, чего Заб(олоцкий) так не хотел²⁸⁹. Но, не в этом дело, главное — что если не Вы, то кто же тогда? Прошу Вас! К тому же есть уверенность, что Вы побережете меня, не сделаете грубых политических акцентов. Сейчас у нас настолько изменилась к худшему вся атмосфера, что — черт его знает, как все обернется, а отъезды резко сокращают, так что и эта щель сужена до предела. «За дальностью родства»²⁹⁰ — и все тут. Да, а напечатана ли наша Наденька? (Моя дочь.)

Дорогие! Видимо, мои письма уже какое-то время не доходят до Вас, а может, и Ваши ответы, так как я ничего от Вас не получала уже очень давно — как тяжело будет, если занавес настоящему и по-прежнему опустится. Я опять заняла про отъезд, но Ира противится, уверяя, что в первую очередь мне и будет плохо: «Мама! Ты хорошо понимаешь, что там все говорят по-английски?»

Теперь насчет Суворина. Я сейчас завела тут интриги, чтобы издать его на немецком языке с помощью Льва. Во-первых, по-немецки если, то надеюсь, что хоть сколько-то заплатят, это необходимо, так как я явно лишусь права пользования архивами и дальше уже не смогу ничего делать. Во-вторых, здесь об этом издании столько было шума, что незамеченным за рубежом оно не пройдет. В-третьих, все равно потом можно и по-русски издать. Напишите, интересуется ли это Струве? Я не могу понять, за что, но почему-то большинство из печатавшихся у него и имевших с ним дело тут его поругивают, да и из-за рубежа приходят письма, что он-де заводит свою цензуру, ну, и не платит, разумеется. А как на самом деле? Во всяком случае, лично для меня, конечно, интереснее всего издать по-русски. Объем велик! Можно так: или издать полностью, это сорок листов, или издать то новое, что я нашла, плюс восстановленные купюры (иногда очень большие) и исправления существенных ошибок. Тогда, к примеру, листов двадцать. (Цифры, конечно, не точные, а приблизительные). Я могла бы сделать аннотированный указатель имен, не так, как делают халтурщики, а конкретно поясняя ситуацию дневника, включая элемент комментария. Но это тоже большой объем, так как имен множество. Гр(игорий) Абр(амович) ругает очень этого чеховеда²⁹¹. Пишет, что в Л(енингра)де его звали Пройда. Он-де ловчила, прохвостина, два тома его диссертации Ирина, без ведома Гр(игория) Абр(амовича), сдала в макулатуру, но он считает, что она сделала правильно. В менталитет его не верит, психом тоже не считает, ибо слишком ловок для психа.

Ах, как я благодарю Вас за лекарство. Мне так спокойно, что у меня есть теперь запас надолго, а то вечно меня мучил страх остаться с астмой и без лекарства.

А с оказиями все хуже и хуже.

Обнимаю,

НР.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

11 апреля 1980 г.

Дорогие!

Маленькую голубую коробочку с четырьмя штучками²⁹² получила, спасибо, правда Кома²⁹³ употреблял ее за обедом и наставил пятен, но с его отпечатками пальцев подарок еще сувенирнее.

Ну, вот, живу-поживаю, пытаюсь писать книжку под названием «Тает воск от лица огня». В частности, там будет и о Чехове, и о Суворине.

Праздновали день рождения Левы, и я подарила ему несколько номеров журнала «Культура театра» 1921 года, он был счастлив и поскорее запер их на ключ.

Напишите, что получили письмо. У меня впечатление, что письма больше не ходят совсем.

Обнимаю

НР

Е. Г. Эткинд — Н. А. Роскиной

3 мая 1980 г.

Милая Наташа, только что вернулся из долгой поездки, где читал лекцию о Блоке («Кармен») и русской психологической прозе. В Иейле, — там я тоже задержался на днях, — был чеховский симпозиум, и Вашего отца не раз вспоминали. Вот — после странствий я дома, и очень рад вашему письму от 11 апр(еля) про голубую коробочку. Зачем Вы позволили Комер пачкать ее жирными пальцами? Будет, впрочем, и другая возможность, не грустная²⁹⁴. А бояться не надо: все идет к лучшему. Пишите, милая Наташа, нам дороги Ваши письма, — Вы рассказываете и о себе, и о близких людях, каковы Г(ригорий) А(брамович), Д. Д., Львы и прочие звери. У нас новостей много, всех не перечислить, но все зоологического свойства²⁹⁵. Ваш кипарисовый ларец²⁹⁶ доставляет мне удовольствие: он всем нравится, с какой бы стороны к нему не подошли. А я грешным делом больше всего рад Н. Я — а то бы совсем его не знали.

Вышел журнал *Silex*²⁹⁷ — чеховский выпуск, так я там поместил несколько страниц Н. Я., и это тоже способствует. Он отличается от его авторов убийственной серьезностью — как это иногда нужно, и как этого недостает туземцам! В США было интересно, хоть и не очень разнообразно: в нашей старой Европе два десятка культур и еще больше человеческих типов, а там — одна, да и та ущербная. И все говорят на одном, убого-звучащем и потому полупонятном языке. «Тает воск...»²⁹⁸ очень меня интересует. Особенно — Алексей Сергеевич, — но что же делать? Так я и не понял, почему его задвинули, ведь он вроде бы годится, или опять нет?

Леву собираюсь чествовать не в день его рождения, — миновавший, — а в день вручения ему премии²⁹⁹. Хорошо с ним в этот день выпить бы, ну да отложим немного. Зато с кем мы крепко выпили недавно, это с его дочкой³⁰⁰, и уже все на свете обсудили. Она веселая, чуть-чуть поседевшая, но по-прежнему правильная. Как это тут редко и ценно — правильные люди.

Обнимаем Вас, милая Наташа.

Ваши.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

20 мая 1980 г.

Москва

Дорогие!

Когда я прочитала, что мне посвящено лучшее в XX веке стихотворение³⁰¹, то слегка закачалась от такой рекламы (к сожалению, мне это дело дали на пять минут). Д. Д. с присущей ему большевистской прямоотой сказал, что если бы я уже умерла, то оно звучало бы лучше; а С. Д.³⁰² завопила: «Боже мой, да он что же, всерьез думает, что если поэт пишет женщине стихи, то он и в самом деле ее любит?» — пожалуй, что так, но я промолчала... Если мои друзья так хихикают, то что же скажут недруги, страшно подумать! Ну, да ладно, это все суета сует. Еще успела только прочитать стихотворение³⁰³, которое воспроизведено без той ошибки, что в книге, где из одной строчки выпал повтор. Больше огорчили меня другие ошибки — в двух местах выпали по две строчки еще кое-чего. Посылаю Вам список:

Стр. 18 Напеч.: вздрогнув от резкого звука, Анна Андреевна произнесла следует: вздрогнув от резкого звука, Анна Андреевна спросила с огорчением: «Это пепельница Вашего отца?». Я кивнула. После паузы она произнесла:

Стр. 23 строчка 3 св(ерху) Напеч.: «Я ему Анна Андреевна» Следует: «Я ему не Анна Андреевна!»

стр. 24 Напеч.: «изречение Гумилева: «Меня почему-то...» следует: изречение Гумилева: «Если Вы хотите быть поэтом, преувеличьте свои чувства в десять раз». Записала она и такие слова Гумилева:

стр. 55 Напеч.: «Пушкин читает, Державин слушает». Следует: «Пушкин читает, Державкин слушает» (и это-то и смешно, поэтому Ахматова и заливается смехом! Я виновата, не поставила тут sic!)

стр. 56. Кто осмелился поставить мне второе «н» в слово «раненого»? (Я нарочно даю интонацию Маршака и его любимой ученицы!³⁰⁴).

стр. 87 Напеч.: «но в такие проблемы», следует: «но и в такие проблемы»

Далее (я опускаю мелочи, незначительные опечатки) перехожу к месту, которое не может не взбесить автора. Я сижу на лекции Берковского, я в ту пору вызываю у людей ассоциацию с Заболоцким (теперь при виде меня все невольно начинают думать и заговаривать про рак), и вот Берковскому приходит в голову мысль, что Заболоцкий взял у Колриджа (лекция об озерной школе) пантисократическую идею равенства всего живого. Что же мы читаем на стр. 139 «Пантеистическую и сократическую»³⁰⁵. Как говорится, мерси, не ожидал!

Умоляю исправить всюду, где попадется под руку, и весьма сожалею, что Ваш экземпляр не имеет моей авторской надписи, что поправки не могу внести своей рукой (со всей авторской злобой).

Да, еще на стр. 88, пожалуйста, укажите, что этот стишок девочки приведен Велимиром Хлебниковым в его «Садке», вставьте от моего имени и Соньку Ковалевскую, но это уж только если не лень. Что же касается Пантисократии, то это меня травмировало: выходит, я явилась на лекцию профессора, записала, как безграмотная студентка, абракадабру и выдала ее в виде мемуаров, так себе небрежным тоном, как знаток философии, — хорошо известная Вам ситуация. Я надеялась, что можно сделать вкладыш с исправлением³⁰⁶, но все говорят, что отроду никто такой чести не удостоивался.

На стр. 67, строчка 5 снизу — лишь к тебе, лишь к тебе я бреду (2 раза). Ну, ладно, не буду больше травить раны. Моня Апт³⁰⁷ рассказал мне, что когда Томас Манн закончил «Иосиф и его братья», то набор можно было сделать только в Швеции (то есть немецкий шрифт отсутствовал³⁰⁸) и ему набрали в какой-то дохлой типографии, это издание что-то фантастическое, уникальное по количеству ошибок, Томас Манн был убит и потрясен.

Может, Вы подумаете: ах, она недовольна, так ей это, видимо, и не нужно, вот и хорошо. Нетушки! Она очень довольна, настроена хвастливо, жаждет раздавать автографы (и надо сказать, есть желающие их иметь). Стыдно, конечно, залезать к Вам в карман³⁰⁹, но что поделаешь? Вы спрашиваете: зачем позволила Кома пачкать коробочку жирными пальцами. Дело в том, что не Кома получил ее от меня, а я от Комы, и его жена³¹⁰ сказала: «Простите, он это читал за обедом...». Но я написала Вам, вспомнив

про того человека, который разозлил Демьяна Бедного тем, что неаккуратно читал его книги, который всегда незримо витает над нами, включаясь в любой разговор³¹¹.

Львы, видимо, скоро будут ближе к Вам, чем к нам³¹², так-во, я чувствую, настроение Раи. Это вопрос не слишком длительного времени, как мы полагаем. Для меня и для многих утрата будет весьма значительна и невосполнима. Они сняли дачу под Ленинградом и скоро туда уедут, но это, скорее всего, последнее лето.

У Сашеньки³¹³ были на дне рождения. Она разделила родственников (в сам день рождения) и друзей (на следующий день). Мы, естественно, были без родственников. Саша была в платье, которое прислала ей Руня³¹⁴ — оно шло ей просто невероятно, она выглядела такой восточной красавицей, дородной от благополучия и всем довольной. Была и Анюта. Это высокая, очень стройная и загадочно красивая девочка {...} Мы подарили два гарднеровских блюдецка для варенья, сказав, что истинная ценность этого подарка выявится через двадцать лет, и репринт «Четок»³¹⁵. Из интересных подарков еще было нефритовое яичко от Норы Як(овлевны)³¹⁶. Из интересных острог: «Композитор Завывальди». Другие — или не запомнились, или неоглашаемы... От Г(ригория) Абр(амовича) было письмо, полностью погруженное в дела и университетские интересы, из чего я сделала вывод, что он все-таки не выходит на пенсию. Видимо, мысль эта его угнетает и без нажима он этого сделать не захочет. Его семье на пенсию не прокормить. Да и какие удовольствия у пенсионера в Ленинграде?

Вы пишете: все идет к лучшему. Замечательно, я в восторге и целиком за, но хотелось бы знать более детально, какая у Вас аргументация.

Из Парижа приехала Ирина Ильинична³¹⁷, у нее всегда одна и та же песня: жить в Париже нельзя. Я целиком верю ее искренности, но хотела бы лично убедиться. Тем более, что Вы вообще дико кратки. «Новостей много, всех не перечислишь». Конечно, если так подходить... Проблем много — война и мир, преступление и наказание, всего не перечислишь, девушка и смерть, так не будем и заводить литературу.. нет, прошу Вас, пишите подлиннее, выйдите из заколдованного круга своего листочка — я никогда не могла понять, как Вам удастся всегда уложиться в один объем.

У Макашина большая неприятность или даже беда: ему угрожает или может начать угрожать ампутация пальцев правой ру-

ки (какое-то сосудистое заболевание). Все еще не вполне ясно, ищут хорошего специалиста, но пока что в пальцах адские боли, даже колют наркотики.

Вы спрашиваете, почему же все-таки Суворин не подошел. По этому поводу мне остроумно написал Саша Нинов: руситы принесли в жертву Суворина, чтобы беспрепятственно печатать самих себя. И вот наш дурак Лихачев³¹⁸ тоже им подыграл — читали Вы в «Новом мире» его очерк «Русские»? Очень понравился Михаилу Алексееву³¹⁹ (см. «Литературку») и ряду других хороших писателей. Так ему и надо. Он вообще в последнее время совсем ополоумел. В «Комсомолке» была анкета, какая лучшая книга в ЖЗЛ³²⁰. И что же отвечает на эту анкету наш дорогой академик Лихачев? Лучшая книга — Бердников о Чехове³²¹. Я не выдержала и послала ему письмо со своим мнением: «Лучше бы Г. Бердников никогда не писал о Чехове, а Вы никогда не писали бы о Г. Бердникове». Ответа, разумеется, не получила. Мне стали говорить, что это-де тактика. Но при этом рассказали примеры, что в своей тактике он переходит все границы. Например, он дал внешний отзыв на докторскую диссертацию Федя³²². Федь — это, кажется, уже после Вас. Был зав. редакцией в Профиздате, стал зав. редакцией русской классики в «Науке». Описать его у меня нет сил, даже на общем фоне он выделяется резко. Недавно сидел 15 суток за то, что побил жену. Его диссертация посвящена комедии (теория), и я о ней читала блестящую рецензию независимого доцента с Кубани, под названием «Комедия ошибок». И вот — Лихачев... Но даже те, кто мне это рассказал, говорят: не проходит дня, чтобы Лихачев не сделал какого-то доброго дела в науке. Не знаю... А где же тогда совесть ученого, где главные критерии и проч[ее]? И прочтите, прочтите «Русские». Например, «Три сестры» любят друг друга, потому что русским это свойственно (я-то как раз думала, что это свойственно евреям, и Ира даже когда-то написала дико смешную пародию, как три сестры обсуждают ехать-не ехать, Чебутыкин стучит, так как телефон у него отключен, Соленый стучит, Вершинин инкорр и проч.).

Когда я заболела раком, то вообще-то не скрывала этого, но хотела только, чтобы не дошло до Гослита, но там это узнали дня через два. И теперь — хотела, чтобы Гослит информировался только о моих трудах по Чехову, но первый же человек, который прочитал³²³ независимо от меня, был из Гослита. Но это не начальство отнюдь, а специалистка по Цветаевой, которая умоляла владельца продать ей за 50 рублей. Он же отказал и посмеялся над ней. что она его считает таким дураком. Ну, тут-то я и получила

настоящий кайф, такой, какого ни в одной стране не испытаешь. Вот, ради этого и живут люди в России! Эта женщина мне была почти незнакома, но когда она мне позвонила с дружескими словами, я попросила ее придти, чтобы исправить ошибки. Ну, а теперь, сами понимаете, как я ее обожаю. Слова могут быть искренними или неискренними, но 50 рублей всегда искренни! И за эту готовность заплатить их дорого отдашь! Простите, что хвастаюсь — Вам что, Вы пятнадцать книг написали (а я, может, всего пятнадцать прочитала по-настоящему). Мой американский кузен написал книгу «Большевики приходят к власти», так он, кажется, в Америке не распродал и трех экземпляров, у нас же, говорит, если бы продавал по пятьдесят копеек, то стал бы миллионером — так у него все рвали ее из рук. (Не читая рвали). А никаких сенсаций в ней нет.

Ну, кажется, я отняла у вас все то время, которое полагалось не только на чтение моего письма, но и на ответ мне!

Love,

Н.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

(Осень 1980 г.)

Дорогой Ефим Григорьевич,

получила Ваше письмо, но, пока тут Лева³²⁴, я все же избегаю писать «в ящик»³²⁵. А там — как будет! Вы просите найти Лева заменителя³²⁶. Я в таком деле могу предложить только самое себя. Это сейчас слишком серьезно, чтобы на кого бы то ни было это взваливать. Лева еще, конечно, мыслит в этой роли Инну Варламову, которая вошла во все дела их семьи, ну, и я предлагаю что-то разделить с ней. Вообще, как Вы в подробностях узнаете от него, все ухудшается и усложняется на глазах.

Большое спасибо за предложение лекарств, но у меня благодаря Вам есть запас, а срок действия ограничен, так что пока его посылать не надо. А вот если пришлете экземпляры и вырезки откликов, то это мне, конечно, будет крайне приятно. Еще и номер журнала³²⁷, если есть. Неужто кто-то прямо-таки спер по дороге? Но отчасти это и приятно.

Леонид Ефимович³²⁸ сейчас в Белой Церкви и не могу с ним поговорить. Но по-моему он всем доволен, хотя вообще у него депрессия и тяжелое состояние физически. У него пока еще на-

дежды на книги здесь, — лежат в двух местах с договорами, так что он не хочет расшифровываться, хотя все прозрачно³²⁹.

Вторую книгу я начала писать, сколько-то написала, но дальше застопорилось. (Кстати: грязная личность³³⁰ пишет, что и впредь был бы рад меня издавать, а Суворина издал бы, но только в той части, которая не выходила в свет). Я пока не решаюсь, так как это связано с архивами, а значит, и с институтом, который давал мне отношения в архивы; один скандал уже получился, с человеком, который все же не был связан заработком³³¹. Мне же за Чехова полагается еще довольно много, да и не только в деньгах дело, хочется свои работы, на которые столько положено, довести до выхода в свет. Писать трудно по разным причинам. Первое — здоровье, которое стабилизировалось на довольно-таки низкой отметке. Дикая утомляемость и проч[ее]. Второе — почему-то нет стимула, а почему — не понимаю, казалось бы, должен быть. Третье. Я полностью в этих новых главах оголилась, раскрылась, хочу сказать больше, чем следует по соображениям такта и деликатности. Ну, к примеру, про Корнея³³². А это явно преждевременно, для печати невозможно.

Вы спрашиваете, чем плохо Л(иснянская) с Л(ипкиным)³³³. Конечно, если они поженились, то это их дело, но читать их вдвоем из номера в номер³³⁴ мне было нудно. Это не по-журнальному. Кроме того, Инна одаренная, а уж он, простите, только за компанию. И при Ахматовой, и при Заболоцком всегда все мучились от того, что он требовал считать себя поэтом. Вы пишете о Левке Гинзбурге³³⁵, что он через перевод создавал в русском языке вольность. А что делал Липкин? Через всех народов воспевал хозяев и дико богател на этом. Так что если он к семидесяти годам опомнился и перестал, то я не могу сказать, что я уж в таком диком восторге и готова читать его и зачитываться им без конца. Если создан журнал русской культуры, то неужто и впрямь больше печатать некого. А видимо это так, раз Вы пишете: «Найдите лучше».

За это время я прочла еще немало номеров. Правильно я написала Вам, что Дора Штурман³³⁶ — это самое яркое и сильное в журнале, по сути дела она воплощает публицистику. Прозу читать, увы, не хочется, а лучшее — это Горенштейн, тут мы с Вами, вероятно, сойдемся. Все Ваши маленькие вступления интересны, удачны, особенно именно к Горенштейну³³⁷. Да, когда я ругалась по поводу опечаток, то забыла ругнуться по поводу измененного названия. «Горькая судьба поэта»³³⁸ — что за сопливая гадость. Уверена, что это не Вы, а Витька Перельман³³⁹ сделал. Пишут обо

мне как о женщине, способной реабилитировать целый жанр³⁴⁰, а названия, выходит, сама себе придумать не могу. «Я — царь», клянусь, это было мое название. А «Горькая судьба» — это Помяловский или Глеб Успенский³⁴¹, но не я. Вы, вероятно, знаете хохму из мира пушкинистов: за что люблю я Пушкина? За то, что он не Бедный, не Голодный, не Горький, не Скиталец, а прочно стоит на своих ногах.

Кот уже не в больнице, но еще в плохом виде. Надо учиться ходить на костылях, а это не ладится. Нога болит. Я недавно звоню по телефону, жалуясь, что у меня болят кости (это, кстати, одно из тяжелых последствий того лекарства, в котором я нуждаюсь по астме). А Кот — «нога болит». Я говорю: наш разговор идет под девизом «то кости лязгают о кости»³⁴².

Обнимаю. До скорой (Вашей!) встречи со Львами. А мы — в горе из-за их отъезда...

Ваша,
НР.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

28 января 1981 г.

Милый и дорогой Ефим Григорьевич,

Вы сами представляете себе, конечно, как Вы меня осчастливили под Новый год. Спасибо Вам и кроме спасибо еще и низкий поклон за то, что Вы сделали для издания этой книги³⁴³. Вот уж поистине можно сказать, что история этого не забудет. Свою миссию текстолога Вы с Симой³⁴⁴, насколько я могу судить, выполнили блестяще, ибо есть главное, результат — книга, которая не производит впечатление раздерганных глав, это целое, законченный сюжет. Все примеры неясностей, вроде письма матери Штрума³⁴⁵, оговорены в предисловии, но в общем, они мало что портят, не имеет значения, в конце концов, где эта вставная новелла стоит. Потрясена я, конечно, всем этим чудом вместе. Липкин говорит, что когда Гроссман собирался идти в «Знамя», он дал ему роман с просьбой отметить места, криминальные с его точки зрения. Липкин отметил эти места, и Гроссман, не затеяв спора ни по одному месту, все эти места убрал. Выходит, в редакции был уже цензурованный им самим экземпляр, а это уже другой текст, где все есть (слава богу). В предисловиях есть несколько мелких неточностей, но черт с ними. Пока я давала почитать

только двум людям, сейчас даю Инне Варламовой. Приглашала к себе — посмотреть — Катерину Васильевну Заболоцкую, но домой ей не дала, считая, что она уже читала, пусть читают те, кто не читал. Что же касается вдовы³⁴⁶, то исполнить Вашу просьбу — отдать книгу ей — я не могу. Вы кое-чего не знаете, в частности, не знаете, к примеру, того, что Гроссман записал свой разговор с Сусловым³⁴⁷. И эта запись заняла на машинке 80 страниц (хорошо бы для «Памяти»!³⁴⁸), а эта, с позволения сказать, вдова, найдя в бумагах Гроссмана после его смерти эту машинопись, позволила Ильину³⁴⁹, чтобы он ее забрал. Ильин немедленно прислал машину с заведующей секретной частью — и будь здоров³⁵⁰. Вот Вам ее облик — для начала, дальше не буду распространяться. Она издания романа не хотела, а хотела, чтобы здесь переиздавали его патриотические сочинения. Екатерина Васильевна³⁵¹, конечно, совсем другая — она описана в виде Марьи Ивановны Соколовой (тоже, я бы сказала, в идеализированном виде). Кстати, я спросила ее, читала ли она то, что я написала о Василии Семеновиче. Она ответила кратко: «Читала. Мне не понравилось». Я растерялась и сказала: «Вот тебе и на!». Волею судеб я оказалась летописцем ее мужей — трудно было думать, что ей это понравится, так что разговор она со мной вела больше о моем здоровье. Но я была обескуражена. Воспоминаниями о Заболоцком она недовольна, по ее словам, в том смысле, что я «из полслова сделала вывод», но тут уж извини-подвинься.

А рецензии до меня так и не дошли, кроме Закса³⁵² — Вы послали их? Уезжая, Володя Войнович³⁵³ спросил меня, какие у меня поручения, я просила, во-первых, об экземплярах книги, во-вторых, об отзывах, в-третьих, просила, если книга хорошо распродалась, прислать мне что-нибудь материальное, но, конечно, об этом последнем просила без нажима. Не знаю, как «грязная личность» на это посмотрит.

Весь вид Аэропорта изменился — другие люди ходят, другие машины подъезжают... Скучно. Была я 2 января на похоронах Надежды Яковлевны³⁵⁴ — была изумительная панихида, хор пел и в церкви, и на могиле, где свечи среди живых цветов. Перед этим, 30 декабря, хоронили Верочку Острогорскую³⁵⁵. Ее диагноз, оказывается, был не лимфогранулема, а лимфосаркома, то есть самое страшное, что бывает. Нюня Рунина похоронила накануне своего брата Додика, эта двойная смерть³⁵⁶ ее сделала совсем старушкой. Печальные новости и о Григории Абрамовиче — он совсем, как он пишет, свалился с копыт, заболел надолго, из университета пришлось уйти уже насовсем.

Что же сообщить Вам более веселое? Ей-богу, ничего нет у нас веселого, летаргия жуткая. Я купила себе цветной телевизор — в поисках красочных впечатлений, и по телевизору совершенно мертвый Андроников рассказывает о создании музея Пушкина. Голос его мертвый, руки держит под столом, чтоб не видно было, как они дрожат, дико исхудал, но оживился, когда говорил о том, что вдова И. Н. Розанова³⁵⁷ передала музею массу книг. «Даром! — вопил он. — Даром, безвозмездно!» Но, между прочим, не так уж безвозмездно, а чтобы о ней говорил по телевизору Андроников. (...)

Вот Вам куча сплетен, пожалуй, даже многовато на одно письмо.

Еще раз огромное спасибо и от меня, и от всех, кто читал и будет еще читать роман Гроссмана.

С любовью,

НР.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

27 октября 1986 г.

Дорогой Ефим Григорьевич,

вчера совершенно случайно, из объявления узнала о смерти Екатерины Федоровны³⁵⁸. Общие друзья, видимо считают, что мне не надо рассказывать о смерти от рака. (Смесь деликатности и глупости). Бедная Катя, бедный Вы. И как больно узнавать о смерти далеких — ведь думалось, что все впереди. А оказалось, все позади. Только те воспоминания, которые есть — будут, и нового уже не будет. Вы и Катя в моей жизни сыграли важную роль; так получилось. И я оказалась к Вам очень привязана. Еще чего-то ждала, думала — вдруг в Париже окажусь. Да, очень, очень грустно.

Не могу не сообщить — с хихиканьем — московскую новость: 21-го секретариат С(оюза) п(исателей) восстановил в членах Липкина³⁵⁹. Если говорить интеллигентно, то я всегда воспринимала его как человека незнакомой мне восточной ментальности. Если же говорить по-простому, то я считала его хитрожопым. И не ошиблась. Из жизни он как-то сумел невероятно много вытолкнуть. Этот маленький толстяк — сгусток бешеной энергии и ума. Катя Гроссман³⁶⁰ (со слов отца) считает, что мои отношения с Заболоцким порушил Липкин. Приехав из Малеевки, где мы³⁶¹ с

ним были одновременно, Липкин пришел к Гроссманам³⁶² и, якобы желая успокоить Екатерину Васильевну, сказал, что Николай Алексеевич и Наталья Александровна живут как два голубка. Екатерина Васильевна вышла на кухню, Гроссман сказал: «Что ты наделал? Зачем ты это говорил?» В ней взыграла ревность. Да и сейчас все это живо в ней — недавно Бен Сарнов³⁶³ общался с Заболоцкими и все они в один голос на полном серьезе его убеждали, что весь цикл «Последняя любовь» посвящен Екатерине Васильевне. Чудаки! Но и не только чудачки. Выпустили они трехтомник, включили в него всякую чепуху, застольные шутки, а стихи, которые опубликовали мы³⁶⁴, не включили. Кто-то мне сказал: «Это же глупо!». Ну нет, это как раз не глупо, это даже умно, но это некрасиво. А при этом все мы гуляем с детьми в одном садике. Одна из внучек Заболоцкого, дочь Наташи³⁶⁵ и Коли Каверина³⁶⁶, Катя, получила квартирку в моем подъезде; она замужем за внуком моей приятельницы, ранее заведующей отделом рукописей ГБЛ, Житомирской³⁶⁷. Все очень любезны друг с другом. Екатерина В(асильевна), всегда очень сердечно спрашивает о здоровье.

Читала, что Вы очень здорово выступили с переводами на французский. Вложили мощный кирпич в ихнюю культуру. Кстати, у нас прошел слух, будто Любимову, Некрасову, Тарковскому³⁶⁸ и — забыла — кому-то четвертому предложили вернуться, но они не захотели, так ли это?

О смерти Бухштаба год назад Вы, наверно, знаете. Я очень оплакивала его. Григорий Абрамович стал очень слаб, оставил работу, у него депрессия, а антидепрессанты запрещены из-за глаукомы. С Ириной³⁶⁹ у меня появились совсем новые общие интересы — она когда-то коллекционировала (нэцкэ, стекло). А я в последние годы увлеклась коллекционированием. И преуспела. У меня оказались хоть и не крупные способности, но нужного качества, в том числе упорство, одержимость, а на днях меня даже назвали волкодавом, чему я была очень рада. Собираю я русское (в основном) декоративно-прикладное искусство. И за несколько лет построила коллекцию, которая сейчас поставлена на учет в министерстве культуры. Тем самым я приобрела оригинальный статус коллекционера. Возможно, что у нас будут аукционы.

Растет у меня очаровательная внучка, добрая, талантливая. Ее отец Е. Рейн³⁷⁰ стал обыкновенным еврейским папой (чего никто не ожидал). Она его завоевала. Недавно он ездил в Л(енинград) на пятидесятилетие Кушнера³⁷¹ в «Астории», вел банкет, как человек, одинаково знающий москвичей и ленинградцев.

Все наши дела, смена литературного руководства и пр(о)ч. у вас хорошо известны. Я не думаю, что играет большую роль эта смена. К примеру, Гришка Бакланов³⁷² получил «Знамя», но зато С. Залыгину отдали «Новый мир»³⁷³ и все более или менее симметрично. «Нева» будет печатать Дудинцева³⁷⁴, которого ждали 20 лет; когда мне сказали, что в марте «Н(овый) мир» опубликует полностью «Реквием»³⁷⁵, а кто-то еще Гумилева³⁷⁶, я поняла, что мне можно не подписываться ни на что. «Спохватились!» — писал Аверченко³⁷⁷ по поводу оды «На взятие Казани Иваном Грозным», в «Бумеранге»³⁷⁸.

Обнимаем Вас, сердечные приветы Вашим дочерям. Надеюсь, младшая уже тоже стала самостоятельна? Вас тут никто не забыл, имейте в виду.

Ваша,
НР.

Н. А. Роскина — Е. Г. Эткинду

11 февраля 1987 г.

Дорогие!

Как раз в эти дни особенно приятно вам писать, ведь какая радость, какое событие! — ребята вышли на свободу!³⁷⁹

Конечно, пишите подробнее! Собственно, какой вред теперь можно мне причинить? Я ведь уже совершенно неработоспособна. Сейчас, возможно, Гослит и станет переиздавать Суворина, ибо он радует не лучшие слои общества, но я буду рада, если меня в какой-то форме упомянут и сколько-то компенсируют, но работать я не могу. Да и не хочу. Все мои интересы сейчас — это коллекционирование прикладного искусства, и в этой области я кое-чего достигла, поскольку мою коллекцию сейчас ставит на учет министерство культуры (это я делаю в выполнение закона, на который другие коллекционеры плюют: посмотрим, кто будет смеяться последним). Поэтому единственная форма нашей переписки, которую я себе представляю, такова: Е(фим) Г(ригорьевич) с вами считается, — говорят мне во Дворе чудес³⁸⁰ за чашкой кофе, которого в другом месте не достать, — так уговорите его вернуться, мы ему найдем кафедру еще получше той, где он работал. Таково сегодняшнее настроение. Софа Донская³⁸¹ собирается в Ленинград навестить подруг и так далее. И многие, как я понимаю, просятся обратно насовсем. Ну, а некоторым все-та-

ки хочется туда. Вот, собственно, к чему сводится плюрализм — слово, которое почему-то безумно модно и немножко смешно, так как начинается на «плю» и напоминает «плевать».

То, что сейчас сделано, сделано не для меня. Это мне не нужно — Ходасевича³⁸² я знаю наизусть вот уже полвека, Набокова³⁸³ я давно прочитала, а то, что по этому поводу думает Вознесенский³⁸⁴, мне абсолютно неинтересно. А вот нужно ли это молодежи (в массе), я не знаю. Не уверена. Что называется, проехали. Так что ждем того, что напишут наши собственные писатели о том, что происходило после Ходасевича. И как это пройдет. Сопротивление огромное, мощное. Но Горбачев — это силища! Западная печать мне, конечно, почти не попадает, но если это происходит, то бросается в глаза ее косность, оторванность от происходящего, высокомерие (воображают, что прекрасно все понимают). Да сейчас любой номер, к примеру, «Советской культуры» дает такой бой, что любо-дорого. Но так: «Советская культура» пишет о разрушении памятников, о безграмотной реставрации, о непоправимом ущербе, а «Вечерняя Москва» в тот же день сообщает: «Год от году хорошеет наша столица». Опять же плюрализм. Но тонус у интеллигенции очень поднялся, особенно, конечно, у тех, кто физиологически оптимист или чье положение улучшилось. Вот, к примеру, Володя Корнилов³⁸⁵, естественно, рад, что возвращается к нормальной литературной жизни.

Сегодня у нас ожидается гость — А. Кушнер, которого приведет к нам Рейн. Представьте, Рейн стал самым настоящим папой — это я окончательно поняла на днях, когда он, пригласив всех нас на свой день рождения, назвал меня тещей. «Жены, — сказал он, — были у меня всякие, а вот тещи у меня все были хорошие». Еще мне очень понравилось, как он высказался в одной компании: «Дети у меня все хорошие, все они прекрасно живут со своими мамами, и я живу с мамой».

У Бялых — мрачно, Григорий Абр(амович) ходит, держась за стены. А у Ирины был, представляете, инсульт. А ведь она еще далеко не старушка. Сашки изменились, устали от людей. (...) Тем не менее, они всегда в «Иллюзионе», когда там переводит моя Ира, успевают читать и помогать, сочувствовать, хотя и не в той уж мере, как раньше.

Я получила однокомнатную квартиру в нашем же подъезде, на одной площадке с Алей Яковлевной, а эта двухкомнатная остается детям. Теперь у меня два телефона — на прежней квартире 151-86-52 и на новой 151-24-13. Правда, у меня не прошел шок

от отключения, которое мне когда-то закатали, так что сообщаю телефон на крайний случай или для тех, кто приедет в СССР. А я верю, что многие приедут! Помню, как Львы на аэродроме кричали нам: «Мы вернемся, мы вернемся!» А я тогда не верила. Теперь верю³⁸⁶.

Всем привет и наша память, любовь.

Ваша,

НР.

(P. S.)

Чуть не забыла. Звонит мне на днях Виленкин³⁸⁷ и говорит, что ему поручен сборник воспоминаний об Ахматовой³⁸⁸ и он хочет включить мои, правда, за неимением нужной площади, в отрывках. Он когда-то читал их в рукописи и они ему понравились. Я говорю: а Вы в курсе, что они ведь уже публиковались? — Да, в курсе, и не вижу никаких препятствий. А Виталий Яковлевич не какой-нибудь авантюрист. Я сказала: посылаю машинопись, режьте, как хотите, теперь уже это не имеет значения. Он позвонил и сказал, что берет чуть меньше половины и называет: «Из воспоминаний». Вообще-то уже было это «из», а теперь будет «из из из». Неважно. Много пространства, конечно, займут всякие боссы, которые побеседовав разок, уже все записали и суют.

Примечания

¹ Томас Густав Виннер (р. 1917) — американский славист, литературовед.

² Речь идет о мемуарной рукописи Н. Роскиной, переправленной ею за границу и изданной позже при участии Е. Г. Эткинда в издательстве YMCA Press, руководимом французским славистом Никитой Алексеевичем Струве (р. 1931): Наталия Роскина. Четыре главы. Paris, 1980. Четыре главы — это воспоминания о поэтах Анне Андреевне Ахматовой (1889—1966) и Николае Алексеевиче Заболоцком (1903—1958), писателе Василии Семеновиче Гроссмане (1905—1964) и литературоведе Науме Яковлевиче Берковском (1901—1972).

³ Роман Анны Герц «К вольной воле заповедные пути» — пасквиль о жизни московских диссидентов — печатался в № 120—124 «Нового журнала». См. разгромные отклики на него Л. Богораз и Н. Горбаневской в журнале «Континент» № 12.

⁴ Речь идет о романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Главы 40, 41, 51, 52 были опубликованы в журнале «Континент» (1975. №5) как главы из второй книги романа В. Гроссмана «За правое дело»; главы 70, 71, 72 (1976. №7) как главы из его романа «Жизнь и судьба». Одна из глав мемуаров Н. Роскиной посвящена В. Гроссману и трагической истории ареста романа. Ме-

муары Н. Роскиной относятся к тому времени, когда считалось, что все экземпляры рукописи романа «Жизнь и судьба» были арестованы.

⁵ Евгений Терновский — знакомый Н. Роскиной по диссидентским кругам.

⁶ Александр Аркадьевич Галич (1918—1977) — поэт, драматург. В 1971 г. был исключен из Союза советских писателей за сочинение и исполнение песен «антисоветского содержания». В 1974 г. эмигрировал, жил в Европе. Следует отметить, что по документам А. Галич родился 19 октября 1918 г., но он сам всегда называл днем своего рождения 19 октября 1919 г.

⁷ Имеются в виду воспоминания Н. Струве: Восемь часов с Анной Ахматовой // Ахматова А. Сочинения / Общая ред., вступ. ст., свод разночтений и примеч. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Washington: D. C. Inter-Language Literary Associates, 1965.

⁸ Речь идет о записках эмигрировавшего в 1974 г. из Советского Союза и жившего в Париже писателя Виктора Платоновича Некрасова (1911—1987) «Взгляд и нечто», напечатанных в журнале «Континент» в № 10 и 13.

⁹ Из стихотворения Ф. Тютчева «Из края в край, из града в град...»

¹⁰ Ира — Ирина Валентиновна Роскина (р. 1948) — филолог, дочь Н. А. Роскиной.

¹¹ Галина Александровна — мать жены А. А. Галича Ангелины Николаевны, Фанни Борисовна — мать Галича, остававшиеся в Москве после отъезда Галичей в эмиграцию.

¹² Статья Е. Эткинда «Н. Заболоцкий. „Прощание с друзьями“» опубликована в сборнике «Поэтический строй русской лирики» в 1973 г.

¹³ Е. Эткинд печатался в № 1—8 (1959—1971) сборника «Мастерство перевода».

¹⁴ Катя — Екатерина Федоровна Зворыкина (1918—1986) — жена Е. Г. Эткинда, филолог.

¹⁵ Григорий Абрамович Бялый (1905—1987) — литературовед, специалист по русской литературе второй половины XIX в., профессор филологического факультета ЛГУ.

¹⁶ Борис Яковлевич Бухштаб (1904—1985) — литературовед, специалист по русской литературе второй половины XIX в., библиограф.

¹⁷ Ирина Григорьевна Резниченко — жена Г. А. Бялого.

¹⁸ Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904—1987) — литературовед, специалист по русской литературе начала XX в., профессор филологического факультета ЛГУ.

¹⁹ Сашенька — Александра Александровна Раскина (р. 1942) — лингвист, дочь близких друзей семьи Эткиндов писателей Фриды Абрамовны Вигдоровой (1915—1965) и Александра Борисовича Раскина (1914—1971).

²⁰ Воспоминания о Заболоцком / Сост. Е. В. Заболоцкая, А. В. Македон. М., 1977.

²¹ Никита Николаевич Заболоцкий (р. 1932) — сын Н. А. Заболоцкого, биолог.

²² Николай Корнеевич Чуковский (1904—1965) — писатель, переводчик, сын К. И. Чуковского.

²³ Семен Израилевич Липкин (р. 1911) — поэт и переводчик.

²⁴ Из стихотворения Н. А. Заболоцкого «Лебедь в зоопарке».

²⁵ Екатерина Васильевна Заболоцкая (1906—1997) — вдова Н. А. Заболоцкого. См. воспоминания Н. А. Роскиной о Н. А. Заболоцком.

²⁶ Имеется в виду Лев Толстой. Е. Г. Эткинд предпринимал шаги по приглашению Г. А. Бялого в Париж на конференцию, посвященную пятидесятилетию со дня рождения Л. Н. Толстого. Как и предполагала Н. А. Роскина, шаги эти не увенчались успехом. Конференция состоялась в 1978 г. (см. примечание 92 к письму Е. Г. Эткинда от 31 декабря 1978 г.), но вместо Г. А. Бялого на нее был послан Б. И. Бурсов.

²⁷ Сашки — А. А. Раскина и ее муж, математик Александр Дмитриевич Вентцель (р. 1937), далее упоминается их дочь Анюта (р. 1967).

²⁸ Лев Зиновьевич Копелев (1912—1997) — писатель, германист. В марте 1977 г. был исключен из Союза советских писателей за правозащитную деятельность. «Малый» он, видимо, по сравнению со Львом, упомянутым выше, — Толстым.

²⁹ Аля Яковлевна Савич (1904—1991) — вдова писателя, переводчика с испанского языка Овадия Герцевича Савича (1896—1967).

³⁰ Речь идет об отключении у Роскиных телефона, видимо, из-за звонка А. А. Галича, жившего в то время в Мюнхене и работавшего на радиостанции «Свобода». Хотя разговор А. А. Галича с Ириной Роскиной не имел никакого отношения к политике, на телефонном узле было сказано, что «телефон отключен по распоряжению КГБ за разглашение государственной тайны». Никакого другого наказания однако не последовало, телефон был включен через полгода. У Копелевых телефон был отключен еще в январе 1977 г., а весной 1978 г. эта «мера наказания» была применена к писательнице Инне Густавовне Варламовой (1923—1990) — см. письмо Н. А. Роскиной, помеченное апрелем 1978 г.

³¹ А. А. Галичу.

³² Речь идет о Н. А. Струве и книге Н. А. Роскиной «Четыре главы».

³³ То есть на публикации отдельным изданием.

³⁴ Львы — Л. З. Копелев и его жена, литературовед Раиса Давыдовна Орлова (1918—1989). Копелевы были близкими друзьями Эткиндов и Н. А. Роскиной.

³⁵ Смерть А. А. Галича.

³⁶ Михаил Дмитриевич Вентцель (1939—1990).

³⁷ Елена Сергеевна Вентцель (р. 1907) — математик и писатель (псевдоним И. Грекова). Мать А. Д. и М. Д. Вентцелей. Кот — ее домашнее прозвище.

³⁸ Ранние пушкинские штудии Анны Ахматовой: (По материалам архива П. Лукницкого) // Вопросы литературы. 1978. № 1.

³⁹ Имеется в виду стихотворение «малороссиянки Милицы, тринадцатилет», которое Н. А. Роскина приводит в воспоминаниях о Н. А. Заболоцком. Оно было напечатано во втором сборнике поэтов-будетлян «Садок Судей» (1913), где было опубликовано, как вспоминает Бенедикт Лившиц в «Полутораглазом стрельце», «по настоянию» поэта Велимира Хлебникова.

⁴⁰ Для книги «Четыре главы». Здесь и далее в этом письме «друзья» — воспоминания Н. А. Роскиной.

⁴¹ Имеются в виду фотографии для иллюстрации воспоминаний Н. А. Роскиной. В конце концов книга «Четыре главы» вышла без иллюстраций.

⁴² Н. А. Струве. См. начало письма Е. Г. Эткинда от 27 февраля 1978 г.

⁴³ Эткинд Е. Г. Записки незаговорщика. London: Overseas Publications Interchange, 1977.

⁴⁴ См. примеч. 30 к письму Н. А. Роскиной от 30 ноября 1977 г.

⁴⁵ Профессор-славист Карл Проффер и его жена Элендея, владельцы американского издательства Ардис, очень подружившиеся с Копелевыми («львами») и И. Г. Варламовой.

⁴⁶ Звонки Г. А. Бялого и его жены из Ленинграда.

⁴⁷ Отсылка к письму Н. А. Роскиной от 9 ноября 1977 г.: «Некрасов пишет о жизни в Париже так идиллически — гуляет, мол, вещи на столе лежат, а другие воют и задыхаются...»

⁴⁸ Переиначенная строчка «Тот, кто постоянно ясен, — тот, по-моему, просто глуп» из стихотворения В. Маяковского «Домой».

⁴⁹ Том Виннер, см. начало письма Н. А. Роскиной от 9 ноября 1977 г.

⁵⁰ Розанов В. В. Уединенное. СПб: Тип. А. С. Суворина, 1912.

⁵¹ «Литературная газета» опубликовала статью Н. А. Роскиной «ИзвЕните за ошибки», открыв сю дискуссию по проблемам грамотности и преподавания русского языка в школе.

⁵² Имеется в виду желание Н. А. Роскиной напечатать мемуары отдельным изданием, а не в журнале.

⁵³ В книге «Четыре главы».

⁵⁴ Бориневич — фамилия Ирины Роскиной по отцу.

⁵⁵ Жирмунский В. М. Теория литературы — Поэтика — Стилистика. Л., 1977.

⁵⁶ Клюев Н. А. Стихотворения и поэмы. Л., 1977 (Библиотека поэта. Малая серия).

⁵⁷ В магазинах «Березка» дефицитные товары продавались иностранцам за валюту или советским гражданам за так называемые сертификаты, которые нужно было получать вместо валюты. Гражданам Советского Союза запрещалось иметь валюту на территории своей страны.

⁵⁸ Переиздание сборника А. Ахматовой «Стихотворения и поэмы» в Большой серии «Библиотеки поэта».

⁵⁹ Фотография Н. Я. Берковского предназначалась для иллюстрации книги «Четыре главы».

⁶⁰ Фотографии для книги мемуаров Н. А. Роскиной.

⁶¹ Книгу мемуаров Н. А. Роскиной.

⁶² То есть корректур.

⁶³ «Записки незаговорщика» Е. Г. Эткинда вышли с большим количеством опечаток.

⁶⁴ См. письмо Н. А. Роскиной, датированное апрелем 1978 г.

⁶⁵ В другом месте — в эмиграции.

⁶⁶ Известная книга Н. Я. Берковского «Романтизм в Германии» (Л., 1973), вышедшая после смерти автора, открывалась его портретом.

⁶⁷ Фотографий В. С. Гроссмана для иллюстрации книги «Четыре главы».

⁶⁸ Нельзя с уверенностью сказать, кого Е. Г. Эткинд имеет здесь в виду.

⁶⁹ Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912) — русский публицист, литератор, издатель. «Дневник Алексея Сергеевича Суворина» с текстологической расшифровкой Н. Роскиной, (подгот. текста Д. Рейфилда и О. Е. Макаровой) был выпущен совместно издательством «Гарнет Пресс» в Лондоне и издательством «Независимая газета» в Москве в 1999 г. — через десять лет после смерти Н. Роскиной.

⁷⁰ Дневник А. С. Суворина. Редакция, предисловие и примечания Мих. Кричевского. М.; Пг., 1923.

⁷¹ То есть, задержите печатание книги.

⁷² А. А. Галича.

⁷³ Домработница Вентцелей — Раскиных.

⁷⁴ День рождения А. А. Раскиной.

⁷⁵ Дочери Е. Г. Эткинды — Маша (Мария Ефимовна Эткинд-Шаффрир; р. 1946) и Катя (Екатерина Ефимовна Эткинд; р. 1949).

⁷⁶ Мать писателя Константина Симонова, Александра Леонидовна, оказалась соседкой Эткиндов по обеденному столу в Доме творчества писателей в Малеевке.

⁷⁷ За неимением денег Н. А. Роскиной приходилось подрабатывать вязанием. Шерсть в те годы было трудно купить, но Роскина имела возможность покупать мохеровую шерсть в магазине «Березка» на сертификаты, которые получила в свое время от американского дяди. Шлем — модный в то время фасон закрывающих шею вязаных шапочек. Все это было довольно опасно: и за сертификаты могли посадить, и за вязание, и за торговлю, и за наличие американского дядюшки. При этом то лето — доэмигрантская эпоха — вспоминалось ностальгически.

⁷⁸ То есть книга мемуаров Н. А. Роскиной еще будет опубликована.

⁷⁹ Из стихотворения Б. Пастернака «Бальзак»:

Париж в золотых тельцах, в дельцах,
В дождях, как мшенье, долгожданных.
По улицам летит пыльца.
Разгневанно цветут каштаны.

⁸⁰ «Бывали хуже времена, но не было подлей» — из поэмы Н. Некрасова «Современники» (часть первая: «Юбиляры и триумфаторы»).

⁸¹ А. Я. Савич, перед войной долго жившая с мужем в Париже, считалась в доме Роскиных экспертом по вопросам заграничной и эмигрантской жизни.

⁸² Петр Васильевич Палиевский (р. 1932) — литературовед с отчетливо выраженной славянофильской концепцией. В то время заместитель директора Института мировой литературы АН СССР (ИМЛИ). Н. А. Роскина сотрудничала с ним при подготовке академического издания А. П. Чехова, готовившегося в ИМЛИ.

⁸³ Алексей Васильевич Текучев (1903—1987) — лингвист, автор «Грамматико-орфографического словаря».

⁸⁴ Илья Олегович Фояков (р. 1935) — поэт, переводчик.

⁸⁵ Нора Яковлевна Галь (1912—1991) — переводчица, откликнувшаяся на дискуссию в «Литературной газете» в связи с публикацией статьи Н. А. Роскиной «ИзвЕните за ошибки».

⁸⁶ Александр Иванович Овчаренко (1922—1988) — литературовед, специалист по творчеству М. Горького, зав. Сектором по изданию Полного собрания сочинений М. Горького в ИМЛИ. Его статья «Размышляющая Америка» была опубликована в «Новом мире» (1978. № 12) в разделе «Дневник писателя».

⁸⁷ Александр Рабинович (р. 1934) — американский советолог, директор Восточноевропейского института в Блумингтоне, штат Индиана, автор ряда книг о революции 1917 г. (в частности, о роли петроградских советов); сын Евгения Исааковича (Юджина) Рабиновича (1898—1973), американского биохимика и участника Пагуошского движения ученых за мир, двоюродного дяди Н. А. Роскиной по материнской линии.

⁸⁸ Видимо, национальные проблемы.

⁸⁹ Василий Васильевич Розанов (1858—1914) — русский писатель, публицист, религиозный философ.

⁹⁰ Старинная пословица.

⁹¹ То есть с П. В. Палиевским.

⁹² Столкновение Е. Г. Эткинда с П. В. Палиевским произошло в Париже на конференции, посвященной столетию Льва Толстого. Е. Г. Эткинд выразил протест по поводу формы, в которой П. В. Палиевский возразил немецкому участнику конференции, говорившему о печальной судьбе потомков Толстого в СССР. П. В. Палиевский не стал отвечать Е. Г. Эткинду и демонстративно покинул зал заседаний. См. также письмо Е. Г. Эткинда от 10 февраля 1979 г.

⁹³ Сергей Александрович Макашин (1906—1989) — литературовед, совместно с И. С. Зильберштейном многолетний редактор издания «Литературное наследство», где Н. А. Роскина работала с начала 1950-х до начала 1960-х гг.

⁹⁴ Имеется в виду издание «Четырех глав».

⁹⁵ Эткинд Е. Г. Материя стиха. Paris, Institut d'Etudes Slaves, 1978.

⁹⁶ В 1978 г. в Ленинград приезжала в качестве французской туристки жена Е. Г. Эткинда Е. Ф. Зворыкина. Саша — А. А. Раскина — ездила в Ленинград специально, чтобы повидаться с ней.

⁹⁷ В журнале «Новый мир» (1978. №9) была опубликована повесть И. Грековой «Кафедра» — см. ответное письмо Н. А. Роскиной от 14 января 1979 года.

⁹⁸ То есть А. С. Суворина.

⁹⁹ Ответ на фразу в письме Н. А. Роскиной от 6 декабря 1978 г.: «Ну, дневник Суворина не пропадет...».

¹⁰⁰ Жена С. А. Макашина.

¹⁰¹ «Материя стиха».

¹⁰² Борис Леонтьевич Сучков (1917—1974) — литературовед, одно время директор ИМЛИ.

¹⁰³ Георгий Михайлович Фридендер (1915—1995) — литературовед, специалист по Достоевскому, друг юности Е. Г. Эткинда.

¹⁰⁴ См. письмо Е. Г. Эткинда от 31 декабря 1978 г.

¹⁰⁵ Речь идет об отказе (временном) от публикации книги «Четыре главы».

¹⁰⁶ Лев Васильевич Успенский (1900—1978) — филолог-лингвист, автор научно-популярных книг о языке.

¹⁰⁷ Семен Иванович Шуртаков (р. 1918) и Василий Ефимович Субботин (р. 1921) — советские писатели, близкие к «деревенщикам».

¹⁰⁸ Н. С. Ашукин и М. Г. Ашукина — составители книги «Крылатые слова».

¹⁰⁹ Антисемитизм.

¹¹⁰ Борис Аронович Бялик (1911—1988) — литературовед, специалист по творчеству М. Горького.

¹¹¹ Речь идет о книге: Палиевский П. В. Пути реализма: Литература и теория. М., 1974. В этой книге автор анализирует художественное произведение как эстетическую категорию на примере повести «Хаджи Мурат».

¹¹² Имеется в виду повесть И. Грековой — см. примеч. 97 к письму Е. Г. Эткинда от 31 декабря 1978 г.

¹¹³ Н. А. Роскина имеет в виду, что некоторые детали и характеры в повести «Кафедра» созданы автором на основе собственной семьи.

¹¹⁴ Вера Федоровна Панова (1905—1973) — писательница.

¹¹⁵ Владимир Викторович Жданов (1914—1981) — зам. главного редактора «Краткой литературной энциклопедии».

¹¹⁶ Мстислав Борисович Козьмин (р. 1920) — литературный критик.

¹¹⁷ Виталий Михайлович Озеров (р. 1917) — литературовед, в то время редактор журнала «Вопросы литературы».

¹¹⁸ Георгий Моисеевич Марков (1911—1991) — писатель, первый секретарь правления Союза советских писателей с 1971 г.

¹¹⁹ Константин Александрович Федин (1892—1977) — писатель, председатель правления Союза советских писателей.

¹²⁰ Борис Павлович Козьмин (1888—1958) — отец М. Б. Козьмина, историк.

¹²¹ В Дубултах находился дом творчества писателей, куда было не так-то легко получить путевки, а Л. З. Копелев был уже к тому времени исключен из Союза советских писателей (Р. Д. Орлова была исключена из СП только в 1980 г.).

¹²² Что имеется в виду, не установлено.

¹²³ Н. А. Струве.

¹²⁴ Взгляды Л. З. Копелева по этому вопросу отражены в книге: Копелев Л. Держава и народ: Заметки на книжных полях. Анн-Арбор: Ардис, 1982.

¹²⁵ См. письмо Н. А. Роскиной от 14 января 1979 г., конец первого абзаца.

¹²⁶ Вероятно, эта и следующая цитата — ссылки на какое-то из писем Н. А. Роскиной, либо не сохранившееся, либо не отобранное Е. Г. Эткиндом для публикации.

¹²⁷ Борис Иванович Бурсов (1905—1997) — литературовед, специалист по творчеству Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.

¹²⁸ То есть, против Е. Г. Эткинда. О конфликте Е. Г. Эткинда с П. В. Палиевским см. письмо Е. Г. Эткинда от 31 декабря 1978 г. и примечание к нему.

¹²⁹ Квартира — издательство УМСА — Press, владелец — Н. А. Струве, жильцы — «Четыре главы».

¹³⁰ Гранин Д. А. Два лика: (Заметки писателя) // Новый мир. 1968. № 3.

¹³¹ Имеется в виду, что автор может быть обеспокоен перепечаткой его статьи за границей.

¹³² Анна Дмитриевна Мельман (1916—1984) — переводчик (псевдоним А. Дмитриева), жена писателя Бориса Михайловича Рунина (1912—1994), с которым отец Н. А. Роскиной, литературовед Александр Иосифович Роскин (1898—1941) был вместе в ополчении во время войны. Рунины были хорошими знакомыми как Н. А. Роскиной, так и Е. Г. Эткинда.

¹³³ Дом творчества писателей в Коктебеле.

¹³⁴ Адольф Федорович Маркс (1838—1904) — издатель А. П. Чехова.

¹³⁵ Мария Павловна Чехова (1869—1957) — сестра А. П. Чехова.

¹³⁶ Георгий Петрович Бердников (1915—1995) — литературовед, в то время директор ИМЛИ.

¹³⁷ Весь разговор о текстологии — иносказание по поводу подготовки к печати романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Ср. письма Е. Г. Эткинда от 29 октября 1979 г. и Н. А. Роскиной от 28 января 1981 г.

¹³⁸ Татьяна Григорьевна Цявловская (1897—1978) — текстолог, пушкинист.

¹³⁹ В поликлинику Литфонда.

¹⁴⁰ В ту пору — из-за нехватки продуктов питания — возник институт продовольственных заказов: торговые организации периодически привозили продукты так называемого повышенного спроса на предприятия и в организации. Поскольку члены Союза писателей не имели общего места работы, их прикрепляли к магазинам по месту жительства, где раз в неделю они могли — честно отстояв в очереди — покупать продукты по списку («заказы»).

¹⁴¹ За повесть «На испытаниях» о жизни на военном полигоне в начале пятидесятых годов (Новый мир. 1967. № 7) Е. С. Вентцель (И. Грекова) подверглась жестокой проработке со стороны Политуправления армии, в результате чего ей пришлось уйти из Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского, где она преподавала тридцать лет.

¹⁴² Наташа — дочь Галины Александровны Киселевой (1937—1974), старшей сестры А. А. Раскиной. Г. А. Киселева была учительницей и, находясь со своими учениками в поездке по Западной Украине, погибла в результате несчастного случая.

¹⁴³ Московская Олимпиада 1980 года, на которую должно было приехать много иностранных туристов.

¹⁴⁴ Разрешение публиковать воспоминания из книги «Четыре главы» в журнале «Время и мы», членом редколлегии которого был Е. Г. Эткинд — см. начало письма Н. А. Роскиной от 30 октября 1979 г.

¹⁴⁵ Речь идет о главе об А. Ахматовой из книги «Четыре главы». В советской печати стали появляться разные мемуары об А. Ахматовой.

¹⁴⁶ Глава мемуаров о Н. Я. Берковском имеет более камерное звучание.

¹⁴⁷ Имеется в виду, что если мемуары Н. А. Роскиной выйдут за границу, то она не сможет опубликовать в Советском Союзе дневник А. С. Суворина, но можно, хотя и опасно, опубликовать его за границей.

¹⁴⁸ Николай Николаевич Евреинов (1879—1953) — театральный деятель, в 1920-е гг. эмигрировал во Францию.

¹⁴⁹ Лидия Алексеевна Спиридонова (Евстигнеева) (р. 1934) — литературовед, сотрудница ИМЛИ. Евстигнеева — ее девичья фамилия, которой она не раз пользовалась как псевдонимом. Выступала в печати и как Спиридонова, и как Евстигнеева, и как Спиридонова (Евстигнеева). См. также письмо Е. Г. Эткинда от 21 декабря 1979 г.

¹⁵⁰ Слово «балабос», которое на идиш означает «хозяин», многими употреблялось в качестве эвфемизма для Сталина, в частности, так нередко называли Сталина в компании Эткинда.

¹⁵¹ Е. Г. Эткинд опасается, что будущее сулит полную реабилитацию Сталина и ужесточение режима.

¹⁵² Фотографии к публикации мемуаров Н. А. Роскиной.

¹⁵³ Речь идет об установлении «правильного», неподцензурного текста и издании романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Е. Г. Эткинд готовил роман к изданию вместе с С. Маркишем (см. ниже) — см. письма Н. А. Роскиной от 13 октября 1979 г. и от 28 января 1981 г. и примеч. к ним.

¹⁵⁴ «Большой человек» — роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Обсуждался вопрос, будет ли он печататься с продолжением в нескольких номерах журнала «Время и мы».

¹⁵⁵ Роберт Юнг (1913—1994) — немецко-австрийский публицист, футуролог, автор научно-популярных сочинений, в том числе известной в СССР книги о физиках, создателях атомной бомбы «Ярче тысячи солнц».

¹⁵⁶ Имеется в виду писатель Даниил Семенович Данин (1914—2000), автор ряда книг о людях науки, в том числе книги «Резерфорд» (М., 1967) о знаменитом английском физике Эрнесте Резерфорде (1871—1937). «Немецкие перспективы» — видимо, возможность издания этой (или какой-то другой) книги Д. С. Данина за границей на немецком языке. Д. С. Данин был общим другом Е. Г. Эткинда и Н. А. Роскиной; в молодости он был дружен с А. И. Роскиным и после войны тепло этой дружбы перенес на его дочь.

¹⁵⁷ Имеется в виду публикация мемуаров Роскиной.

¹⁵⁸ Наталья Наумовна Рубинштейн (р. 1938) — филолог. В 1974 г. эмигрировала из Ленинграда в Израиль, в 1975—1978 гг. была литературным редактором и членом редколлегии журнала «Время и мы»; через нее Е. Г. Эткинд передал рукопись Н. А. Роскиной главному редактору журнала «Время и мы» В. Перельману.

¹⁵⁹ Надежда Рабинович — псевдоним Ирины Роскиной. Рассказы напечатаны не были.

¹⁶⁰ Под нотами подразумевается рассказ Надежды Рабинович. Героя одного из ее рассказов звали Дофасоль.

¹⁶¹ «Меркнут знаки зодиака...» — стихотворение Н. Заболоцкого. Речь идет об очерке Н. А. Роскиной о Заболоцком.

¹⁶² Лавка — журнал «Время и мы».

¹⁶³ Н. Н. Рубинштейн стала членом редколлегии другого русского журнала, издававшегося в Израиле, — «22».

¹⁶⁴ В Кельн — родной город немецкого писателя Генриха Белля (1917—1985), автора книги «И не сказал ни единого слова».

¹⁶⁵ К этому времени уже вышел сорок пятый номер журнала «Время и мы» (1979) с публикацией отрывка из романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба» под заглавием «Судьба комиссара Крымова» с предисловием Е. Г. Эткинда «Двадцать лет спустя. О Василии Гроссмане».

¹⁶⁶ Свое предисловие к публикации В. Гроссмана в журнале «Время и мы» Е. Г. Эткинд заканчивает цитатой из воспоминаний о нем писателя Бориса Ямпольского, где тот сравнивает В. С. Гроссмана в годы работы над романом с каменотесом, строящим грандиозный собор.

¹⁶⁷ То есть лекарств.

¹⁶⁸ Для приработки Н. А. Роскина рецензировала «самогек» в газете «Сельская жизнь» и журнале «Молодая гвардия».

¹⁶⁹ То есть дневник А. С. Суворина.

¹⁷⁰ Александр Алексеевич Нинов (1931—1998) — филолог, литературный критик.

¹⁷¹ Лилиана Андреевна Николаева (р. 1931) — жена А. А. Нинова, редактор.

¹⁷² Виктор Сергеевич Розов (1913—2000) — драматург.

¹⁷³ Издание 1923 года под редакцией М. Кричевского.

¹⁷⁴ Л. А. Спиридонова (Евстигнеева) — см. письма Е. Г. Эткинда от 29 октября и от 21 декабря 1979 г.

¹⁷⁵ Предположение сделано в шутку. Розанова-Кругликова — полная девичья фамилия Марии Васильевны Розановой-Синявской, редактора и издателя журнала «Синтаксис», жены писателя А. Д. Синявского. Синявские эмигрировали во Францию в 1973 году, и, разумеется, слова Е. Г. Эткинда в письме от 29 октября 1979 г. никак не могли относиться к ней (а только к советской участнице конференции, посланной вместо тех, кого приглашали организаторы).

¹⁷⁶ Видимо, Н. А. Роскина вспоминает отключение телефона — см. примеч. 30.

¹⁷⁷ Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1979 (Лит. памятники).

¹⁷⁸ Имеются в виду рассказы Н. Рабинович, то есть Ирины Роскиной.

¹⁷⁹ Имеется в виду публикация мемуаров Н. А. Роскиной за границей.

¹⁸⁰ Литературовед Иракий Луарсабович Андроников (1908—1990) известен красочными рассказами о своих литературоведческих находках.

¹⁸¹ Источники вышеприведенных цитат так и не были установлены. См. Указатель имен и названий к произведениям А. П. Чехова // Чехов А. П. Соч. М., 1982. Т. 18.

¹⁸² В кинотеатре «Иллюзион» демонстрировались фильмы из коллекции Госфильмофонда. Ирина Роскина (тогда Бориневич) работала в Госфильмофонде и переводила фильмы синхронно на русский язык.

¹⁸³ Речь идет об оценке Эткиндов мемуаров Н. А. Роскиной.

¹⁸⁴ То есть герой для мемуаров.

¹⁸⁵ Мариэтта Омаровна Чудакова (р. 1937) — литературовед, архивист.

¹⁸⁶ Юрий Карлович Олеша (1899—1960) — писатель. «Ни дня без строчки» — латинское изречение, которое он взял в качестве названия своей книги мемуарно-дневниковых записей.

¹⁸⁷ Александр Константинович Гладков (1912—1976) — литератор, драматург; автор мемуаров о Б. Пастернаке.

¹⁸⁸ В журнале «Континент» (1979. № 19) — а незадолго до этого в русскоязычной парижской газете «Русская мысль» — был опубликован хлесткий публицистический памфлет В. Максимова (в то время главного редактора «Континента») «Сага о носорогах», направленный против либерального Запада, в котором под вымышленными фамилиями угадывались реальные люди. Публикация вызвала широкую полемику в западной печати (французская газета «Le Monde», западногерманская «Die Zeit», итальянская «Il Giornale» и т. п.), а также раскол в русской эмигрантской прессе, где в одном лагере оказались «Континент» и газета «Русская мысль», а в другом — журналы «Синтаксис», «Время и мы». С резкой критикой «Саги» в пятом номере «Синтаксиса» выступили Л. Копелев («Советский литератор на диком Западе»), Б. Шрагин («Синдром „нормального человека“») и Е. Эткинд («Наука ненависти»). Публикации, направленные против В. Максимова и его единомышленников, вызвали их негодование, так что начатая полемика («перепбранка») продолжилась. См., в частности, продолжение «Саги»: Максимов В. Они и мы // Континент. 1980. № 23.

¹⁸⁹ Это письмо написано 21 декабря 1979 г., в день столетия со дня рождения Сталина. Е. Г. Эткинд эзоповским языком говорит о различиях в оценке Сталина в эмигрантских кругах.

¹⁹⁰ Мемуары О. Ивинской о Борисе Пастернаке. Для заглавия выбрана строка из стихотворения Б. Пастернака «Ночь»: «Ты — вечности заложник // У времени в плену».

¹⁹¹ То есть, мемуары о Н. А. Заболоцком будут опубликованы в журнале «Время и мы». По-видимому, предполагалась также публикация и других мемуарных очерков Н. А. Роскиной, но почти одновременно с выходом номера журнала с очерком о Н. А. Заболоцком вышла книга «Четыре главы», и остальные три очерка в журнале «Время и мы» не публиковались.

¹⁹² Цитаты для чеховского издания — см. письмо Н. А. Роскиной от 11 декабря 1978 г.

¹⁹³ Давид Григорьевич Бродский (1899—1966) — поэт и переводчик.

¹⁹⁴ То есть идет курс на реабилитацию Сталина — см. письмо Е. Г. Эткинды от 29 октября 1979 г. К юбилею Сталина в советской печати появились статьи, говорящие о его больших «заслугах».

¹⁹⁵ Надежда Рабинович.

¹⁹⁶ «О мед воспоминаний» — строчка из стихотворения С. Есенина «О муза, друг мой гибкий» (1917), ставшая названием воспоминаний о Михаиле Булгакове Л. Е. Белозерской-Булгаковой.

¹⁹⁷ Татьяна Николаевна Тэсс (1906—1983) — писательница, журналистка.

¹⁹⁸ «Четыре главы».

¹⁹⁹ В конце очерка Н. А. Роскиной о Н. А. Заболоцком рассказывается, как Заболоцкий (в шутку) сказал о себе: «Я — царь». Н. А. Роскина предлагает эти слова в качестве заглавия для своего очерка.

²⁰⁰ Решение напечатать главу о Н. Заболоцком прежде главы об А. Ахматовой.

²⁰¹ Николай Васильевич Осьмаков (р. 1925), Виктор Осипович Перцов (1898—1980), Марк Яковлевич Полянов (р. 1916) — литературоведы, сотрудники ИМЛИ.

²⁰² Алексей Яковлевич Каплер (1904—1979) — кинодраматург.

²⁰³ Старшая дочь Е. Г. Эткинды, Мария, вышла замуж за канадского психолога Ури Шаффира.

²⁰⁴ Для воспоминаний о Н. А. Заболоцком.

²⁰⁵ Н. К. Крупская якобы так отвечала на предложение В. И. Ленина стать его женой.

²⁰⁶ То есть как называть остальные главы.

²⁰⁷ Отсылка к ломоносовскому «может собственных Платонов... Российская земля рождать» и к «Диалогам» Платона.

²⁰⁸ Заболоцкий Н. Н. К творческой биографии Н. Заболоцкого // Вопросы литературы. 1979. № 11.

²⁰⁹ Сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева в Москве.

²¹⁰ Сыновья Бориса Пастернака и Самуила Маршака соответственно.

²¹¹ Имя не установлено.

²¹² То есть названия для мемуарных глав.

²¹³ В журнале «Вопросы литературы».

²¹⁴ Публикация очерка Н. А. Роскиной о Н. А. Заболоцком в журнале «Время и мы» № 48.

²¹⁵ Предварительный текст — воспоминания о Н. А. Заболоцком в журнале «Время и мы», окончательный — публикация книги «Четыре главы» в издательстве УМСА-Press.

²¹⁶ Эдгар Бройде, литературовед, уехавший в Германию, где печатался под псевдонимом Д. А. Антонов.

²¹⁷ Тиграм, то есть Львам.

²¹⁸ Константин Петрович Богатырев (1925—1976) — поэт-переводчик, погибший от удара в голову, нанесенного ему в подезде его дома у метро «Аэропорт», видимо, сотрудниками КГБ. Сборник памяти К. П. Богатырева: Поэт-переводчик Константин Богатырев. Друг немецкой литературы / Ред.-сост. Вольфганг Казак при участии Льва Копелева и Ефима Эткинды — вышел в 1982 году в двух версиях (по-русски и по-немецки) в Мюнхене в издательстве Отто Загнера. В сборник вошли воспоминания, стихи, статьи и некрологи, посвященные К. П. Богатыреву, некоторые его переводы и одно оригинальное стихотворение.

²¹⁹ Г. Белль.

²²⁰ Имеются в виду публикации отрывков из «Жизни и судьбы» В. Гроссмана: в журнале «Время и мы» и «прежняя» — в журнале «Континент».

²²¹ Предположительно, имеется в виду высылка академика А. Д. Сахарова в г. Горький 22 января 1980 г.

²²² Том Виннер.

²²³ Ссылка на оду Державина «Бог»: «Я — царь, я — раб, я — червь, я — бог».

²²⁴ То есть как назвать следующий очерк — об А. Ахматовой.

²²⁵ Кажущаяся странной последовательность «имя, фамилия, имя-отчество» основана на противопоставлении, на котором, как известно, настаивала А. Ахматова: для друзей и знакомых она Анна Андреевна, как поэт, она — Анна Ахматова.

²²⁶ Ссылка на статью А. И. Солженицына «Персидский трюк» (Русская мысль. 22 ноября 1979 г.), написанную после интервью с Е. Г. Эткин-дом в газете «Die Zeit» (28 сентября 1979 г.), которому газета дала название «Солженицыну нужен аятолла» («Solschenizyn will Ayatolla!...»). В своей статье Солженицын причисляет Эткинда к людям, которые, хотя и развиты интеллектуально, совершенно лишены духовного развития, особенно в отношении религии. См. об этом выше: интервью Эткинда с Рикардо Сан Висенте.

²²⁷ Е. С. Вентцель в детстве проводила лето у тетки-монахини.

²²⁸ «Памяти Гроссмана».

²²⁹ См. конец мемуаров Н. А. Роскиной о В. С. Гроссмани: «...Гроссман написал прекрасный очерк о моем отце («Памяти Роскина»)...». А. И. Роскин погиб в 1941 г. в ополчении. Очерк В. С. Гроссмана «Памяти Александра Иосифовича Роскина» был опубликован в журнале «Вопросы литературы» (1993. № 1) с предисловием Н. А. Роскиной.

²³⁰ Речь идет о заключительной фразе из мемуаров Н. А. Роскиной о В. С. Гроссмани: «Советской власти все бы плясать да веселиться». Имя-отчество Ковалевской — Софья Васильевна: эвфемизм для Советской власти, так же как Софья Владимировна, и т. д. — по первым буквам. Слова «Советской власти» при публикации в конце концов были опущены.

²³¹ См. начало письма Н. А. Роскиной от 10 февраля 1980 г.

²³² То есть самоцензором. А. В. Никитенко (1804—1877) — литературный критик, историк литературы, много лет работал цензором.

²³³ См. письмо Е. Г. Эткинда от 27 января 1980 г.

²³⁴ Н. Я. Берковский.

²³⁵ Ссылка на слова из письма Н. Я. Берковского Н. А. Роскиной, которое приводится в мемуарном очерке о нем в книге «Четыре главы».

²³⁶ Имя не установлено.

²³⁷ «Жизнь и судьба» В. Гроссмана.

²³⁸ Р. Д. Орлова.

²³⁹ Ответ на вопрос, заданный в письме Е. Г. Эткинда от 27 января 1980 г.

²⁴⁰ Отсылка к письму Е. Г. Эткинда от 27 января 1980 г.

²⁴¹ А. И. Герцен (отсылка к статье Ленина «Памяти Герцена»: «декабристы разбудили Герцена», и т. д.), Л. Н. Толстой (отсылка к статье Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции»), Н. С. Лесков и Ф. М. Достоевский соответственно.

²⁴² А. И. Роскин был исследователем творчества А. П. Чехова. Работы его о Чехове часто цитировались.

²⁴³ Лекцию известного американского лингвиста Романа Осиповича Якобсона (1896—1982) Н. А. Роскина слышала на Международном Конгрессе славистов в Москве в 1958 г.

²⁴⁴ То есть воспоминаниями из книги «Четыре главы».

²⁴⁵ Ирина Ильинична Эренбург (1911—1997) — дочь писателя Ильи Эренбурга, переводчица, знакомая Н. А. Роскиной по писательским домам у метро «Аэропорт» и через А. Я. Савич.

²⁴⁶ «Невеста» — рассказ А. Чехова. Н. А. Роскина приводит высказывание А. Ахматовой об этом рассказе в книге «Четыре главы».

²⁴⁷ Зворыкина — фамилия жены Е. Г. Эткинда.

²⁴⁸ Имеется в виду, видимо, очерк Виктора Некрасова «Из дальних странствий возвратясь» в журнале «Время и мы». № 48; слова «по-французски» — эзоповская отсылка к В. Некрасову, который жил во Франции. Писал Некрасов, естественно, по-русски.

²⁴⁹ Елена Александровна Суриц (р. 1929) — вдова К. П. Богатырева, переводчица.

²⁵⁰ Всесоюзное агенство по авторским правам.

²⁵¹ Издательство УМСА-Press.

²⁵² Эмигрантское издательство.

²⁵³ Валентин Осипович Осипов — в то время директор Издательства художественной литературы.

²⁵⁴ То есть с рукописи, не прошедшей цензуру.

²⁵⁵ Дженет Рабинович (р. 1937) — жена Александра Рабиновича.

²⁵⁶ В Библиотеке Конгресса (Вашингтон) находится перевод «Дневника» Суворина на немецкий язык: *Suvorin, A. S. Das Geheimtagebuch / Übers. und hrsg. von Otto Buek und Kurt Kersten. Berlin: E. Laub, 1925.*

²⁵⁷ Борис Пастернак. 1890—1960 = Boris Pasternak, 1890—1960. Paris: Inst. d'études slaves, 1979.

²⁵⁸ *Копелев Л.* Фаустовский мир Бориса Пастернака // Там же.

²⁵⁹ То есть Е. Г. Эткинда. См. тот же сборник, стр. 112 (выступление в дискуссии).

²⁶⁰ То есть переводами.

²⁶¹ Юджин Рабинович.

²⁶² Пятый номер журнала «Синтаксис» с полемикой по поводу «Саги о носорогах» В. Максимова (см. примеч. 188). Н. А. Роскина эвфемистически называет ее «полемикой про Катаева», потому что Е. Г. Эткинд в начале своей статьи «Наука ненависти» упоминает повесть В. Катаева «Алмазный мой венец», где, так же, как и в «Саге о носорогах», под вымышленными именами угадываются реальные люди.

²⁶³ Владимир Емельянович Максимов (1930—1995) — русский писатель, публицист. С 1974 г. — в эмиграции (Париж). Главный редактор (1974—1992 гг.) журнала «Континент».

²⁶⁴ А. А. Галич.

²⁶⁵ Жenu А. А. Галича, Ангелину Николаевну, называли дома Ньюшей.

²⁶⁶ Александр Исаевич Солженицын (р. 1918).

²⁶⁷ А. И. Солженицын не хотел общаться с А. А. Галичем.

²⁶⁸ Имеется в виду перевод «Ромео и Джульетты» Б. Пастернака.

²⁶⁹ Имеется в виду перевод «Ромео и Джульетты» Т. Шепкиной-Куперник.

²⁷⁰ «Ромео и Джульетта», акт 1, сцена 3.

²⁷¹ Приписка сделана, чтобы Е. Г. Эткинд не подумал, что письмо было «грубо распечатано» советской цензурой.

²⁷² То есть публикация мемуаров Н. А. Роскиной о Н. А. Заболоцком в № 48 журнале «Время и мы» (декабрь 1979).

²⁷³ Второе «спасибо» относится к книге «Четыре главы», которая (см. далее в том же абзаце) уже дошла до стадии верстки.

²⁷⁴ Реакция на известие (способ его получения Н. А. Роскиной в данной переписке не отражен) о том, что слова «Советской власти» из концовки очерка «Памяти Гроссмана» выпали (см. примеч. 230).

²⁷⁵ Леонид Ефимович Пинский (1906—1981), литературовед. В студенческие годы Н. А. Роскина слушала у него лекции по литературе Возрождения, позже, будучи соседями по писательским домам у метро «Аэропорт», они дружили.

²⁷⁶ Имеется в виду А. И. Солженицын (см. примеч. 226). Н. А. Роскина употребляет здесь слово «аятолла» не для характеристики взглядов А. И. Солженицына — ее задача всего лишь зашифровать эту фигуру так, чтобы адресату было ясно, о ком идет речь.

²⁷⁷ Видимо, публикации статей Л. Е. Пинского под общим названием «Парафразы и памятования» в № 7 журнала «Синтаксис» (под псевдонимом Н. Лепин).

²⁷⁸ Л. З. Копелев.

²⁷⁹ Белла Ахаговна Ахмадулина (р. 1937) — поэтесса.

²⁸⁰ Дочка А. А. Раскиной и А. Д. Вентцеля.

²⁸¹ Рассказы Н. Рабинович (И. Роскиной).

²⁸² Давид Петрович Шраер-Петров (р. 1936) — поэт, переводчик. В марте 1980 г. ему было отказано в выезде в Израиль, а в июне его исключили из Союза советских писателей. В 1987 г. эмигрировал. Живет в США.

²⁸³ Не установлено.

²⁸⁴ Е. Г. Эткинд написал предисловие к публикации воспоминаний Н. А. Роскиной о Н. А. Заболоцком в журнале «Время и мы» под названием «Последняя любовь Николая Заболоцкого», где он ее мемуары «оценивает выше», чем мемуары Л. Д. Елок об А. А. Блоке и О. В. Ивинской о Б. Л. Пастернаке.

²⁸⁵ Е. Г. Эткинд опубликовал открытое письмо первому секретарю московской писательской организации Ф. Ф. Кузнецову в связи с преследованиями участников альманаха «Метрополь»: «Литературная „нравственность“ Ф. Кузнецова. Открытое письмо Феликсу Кузнецову // Время и мы. № 47.

²⁸⁶ В конце № 47 журнала «Время и мы» помещено сообщение: «В состав редколлегии вошли писатели Виктор Некрасов и Лев Наврозов. Удовлетворена просьба Галины Келлерман и Дмитрия Сегала о выходе из редколлегий».

²⁸⁷ Борис Пастернак, 1890—1960 = Boris Pasternak, 1890—1960. Paris, 1979.

²⁸⁸ Чертков Л. К вопросу о литературной генеалогии Пастернака // Там же.

²⁸⁹ Н. А. Заболоцкий сожалел, что его стихотворение «Читая стихи» связывают с Б. Пастернаком, — см. мемуары Н. А. Роскиной о Н. А. Заболоцком.

²⁹⁰ Разрешение на «выезд на постоянное жительство» — как называлась эмиграция — выдавалось только евреям, имевшим родственников в Израиле и получившим от них так называемый «вызов». В благоприятные для эмиграции годы на фиктивность родства в ОВИРе (Отдел виз и регистраций)

смотрели сквозь пальцы, в 1979—1980 гг. участились отказы с формулировкой «за дальностью родства».

²⁹¹ Э. Бройде.

²⁹² Книжку «Четыре главы».

²⁹³ Вячеслав Всеволодович Иванов (р. 1929) — филолог. Кома — его домашнее имя.

²⁹⁴ Почему эта возможность была «грустной», не установлено.

²⁹⁵ Имеется в виду «Сага о носорогах» В. Максимова и связанная с ней полемика (см. примеч 188).

²⁹⁶ «Кипарисовый ларец» — название сборника стихов И. Анненского; применяется здесь к книге «Четыре главы».

²⁹⁷ Литературно-художественный журнал, издававшийся с 1976 г. в Гренобле.

²⁹⁸ См. письмо Н. А. Роскиной от 11 апреля 1980 г.

²⁹⁹ В 1980 г. Л. З. Копелев получил премию имени Фридриха Гундольфа, которая присуждается Академией языка и литературы (Ганновер, ФРГ).

³⁰⁰ Майя Львовна Литвинова (р. 1938) — дочь Л. З. Копелева, по образованию инженер. Вместе с мужем, физиком и правозащитником Павлом Литвиновым, принимала активное участие в правозащитной деятельности. С 1974 г. живет в США.

³⁰¹ В предисловии к публикации очерка Н. А. Роскиной о Н. А. Заболоцком в журнале «Время и мы», № 48 Е. Г. Эткинд пишет: «Наталии Роскиной посвящены стихи Николая Заболоцкого из цикла «Последняя любовь» — равных по сдержанной силе страсти, по безнадежной горечи, по соединению безумия с рациональнейшей архитектурной не найти во всей поэзии нашего века».

³⁰² Софья Дмитриевна Разумовская — жена Д. С. Данина, литературный редактор.

³⁰³ Посвященное Н. А. Роскиной стихотворение Н. А. Заболоцкого «Письмо», впервые опубликованное в книге «Четыре главы».

³⁰⁴ То есть Лидии Корнеевны Чуковской (1907—1996) — писательницы, правозащитницы, дочери К. И. Чуковского. Известно, что она не терпела, когда в ее текстах меняли хотя бы одну букву без ее ведома. Навыки и принципы литературного редактирования формировались у Л. К. Чуковской в тридцатых годах, когда она работала в ленинградской редакции, руководимой С. Я. Маршаком, о которой она впоследствии не раз писала.

³⁰⁵ Греческое слово «пант-исо-кратия» может быть передано по-русски, как «все-равно-главие», и оно не производится от «пантеизм» и «Сократ».

³⁰⁶ Вкладыш с исправлениями был сделан.

³⁰⁷ Соломон Константинович Апт (р. 1921) — переводчик с немецкого, с которым у Н. А. Роскиной были добрососедские отношения.

³⁰⁸ Немецкий писатель Томас Манн (1875—1955) публиковал свой роман «Иосиф и его братья» в 1933—1943 гг., находясь в эмиграции. Имеется в виду готический шрифт.

³⁰⁹ То есть просить прислать экземпляры книги.

³¹⁰ Светлана Леонидовна Иванова (р. 1940) — жена Вяч. Вс. Иванова.

³¹¹ Н. А. Роскина ссылается на эпизод из «Воспоминаний» Н. Я. Мандельштам: Демьян Бедный писал в своем дневнике, что не любит давать книги Сталину, потому что тот возвращает их со следами жирных пальцев.

³¹² То есть эмигрируют.

³¹³ А. А. Раскина.

³¹⁴ Руфь Зернова (р. 1918) — писательница, давняя знакомая Эткиндов и близкая подруга Фриды Вигдоровой, с 1976 г. живет в Израиле.

³¹⁵ «Четки» — сборник стихов А. Ахматовой.

³¹⁶ Н. Я. Галь.

³¹⁷ И. И. Эренбург.

³¹⁸ Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906—1999) — литературовед, академик.

³¹⁹ Михаил Николаевич Алексеев (р. 1918) — писатель славянофильского направления.

³²⁰ Серия «Жизнь замечательных людей».

³²¹ Бердников Г. Чехов. М., 1978 (Жизнь замечательных людей).

³²² Николай Михайлович Федь (р. 1928) — литературовед.

³²³ Книгу «Четыре главы».

³²⁴ В ноябре 1980 г. Копелевы уехали по приглашению Г. Белля в ФРГ и вскоре были лишены советского гражданства, что делало невозможным их возвращение.

³²⁵ То есть по почте, а не с оказией.

³²⁶ То есть человека, который будет осуществлять связь с эмигрантами через иностранцев.

³²⁷ Имеется в виду № 48 журнала «Время и мы» с публикацией воспоминаний Н. А. Роскиной о Н. А. Заболоцком.

³²⁸ Л. Е. Пинский.

³²⁹ Использованный Л. Е. Пинским для публикации в «Синтаксисе» (1979. № 7) псевдоним Лепин составлен из его инициалов и первого слога фамилии.

³³⁰ Чьи слова цитирует Н. А. Роскина, шифруя Н. А. Струве таким образом, установить не удалось.

³³¹ Кто этот человек, установить не удалось.

³³² Корней Иванович Чуковский (1882—1969) — писатель, литературовед, переводчик. В начале 1950-х гг. Н. А. Роскина работала у него секретарем.

³³³ Поэтесса Инна Львовна Лиснянская (р. 1928) и ее муж, поэт-переводчик С. И. Липкин были в числе авторов альманаха «Метрополь». В 1980 г. вышли из Союза советских писателей в качестве протеста против преследований участников «Метрополя».

³³⁴ Лиснянская и Липкин постоянно печатались в журнале «Время и мы».

³³⁵ Лев Владимирович Гинзбург (1921—1980) — переводчик.

³³⁶ Дора Матвеевна Штурман (р. 1923) — филолог и публицист, живет в Израиле, много печаталась в эмигрантской прессе.

³³⁷ Фридрих Наумович Горенштейн (р. 1932) — писатель, драматург, эмигрировавший в 1980 г. в Германию. Е. Г. Эткинд является автором предисловия к его публикации в журнале «Время и мы» (1979. № 42): «Рождение мастера: О прозе Ф. Горенштейна».

³³⁸ Под этим названием воспоминания Н. А. Роскиной о Н. А. Заболоцком были напечатаны в журнале «Время и мы».

³³⁹ Виктор Борисович Перельман (р. 1929) — главный редактор журнала «Время и мы».

³⁴⁰ Из предисловия Е. Г. Эткинда к публикации воспоминаний Н. А. Роскиной о Н. А. Заболоцком: «Перед нами воспоминания женщины, которая способна реабилитировать в наших глазах этот, увы, часто компрометируемый жанр».

³⁴¹ Николай Герасимович Помяловский (1835—1863), Глеб Иванович Успенский (1843—1902) — писатели, чье творчество пронизано народническими идеями.

³⁴² Концовка стихотворения А. Блока «Как тяжело мертвецу среди людей...».

³⁴³ Е. Г. Эткинд, совместно с С. Маркишем (см. ниже), подготовил к изданию книгу В. Гроссмана «Жизнь и судьба» (Lausanne, L'Age d'Homme, 1980). Книга вышла с предисловием Е. Г. Эткинда.

³⁴⁴ Симон (Шимон) Маркиш (р. 1931) — филолог и историк, эмигрировал из СССР в 1971 году, живет в Швейцарии. Был первым текстологическим редактором фоторукописи романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба», нелегально переправленной на Запад.

³⁴⁵ Штрум — герой романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба».

³⁴⁶ Ольга Михайловна Гроссман (Губер).

³⁴⁷ Михаил Андреевич Сулов (1902—1982) — член Политбюро ЦК КПСС, главный советский идеолог.

³⁴⁸ «Память» («Исторический сборник») — ежегодник, готовившийся в России силами ленинградских, московских и рижских историков и филологов, группировавшихся вокруг ленинградских историков Арсения Рогинского и Сергея Дедюлина. Сборник распространялся в самиздате с 1976 г., кроме того, подготовленные сборники тайно переправлялись за границу. Первый выпуск был опубликован Валерием Чалидзе в Khronika Press, New York, в 1978 г., потом сборники начали выходить в Париже при участии Владимира Аллоя. Всего вышло пять сборников, последний в 1982 г. Представителем редакции за рубежом была Наталья Горбаневская. В 1981 г. ленинградское КГБ разгромило редакцию «Памяти». А. Рогинского обвинили в том, что он ходил в научные архивы по фиктивным направлениям, осудив его по статье «подделка документов» и приговорив к четырем годам заключения; С. Дедюлина вынудили эмигрировать по израильской визе, а нескольким другим членам редакции пригрозили арестом.

³⁴⁹ Виктор Николаевич Ильин — генерал КГБ, исполнявший в Союзе писателей должность организационного секретаря.

³⁵⁰ Оригинал и копия (5 машинописных страниц) записи беседы Гроссмана с М. А. Суловым 23 июня 1962 г. с пометой: «Высказывания Гроссмана в основном повторяли его письмо к Хрущеву, и поэтому нет смысла их приводить», а также текст письма Гроссмана Хрущеву (примерно того же объема) хранятся в РГАЛИ (копии этих документов — также в коллекции Гроссмана в архиве Андрея Сахарова (Университет Брандайс, США) и опубликованы в книге: С разных точек зрения: «Жизнь и судьба» В. Гроссмана. М., 1991 (по-английски: в книге: John and Carol Garrard. The bones of Berdichev: The Life and Fate of Vasily Grossman. The Free Press, New-York et al, 1996).

³⁵¹ Об отношениях Е. В. Заболоцкой с Н. А. Заболоцким и В. С. Гроссманом см. мемуары Н. А. Роскиной о Заболоцком, а также письмо Н. А. Роскиной от 27 октября 1986.

³⁵² Борис Германович Закс — литературный критик, многолетний член редколлегии журнала «Новый мир», в 1970-х гг. эмигрировал в Америку. Где он опубликовал рецензию на Н. А. Роскину, установить не удалось.

³⁵³ Владимир Николаевич Войнович (р. 1932) — писатель; в 1980 г. уехал в ФРГ и в 1981 г. был лишен советского гражданства.

³⁵⁴ Надежда Яковлевна Мандельштам (1899—1980) — писательница-мемуаристка, вдова поэта О. Э. Мандельштама.

³⁵⁵ Вера Давыдовна Острогорская — редактор, работала в издательстве «Советский писатель», жила в одном из писательских домов у метро «Аэропорт».

³⁵⁶ А. Д. Мельман (Рунина) была ближайшей подругой В. Д. Острогорской.

³⁵⁷ Иван Никанорович Розанов (1874—1959) — литературовед, библиофил.

³⁵⁸ Объявление о смерти Е. Ф. Зворыкиной, жены Е. Г. Эткинда, было напечатано в парижской газете «Русская мысль».

³⁵⁹ См. примеч. 333.

³⁶⁰ Дочь В. С. Гроссмана.

³⁶¹ Н. А. Роскина с Н. А. Заболоцким — см. мемуары Роскиной о Заболоцком.

³⁶² К В. С. Гроссману и Е. В. Заболоцкой.

³⁶³ Бенедикт Михайлович Сарнов (р. 1927) — писатель, литературный критик.

³⁶⁴ Стихотворение Н. Заболоцкого «Письмо», опубликованное в книге «Четыре главы».

³⁶⁵ Наталья Николаевна Заболоцкая — дочь Н. А. Заболоцкого.

³⁶⁶ Николай Вениаминович Каверин — сын писателя В. А. Каверина.

³⁶⁷ Сарра Владимировна Житомирская (р. 1916) — архивист, многолетняя заведующая Отделом рукописей Государственной Библиотеки им. Ленина (ныне — Российская Государственная библиотека).

³⁶⁸ Театральный режиссер Юрий Петрович Любимов (р. 1917), писатель Виктор Платонович Некрасов и кинорежиссер Андрей Арсеньевич Тарковский (1932—1987) находились в эмиграции.

³⁶⁹ И. Г. Резниченко.

³⁷⁰ Евгений Борисович Рейн (р. 1935) — поэт.

³⁷¹ Александр Семенович Кушнер (р. 1936) — поэт.

³⁷² Писатель чуть более левого направления Григорий Яковлевич Бакланов (р. 1923) стал главным редактором журнала «Знамя».

³⁷³ Писатель чуть более правого направления Сергей Павлович Залыгин (1913—1999) стал главным редактором журнала «Новый мир».

³⁷⁴ Роман Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918—1998) «Белые одежды», много лет ходивший в «самиздате», был опубликован в ленинградском журнале «Нева» в 1987 г. (№ 1—4).

³⁷⁵ Поэма А. Ахматовой «Реквием» была впервые в СССР опубликована в журнале «Октябрь» (1987. № 3).

³⁷⁶ Стихотворения расстрелянного большевиками поэта Николая Степановича Гумилева (1886—1921) появились в печати лишь в начале перестройки.

³⁷⁷ Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881—1925) — писатель, автор юмористических рассказов, редактор журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Во время гражданской войны эмигрировал.

³⁷⁸ Отдел в журнале «Сатирикон», где публиковались юмористические ответы графоманам.

³⁷⁹ Не установлено, про кого конкретно идет речь. В это время — после звонка М. С. Горбачева А. Д. Сахарову в Горький 16 декабря 1986 г. — шла так называемая «горбачевская амнистия узников совести».

³⁸⁰ Двором чудес называли КГБ. Выражение взято из «Назидательных новелл» М. Сервантеса, новелла «Ринконете и Кортадильо».

³⁸¹ Софья Львовна Донская (р. 1917) — литературовед, античник. Эмигрировала в Америку в начале 1970-х гг.

³⁸² Владислав Фелицианович Ходасевич (1866—1939) — поэт-эмигрант.

³⁸³ Владимир Владимирович Набоков (1899—1977) — писатель-эмигрант.

³⁸⁴ Андрей Андреевич Вознесенский (р. 1933) — поэт.

³⁸⁵ Писатель Владимир Николаевич Корнилов (р. 1928) в 1977 году был исключен из Союза советских писателей за публикацию своих произведений на Западе.

³⁸⁶ Действительно, Л. З. Копелев и Р. Д. Орлова позже неоднократно приезжали в Москву.

³⁸⁷ Виталий Яковлевич Виленкин (1911—1997) — искусствовед, литературовед, мемуарист.

³⁸⁸ В сборник «Воспоминания об Анне Ахматовой» (сост. В. Я. Виленкин и В. А. Черных, М., 1991) вошли воспоминания Н. Роскиной под названием «Как будто прощаюсь снова...» (цитата из выступления в «Поэму без героя» А. Ахматовой). Воспоминания Н. Роскиной об А. Ахматовой были напечатаны также в журнале «Огонек» (1989. № 10, в сокращении) и в посвященном Ахматовой номере журнала «Звезда» (1989. №6), а в № 7 этого журнала за 1990 г. были опубликованы воспоминания Н. Роскиной о Н. Я. Берковском с предисловием Е. Эткинда.

РЕЦЕНЗИИ

Итальянцы в России

Marco Clementi. *Ricchezza e povertà straniera nella Russia degli zar. La beneficenza italiana da Pietroburgo al Caucaso (1863—1922)*. Cosenza: Periferia, 2000. 196 стр.

Elena Dundovich. *Tra esilio e castigo*. Roma: Carocci, 1998. 254 стр.

Giorgio Maria Nicolai. *Il grande orso bianco. Viaggiatori italiani in Russia*. Roma: Bulzoni, 1999. 577 стр.

Тема «итальянское присутствие в России» необычайно богата и в такой же степени необычайно малоизучена. Внимание исследователей и, соответственно, читающий публики привлекали до сих пор лишь имена именитых зодчих, музыкантов и прочих «великих» людей. Что делали остальные, «малые» итальянцы в России, зачем они бросали свой щедрый, солнечный край ради холодной чужбины — покамест было почти неизвестно.

Приоткрыть завесу над этой исторической загадкой взялся молодой римский историк Марко Клементи. С малоприсущей итальянцам основательностью он выучил русский язык и поселился на несколько лет в России — дабы быть поближе к архивам и книгохранилищам. Результатом его поисков стал глубоко документированный труд «Богатство и бедность иностранцев в царской России», опубликованный в 2000 г. на итальянском языке. По существу — это докторская диссертация, переработанная в книжную форму. Основное внимание автора сосредоточено на самоорганизации итальянцев в благотворительные общества, поэтому книга имеет и подзаголовок — «Итальянская благотворительность от Петербурга до Кавказа (1863— 1922)».

Автор книги, таким образом, поставил ограничительные хронологические рамки, обоснованные несколькими обстоятельствами. Начало 1860-х гг. для обеих стран было чрезвычайно важным этапом: в России отменено крепостное право, Италия объединилась. Именно эти два совпавшие по времени процесса и сделали возможным феномен массовой эмиграции итальянцев в Россию и их здесь самоорганизацию. Эмиг-

рация эта, как показал Клементи, была весьма неоднородной. С одной стороны, в Россию ехали предприимчивые торговцы или искавшие применения своим талантам художники, с другой — бедняки и сезонные рабочие. И если первая категория легко вошла и даже входила в российскую элиту, то вторая осталась в маргинальном положении.

Во вступительной главе, «Итальянская эмиграция в Российскую империю», автор приводит статистику все нарастающего потока: по официальным (итальянским) данным, в 1871 г. в России проживал 2041 итальянец, в 1881—2938, в 1891—3200. Однако эти данные, конечно, не отражают действительного положения вещей. Киевский историк Николай Варварцев в своей книге «Италийцы в Украине» (Киев, 1994) называет более реальную цифру для 1860—1870-х гг. — около 14 тысяч эмигрантов.

«Верхней» хронологической планкой исследования стало начало 1920-х гг., когда эмиграция из Италии в Россию, по известным политическим причинам, иссякла, и более того — исчезли итальянские колонии в русских городах.

Исходной фигурой исторического повествования М. Клементи стал интеллектуал Микеланджело Пинто, живший в Петербурге в 1859—1886 гг. Этому замечательному человеку, приглашенному на преподавательскую деятельность в Петербургский университет, посвящена и недавно вышедшая отдельная монография итальянского историка Франческо Гвида: «Michelangelo Pinto. Un letterato e patriota romano fra Italia e Russia» (Микеланджело Пинто. Литератор и римский патриот между Италией и Россией. Рим, 1998). И в действительности Пинто, как убежденный патриот, всегда пекся о своих соотечественниках — именно он и был основателем Итальянского благотворительного общества в Петербурге. С Россией Микеланджело Пинто соединяет и сентиментальная связь — в 1863 г. он женился на юной петербурженке Лидии Воронец-Дмоховской.

Деятельность итальянского благотворительного общества в Петербурге и, соответственно, жизнь итальянской колонии в северной столице заняла основное место в книге М. Клементи. Это и понятно: петербургская колония была и наиболее многочисленной (в 1890-х гг. — около полутысячи человек, по официальным данным), и наиболее интересной по составу. Ее жизнь реконструирована исследователем на основе архивных источников, преимущественно из фондов Российского государственного исторического архива. Образцовому раскрытию этой темы способствовало и то обстоятельство, что автор книги покинул на несколько лет Рим именно ради Петербурга.

Заключительная, третья, глава посвящена итальянским колониям в российской провинции (петербуржцы будут польщены тем, что М. Клементи отнес к провинции и Москву, наряду с другими изученными городами — Одессой, Киевом, Тифлисом).

После Октябрьской революции сюжет автора драматически оборвался. На этом этапе заканчивается и книга.

Однако в 1930-х гг. в Россию, уже советскую, началась новая итальянская эмиграция, но сей раз — политическая.

Судьбе итальянских антифашистов, эмигрировавших в 1920—1930-х гг. в Советский Союз и павших тут жертвами Большого Террора, посвящена другая итальянская книга. Автор монографии «Tra esilio e castigo» («Между изгнанием и преступлением»). Roma: Carocci, 1998) — молодой флорентийский историк Элена Дундович (ее необычная для флорентийки фамилия — хорватского происхождения, так как отец Э. Дундович был родом из Истрии, края, расположенного на границе славянского и итальянского миров, где всегда было много смешанных браков).

Тема политэмиграции в целом не обойдена в итальянской историографии. Но до сих пор много и обстоятельно писалось лишь о тех, что нашли убежище в США, благо американские архивы доступны всем. Об антифашистах, что пытались спасти свою жизнь в СССР (и там ее потеряли), хранилось молчание — эти шокирующие сюжеты не были нужны левой интеллигенции, долгое время задававшей в Италии тон. Какая-то информация, конечно, просачивалась в печать. Например, Данте Корнелли, политэмигранту, дважды арестованному и дважды судимому в СССР (он окончательно вышел из лагерей в 1956 г.), удалось в 1970 г. вернуться на родину. Остаток своей жизни он посвятил разоблачению сталинского режима, но его не хотели слушать, не хотели печатать. Все свои брошюры он выпускал за собственный счет, своими усилиями — это был почти Самиздат. «Левые» отмахивались от этой темы: мол, может, что-то там и было нехорошего, но все это — в прошлом. Кое-что, конечно, публиковали «правые», однако тема сталинских репрессий, как и сотрудничества коммунистов Италии и СССР, всегда была очень политизированной.

Первые обстоятельные, написанные историками публикации появились совсем недавно: в 1991 г. во Флоренции под редакцией Ф. Бигацци и Дж. Ленера появилась книга «Dialoghi del Terrore» («Диалоги Террора»), а в 1995 г. в Милане — книга Ромоло Каккавале «Comunisti italiani in Unione Sovietica» («Итальянские коммунисты в Советском Союзе»).

Заслуга Э. Дундович — в обработке нового архивного материала и в реконструкции не только судеб исчезнувших людей, но и механики репрессий. Она дала общую картину жизни итальянцев в СССР (до разгрома), а также проанализировала политику Коминтерна в целом, и его итальянской секции, в частности.

...С установлением на Аппенинском полуострове фашистского режима многие его противники стали покидать родину. Советский Союз в те годы благодаря широкой пропаганде имел образ «рая для пролетариата», и сюда различными путями прибыли сотни итальянцев. Это были люди разных политических убеждений, не только коммунисты, но и анархисты, и социалисты. Кроме профессиональных политиков, сре-

ди них было немало рабочих и крестьян, пытавшихся продолжить в изгнании трудовую деятельность. Полагают, что всего их было около пяти тысяч. Большинство итальянцев обосновалось в Москве, но многие, тосковавшие по солнцу и голубому небу, уехали в Крым и в Одессу.

С 1936 г. началось их (и не только их) массовое избиение. Ярлыки, служившие основанием для арестов и жестоких приговоров, были однообразны: «шпион», «троцкист», «вредитель», «недовольный». Автор поместила в качестве приложения нечто вроде биографического словарика несчастных беженцев, дав рядом с их именами (и кличками) монотонные, но от этого не менее зловещие цитаты из следственных дел и доносов. Немногим удалось выйти живыми из Гулага, и уж совсем считанным единицам, как уже упомянутому Данте Корнелли, посчастливилось вернуться домой.

История книги Э. Дундович складывалась своеобразно. В 1992 г. флорентийское издательство «Ponte alle Grazie» заключило в России контракт на покупку архивных документов, относящихся к итальянской секции Коминтерна и вообще к связям итальянских и советских коммунистов. Научный руководитель молодой русистики профессор флорентийского университета Эннио Ди Нольфо, глубоко интересующийся Россией, послал ее в московские архивы, полагая что Э. Дундович поможет научному изданию документов и одновременно соберет материал для диссертации. Осенью 1993 г. она уехала в Москву. Вскоре в Италии разразился скандал с письмами Тольятти (их публикация выявила сговор Тольятти со Сталиным, но, будучи частичной и тенденциозной, она вызвала массу нареканий), и продажа документов издательству была заморожена. Новый поворот: издательство «Ponte alle Grazie» разорилось и закрылось. Документы навсегда остались в Москве. Но все-таки Э. Дундович повезло: через несколько лет она нашла другое издательство, в Риме, а главное — успела поработать в московских архивах и собрать там ценнейший материал, опубликованный в книге.

Итальянцы не только жили (весьма драматично, как показали вышеописанные книги) в России, но и много путешествовали по ней. Естественным было рождение новой монографии — об итальянских во-яжерах. Публикация известного русиста Джорджо-Мария Николаи названа несколько иронично: «Большой белый медведь» — автор явно обыгрывает западные стереотипы о «стране медведей и волков». Вместе с тем титул книги подкреплен эпиграфом, позаимствованным у одного из самых культурных путешественников по России — Франческо Альгаротти, что подарил миру (при «поддержке» Пушкина) знаменитое клише «Петербург — окно в Европу». В своих «Русских путешествиях», написанных в 1739 г., Альгаротти в самом деле заявлял, что Россия «подобна огромному белому медведю, стоящему задними лапами на берегу Ледовитого океана, с хвостом, опущенным в воду, с мордой — у Турции и Персии, в то время как его лапы распростерты на Запад и Восток».

В книгу Николаи вошло более тридцати биобиблиографических очерков. Каждый очерк тщательно описывает личность путешественника, его маршрут, наблюдения.

Любая антология уязвима: почему тот, а не другой? И на сей раз к составителю, поблагодарив за достойный труд, можно предъявить несколько упреков.

Во-первых, как часто бывает на Западе, автор трактует термин «Россия» в расширительном смысле, подразумевая под этим Российскую империю (а после революции — СССР). Поэтому среди путешественников к «белому медведю» оказались Джованни да Лука и Арканджело Ламберти, побывавшие «только лишь» на Кавказе (первый — в 1620-х гг., второй — в 1630—1650-х гг.).

Во-вторых, в число очевидцев российской действительности по недоразумению зачислен гуманист Паоло Джовио, составивший свои записки о Московии на основе бесед с посланником в Папское государство Дмитрием Герасимовым (1525 г.), но сам в Московии не бывавший.

В-третьих, отсутствует ряд важных персонажей. Конечно, автор всегда вправе выбирать симпатичных себе героев, и Д.-М. Николаи в целом предоставил публике наиболее значительных персонажей. Однако в книге, претендующей на академичность и широкую историческую панораму, вероятно, следовало бы дать отсылки на путешественников, оставшихся за ее рамками. Огромное количество имен можно было бы почерпнуть в уже упомянутой работе киевского ученого Н. Н. Варварцева. В книге Варварцева опубликованы сведения о таких видных интеллектуалах-путешественниках, как Де Губернатис, Джузеппо Поджо, Томмазо Сальвини, Тито Ванцетти.

Добавим еще несколько интересных имен: Алессандро Чилли, писательский путешественник XVII в.; искатель приключений Антонио Галленга, автор вышедшей в 1883 г. книги «Летнее путешествие в Россию»; социалист Гульельмо Ферреро, выпустивший свои путевые заметки с названием «Молодая Европа» в 1897 г.; Рафаэлло Пироне, живший в Петербурге в начале XX в. и оставивший заметки о колонии итальянцев (эти заметки широко использует в своей книге Марко Клементи).

Джорджо-Мария Николаи пришел в русистику из языкознания, и его предыдущие весьма яркие работы носили лингвистический характер. Это книга «Le parole russe» («Русские слова», 1982 г.), посвященная, по выражению автора, «русской истории, обычаям, обществу через наиболее характерные выражения», а также «Viaggio lessicale nel Paese dei Soviet» («Лексикографическое путешествие в страну Советов», 1994 г.). И в последней своей книге автор не удержался, и опубликовал на последних шестидесяти страницах дорогой для себя лексикографический свод из типических русских слов — от «балалайки» до «спальника».

М. Г. Талалай
Флоренция — С.-Петербург

Органическая целостность «художества»

И. Л. Альми. Статьи о поэзии и прозе. Кн. 1, 2. Владимир, 1998—1999. 263, 246 с. Тираж 500 экз.

В изданном Владимирским университетом сборнике статей Инны Львовны Альми собраны работы, подводящие некоторый промежуточный итог многолетних исследований и размышлений автора, известного специалиста по поэтике и истории русской литературы XIX—XX вв.

Сама исследовательница выделяет прежде всего два тематических и композиционных узла сборника, вызванных спецификой ее научных интересов, — творчество Пушкина и Достоевского, с одной стороны, и родовое различие поэзии и прозы — с другой. Раздел «О поэзии» составляет основную часть первой книги, подборка статей «О прозе» — основную часть второй. Соответственно, в первой части центральное место занимает творчество Пушкина, во второй — Достоевского, хотя пушкинская тематика широко представлена и во второй части. Основное композиционное деление сборника дополняется во второй книге разделом «На пересечении поэтического и прозаического начал», в котором изучаются конкретные случаи взаимодействия двух фундаментальных составляющих литературы. Вместе с тем наряду с центральными фигурами — Пушкин и Достоевский — в сборнике обширное место уделено произведениям Батюшкова, Баратынского, Гоголя, Тютчева, Некрасова, Тургенева, Чехова, Ахматовой, Пастернака, Булгакова. Среди посвященных им статей можно заметить некоторые «сгущения» вокруг проблем творчества Баратынского (о нем была и кандидатская диссертация И. Л. Альми), Некрасова и Чехова, свидетельствующие о дополнительных «малых центрах», привлекавших повышенное внимание исследовательницы. В то же время очень многие статьи этого ряда связаны с пристальным интересом к воспринятым поэтами и прозаиками творческим импульсам со стороны Пушкина и Достоевского, что как бы выводит пушкинистские и достоевские штудии за их «естественные» пределы. Кроме тематической разбивки на разделы, посвященные поэтике конкретных прозаических и стихотворных произведений, в сборнике выделены еще три, значительно меньших по объему группы статей: «Автор, герой, традиция», где в связи с творчеством Пушкина и Гоголя поднимаются фундаментальные вопросы поэтики; «Литература и музыка» — здесь исследование вступает в область «интермедиальности» и рассматриваются принципы музыкальной композиции в применении к текстам Чехова; «Маленькие статьи и заметки» — последний раздел, представляющий «смесь» разнообразных по содержанию литературоведческих заметок, заключающих в себе локальные историко-литературные наблюдения или конспекты будущих исследований, — это своеобразный изящный финал книги, не замыкающейся в сфере законченного и совершенного, но намечающей перспективу следующих ходов мысли и сюжетов исследований.

Собранные под одной обложкой и скомпонованные по тематическим разделам работы разных лет побуждают к размышлению о творческом пути исследовательницы, не только о том, *что* достигнуто и сделано, *что* внесено ею нового в наше понимание романов Достоевского, лирики Баратынского или драматургии Чехова, но и о том, как складывалась творческая индивидуальность ученого, чем определялись исследовательские интересы и подходы, практикуемая методика исследований. С этой точки зрения, возможно, более выпукло предстанут и реальные достижения.

Сама И. Л. Альми в коротком предисловии к книге говорит о единой для ее работ изначальной цели, «попытки постичь органическую целостность „художества“, для которой автор искал „соответствий“ в области литературоведческих понятий». Несмотря на кажущуюся размытость, это определение дает все же определенный ключ к авторскому подходу. Пожалуй, две тенденции в российском литературоведении последних трех десятилетий XX века более всего противились познанию «органической целостности „художества“»: идеологическая трактовка основных произведений русской литературы, метод, унаследованный в принципе от критики XIX века, но ставший жестким и догматичным в советское время, и, с другой стороны, внутренне оппозиционные к ним структурно-аналитические методы изучения текста, породившие продуктивные школы литературоведения, но и создавшие соблазн упрощенных универсальных схем, заслонявших живое своеобразие литературы. С некоторым приближением можно, вероятно, утверждать, что в областях пушкинистики и достоевведения получили распространение, соответственно, первая и вторая тенденция. И в этом смысле внутренняя установка исследовательницы на сохранение «органической целостности» ставила ее в ситуацию преодоления активных и агрессивных тенденций в сфере изучения творчества наиболее близких ей писателей-классиков. Преодоление это происходило, впрочем, без запальчивой полемики и определило, вероятно, во многом специфику подхода к теме.

В пушкиноведческих статьях, в области исследования особенно дорогой и близкой автору, обращает на себя внимание отсутствие целостных концептуальных работ, посвященных крупным произведениям Пушкина. И это отнюдь не результат исключительной «робости» исследователя: в сборнике мы найдем работы, претендующие на целостное освещение сюжетосложения и в крупнейших романах Достоевского — «Преступление и наказание» и «Идиот», в «Вишневом саде» Чехова и его предсмертной новелле «Архиерей», конструктивного единства стихотворного сборника «Сумерки» Баратынского, о «Рыцаре на час» и поэме «Мороз Красный нос» Некрасова. В то же время в пушкинских статьях внимание концентрируется казалось бы на частностях и даже «изящных мелочах»: сентенции в составе «Евгения Онегина», песенная вставка в пушкинских поэмах и романе в стихах, автобиографичность двух эпизодов, смысл сцены «Татьяна в кабинете Онегина», мотив «женских ножек» в поэзии Пушкина... Наиболее укрупнены по проблема-

тике в этой серии статей работы об образе стихии в «Медном всаднике» (безусловно, одном из центральных в «петербургской повести») и «О статусе героя в пушкинском повествовании». В этом пристрастии к локальным по преимуществу пушкиноведческим темам видится нечто очень существенное. Хочется отметить в связи с этим отсутствие работ, посвященных целостному анализу объемных пушкинских произведений, у недавно ушедшего из жизни крупнейшего пушкиниста В. Э. Вацуро. Последнему это, вероятно, давало прежде всего простор для точных и изысканных историко-литературных и источниковедческих построений в относительном отдалении от предметов, окруженных плотным облаком идеологии. Можно предположить, что у И. Л. Альми было то же стремление к дистанцированию от зон идеологии ради возможности, на сей раз, свободного анализа поэтики.

В применении к пушкинскому творчеству установка целостности привела исследовательницу прежде всего к обнаружению тончайших связей *устойчивости, постоянства и вариативности, изменчивости* в самых различных аспектах построения поэтического образа. Интереснейшим полем для этого стало исследование речевого жанра сентенции в составе «Евгения Онегина». Автору удалось показать в данном случае как обращенность к общезначимой истине, к безусловному моральному правилу, естественная для этого жанра, актуализируется в пушкинских сентенциях и одновременно ограничивается конкретной жизненной (романной) ситуацией, обуславливается уточняющими поправками и живыми реалиями. Это демонстрируется и на уровне сюжетной функции сентенции, и с точки зрения непосредственной подачи ее в поэтическом тексте. В результате пушкинский эпиграф «нравственность в природе вещей» и ахматовское определение Пушкина как моралиста, казавшиеся, первый — ступком иронии, а второе — ригористической чрезмерностью, становятся более понятны нам в своих законных пределах.

Специфическая внутренняя установка позволила высказать и интереснейшие наблюдения по поводу песен, включенных в пушкинские поэмы, и песни девушек в романе в стихах. В отношении последней исследовательница подчеркивает, что в данном случае «литературная» прямота любовного поведения Татьяны сопоставляется с типом народного любовного поведения, с «играми природы», закон которых «изменчивость, колебания: приближение—уход, заманивания—отталкивания». И в этом заключена некая наивная мудрость, скрыто предопределяющая и последующее торжество героини над Онегиным: В статье «Татьяна в кабинете Онегина» вынесенный в заглавие эпизод процитируется как внутренне законченное событие, перипетия, смысл которой в конечном отторжении героиней Онегина, предворяющем их финальную разлуку. В пушкинском изображении женского характера, по словам автора, наблюдается динамика между «страстной сосредоточенностью» на другом, способностью самоотдачи, выхода за узкие пределы личности, и «коренной устойчивостью, верностью собственным глубинным основам». И в

данном случае активизируется именно вторая составляющая: Татьяна отстраняет от себя Онегина, открывшегося ей как призрак, как литературная фикция. В то же время для самого Онегина, как отмечает исследовательница, это ни в коем случае не окончательное определение, но, скорее, «фермент сомнения», вброшенный в изменчивый комплекс черт, составляющий образ героя.

Все эти частные наблюдения соотношения постоянства и изменчивости в различных фрагментах пушкинского мира нашли наиболее масштабное выражение в статье «Статус героя в пушкинском повествовании». Под пером исследовательницы возникает контур одного из важнейших элементов художественного мира Пушкина. Ей удается избежать как резких односторонних определений характеров героев, которыми изобилует пушкиноведческая литература, так и мифа о «развитии характера», порожденного приложением к Пушкину принципов позднейшего реализма. На многих примерах в статье демонстрируется вариативность, недетерминированность характера основных пушкинских персонажей, сохраняемая автором открытость их новизне и в то же время некий присущий им стержень, простое единство характера: в терминологии И. Л. Альми «психологическое ядро личности» и «единство общего тона поведения» в сочетании с «подвижностью, не становящейся последовательным развитием, но и не грозящей распадом личности». Интересно, что за точным и осторожным анализом здесь открывается и экзистенциальная заинтересованность исследовательницы, склоняющейся к тому, чтобы приписать этому типу личности не просто место в эволюционном ряду литературы, но «самую точную проекцию самосознания человека» вообще. В пушкиноведении, где нередко переступается грань между рациональной наукой и страстным публицистическим исповедничеством или проповедью, не часто встречаются столь тактичные, без излишнего нажима апелляции к сфере сокровенных личных убеждений. Можно их не разделять, но яснее становится внутренняя «оплаченность» метода, проступают аксиоматические установки, осознание которых не обличает исследователя, но позволяет яснее осознать и продуктивность практикуемого им метода и неизбежные границы диапазона и глубины разработки предмета, присущие каждому подходу.

Если справедливо наше замечание о периферии пушкинской тематики как сознательно избранной автором сфере исследований, любопытно было бы сопоставить с этим интенсивную разработку творчества Баратынского, поэта, ставшего своеобразным средоточием маргинальности высокой русской литературы Золотого века, поэта с «негромким голосом». В работах И. Л. Альми, посвященных Баратынскому, предстает весьма многозначительная картина развития психологической лирики и вместе с тем психологического начала как такового в русской литературе. Исследовательница показывает параллельность становления образа разочарованного героя у Пушкина и Баратынского, соответственно, в эпическом и лирическом ключе. В

отличие от своего великого современника, Баратынский был полностью сосредоточен на этой теме. Именно на этом пути его ждало открытие рефлексирующего сознания и его трагического разлада с миром как нового содержания лирической поэзии. И. Л. Альми находит при этом целый ряд точных дефиниций для описания поэтических приемов, нацеленных на выражение тонких, переходных состояний сознания. Так, ею вводится в этой связи очень содержательное понятие «прием неполного контраста», в разных видах использующийся поэтом для передачи нюансов природы переживания («любовь—волнение», а не обычное «любовь—забвение», «любовь—смерть»). В психологической лирике Баратынского неожиданно обнаруживаются и пассажи, в которых, поверх фундаментального различия прозы и поэзии, проступают концепции и даже синтаксические структуры парадоксальных психологических ходов Достоевского: выразительно сопоставление эмоционального пика элегии «Осень» и знаменитого отказа Ивана Карамазова от мировой гармонии.

Вообще, установка на целостность в статьях, посвященных поэзии, зримо проявляется в опытах анализа одного стихотворения, требующих учета всех факторов формирования поэтического смысла. Особенно ответственной и интересной становится задача исследовательницы, когда она переходит к анализу поэзии Н. А. Некрасова. В связи с творчеством Некрасова ставится вопрос о начале дисгармонии, присущем литературе вообще, но особенно явно начиная с середины XIX в. Элементы дисгармонии, безобразного, распада не зачеркивают собой гармоничности «художества», но выводят ее, как показывает И. Л. Альми, на иной уровень внутренней напряженности, драматизма. В статье о поэтике Некрасова вводятся и продуктивно разрабатываются понятия эмоциональной тональности, контрапункта — начала музыкальной композиции применительно к литературе. Поиск целостности в литературе нового времени привел к разработке особых категорий, взятых из сопредельного искусства. Музыкальные принципы построения текста впоследствии убедительно обоснованы исследовательницей в отношении ряда произведений Чехова и Пастернака.

Понять соотношение видимой дисгармонии и скрытой гармонической стройности — задача, потребовавшая особого напряжения сил в применении к романам Достоевского. «Интерес к строю романов Достоевского — особый, — отмечает автор. — Это интерес к форме, акцентирующей хаос и в то же время ему противостоящей». Приступая к очерку сюжетно-композиционного строя «Преступления и наказания», исследовательница открыто вступает в полемику с упрощенными рациональными построениями, предлагавшимися в литературоведении для адекватного выражения структуры, стягивающей воедино причудливую и прихотливую череду эпизодов романа. Именно в статье о сюжетно-композиционном строе «Преступления и наказания» происходит и осознанное изменение масштаба исследования, перефокусировка объектива. Автор отдает дань признательности достиже-

ям в сфере изучения локальных проблем данного романа, но решительно оспаривает глобальные интерпретационные конструкции, хотя чутко воспринимает весь строй вопросов, поднятых в процессе этих построений. Собственная концепция исследовательницы, возможно, и не снимает всех вопросов, связанных с калейдоскопом эпизодов и переплетенных сюжетных линий романа, но отличается, безусловно, чрезвычайной чуткостью к многообразным элементам и мотивам романа. Высказанные ранее положения о принципиальной двухчастности «Преступления и наказания» И. Л. Альми дополняет представлением о двух дугах действия, вершинами которых являются эпизоды убийства и признания Раскольникова Соне. Внутри каждой из дуг исследовательница видит различные типы организации действия, связанные с принципиальной сменой изначальной мироустроительной активности героя подчинением его силе обстоятельств и нравственного закона, разрушающих «наполеоновскую» концепцию: сочинительная связь самостоятельных эпизодов, соединенных фигурой Раскольникова, — в первой части; несколько переплетенных сюжетных линий, развивающихся по внутренней логике причин и следствий, — во второй; среди последних при этом две главных линии — «поединки» героя с Порфирием Петровичем и Соней, — проходящие через три этапа каждой. Интересно, что с этой концепцией действия романа исследовательница связывает и обильно дискутировавшийся в достоянии и вызывавший противоположные толкования вопрос об основном мотиве преступления Раскольникова: «убить ради других» или «убить для себя». Она показывает как раз сущностную двуполярность этого мотива, изменение знака нравственной идеи на переходе от первой ко второй части.

По работам о композиционных особенностях произведений Достоевского и Чехова можно, пожалуй, наиболее отчетливо оценить плодотворность установки И. Л. Альми на «органическую целостность «художества»». Есть у нее, безусловно, и свои пределы: целостность побуждает вбирать в состав концепции все новые и новые элементы, из-за чего возникает иногда опасность эскизности и смазанности интерпретации. Основные элементы ее не подчеркиваются и не педалируются, подаются чаще без требуемой для быстрого и полноценного восприятия избыточности информации, что приводит к необходимости сосредоточенного вчитывания в текст, с тем чтобы яснее осознать контуры исследовательской концепции. Может быть, несколько более заметна эта размытость в работе о композиции романа «Идиот». И все же результаты этого подхода чрезвычайно весомы и во многом являют отрядный противовес распространенному в литературоведческой науке «мужскому логизированию», приводящему к бесконечной раскатке между полюсами однобоко решенных противоположных по смыслу интерпретаций.

*Е. А. Вильк
С.-Петербург*

Грани литературоведческой мысли

Р. П. Шагинян. Грани литературоведческой мысли. Теория. Поэтика. критика. Киев: Изд-во киевского института «Славянский университет», 2000. 176 с.

Монография Р. П. Шагиняна — в определенной мере событие для научной жизни Киева. Благодаря издательству института «Славянский университет» состоялся выпуск в свет обстоятельного литературоведческого труда на русском языке. Степень важности этого факта вполне может оценить только тот, кому приходится сталкиваться с проблемами науки в целом и филологии в частности в Украине. Однако автор книги — доктор филологических наук Р. П. Шагинян, известный рядом работ по истории и теории литературы, — адресует свой труд не только украинскому читателю, но и более широкому кругу интересующихся вопросами русской литературы и литературной критики.

Рецензируемая книга посвящена рассмотрению наиболее значимых элементов теории, поэтики и критики: макро- и микроструктурному анализу художественного текста. Концепция книги обусловила и ее композицию.

В первой главе автор исследует понятия «образ» и «система образов», во второй — переходит к рассмотрению проблемы пафоса, а в третьей, закономерно расширяя от частного к общему круг описываемых явлений, обращается уже к проблемам литературной критики, поднимая вопросы ее соотношения с другими областями литературоведения. Важно отметить, что подход, избранный автором, принципиален и конструктивен. Структурно монография выстроена таким образом, что теоретический и критический аспекты взаимодетерминированы и взаимно дополняют друг друга. Так, исследование системы образов в художественном тексте на материале русской прозы XIX и XX вв. подводит к разговору о проблемах эстетики и рецепции. Примером здесь становится эволюция взглядов В. Белинского — от романтизма к антиромантизму. Логика второй главы ведет читателя от проблем восприятия трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» и поэмы Гоголя «Мертвые души» к литературной полемике Тургенева и Достоевского. А в третьей главе анализ дискурса Гоголя — Белинского — Аксакова — Шевырева завершается проблемой периодизации истории литературной критики. Таким образом, отметим, что научный труд Р. П. Шагиняна представляет и методологическую ценность, поскольку сочетает качества фундаментального исследования и практического учебного пособия, иллюстрируя теорию и практику дискурса и внося целый ряд существенных уточнений в традиционные представления, в частности, об эстетической концепции В. Белинского, о периодизации литературной критики и в то же время побуждая к размышлению.

Установка на диалог — важная составляющая книги Р. П. Шагиняна. Это видно и на уровне содержания, и на уровне формы (научная ги-

потеза — в финале монографии), и в авторской интонации приглашения к разговору — в авторских ремарках, скобках, сносках, пассажах. Как представляется, идея дискурса концептуально важна для автора книги, замечающего диалогическую природу речи Моцарта и монологическую — Сальери в трагедии Пушкина, структурообразующую роль «перекличек» в композиции «Мертвых душ» Гоголя, учитывающего историко-культурный контекст создания «Песни торжествующей любви» Тургенева и вступающего в диалог с ведущими теоретиками, историками литературы и культурологами.

Достоинствами книги Р. П. Шагиняна являются и многоаспектность трактования рассматриваемых проблем, и новые подходы к явлениям, постоянно находящимся в поле зрения академического литературоведения, и информативность и убедительность изложения.

Книга Р. П. Шагиняна написана на высоком филологическом уровне, имеет большое теоретическое и практическое значение. Ориентация автора книги на достижения отечественной филологической науки, на классические и современные исследования литературоведов делает рецензируемую работу надежным руководством в преподавании ряда теоретических дисциплин: теории литературы, истории критики, спецкурсов по анализу художественного текста.

В. В. Кравец
Киев

Ценность здорового духа

Л. Н. Столович. *Философия. Эстетика. Смех.* СПб.; Тарту, 1999. 384 с. Тираж 3000 экз.

Имя Л. Н. Столовича хорошо известно отечественным философам. Его можно без преувеличения назвать классиком советской философской науки, ибо как только было «разрешено» заниматься проблемами эстетики, он явился одним из первых, кто начал разрабатывать эти вопросы. Что касается аксиологии, то здесь ему принадлежит не менее важная роль «прокладывателя брода» наряду с В. П. Тугариновым и другими крупнейшими эстетиками. Именно благодаря им российские аксиологи могут сегодня на равных говорить с западными коллегами, чему и был свидетелем автор этих строк на XX Всемирном философском конгрессе в Бостоне, где Л. Н. Столович выступал с докладом об аксиосфере.

Новая книга Л. Н. Столовича включает в себя три раздела: «Философия», «Эстетика», «Смех». В первом помещены его статьи и доклады на конгрессах последних лет. Здесь обращает на себя внимание плодотворная идея о выделении в философии трех стилей — логико-рационального, эстетико-образного и религиозно-мистического, которые сложились в истории философии. Не менее интересная, восхо-

дящая к Г. Г. Шпету мысль — о различении «чистой философии» и «научной», методологически обслуживающей научное познание. Можно поддержать также предложение автора считать «материализм» и «идеализм» не оценочными категориями, а всего лишь двумя возможными моделями подхода к миру, имеющими различный смысл в теории познания и в аксиологии.

В статьях и докладах по проблемам теории ценности, развиваются идеи, высказанные автором в опубликованных ранее книгах «Природа эстетической ценности» (1972) и «Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии» (1994). Л. Н. Столович совершенно прав, утверждая, что «философия, в отличие от искусства, морали, религии, выражает не просто ценностные ориентации людей, а формулирует теоретические критерии этой ориентации, стремится определить *теоретико-ценностную*, аксиологическую ориентацию» (с. 11). Вполне плодотворна идея о выделении наряду с семиосферой аксиосферы, ибо для человека мир ценностей есть важная сфера, помогающая ориентироваться в решении своих жизненных проблем.

В сборнике опубликованы также статьи, представляющие кантоведческие исследования автора, и особенно об обнаруженной автором «Тартуской рукописи» Канта, которая публикуется в данном сборнике полностью. Выступая на дискуссии по диссертации Крейцфельда, Кант говорил: «Существует такая видимость, с которой дух *играет* и не бывает ею *разыгран*. Через эту видимость создатель ее не вводит в обман легковверных, а выражает *истину*, облаченную *видимостью*. Эта видимость не затемняет внутренний образ истины, которая предстает перед взором *украшенной*, и не вводит в заблуждение неопытных и доверчивых притворством и надувательством, а используя проницательность чувств, выводит на сцену сухую и бесцветную истину, наполняя ее красками чувств» (с. 45). Дело в том, что Кант строго различал обман и иллюзию. Если обман имеет корыстный характер, то иллюзию следует понимать как бескорыстную игру, на что указывает этимологическая связь латинского *illusio* со словом *illudo* (я играю). «Видимость, которая *обманывает*, исчезает, когда становится известной ее бессодержательность и обманчивость. Но *играющая* видимость, так как она есть не что иное, как *истина в явлении*, все же останется даже и тогда, когда становится известным действительное положение вещей» (с. 46). Рассматривая искусство как игру и иллюзию, Кант обнаруживает важную особенность искусства, представляющего собой одновременно и действительность и иллюзию. Эта идея об игровой природе искусства — замечательный вклад Канта в эстетику, долгое время оставшийся вне эстетической науки.

Во втором разделе — статьи по эстетике. В ситуации, когда почти нет новых учебников по эстетике, появление книги Л. Н. Столовича крайне полезно. Необыкновенно интересен мемуарного характера рассказ участника, и даже одного из инициаторов, о перипетиях дискуссии по вопросу о сущности эстетического в 1950—1960-е годы. Это важ-

ная глава в истории советской эстетики, которая без сомнения войдет в учебники.

Не меньшее значение для эстетиков, преподавателей и студентов, имеет публикация большой статьи «Опыт моделирования эстетической ценности и искусства», где автор предлагает типологию художественного творчества: объективный, субъективно-личностный и субъективно-общественный, или нормативный, а также структурирование функций искусства. Такой подход позволяет воспринимать в единстве разные стороны искусства.

Многогранный талант Л. Н. Столовича проявился еще в одной сфере, принесшей ему большую популярность — это собрание анекдотов и издание сборника «Евреи шутят» (1996). Представленные в новой книге эссе о смехе, публикация «Пушкинских анекдотов» и комедии «Еврейские анекдоты. Сцены из еврейской жизни» дают основание говорить о духовном здоровье и жизнелюбии народа, умеющего с достоинством и юмором переносить любые жизненные невзгоды. Надо отметить, что смех органически присущ автору, это подтвердят все, кто хорошо знает Леонида Наумовича. В эссе о метафизике смеха он подчеркивает вслед за М. М. Бахтиным, что смех является одним из проявлений свободы, «смех помогает преодолеть паралич страха» и утвердить хотя бы внутреннюю, субъективную свободу, которая крайне важна для творчества. Смех демократичен и антитоталитарен. Благодаря своей амбивалентности и двунаправленности он есть идеальный инструмент культуротворчества, ибо смеясь над своими недостатками, человек очищается, освобождается от них, а смеясь над чужими, прививает себе иммунитет от них.

Книгу завершает библиография трудов Л. Н. Столовича. Биография ученого — это в первую очередь его труды, книги и статьи, в них сосредоточен главный результат его жизни. Рано подводить итоги, Леонид Чаумович в расцвете сил, и мы вправе надеяться на новые замечательные книги, которые выйдут из-под его пера.

*В. М. Пивоев
Петрозаводск*

RUSSIAN STUDIES

ЕЖЕКВАРТАЛЬНИК РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ

РОССИЯ, С.-ПЕТЕРБУРГ

Тел.: (812) 583 5256

E-mail: sajin@peterlink.ru

**По вопросам подписки и приобретения
отдельных номеров в России обращаться:**

E-mail: humanus@comset.net

тел. (812) 275-98-55

Зарубежную подписку осуществляет фирма:

**Kubon & Sagner Heßstr. 39/41
80798, München, Germany**

Художник Д. Шубин

Корректор Б. М. Хаимский

Художественный редактор В. Г. Бахтин

Технический редактор А. Ю. Шмарцев

ЛР № 066191 от 27.11.98.

Гуманитарное агентство «Академический проект»

Сдано в набор . Подписано в печать

Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Тип Таймс».

Тираж 500 экз. Зак №

Отпечатано в ООО Издательство «Тема».

Телефоны: (812) 113-00-96.



B

